Новый Журнал

№317

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят второй год издания

Кн. 317 **НЬЮ-ЙОРК** **2024**

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская
Редакция: Владимир Гандельсман, Наталия Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff; A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin, L.Vulfina, Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 317, декабрь 2024
© 2024 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Батшев – Белым по черному. Роман 5
Владимир Гржонко – Дом. Главы из романа (*Окончание*) 124
Александр Немировский – Стихи 148
Каринэ Арутюнова – Прощание с Кабуром. Стихи 156
Янислав Вольфсон – Стихи 165
Владислав Китик – Стихи 171
Сергей Попов – Поручение. Рассказ 175
Ольга Симонова-Партан – Сталина-процентщица. Повесть 190
Надежда Ажгихина – Детский сад. Рассказ 218
Кира Османова – Что у них за спектакль. Стихи 227
Ян Пробштейн – Скорбный мир. Стихи 233
Мартин Мелодьев – Стихи 236
Евгений Сухарев – Отцовская линия. Поэма 239
Марина Гершенович – Стихи 245
Владимир Гандельсман – Третья сторона медали. Эссе 251
Сергей Маныч – Стихи 258
Татьяна Ананич – Стихи 262
Андрей Грицман – Отказ от стихов? Эссе 266

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Илья Серман – А.Н. Апухтин (*Публ. – П. Глушаков*) 271
Василий Яновский – Гомункулус. Пьеса (*Публ. – М. Адамович*) 281

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

Александр Глотов – Поэтический билингвизм –
конфликт или контраст? Украинско-русский контекст 318

КНИГА И СУДЬБА

Людмила Оболенская-Флам – Вики – русская княгиня
во Французском Сопротивлении 329

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной
Книги нью-йоркского издательства Liberty Publishing House:
Татьяна Успенская. Украли солнце 343
Виктор Зильберман. Между Шекспиром и Путиным 349

Стефан Машкевич – Павел Полян. Бабий Яр. Реалии 355
Анна Станкевич – Евгений Сливкин. Сестра отчаяния 362

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Ирина Муравьева – Памяти Александра Левицкого (1947–2024) 369

Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести отдельные архивные номера журнала, начиная с 1953 года. Цена экземпляров определяется годом выпуска. Все подробности вы можете узнать в редакции НЖ, написав нам:

newreview@msn.com
newreviewinc@gmail.com

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Батшев

Белым по черному

*Роман**

ПРЕССА

Предсказания на 1933 год

Маленький фельетон

Январь.

15-го. Обнаружение в пустующем здании рейхстага подпольной коммунистической типографии. Выемка подложных воззваний рейхстага к населению и фальшивой печати германского канцлера.

17-го. Официальное объявление войны между Перу и Колумбией. Назначение генерала Павличенко перуанским военным министром.

25-го. Выезд комиссии Литтона в Южную Америку для ликвидации столкновений между всеми враждующими южно-американскими республиками.

Февраль.

10-го. Объявление в Ирландии бойкота английской соли.

Март.

9-го. Прибытие комиссии Литтона в Рио-де-Жанейро и ознакомление с красотами города.

13-го. Сообщение корреспондента «Таймса» о гибели в Казахстане пяти английских путешественников, съеденных населением вместе с консервами корнбифа и проспектами «Интуриста». Запрос в парламенте по этому поводу и ответ Кольвиля, что вопрос о съедении английских граждан тщательно изучается правительством, но что никаких жалоб со стороны потерявшихся до сих пор не получено.

25-го. Обнаружение в здании берлинского Министерства иностранных дел тайного склада оружия коммунистов. Выемка двухсот пулеметов, трех орудий типа «Берты» и пяти тысяч баллонов с удушливыми газами.

Апрель.

5-го. Прибытие комиссии Литтона из Рио-де-Жанейро в Буэнос-Айрес и ознакомление с красотами города.

9-го. Рейд генерала Павличенко из Перу в Колумбию и присоединение во время пути Эквадора к Перу для обеспечения левого фланга.

22-го. Сообщение корреспондента «Таймса» о гибели новой партии английских интуристов, изжаренных и съеденных в Башкирской республике. Запрос в парламенте и ответ Кольвиля, что съедение новой партии приобщено

---

* Вторая часть трилогии. Журнальный вариант.

к съедению предыдущей, и что правительство предпринимает шаги к тщательному изучению вопроса во всей его совокупности.

28-го. Обнаружение в Москве заговора против Сталина и исключение из партии Калинина, Молотова и Орджоникидзе. Статья Сталина в «Известиях» под заглавием: «Вот что значит многоголовие головки».

Май.

1-го. Сенсационное сообщение «Правды» о коммунистическом перевороте в Париже, бегстве Киаппа и организации Полем-Бонкуром контрреволюционной армии вандейцев для похода на Париж.

5-го. Приезд комиссии Литтона из Буэнос-Айреса в Лиму и ознакомление с красотами города.

Июнь.

3-го. Обнаружение в Москве заговора Тюрюрютина и исключение из партии Кагановича, Ворошилова и Бубнова. Статья Сталина в «Известиях» под заглавием: «Единственная грезовская головка – это я».

Август.

25-го. Подъем комиссии Литтона на гору Котопахи через два месяца после заключения мира и обследование оттуда спорной местности в бинокль Цейсса большой светосилы.

Сентябрь.

10-го. Приказ Сталина Менжинскому тщательно следить за собственными его, Сталина, действиями, в виду обнаруженных случаев раздвоения личности. Сведения о восстаниях на юге.

Октябрь.

1-го. Обнародование чрезвычайного декрета президента С.А. Соед. Штатов о воспрещении американским гражданам давать деньги взаймы иностранцам.

23-го. Распоряжение правительства де Валеры о переименовании рахитизма из английской болезни в независимую ирландскую.

Ноябрь.

3-го. Опубликование доклада комиссии Литтона о красотах Южной Америки и о горе Котопахи.

5-го. Одновременный взрыв всех правительственных зданий в Берлине.

7-го. Переворот в России.

10-го. Эдикт Муссолини о переименовании Италии в «Великую Римскую Империю эпохи упадка».

Декабрь.

1-го. Совещание администрации «Последних Новостей» об утекающих делах издательства.

2-го. Яростные строки стихоплета упомянутой газеты об интимной жизни конкурентов.

15-го. Вдохновенная речь Кольвиля в парламенте об ответственности нового национального правительства России за гибель съеденных во время большевизма английских интуристов.

А. Ренников, «Возрождение» (Париж), 4 января 1933

* * *

Никогда еще русский Париж не встречал Новый Год так весело, как на этот раз. На несколько часов все забыли кризис, повседневные заботы и отда-

лись веселью. На балу политического Красного Креста нельзя было протиснуться. Русские рестораны были переполнены до поздней ночи. Под утро, в «первом метро», усталые, измученные люди еще пожимали друг другу руки и по привычке бормотали: С Новым Годом! С Новым Счастьем! А что, вы будете еще встречать русский Новый Год?

«Иллюстрированная Россия» (Париж), 1933, № 2

ПРОЛОГ

Кошка остановилась, раздумывая: перейти улицу или нет. Два хорватских бандита, которые шли навстречу, тоже остановились. Бандиты называли себя усташами (повстанцами), но на самом деле были обыкновенными налетчиками и убийцами.

– Пусть перейдет, а мы обойдем, – тихо, словно боясь спугнуть животное, произнес один. – А то у нас снова ничего не выйдет.

– Выйдет, – пробасил второй. – Я в приметы не верю. Я его убью. Я знаю.

– Конечно, убьем.

– Не убьем, а убью. Я его убью, – уверенно произнес бритый.

Второй, с усами, хмыкнул.

– Почему именно ты, Владо? Почему не я?

Второй смазал его взглядом, посмотрел на кошку, усмехнулся.

– Ты не сможешь. Ты кошек боишься.

– Посмотрим, кто его убьет, – скривился тот. – Ты или я. Или кто из наших. Куда он денется? Но кошка… – он не отводил от нее взгляда.

– Что тебе кошка, Раич! Пошли.

Кошка вышла на середину улицы.

– Она же черная! – чуть не плача, произнес Раич. – Дьявольское отродье…

– Не черная, а серая. Хвост черный – да, черный. Но она не черная. Брысь! Брысь! – крикнул Владо и взмахнул рукой, пугая животное.

Кошка оказалась не из пугливых, она остановилась посреди мостовой и презрительно смотрела на бандитов.

ПАРОХОД «ЕВРОПА». НОЯБРЬ 1932

И палуба не качалась под ногами, как она представляла раньше, а можно было на ней танцевать, и они гуляли вместе с другими пассажирами, и многие спрашивали, кто эта молодая пара, и один болельщик узнал Олега и попросил у него автограф, и Олег смутился, но автограф дал, и к ним подошла, улыбаясь, незнакомая женщина, которая была знакома, и они не могли понять, почему она им знакома, ведь они ее не знают, и с хитрой улыбкой спросила, почему у них просят автографы, разве они такие знаменитые, что она их не знает, и оказалось, что она Ольга Чехова, знаменитая актриса.

И они подружились. И пошли вместе завтракать, она их приглашала; и к ним подсел мистер Гольдинг, как он сказал, меховщик, – из

тех, что обожают покрутиться в кругу знаменитостей, и заявил, что две такие очаровательные женщины как Чехова (я видел ваш последний фильм) и Тизенгаузен (я следил за вашим процессом с ИГ Фарбен), – фон Тизенгаузен, бесцеремонно прервала Лидия, извините, фрау фон Тизенгаузен, – я смущен, я нахожусь в компании таких знаменитостей – кинозвезда, популярный адвокат и знаменитый спортсмен, – в обществе находитесь, – да, простите, в обществе таких знаменитостей.

– А это кто? – спросила Лида Чехову, кивая на полного мужчину в белой панаме. Он сидел, развалясь в шезлонге, а стюард с подносом в руках что-то рассказывал ему.

– Господин Бриллинг, – показал осведомленность Гольдинг.

– Бриллинг, – усмехнулась Ольга. – Король печенья.

– А! – вспомнила Лидия голубые пачки с желтыми буквами. – Очень сладкое.

– Очень! – подтвердила актриса.

– Хотите я угадаю, куда вы держите путь в Америке? – улыбаясь, спросил господин Гольдинг.

– Угадайте! – согласилась Ольга.

– В Голливуд.

Она засмеялась.

– Нетрудно догадаться, куда в Америке может ехать актриса! Да, «Юнайтед артист» пригласил меня в Голливуд.

На столе рядом с ней стоял букетик живых фиалок, доставляемых фирмой «Цветы из Европы» от неведомого поклонника.

– От неведомого? – улыбнулась Лида.

– Я перебираю в уме обожателей – тех, кого воспринимаю всерьез. Вечно увлекательная игра.

Стюард принес телеграмму. Сначала Ольга не обратила на нее внимания. «Список почитателей» уже сведен до минимума, до одного господина.

«Это от него», – обрадовалась она, вскрыла телеграмму и оказалась выброшенной из мира своих фиалковых грез. Телеграмма от матери: «Фильм Два галстука освистан – тчк – оставайся там – тчк».

– Что-то неприятное? – осторожно спросила Лидия, заметив, что Ольга переменилась в лице.

Та криво улыбнулась.

– Мой последний фильм провалился…

– Это какой?

– «Два галстука».

– А! – вспомнила Лида. – Я видела. Вы там отбиваете чечетку.

– Да. Во фраке и в цилиндре.

– И поете. Песенка Михаэля Бонена: «У меня тоска по дому, я хочу домой...»

Ольга покачала головой:

– Знаю, Лидия, знаю, как наша берлинская публика переделала эту песенку: «У меня понос открылся, я хочу домой...»

Обе рассмеялись.

Путешествие на корабле отлично способствует тому, чтобы отключиться и обо всем забыть. Через минуту она уже забыла про телеграмму и на следующее утро беззаботно радовалась свежим букетикам фиалок и не позволяла себе отвлекаться от наслаждения поездкой.

Потом Лида и Олег в баре спокойно пили пиво, Чехова отказалась – она не любила пиво.

– Вот чего мне будет недоставать в Америке, – произнес Олег, мечтательно глядя на высокий бокал с баварским пшеничным пивом. – Нашего немецкого пива, точнее – нашего баварского.

– Забавный человек. Ну скажешь – нашего!

– Нашего, нашего, – отпивая пиво, убежденно произнес Олег. – Раз мы здесь живем, выходит – нашего!

– Да, живем, но мы здесь временные жильцы. Немцы нас не любят.

– Да при чем здесь любят – не любят? Это старики считали себя временными жильцами, чемоданы не распаковывали: ах, завтра весенний поход, ах, большевики зашатались, ах, Рождество встретим на Невском! И это не год, не два… Я знаю таких людей! Десять лет сидеть на чемоданах и верить, что вот-вот поедут в Россию! Не в переносном, а в прямом смысле сидят на чемоданах! Ютятся в конурах, в грязных отелях, им говорят: начните нормальную жизнь, бросьте свои чемоданы, идите работайте, войдите в местную экономику – это такой словесный оборот, я дословно тебе перевожу... Нет, нет, мы завтра вернемся в Россию. Да не вернетесь вы! А России десять лет как нет. Есть Совдепия. Слава Богу, что мои родители сразу поняли – это конец.

– Конец прошлому?

– Да, прошлой жизни. Надо устраиваться здесь. Отдали меня в немецкую гимназию, а Юрку увезли в Париж и в пансионат определили… Он теперь чистый француз, даже прононс парижский…

Лида засмеялась.

– Он хороший парень, правда, авантюрист в душе, но это пройдет. А насчет пива... Я думаю, ты в Америке найдешь баварское пиво. А если нет, как бы не было дорого, закажешь в Германии. Да! Выпишешь из Германии пиво, и тебе его будут привозить на дом. Бочками. А? Через океан тебе пришлют бочку баварского пива. Вот такого, что ты сейчас пьешь.

Оба засмеялись.

– А что? Так и сделаем. Купим дом – в Америке дома недорогие. Поставим в подвале бочку с пивом. Вставим кран. Как у нашего пивняка в гаштете.

– Хорошее ты придумал слово – *пивняк*. Я его на немецкий сразу перевела.

– Да! Буду сидеть вечером у камина…

– У камина? Впрочем, ты прав…

– Да! Буду наливать из бочки пиво…Ты тоже будешь пить со мной пиво, ты же его любишь.

– Конечно, буду. Я к нему отношусь, как говорят, очень положительно. Не так, как ты, но кружку-другую выпить могу. В Праге мы много пива пили, но это давно… Но я с удовольствием буду пить не пиво, а свежие соки… Знаешь, как араб в лавке на углу делает.

– Конечно, видел – он выжимает из апельсинов.

– Не дорого, не дешево, но вкусно. Свежий сок! Но когда я смотрю на него, то думаю, что у него немытые руки.

– Может быть, но ведь он выдавливает апельсин с кожурой, он же не очищает его.

Она показала бармену на пустой бокал, и он тут же подал ей новую бутылку.

– Может, ты там... возобновишь свою футбольную карьеру? – осторожно спросила.

Олег отмахнулся.

– Куда с моим мениском!

– Но ты можешь стать тренером.

– Нет, Лидочка. В Америке вообще нет нашего, европейского, футбола.

– Как нет футбола? В любой стране есть футбол – и в Чехословакии, и даже у большевиков…

– В Чехословакии и у большевиков есть, а в Америке нет. Есть регби и американский футбол. Нет привычного нам футбола. Совсем другие игры. Не волнуйся, забудем о футбольной карьере, займусь туризмом. Вот мы сейчас с тобой туристы, плывем на пароходе, вон остров, а там рыбаки. Как сказал поэт: *и жизнь пройдет как Азорские острова*.

– Это Азорские?

– Наверно, не знаю.

Олег проводил жену до лифта, посмотрел, как она вошла, как мальчик нажал кнопки, створки сдвинулись, и лакированный механизм с легким скрипом исчез.

Он вернулся на палубу и увидел мистера Гольдинга. Тот листал рекламный журнал.

Олег извинился, сел рядом, тоже взял журнал со столика.

Мистер Гольдинг закурил «Лайки стар» (зеленая пачка, с красно-белым кругом) и спросил с деланым равнодушием:

– А серьезно, чем вы занимаетесь, мистер Олонецкий? Или вы профессиональный футболист?

Олег смутился неизвестно почему, и стал объяснять, что – да, он

профессиональный футболист, целый год играл за «Баварию» левым хавбеком, но еще работал несколько лет в туристической фирме. Небольшая фирма, едва ли вы знаете, ах, знаете, да, головной офис в Мюнхене, обычная фирма, ничего интересного, экскурсии, путешествия по Германии и в соседние страны, пикники, нет, мистер Гольдинг, в США я заниматься футболом уже не смогу, да и насколько я знаю, в Америке нет нашего европейского футбола, он там не в чести, у меня травма колена, последние два месяца я не смог играть, нет, мистер Гольдинг, спорт пока для меня закрыт, я займусь туристическим бизнесом, я хорошо знаю дело, три года работал в туристической фирме…

Господин Гольдинг сунул руку в карман, вынул записную книжечку с монограммой, полистал ее, потом достал «Росмер» с позолоченным пером и что-то написал. Аккуратно вырвал листок из книжки и протянул Олегу.

– Рекомендую обратиться в эту фирму. Они занимаются туризмом. Это не очень крупная, но солидная фирма, крепко стоит на ногах. Хозяин – мистер Голос. Кажется, даже говорит по-русски. Сошлитесь на меня, когда придете проситься на работу.

– Думаете, мне стоит пойти в фирму мистера Голоса? – удивился Олег.

– Думаю – стоит, – спокойно ответил Варлофф, надевая маску Гольдинга. Он был доволен своей ролью.

PARIS. МИШЕЛЬ, ФЕВРАЛЬ

Последнюю неделю Мишель работает по ночам. Опытные шоферы утверждают, что время от времени и дневному шоферу очень полезно менять обстановку и работать ночью. Работа «ночника» спокойнее, нервы не так напряжены. Правда, постоянная ночная работа вредно отзывается на здоровье, но как некоторая смена дневной, приносит свою пользу.

– Но заметьте одно, – наставительно объявляет ночной шофер Джованни, – чтобы хорошо зарабатывать, надо на двенадцать баллов знать ночной Париж... О, ночной Париж ничего общего не имеет с дневным Парижем! Он – особый! Да! Особый мир. Его надо изучить внимательно и подробно. Больше того – надо приспособить к нему свою психологию. Ночной шофер – это Харон, перевозящий счастливых смертных в места наслаждений, адреса которых ему должны быть известны, Это Пегас, мчащий сластолюбцев и чревоугодников именно туда, куда они сами бессознательно стремятся...

Мишелю сравнение ночных шоферов с Хароном и Пегасом кажется несколько смелым.

— Мне кажется, – отвечает он, – что ночной шофер должен на зубок знать адреса ночных ресторанов и злачных мест, и только. Я видел в витринах легкомысленных книжных лавок маленькие, кар-

манные путеводители «Гиды парижских наслаждений». Имея такую книжку, можно легко и быстро ориентироваться в вашем загадочном ночном Париже.

Джованни иронически смеется.

– Дорогой мой, – говорит он тоном профессора, поучающего желторотого птенца-первокурсника, – есть множество разных деталей и особенностей, которые, конечно, не указаны в этих ваших гидах.

– Например?

– Например? Извольте... Надо знать, во-первых, психологию ночных седоков. Среди них, конечно, вам будут попадаться деловые люди, возвращающиеся с поздних заседаний или ночных работ. Будут игроки – проигравшие или выигравшие. Будут матроны, отвозящие своих дочек с балов и вечеров. Будут артисты, разъезжающиеся после спектаклей и концертов. Но все они составляют ничтожный процент. Главная масса ночных клиентов – люди, которые веселятся, которые видят в шофере опытного и доброжелательного гида, которые могут очень хорошо заплатить, если вы им угодите.

– Ну, в этом не так уж трудно разобраться, – замечает Мишель. – Положим... надо знать, где вам хорошо заплатят за клиентов. То есть?

Джованни смотрит с видом торжествующего превосходства.

– Вот именно – то есть… Это, батенька, существенная часть ночного дохода. Большинство ночных учреждений, и особенно самых злачных, выдают шоферу, доставившему им клиентов, очень приличное комиссионное вознаграждение. Оно достигает зачастую шестидесяти процентов...

– Шестидесяти процентов?..

– Так точно! А потому, если, например, клиент нанимает вас в место, где вам такого вознаграждения не выдают, вы будете, простите меня, просто идиот, если его туда повезете...

– А что же прикажете в таком случае делать?

– Отговорить. Деликатно, умно и тактично. Сделать вид, что вы не знаете адреса. Солгать, что это заведение давным-давно уже прогорело. Наконец, просто восхвалять другое и убедить его ехать именно туда, куда вам выгодно.

Все эти перспективы Мишелю не особенно улыбаются, но всё же он старается запомнить уроки опытного коллеги.

Он стоит у дорогого ресторана, окна которого задрапированы тяжелым, синим бархатом. После ужина две не то англичанки, не то американки выходят оттуда.

Очевидно, они много выпили и сильно возбуждены. Каждой из них можно дать не более тридцати, обе белокуры, высоки, стройны и своеобразно интересны – и похожи друг на друга.

В руках у одной Мишель замечает тот самый путеводитель, о котором говорил Крюкову. Одна из них ткнула пальцем в какой-то адрес.

Мишель привозит их на указанную улицу и останавливается у подъезда, в глубине которого красноречиво висит розовый фонарик.

Они просят подождать и храбро входят в подъезд.

Девушки имеют очень приличный буржуазный и даже аристократический вид. В России таких обычно в шутку называли «перевоспитанными». Принадлежность их к хорошему пуританскому обществу несомненна. И такое повышенное любопытство ко всем достопримечательностям Парижа со стороны этих туристок кажется Мишелю прямо чудовищным.

– А тебе, старина, попались выгодные клиентки! – говорит, не без зависти, француз-шофер, стоявший также у подъезда. – Смотри не проворонь! На таких можно заработать!

В это время они выходят. Лица недовольные, капризные и разочарованные.

Они подходят вплотную.

– Здесь совсем неинтересно! – заявляет одна. – Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы показали нам что-нибудь более захватывающее... Мы слыхали, что в Париже...

Мишель беспомощно смотрит на их возбужденные, подурневшие лица.

– Но что именно вы хотите, мадам?

Тогда одна из них наклоняется к его уху, обдав ароматом дорогих духов и парами шампанского, шепчет несколько слов.

Желание столь цинично и бесстыдно, что даже он, приготовившийся ко всему самому неожиданному, краснеет.

– Ну?.. Вы не знаете?.. – нетерпеливо говорит другая и смотрит на счетчик. – Тогда мы вас отпустим и возьмем другого.

Они расплачивается и подходят к шоферу, только что позавидовавшему Мишелю.

Он выслушивает их почтительно и без малейшего смущения открывает дверцу такси.

Проезжая мимо, он весело машет рукой – не то в знак благодарности, не то пренебрежения.

– Пусть неудачник плачет! – поет Мишель в ответ.

Он едет без цели, задерживаясь ненадолго у подъездов кабаков и кабаре. До него долетают обрывки цыганских романсов и аккорды гитар.

У одного из кабаре машину останавливает немолодая, но еще красивая, хотя и сильно располневшая женщина. Одета она богато. Лицо растерянно и взволнованно.

– Я беру вас на часы, – заявляет она. – Мы объедем с вами несколько ресторанов и кабаре.

По-французски она говорит плохо, пересыпая свою речь испанскими словами.

Трудно догадаться о смысле ее «объезда». У каждого кабака она

останавливается на пять-десять минут и выходит оттуда еще более взволнованной и огорченной.

Иногда испанские ругательства слетают с ее слегка поблекших уст.

В одном из кабаре она задерживается дольше, чем в других. Шассер выносит Мишелю, по ее приказанию, дюжину устриц и бутылку шампанского. Тот с удовольствием ест устрицы и запивает вином.

Вскоре она выходит сама, слегка пошатываясь. Глаза блуждают.

– Кажется, мы с вами, наконец, напали на след! – объявляет она, будто Мишель заинтересован в ее поисках, как и она сама. – Теперь, мой друг, как можно скорее в «Ликующую устрицу». Он был сегодня здесь и собирался пойти туда.

Но из «Ликующей устрицы» она выходит с убитым и гневным лицом.

– Представьте себе, – обращается к шоферу, – он здесь действительно был, но его следы опять теряются. Лакеи и шассеры клянутся, что они не знают, куда он потом направился!

Она грустно замолкает, потом спрашивает:

– Сколько заведений мы уже объехали?

– Мест двадцать, мадам... – отвечает Мишель, сочувственно глядя на нее.

– А сколько еще в Париже таких кабаре?

– Невозможно сосчитать, мадам...

Она глядит на маленькие часики-браслет, безвкусно усыпанные крупными бриллиантами.

– Послушайте... Я устала...

– Прикажите отвезти вас домой, мадам?

– Да, домой... Но прежде остановитесь у какого-нибудь самого простого бистро. Мы выпьем с вами пива.

– Пива?..

– Да-да – пива. Так всегда заканчивал наши ночи Миккей...

Она искала какого-то Миккея!

Мишель останавливается у мрачноватого ночного бистро, где-то за площадью Аббесс. Они входят и занимают столик. Мишель оглядывается.

Сонный апаш у стойки, жалкая пародия на довоенных парижских апашей, смазывает взглядом не без вожделения спутницу шофера и не без враждебности – его самого.

Но это жалкая пародия, и вряд ли у него есть даже нож, не говоря о револьвере, а потому его взгляд Мишеля не пугает.

Хозяин подает бутылку пива. Испанка залпом выпивает два стакана. Ее мучит жажда.

– Мы должны найти Миккея во что бы то ни стало! – заявляет она. – Я очень рада, что встретила такого шофера, как вы. Я очень

довольна вами. Приезжайте завтра за мною, и мы продолжим наши поиски.

Она вынимает деньги, чтобы заплатить за пиво и очень удивляется, когда Мишель опережает ее и платит сам.

– Но ведь я же вас пригласила? – удивляется она.

– Я имею обыкновение платить за дам, в обществе которых я нахожусь, – отвечает шофер, мысленно над собою издеваясь.

Но надо быть последовательным и, когда он привозит ее в отель на площади Вандом и она протягивает две стофранковки, он возвращает ей одну:

– Это за шампанское и за устрицы, мадам! Вспомнив обо мне, вы доставили мне большое удовольствие.

Затем он церемонно кланяется ей и, вскочив «на облучек», дает ход машине. Ночной швейцар почтительно ждет, пока она с изумлением, как на настоящего сумасшедшего, смотрит на Мишеля.

Возвращенную стофранковку, она машинально сует в руку консьержа.

Мишель испытывает особое удовольствие, рассказав Джованни за обедом в маленьком, шоферском кафе, где они обычно встречаются, о вчерашней истории.

Тот только разводит руками.

– Упустить таких американок! – восклицает он горестно – Вернуть этой испанской бешеной корове сто франков! Нет, простите меня, это уже даже не снобизм, а просто... просто...

Он не может подыскать выражения.

– Просто глупость? – добродушно подсказывает ему Мишель.

– Почти что так... – иронически соглашается коллега. – И знаете, дорогой мой, при таких замашках вам лучше продолжать вашу дневную работу... Вы только портите репутацию нам, старым ночным шоферам...

– Успокойтесь, – примирительно говорит Мишель, – я понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом не суются. Но мне простительно, так как я ведь еще новичок в этом «особом мире». Вероятно, мало-помалу и я проникнусь той ночной психологией, о которой вы говорили. Но нельзя же сразу...

Ровно в девять вечера он подъезжает к отелю испанки и посылает шассера доложить, что машина, заказанная ею, подана.

Она выходит успокоенная и приказывает везти ее в «Ликующую устрицу».

По дороге она приоткрывает окошечко и сообщает с радостным видом:

– Сегодня днем он прислал ко мне своего приятеля-дансера – негра Тобби... Оказывается, бедный мальчик вчера ночью совершенно проигрался!.. И как это вы не догадались поискать его по карточным клубам?

– Я не знал его привычек, мадам, – оправдывается шофер.

– Он очень впечатлительный, мой Миккей, и проигрыш всегда плохо отзывается на его нервной системе... Я послала ему с Тобби чек, и Миккей назначил мне по телефону свидание в «Ликующей устрице»... Это его любимое кабаре... Если бы вы знали только, как я счастлива! Я вся дрожу при мысли, что сейчас увижу моего глупого мышонка, моего гадкого Миккея!..

Но, увы! В «Ликующей устрице» она тщетно ждет целый час.

Она выходит оттуда с видом разгневанной богини. Глаза ее мечут молнии. Кулачки в дорогих перчатках сжимаются.

– Он обманул! Представьте себе, он обманул! – восклицает она и шепчет: – Я убью... Я убью...

Такси Мишеля носится всю ночь по улицам Монмартра и Монпарнасса.

Шассеры уже не предлагают ему ни шампанского, ни устриц, но сама она заметно пьянеет.

К утру Мишель привозит ее домой в веселом настроении.

– Черт с ним!.. – заявляет она и хохочет, когда Мишель ведет ее под руку к дверям отеля. – Ну и черт с ним!.. Скверный мышонок!.. Неблагодарный обманщик!.. Я слишком много давала ему денег... Я слишком много ему прощала... Черт с ним!.. Я видела сегодня Тобби и танцевала с ним... Тобби гораздо честнее Миккея и даже красивее, хотя он и негр... На завтра я назначила свидание Тобби...

Она вдруг лукаво смотрит на Мишеля:

– А... может быть, вы?.. Вы еще честнее Тобби...

– Нет, лучше пусть Тобби, мадам! – отвечает Мишель и бережно сдает испанку из рук в руки ночному швейцару.

PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Кем я был? – сплошной негатив:
наплевал на родителей, которые меня любят;
проиграл в карты все деньги;
остался без сантима;
без работы;
без университета;
без жилья;
оказался под мостом;
жил с бродягами;
ел непонятно что и где;
пил то, что пьют бродяги;
трахал непонятно каких баб;
чуть было не стал профессиональным клошаром, но «чуть» не считается.

Знакомые – актер Пьер Батшев (царство ему Небесное!) и Кока

Зуев (друг любезный) вытащили из-под моста на светлую набережную.

Теперь я добропорядочный парижский обыватель.

Мне нравится этот обыватель.

Он чуть не устроился работать к Ситроёну, но в этом году все вакансии заняты, обещают в конце следующего года, говорят, что он – среди первых в картотеке, хотя другим претендентам, вероятно, говорят то же самое.

У него есть жилье, зарплата, работа;

он – страж порядка, боец ночной муниципальной стражи: ремни, шинель, револьвер; проходит сквозь наглые морды апашей (разве это апаши? говорят, вот до войны были бандиты – не чета нынешним) – мимо;

дальше – заискивающие мордочки проституток (среди них встречаются такие розанчики!..) – мимо;

жуликоватые физиономии ресторанной и гостиничной обслуги (накормят под настроение и под настроение нажалуются командану на мое дежурство) – мимо.

Так что, парижский обыватель, будь доволен тысячью франков, которые получаешь за ночное дежурство.

Я, парижский обыватель, – доволен.

Сегодня я видел Вонючую старуху. Наконец-то лицезрел это чудовище, страх знакомых проституток.

Я нарочно посмотрел ей в глаза, но она не заметила. Взор ее мутен и расплывчат, как ночь, туманная и промозглая. Однако Большая Генриетта права, и встреча тотчас принесла мне неудачу.

Уже было далеко за полночь, когда я услыхал испуганный и визгливый крик Большой Генриетты. Человек в кепке и шарфе, одноглазый, со шрамом на лице, вырывал сумочку. Из-за угла спешил знакомый «буржуа» с рыжими усами. Сутенер оказался его невольным помощником, так как удерживал Генриетту. Я подскочил сзади к сутенеру и, дав ему здорового тумака, оторвал от жертвы.

Большая Генриетта спасена. Прижав к груди сумочку, она бросилась бежать.

Сутенер размахнулся было, но я сшиб его с ног и прижал к земле.

– Будешь дергаться – пристрелю, – пообещал я, зная, что не сделаю этого. Но он замер.

«Буржуа» был вне себя от негодования.

– Послушайте, черт вас побери! – завопил он, брызгая слюной, – на кой дьявол вы вмешиваетесь не в свое дело? Сторожите себе ваши двери и не суйте рыла туда, куда не следует!..

– Я защитил женщину от этого негодяя, – ответил я, осторожно выпуская апаша из своих объятий. – Это – мой долг, не только как стражника, но и как мужчины... А по какому праву вы суетесь ко мне со своими замечаниями?

– Вы мне помешали задержать Большую Генриетту. Эта развратница опять улизнула от меня...

Он готов был разразиться новым потоком ругательств и угроз, но подошел бригадир, и рыжий обратился к нему с жалобой, уже официально. Бригадир вынул блокнот, посмотрел на меня, покачал головой и аккуратно всё записал, но не сделал никакого замечания. «Буржуа» удалился.

Я вдруг вспомнил, как в Константинополе, куда мы с братом прибыли после бегства из Крыма, мы увидели в отеле голых девушек и очень удивились. Мы еще не знали, что половину отеля занимал публичный дом.

Оставалось около часа до конца дежурства, когда у отеля остановилась мощная, красивая машина. Из нее вышел, слегка пошатываясь, полный представительный господин лет под шестьдесят, седой, но с юным румянцем.

– Который час? – спросил он.

На руке у него блестели золотые часы-браслет, но я уже привык ничему не удивляться, посмотрел на свои часы и ответил.

– Где еще можно выпить в Париже?

Он говорил с сильным американским акцентом.

Я назвал два ночных ресторана, открытых до раннего утра.

– Очень хорошо... – сказал он и вдруг, качнувшись, пытаясь удержаться на ногах, взял меня за плечо. – В таком случае – садитесь!

– Куда? – я снял его руку с плеча.

– Ко мне, в автомобиль...

– Я вас не понимаю.

– Мы поедем с вами пить... Я хочу допивать именно с вами.

– К сожалению, не все желания исполнимы на этом свете... – я спокойно ответил ему. – Я на посту и освобожусь не ранее, как через час...

– Ерунда... Поедем, я заплачу за вас штраф...

– Тут пахнет не штрафом. Меня выгонят со службы.

– А сколько вы получаете?

– 32 франка в ночь.

– 32 франка?

Он прислонился к колонне и долго беззвучно хохотал, повторяя:

– 32 франка... 32 франка... 32 франка...

Потом он вынул сигару, сунул в рот и попытался ее зажечь.

– 32 франка!.. Видите эту сигару? – Она стоит две ваших ночи и плюс еще пять франков, а ее можно выкурить в 10 минут!..

Я пожал плечами. Он мне наскучил. Американец сунул мне свою сигару.

– Месье, я уже дал вам адреса, и вы можете отправляться...

– Я поеду только с вами.

– Тогда ждите...

– Я – ждать?!!

Ждать ему в жизни, очевидно, не приходилось...

– Послушайте... Бросьте ко всем чертям эту вашу службу! Я дам вам 320 франков в сутки, и вы будете моим личным секретарем... Садитесь в машину!..

Я перевел глаза на часы:

– Ровно через 40 минут, месье, могу быть в вашем распоряжении.

Он вдруг рассвирепел:

– Теперь или никогда!..

– Значит – никогда...

– Никогда!.. – он заскрипел зубами в бессильной злобе от того, что его каприз не захотел исполнить человек, за 32 франка всю ночь стоящий на улице. – Никогда! Никогда! – зарычал он и, шатаясь, направился к автомобилю. – Никогда! – еще раз крикнул он, усевшись, и погрозил кулаком.

Я смотрел на него, грея руки в карманах шинели, вызывающе улыбался и дымил его сигарой за 75 франков штука...

Мне казалось, что вся беднота Парижа участвовала в этот момент в великолепном торжестве моей несложной мести...

– Вас требует командан! – сказал мне дежурный инспектор, когда я возвратился в штаб.

Я подошел к его столу.

– На вас подана жалоба агентом полиции нравов...

Что сказать? Жалоба есть жалоба..

Командан посмотрел на меня и отвернулся к окну.

– Регламент – сказал он с напускной официальностью, – запрещает стражникам отвлекаться от своих прямых обязанностей. Вы должны были только подать свисток и продолжать ваш обход...

– Я виноват, господин командан... – спокойно ответил я.

Тогда он встал и подошел к мне.

– Я понимаю вас! – вдруг сказал он. – На вашем месте я сделал бы то же самое...

И крепко пожал мне руку.

УКРАИНА. МАРТ 1933. АРТУР

Вечером к Артуру постучал сосед, инженер Диденко – он работал в управлении Южной железной дороги. В руке инженер держал бутылку водки.

– Не составите ли компанию? – поинтересовался он.

Артур составил.

– Ну, за пролетарскую солидарность! За Коминтерн! – поднял первую рюмку сосед.

После третьей язык инженера развязался.

– На той неделе вызывает меня к себе в кабинет начальник дороги Лившиц. – Мне неприятно говорить, но вы будете заниматься

спецперевозками. Наша дорога обязана ежедневно предоставлять в распоряжение ОГПУ полтораста вагонов для спецперевозок. Вагоны подаются нерегулярно. Ваша обязанность – устранить задержки.

– А что за спецперевозки? – не понял Артур, закусывая кислой капустой.

– Да я тоже сначала не понял. Оказалось – вывоз трупов людей, погибших от голода в украинских городах.

Артура пробил холодный пот. Капуста застряла в горле.

– Трупов?

– Ну да! У нас в Харькове на Холодной горе – знаете? – по Университетскому шоссе, больница № 12. Там – десять деревянных бараков и большой двор, огороженный колючей проволокой. Так вот, специальные бригады от ОГПУ свозят в эту больницу трупы со всех концов Харькова. К вечеру весь больничный двор и бараки заполняются. Ночью подаются вагоны – начинается погрузка.

Артур отложил вилку.

– И куда их везут?..

Инженер налил по очередной.

– ГПУ знает куда. Специальные рвы вырыты. В Харькове каждую ночь загружается до тридцати вагонов.

– Дела… – только и произнес Артур.

– Да, дела... – сосед выпил. – На Южной железной дороге 27 таких погрузочных пунктов. Не меньше и в Полтаве.

Артур выпил.

– В Полтаве? – не понял он.

Диденко кивнул.

– В Полтаве. Там вообще трупы складывают штабелями, как шпалы, вдоль железнодорожной ветки… Да вы закусывайте, закусывайте!..

Он перепечатал рукопись в нескольких экземплярах и послал в издательства, заключившие с ним договоры на будущую книгу, – в Москву, Харьков и в Ленинград. Он прекрасно понимал, что издавать его согласились потому, что у него имелось письмо от Коминтерна; его посчитали сотрудником, а может, и штатным работником, организации, о которой большинство смертных имело лишь романтическое представление. Ответа из издательств он не получил и был благодарен за авансы, которые ему выдали и, конечно, никто не потребовал их назад. (Через много лет один из его поклонников, библиофил и архивист, удивил Артура, прислав его книгу, изданную на немецком языке в Харькове в 1934 году. Книга называлась в стиле времени – «Красные дни».)

Но пока Артур еще ждал ответа.

Алекс и профессор Шубников, руководивший лабораторией

физики низких температур, играли в карты. Артур равнодушно наблюдал за игрой. Профессор вдруг задумчиво произнес:

– Теперь они рейхстаг подожгли. И зачем это им понадобилось?

– Что? – воскликнули Алекс и Артур.

– А вы не слышали? По радио передавали: нацисты подожгли ваш парламент.

Артур и Алекс переглянулись – они поняли, что это значит. В первые недели после того, как Гитлер возглавил коалиционное правительство, нацисты пытались соблюдать видимость законности и демократических норм. Теперь настал час отбросить всякое притворство. Был дан сигнал начинать террор. Германия превращалась в тоталитарное государство.

Артур принялся паковать вещи, намереваясь безотлагательно ехать в Германию, хотя Алекс уговаривал дождаться вечерних новостей, выяснить всё подробнее. Артур согласился – он еще верил, что партия выйдет на баррикады. Сколько твердили о баррикадах в революционных речах, сколько пели о них в революционных песнях!.. Однако вечерние известия уничтожили последние иллюзии: баррикад никто не строил. Партия, даже на последних выборах набравшая пять миллионов голосов, сдалась без борьбы. Гитлер победил вчистую, и победу его никто не оспаривал.

В тот вечер жизнь Артура полностью переменилась, хотя он не сразу это заметил. Он превращался в политэмигранта, каковым ему предстояло оставаться ближайшие тринадцать лет…

На лестнице Артур столкнулся с соседкой Ваксбергов – она жила на той же лестничной площадке, занимала большую комнату с двумя окнами. Соседка была «из бывших» (как характеризовала ее с улыбкой Ева), преподавала в школе иностранные языки.

Артур догадался, что она ждала его.

Женщина поздоровалась по-немецки.

– У вас прекрасный немецкий, – похвалил он.

– Спасибо. У меня хорошее воспитание – меня учили языкам с детства.

Артур улыбнулся.

– Я бы с удовольствием поболтал с вами, мало с кем из местных жителей можно поговорить на хорошем немецком.

Женщина решилась.

– Извините, ради Бога. Вы уезжаете в Германию, простите, я слышала разговор.

– Да, – подтвердил Артур, ожидая продолжения.

– Не могли бы вы передать письмо? Нет, я не то говорю. Просто бросить письмо в почтовый ящик. Правда, надо наклеить марку… Вы, наверно, знаете, что у нас письма за границу… не поощряются. Это сугубо личное письмо! Моей сестре.

Артур посмотрел на нее с удивлением.

– И вы не боитесь говорить мне?

Женщина состроила гримасу.

– Чего мне бояться? Я уже пожила. А вы производите впечатление интеллигентного человека. Что редкость сегодня…

Артур поклонился.

– Вы мне льстите. Конечно, я возьму ваше письмо и брошу его в почтовый ящик в Германии. Надеюсь, в нем нет никаких военных тайн? – усмехнулся он.

– Никаких, – улыбнулась она в ответ. – Это письмо моей сестре, которую я не видела с девятнадцатого года.

– Ого! Пятнадцать лет?

Она кивнула.

– Да. Пятнадцать лет.

– Но... адрес мог переменится...

Женщина уловила сомнение в его голосе.

– Адрес верный, поверьте мне. По этому адресу они живут с двадцать второго года.

Она протянула конверт.

Артур спрятал его в карман пиджака.

– Хорошо. Обещаю бросить в почтовый ящик. В первый же день, как приеду в Германию.

Женщина пыталась успокоить его подозрения.

– Моя сестра... У нее двое детей, мальчики... уже большие... Я их помню крошками.

Артуру стало неловко.

– Я обещаю, – снова повторил он. – Всего хорошего. Прощайте.

Он помахал рукой.

На лестнице мелькнула мысль: будут меня обыскивать на границе или нет?

Утром его провожали на вокзале. Шел мелкий дождь. Алекс произнес странную выспренную фразу:

– Что бы ни случилось, Артур, будь верен Советскому Союзу!

Артур с удивлением посмотрел на товарища, потом понял, что иначе тот не мог пожелать ему счастливого пути – они не одни стояли у вагона. Он скривился, но Алекс не так понял и погрозил ему пальцем. Шубников помахал рукой.

Через три года на допросе профессор Шубников покажет, что Алекс был немецким шпионом, который завербовал его, Шубникова, и других сотрудников института – Ландау, Трофимова, Ляпунского… К нему приезжал резидент (не иначе!) германской разведки из Гестапо, какой-то Артур (фамилии не знает), он имел документы от Коминтерна, явно фальшивые.

Артур не мог не заметить азиатской отсталости жизни, апатичной толпы на улицах, в трамваях и на вокзалах; невероятных жилищных условий, из-за которых все промышленные города казались одной огромной трущобой (две-три пары в одной комнате, разделенной висящими простынями), голодных кооперативных пайков или того, что цена килограмма масла на рынке равнялась среднемесячной зарплате рабочего; но он научился оценивать факты не сами по себе – не в статике, а в динамике.

Жизненный уровень низкий? Но при царе он был еще ниже. Трудящимся в капиталистических странах живется лучше, чем в Советском Союзе? Но это сравнение в состоянии статики: здесь уровень постоянно рос, а там – постоянно снижался. В конце пятилетки положение сравняется; до тех пор всякое сравнение неправомерно и только вредит состоянию духа советских людей.

Поэтому он принял, как неизбежность, не только голод, но и запрет на заграничные поездки, иностранные журналы и книги и искаженное до абсурда понятие о жизни в капиталистическом обществе.

Поначалу он вздрагивал, когда после лекции слышал вопросы, вроде таких: «Когда вы оставили буржуазную прессу, отобрали ли у вас продовольственные карточки и выбросили ли вас тут же из комнаты?», «Сколько, в среднем, умирает от голода французских семей: а) в сельской местности и б) в городах?», «Как удается нашим товарищам на Западе отсрочить военную интервенцию, которая готовится при поддержке социал-фашистских предателей рабочего класса?» Вопросы были тщательно сформулированы на новоязе эпохи Джугашвили. Вскоре он стал их считать вполне естественными. В них всегда была крупица правды – преувеличенная и упрощенная в соответствии с запросами пропаганды; но пропаганда была жизненно необходима для Советского Союза, окруженного со всех сторон врагами.

Необходимость лжи, необходимость клеветы, необходимость устрашения масс, чтобы уберечь их от ошибок; необходимость ликвидации оппозиционных групп и враждебных классов; необходимость жертвовать целым поколением в интересах следующего – может, это всё звучит чудовищно, однако это было легко принять, несясь по накатанной колее веры.

Артур заметил в СССР широко развитую систему привилегий. В городах он видел всеобщий страх и недоверие даже близких людей друг к другу. В Харькове он читал газету, в которой не было ни слова о голоде, об эпидемии тифа, о вымерших целиком деревнях; ни разу в харьковской газете не было упомянуто даже то, что в Харькове нет электричества.

Хоть Артур и сохранил веру в коммунизм, жизнь в России производила на него гнетущее впечатление. Только теперь, в ожидании отъезда, он посмел самому себе признаться в этом. Он видел вокруг серую тупую толпу, на лицах застыла маска злобы, зависти и ненави-

сти ко всем и ко всему, и он не мог понять почему – кто же их обидел? Он вдруг понял, что ответ есть. Готовый ответ, но он его боится. Нет, нет, так не бывает, так не может быть, отвечал он сам себе, отбрасывая тот самый верный и беспощадный ответ.

У нас всё будет по-другому повторял Артур как молитву, как заклинание.

Он не мог поверить, что иначе не бывает. Ему было страшно признать, что он уверовал в ложь, – в ту ложь, в которую поверили тысячи; он еще не знал, что когда ложь очень большая – в нее верят многие. «Идея – идеальна, – думал он, – она должна остаться; не может быть, что это – химера. Так зачем тогда жить?»

А голос внутри него ответил: для того и жить, чтобы не верить в химеры, жить вне догм, а мыслить собственной головой, не быть болванчиком готовых формулировок.

«Нет, у нас все будет по-другому. – И тут он себя обрывал: – Как по-другому? Кто же позволит быть по-другому?»

При всех сомнениях, он боялся разувериться окончательно, сомневался, что после буквы А идет буква Б, а затем – прочие буквы алфавита. *Родина трудящихся, бульвар тружеников, царство пролетариата* – все эти коммунистические заклинания всплывали в голове. Артур путешествовал по Советскому Союзу свободно и увидел больше того, что мог заметить обычный иностранец. В глубине сознания всё увиденное отложилось, но до поры до времени он находил оправдания и потому оставался в партии еще пять лет.

ПРЕССА

Берлин, 27 февраля (от соб.кор.)

Горит здание рейхстага. Около 10 часов вечера огонь вспыхнул одновременно в шести местах. К 12 часам ночи пожар еще не был потушен. Совершенно сгорел зал заседаний. Из купола рейхстага вырывается пламя. На пожар вызваны все берлинские пожарные команды. Около 11 час. вечера к месту пожара приехали канцлер Хитлер, вице-канцлер фон Папен и Геринг.

В 12 час. ночи стало известно, что полиция задержала неизвестного, которого подозревают в поджоге, личность задержанного установить пока не удалось.

Берлин, 27 февраля (от соб.кор.)

Выясняется, что арестованный – голландский коммунист. Предполагают, что в здании рейхстага укрылись другие злоумышленники.

Коммунистическая твердыня в Берлине
Подвалы Дома Либкнехта. Инструкция о расстрелах

Берлин, 27 февраля

Политическая полиция, под руководством нового начальника Дильса, раскрыла новые подробности оборудования коммунистической главной

квартиры Дома Либкнехта. Кроме подземных выходов, ведущих на соседние улицы, обнаружены также тайные подвалы с большим количеством революционных пропагандистских материалов. В комнате сторожа обнаружен трап, находившийся под кроватью; через этот трап по узкой лестнице можно было спуститься в погреб, из которого открывался целый лабиринт подземных ходов.

Тайные документы

Найденные в потайных погребах Дома Либкнехта документы чрезвычайно характерны. Имеются литографированные конфиденциальные записки о русской революции, на примере которой должны были учиться коммунистические начальники отрядов. Указывалось, как при начале революции следует захватить наиболее видных граждан и в каких случаях их немедленно расстреливать.

Тайные помещения были настолько умело спрятаны, что при обысках в доме Либкнехта они ни разу не были обнаружены.

Комната сторожа

Руководящим центром всего здания была указанная комната сторожа, из которой можно было сигнализировать об опасности в любой конец здания. Как только из этой комнаты замечали приближение полиции, нажималась кнопка, автоматически замыкавшая тяжелую железную дверь здания; в то же время сигнальный звонок предупреждал обитателей здания о приближении «врага». Пока полиция с помощью слесарей вскрывала дверь, коммунисты всегда успевали убрать наиболее подозрительные материалы в потайные помещения, а те лица, которых разыскивали, имели достаточно времени, чтобы уйти по подземным ходам.

Потайной ход

Имелось, наконец, особое место на случай, если бы полиция все-таки застала коммунистов врасплох. На пятом этаже здания был проделан низкий потайной ход в стене, по которому приходилось пробираться ползком, в нем могли укрыться коммунисты, не успевшие уйти по подземным ходам. В этом верхнем тайном ходе обнаружены любопытные секретные документы.

Дом Карла Либкнехта еще не скоро будет очищен полицией. Каждый день приносит новые открытия. Полагают, что раскрытие всех тайн коммунистической твердыни потребует нескольких недель.

«Возрождение» (Париж), 28 февраля 1933

Пожар рейхстага должен был служить сигналом к беспорядкам
Отмена конституционных гарантий
Декрет об охране народа и государства

После заседания Совета министров, о котором сообщается ниже, поздно вечером в Берлине был опубликован декрет об охране народа и государства. Декрет подписан президентом Гинденбургом и дает обширные полномочия имперскому правительству для борьбы с политическими проступками и преступлениями.

На основании этого декрета Конституционные гарантии отменены. Статьи 114 и 118 Веймарской конституции отменены по всей территории

Германии, и имперское правительство будет иметь право брать в свои руки исполнительную власть в отдельных государствах [административных федеральных землях], которые не примут необходимых мер для реализации распоряжений декрета. Неприкосновенность личности, свобода печати, неприкосновенность жилища отменены. Всякое сопротивление принятым для порядка мерам наказывается каторжными работами. Поджоги, отравления, государственная измена наказывается смертной казнью. Политические покушения на президента и на министров наказуются каторжными работами и смертной казнью. На основании этого приказа в Германии вводятся меры, которых по строгости своей она не знала никогда в мирное время.

Аресты коммунистов

Берлин, 28 февраля.

Среди коммунистов произведено много арестов. Арестован лидер коммунистической партии Тельман, бывший кандидат в президенты в 1925 и 1932 гг. Задержаны также коммунистические лидеры Торглер и Реммеле. Торглер сам явился в полицию в сопровождении адвоката и заявил, что слухи о том, будто он был в здании рейхстага незадолго до пожара, являются вымыслом. В общем арестовано 130 человек. Среди них известный коммунистический писатель Людвиг Ренн, а также редактор радикального еженедельника «Вельтбюне» Оссецкий.

План коммунистического переворота

Согласно сообщению прусского министра внутренних дел Геринга из материалов, найденных в Доме Либкнехта, явствует, что пожар рейхстага должен был послужить сигналом для революционных выступлений. С утра во вторник сторонники III Интернационала должны были начать уличные беспорядки с разгрома мясных и других продовольственных лавок.

Среди бумаг, захваченных у лидера коммунистов Тельмана, найден список заложников, которых коммунисты хотели арестовать с первого дня «красной революции».

«Возрождение» (Париж), 29 февраля

США. ОЛЕГ ОЛОНЕЦКИЙ

Яков Голос был низеньким, непривлекательным мужчиной, с морщинистым лицом и бесцветными глазами, которые никогда не смотрели прямо на собеседника. Мало кто знал, что он вступил в Компартию США сразу же после ее основания. Затем он публично вышел из нее, но не потому, что разочаровался в идеях коммунизма, нет. Просто он стал работать на советскую разведку и руководить деятельностью доброй сотни агентов. Зачем такому человеку откровенные связи с коммунистами? Не нужны они такому человеку.

Тем более хозяину небольшой, но прочно стоящей на ногах туристической фирмы.

На работу Олега Олонецкого взяли сразу же, как только он показал свои документы, рассказал о прежней службе в Германии, не забыл небрежно положить на стол несколько собственных буклетов.

Он еще не разбирался в политических реалиях Соединенных

Штатов, когда на выборах победил Рузвельт. Но как не приветствовать «новый курс»! Отменен сухой закон, безработица резко пошла вниз, и люди чаще стали заходить в туристическое бюро Голоса…

В конторе, где кроме Олега работали четыре человека, не говорили о политике, но несколько раз он слышал такие фразы, как «лучше стало буржуям», «бедные не стали богаче», «при безработице наши кадры растут». Что за кадры? Почему они должны расти? Странные разговоры... но он был новичком и списывал незнание на то, что надо прожить достаточное время, чтобы понять нюансы политической жизни страны.

Голос поощрял его, поручая Олегу несложные дела – например, коллективные экскурсии студентов или путешествия в экзотические места Южной Америки.

Подобные маршруты давно налажены и апробированы, ошибиться трудно. И Олег не ошибался – дело знакомое, пусть и на американский манер. Он сходу освоил терминологию и формы обращения, бытующие в фирме.

Сам же Голос нашел, как он объявил, золотую жилу – Советский Союз. Эту экзотическую страну многие хотели посмотреть.

– Там чудеса! – распинался Голос перед каким-то клиентом, который мечтал посмотреть на Ленинград (бывший Петербург).

«Там чудеса, там леший бродит», – чуть не произнес Олег, но сдержался.

– А вы, молодой человек, как относитесь к нашему новому направлению? К Советской России? Вы, кажется, знаете эту страну?

Голос смотрел в упор, но Олег только улыбнулся.

– Меня увезли оттуда мальчиком, ничего не помню, – соврал он, – только снег…

– Ничего, язык русский вы не забыли?

Олег настороженно посмотрел на него. Голос доставал из шкафа какие-то папки.

– Кажется, нет.

Голос нашел нужную папку.

– Вот и хорошо. Будете знакомиться с новостями Советского Союза. Это дайджест, всевозможные цитаты, статейки, заметки из московских изданий…

Олег не знал, что накануне его первого визита у Голоса появился мистер Гольдинг и сказал:

– Я вам нашел хорошее прикрытие – эмигрант, бывший князь, – нет-нет, настоящий князь, молодой мужик, олух царя небесного, в политике не разбирается…

– Прикрытие – это хорошо, – тянул Голос.

– А, вы о работнике! – успокоил Гольдинг. – Он служил несколько лет в туристической фирме, профессионально играл в футбол, получил травму… Используйте его.

– А как насчет…

Гольдинг понял.

– Не надо его вербовать. Он из другого сорта людей. Просто держите его как вывеску. Он ни о чем не должен знать.

– Разумеется.

Голос объяснял Олегу.

– Турагенты не владеют средствами для обслуживания путешественника, а лишь выступают посредниками между предприятием туристского обслуживания и покупателем туристской путевки, продвигая и реализуя туристский продукт. Вы это понимаете без меня. Но вот…

– Шеф, я четыре года работал в этом бизнесе, – кивнул Олег.

Голос поднял указательный палец и помахал им.

– В Европе, князь, в Европе… Всё по-другому…

Олег скорчил гримасу:

– Так давайте приблизим Европу к Америке, шеф! Вы сами вчера говорили, что нельзя ориентироваться только на богатых людей. Средний класс – вот основа любого туризма...

Голос согласно кивнул и взглядом указал на женщину, которая сидела за столом мисс Сполинг.

– Вот вам объект – дама хочет в Европу… Мисс Сполинг, можно вас на минуту?

Олонецкий подмигнул мисс Сполинг и сел на ее место.

Клиентка вопросительно уставилась на него.

– Мы вам предлагаем экзотику – старая Европа, рыцарские замки и черепичные крыши. Германия – страна чернокнижников и алхимиков, Шиллера и Гете, Бетховена и Гайдна…

– И нацистов.

– Ах, что такое нацисты? Была одна партия у власти, сегодня – другая, послезавтра – пятая. Не относитесь к нацистам серьезно. Разве коммунисты лучше? Неужели вам нравится Сталин?

– Но Сталин строит новое общество!

– Ну, Хитлер тоже говорит, что строит новое общество. Кому вы больше верите?

– Ха-ха-ха.

– Замечательно. Возьмите путевку – поездите, посмотрите, потом расскажете всем. Потом приходите к нам – мы вам оформим путевку к Сталину. Ха-ха-ха. В Россию. Очень интересно. Вы съездите туда, посмотрите и сравните.

– Прекрасная идея. Я так и сделаю.

– Замечательно. Вот заполните, пожалуйста… Договор… Финансовое обязательство. Вы через какой банк произведете оплату?

– Через BNY.

– Хорошо.

– Я выпишу чек.

– Пожалуйста. Только разрешите посмотреть ваше удостоверение личности, водительские права. Я обязан записать ваше имя и фамилию. В Германии, несмотря на нацистов, порядок сохраняется. Вот свежее расписание немецких поездов. По всей Германии, в любое место. Самое свежее, возьмите его с собой, может пригодится.

– Боже, какой сервис!

– Да, мадам. Вот буклет, возьмите и его, пожалуйста. В нем указаны цены на завтраки и обеды в типичных немецких ресторанах. Правда, со скидкой на прошлый год… Но думаю, едва ли они сильно изменились. Да и едете вы с долларами, а доллару – как всем известно – путь везде открыт.

К Юрию подошел хозяин.

– Отличная работа!

Тот усмехнулся – не видал Голос настоящей работы Олонецкого в Мюнхене, а сейчас – так, мелочи, побрякушки, как говорит Лида.

– Стараемся, шеф.

PARIS. ВЕСНА. МИШЕЛЬ.

– Шофер, свободен?

Мишеля отрывают от созерцания прошлого.

– Садитесь. Куда везти?

– На улицу Колизе.

– В канцелярию РОВС? Здравствуйте, Евгений Викторович.

– А, Михаил… Туда. Давно не виделись. Да?

– Считайте полгода.

Пассажир – старый знакомый Мишеля: поэт и журналист Тарусский. Мишель тихо запел.

Я – шофер...
Но не тот я – парижский шофер-буржуа,
чья размеренно жизнь течет, как вода,
кто обедает ровно всегда «а миди»,
в «Рандеву де шофер», в небольшой брассери...
ест салат, наполняя свой «вер»
неизменным всегда «ординэр»
и, задумчиво глядя в спокойную даль,
набивает «сапип» табаком «капораль»...

Пассажир улыбался, слушая свою песню.

– Вы, Евгений Викторович, не думайте, что я… одним словом, ваша песня про меня, я вам уже говорил. И жена моя, хотя и француженка, а понимает, про что песня, и любит, когда я ее напеваю. Она мне даже подпевать пытается! Это про меня вы написали. Это я всегда обедаю именно в двенадцать, в маленькой забегаловке на набе-

режной Вальми или в шоферском бистро; беру салат, бокал вина или кружку пива, и курю я «капораль»…

– Как ваши дела, Михаил? – искренне интересуется поэт.

– Спасибо. Жаловаться – грех. Но работы много.

– Вы и ночью работаете?

Мишель всматривается вдаль – показалось, что полицейский на углу. Нет, это военный…

– Очень редко, Евгений Викторович. Я не люблю ночной работы. Она, конечно, выгоднее, больше заработаешь… Но потом целый день в себя приходишь, сон испорчен… Да и бандиты…

– Бандиты? – не поверил Тарусский.

– Бандиты, – равнодушно подтвердил водитель. – В прошлом месяце среди ночи остановили шофера из нашего гаража, француза, вынули ножи и отняли всю выручку.

– А полиция?

Мишель поморщился.

– Что полиция! До сих пор ищут…

Я – шофер...
Я – шофер этих ярких, монтмартрских ночей,
когда режет глаза электрический свет фонарей,
когда женщины с пурпуром крашеных губ
отдаются в фокстроте, а негр в джаз-банде так груб...
Я – шофер...

Поэт подхватил:

От холодных лучей многоцветных реклам
закрываю глаза и душою я там...
далеко от парижских, ночных кабаков...
под знаменами старых, российских полков,
тех могучих детей Великана Петра,
чье во всех прозвучало столицах «ура»!..

Оба вспомнили, как познакомились на литературном вечере в прошлом году в Обществе галлиполийцев. Выступали поэты, Цветаева декламировала отрывки из поэмы «Перекоп», и все дружно ей аплодировали.

Потом ведущий – однополчанин Мишеля по Гражданской войне, ныне рассыльный в железнодорожной конторе, объявил.

– А теперь, господа, предоставляю слово хорошо известному вам по журналу «Часовой» поэту и писателю Евгению Викторовичу Тарусскому.

В зале замолчали.

Тарусский вышел на сцену, достал тетрадку, посмотрел в зал, стал читать…

Позже, когда закончился вечер и стали расходиться приглашенные и участники, Мишель, стесняясь, подойдет к Тарусскому.

– Прошу прощения за беспокойство, господин Тарусский. Это вы написали песню про шофера?

Тот всматривается в Мишеля.

– «Монмартрский шофер»? Я написал. А что?

– Я тоже шофер. Очень трогательно. Словно про меня песня. Вы далеко живете? Давайте я вас подвезу – у меня машина на той стороне, здесь запрещено ставить... Бесплатно отвезу – я вас очень уважаю...

– Ну спасибо. Сами где служили?

– В Северо-Западной армии генерала Родзянко, а затем Юденича. Поручик Талабского полка полковника Пермикина, потом вместе с ним в Третьей Русской армии в Польше, два ранения…

ПРЕССА

Сообщение ОГПУ

За последнее время органами ОГПУ раскрыта и ликвидирована контрреволюционная вредительская организация в некоторых органах Наркомзема и Наркомсовхозов, главным образом в сельскохозяйственных районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии.

Арестовано свыше 70 человек…

На основании постановления ЦИКа Союза ССР от 15 ноября 1923 года, коллегия ОГПУ, рассмотрев в судебном заседании от 11 марта 1933 г. дело арестованных – выходцев из буржуазных и помещичьих классов, государственных служащих в системе Наркомзема и Наркомсовхозов, – по обвинению их в контрреволюционной вредительской работе в области сельского хозяйства в районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии, постановила:

За организацию контрреволюционного вредительства в машинно-тракторных станциях и совхозах ряда районов Украины, Северного Кавказа и Белоруссии, нанесшего ущерб крестьянству и государству и выразившегося в порче и уничтожении тракторов и сельскохозяйственных машин, умышленном засорении полей, поджоге машинно-тракторных станций, машинно-тракторных мастерских и льнозаводов, дезорганизации сева, уборки и обмолота с целью подорвать материальное положение крестьянства и создать в стране состояние голода,

ПРИГОВОРИТЬ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – РАССТРЕЛУ – нижеследующих, наиболее активных участников указанной контрреволюционной вредительской организации…

Приговор приведен в исполнение.

Председатель ОГПУ В.Менжинский.

«Правда» (Москва), 12 марта 1933

Большевики об эмиграции

«Правда» от 13 марта посвящает эмиграции длинную статью, которую благозвучно озаглавливает «Не вовсе подохшие». В статье говорится о «Возрождении» и «Последних Новостях», в особенности, о выступлении ген.

Деникина на открытом собрании 27 февраля. Юбилейный фельетон г. Милюкова советская газета резюмирует так:

«Размазав, таким образом, грязь на целый газетный подвал и доказав наглядно, что в контрреволюции подвиг совпадает с грязью, потому что она и составляет его историческую сущность, Милюков заканчивает меланхолически – мои воспоминая вышли не очень праздничны, но ведь сегодня не праздник, а день поминовенья».

Из речи ген. Деникина большевикам особенно запомнилась фраза, в которой он «призывал деятелей белой эмиграции к организации террористических выступлений против советской власти». В подчеркивании этой фразы чувствуется вечный страх большевиков перед элементами эмиграции, не свернувшими знамена борьбы против них.

«Возрождение», 17 марта

ПАРИЖ. МАЙ. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Юрий сдал оружие и служебную книжку и увидел Зуева, – тот тоже окончил свое дежурство. Приятели улыбнулись друг другу.

– Ты куда? – поинтересовался Зуев.

– Домой, отоспаться.

– Хочешь заработать 100 франков?

– Сто франков? Конечно хочу.

– Пойдем сниматься в кино.

– В кино?

– В кино. Изображать толпу у вокзала. Я уже записался. Там всегда требуются статисты.

– Статисты?

– Ну да. Те, кто изображают толпу. Тебя тоже возьмут.

– Пойдем… Но я хотел поспать…

– Отоспишься! Тебе сто фраков не нужны?

– Нужны. Пойдем.

– Съемки будут до обеда, может, часов до двух. А затем – дадут деньги, и ты свободен. Иди, отсыпайся.

Действительно, несмотря на ранний час, у вокзала рядом с газетным киоском стояла группа, человек тридцать, которая слушала мужчину в белом картузе. Зуев подошел к нему, показал на Олонецкого и сообщил, что его друг тоже хочет участвовать в съемках.

Человек в белом картузе достал белый блокнот и записал фамилию.

– Хорошо. Вы двое будете покупать газеты в киоске. Понятно?

Зуев и Олонецкий согласно кивнули.

– Не сейчас, а когда приедет оператор с помощником, кстати, вот они и прибыли, – добавил в картузе и отошел за угол к подъехавшему автомобилю. Оттуда вылез молодой человек с коробкой в руках, затем женщина с чемоданчиком и последним – высокий брюнет с прилизанными волосами, который с помощью шофера вынес большой ящик и поставил на тротуар.

– Привет, Михалыч! – приветствовал шофера Зуев.

Тот кивнул, но в разговор вступать не стал, а сокрушенно развел руками – дескать, извини, друг, работа.

– Знакомый мой, тоже бывший офицер, – пояснил Зуев, глядя вслед отъезжавшему автомобилю.

– С тобой служил? – поинтересовался Юрий, наблюдая, как приехавшие распаковали ящик, достали штативы и устанавливают на одном из них киносъемочный аппарат. На другом штативе укрепили прожектор.

– Нет, он в Северо-Западной армии. Мы ему с Костей Григоровичем-Барским душ смастерили.

– Душ? – не понял Юрий.

– Ну да. Мы с Костей на стройке работали, Михалыч попросил, мы ему душ смастерили. Честь по чести, как в приличном доме, отгородили металлической загородкой…

– Постой, я с Григоровичем-Барским учился в гимназии леди Дитердинг...

– Это его отец.

– А... – понял Юрий, вспомнив, что и Зуев старше его, и приятели товарища гораздо старше.

К ним подошла девушка в поношенном пальто и в модной шляпке.

– Извините, господа, я слышала, вы по-русски разговариваете.

Они повернулись к ней.

– Да, барышня, мы русские, – сухо ответил Зуев. – Чем могу служить?

Девушка прямо смотрела на него.

– Я первый раз здесь… Скажите, это страшно – сниматься в кино?

Олонецкий усмехнулся.

– Я тоже первый раз и не боюсь.

– Вы мужчина, потому и не боитесь, а я женщина, мне страшно...

Зуев удивленно уставился на нее.

– Чего же вы боитесь?

– Как чего? А если я не понравлюсь и меня выгонят…А мне деньги очень нужны…

Зуев безапелляционно отмел возражения.

– Никого отсюда не выгоняют. За что вас выгонять? Вы изображаете толпу. И мы изображаем толпу. Вы когда-нибудь видели, чтобы толпу разгоняли?

Девушка кивнула.

– Да. Видела. Полиция разгоняла толпу...

Олонецкий улыбнулся.

– Полиция – другое дело. Такая у полиции работа. А мы с вами изображаем обычную уличную публику. Правда, Кока?

Зуев кивнул с видом знатока.

– В прошлый раз я был легионером в древнем Риме, – признался он.

– Ух ты! – восхищенно произнесла девушка. – Так вы известный артист, наверно…

Теперь пришла очередь улыбаться Зуеву.

– Я не артист, а статист. Так называют тех, кто участвует в массовых сценах. А вы, наверно, хотите быть ведеттой…

Девушка покраснела.

– Нет, я не такая... Ведеттой надо родиться... Или... или... Может, они тоже вот так... приходят статистом, а режиссер ее замечает, и она становится ведеттой...

Мужчины иронически переглянулись – сказки про рождение кинозвезд давно известны.

Олонецкий шмыгнул носом, извинился, достал платок.

– Едва ли, – произнес он. – Ведеттами не рождаются. Они тоже учатся.

– Учатся быть ведеттами? – не поверила девушка.

– Учатся в специальных школах – фильмовых или сценических...

Девушка кивнула понимающе.

– Я догадываюсь.

Зуев извинился и произнес на ухо Олонецкому.

– Знакомый... Тоже, видать, участвуют в съемках... Не хотел его здесь видеть... Но ты продолжай, продолжай барышню развлекать...

Он пошел навстречу идущему к нему высокому бледному мужчине.

– Приветствую...

– День добрый...

– Давно не виделись...

– Да, давно, года четыре...

– Или больше...

– Как живете?

– Как всегда... А вы?

– А я как все.

– Часто участвуете в фильмах?

– Случается.

– Как и мне.

– Вы без работы?

– Зачем же! У меня есть работа. Подрабатываю.

– Часто?

– Да как сказать... На прошлой неделе снимался два раза... Потом на студии.

– Я слышал, что вы... Мне говорили, вы организовали «Союз возвращения».

– Да, «...возвращения на родину». На родину! – с пафосом уточнил он.

– А, у вас, значит, есть родина.

– Она и у вас есть, Зуев, – голос собеседника изменился.

– У меня нет родины с той минуты как я покинул крымский берег. В те годы, когда мы с вами учились в Праге, вы рассуждали по-другому.

Эфрон пожал плечами.

– Тогда не было, сейчас – есть.

– Блажен кто верует – тепло ему на свете, – зло произнес Зуев, отвернулся и пошел к Олонецкому.

Человек в картузе закричал. Все повернулись к нему.

– Внимание! Разошлись по местам! По моему сигналу идите по улице!

Николай отошел к Олонецкому и девушке в модной шляпке.

– Знакомься, Кока. Это – Катя, – довольно представил Олонецкий. – А с кем ты?

Зуев посмотрел на него – ого, видать, Жорика можно поздравить с успехом – девушка в него уже влюблена.

– Эфрон. Мы с ним учились в Праге... На разных факультетах.

Катя подала голос.

– Я его знаю, видела с Цветаевой, он муж Марины Ивановны. Она поэтесса… У них двое детей, мальчик маленький и девочка уже совсем взрослая...

– Господа и дамы! Все по местам! По моему сигналу – пошли! – раздалась команда.

ЭФРОН ВСПОМИНАЕТ. ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДО

Холодный вагон из Константинополя. Три маленьких оконца под крышей.

Поезд в Прагу шел целый месяц. Мой сосед – капитан Зуев. Командир пулеметной команды. От скуки говорили, о чем угодно. Он вспоминал бои и походы, а я почему-то стал рассказывать о своей жене, о Марине. Читал ее стихи. Я помнил много ее стихотворений.

Зуев внимательно слушал, изредка усмехался своим мыслям.

Он оказался хорошим попутчиком, но я бы не стал с ним дружить, – его кругозор показался мне гораздо уже моего, к тому же Зуев остался равнодушным к Мариниым стихам.

– Стихи хорошие, – пояснил он, – но у других поэтов стихи не хуже. Бальмонт, например, Маковский, Анненский, да и Гумилев…

За время войны я много поездов перевидел и многие вокзалы запомнил.

Но мне всё чаще снился один и тот же вокзал военного времени: я постоянно видел большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми; – всю эту тревогу, неразбериху, толчею; все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга. Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение: слава тебе, Господи! – но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь,

что в роковой суете попал – впрочем, со многими и многими! – не в тот поезд, что твой ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны.

Обратно только пешком по шпалам – всю жизнь…

В Праге мы оба поступили в университет и поселились в общежитии. Четырехэтажное общежитие называлось «Свободарна» и вмещало по обеим сторонам своих узких коридоров несколько сот «кабинок». Отделяли их тонкие перегородки, которые не доходили до цементного пола и не упирались в потолок. Кроме койки и столика с висевшей над ним электрической лампочкой другой обстановки не было. Через окна были видны пустыри со шлаком, фабричные трубы, пивная, а в отдалении – лысые холмы.

Зуева я потерял в суете будней, а когда весной 1922 года встретил, то обрадовался. Пригласил зайти в комнатушку. И вполголоса, чтобы не услышали за перегородкой, сообщил:

– Я хочу поделиться с вами новостью: Марина получила разрешение на выезд за границу.

Flashback
ПРАГА. 1921. ЭФРОН

На выходе из университета его дернули за рукав. Он обернулся и удивленно словно застыл на месте – Родзевич, старый знакомый по службе в деникинском ОСВАГе!

Родзевич дымил папиросой и вещал:

– Нам нужны такие люди, как вы, Эфрон. Большевики еще кровью умоются. Мы им устроим песни и пляски... Знаю вас как смелого человека. Вижу – вы на мели. Безденежье – плохо. Но всё поправимо. Хотите со мной на ту сторону? А? Вздрогнули? Боитесь? Не верю! Гробанем большевистский банк – и назад. Паре комиссаров кишки выпустим. А? Молчите…

Эфрон подал голос:

– Не для меня. Извините, господин штабс-капитан.

Родзевич кашлянул.

– Жалко. Придется искать другого напарника.

Эфрон наклонился к нему, понизил голос:

– Вы действительно идете на ту сторону?

Родзевич обиделся.

– А о чем я с вами говорю?..

Эфрон заискивающе произнес:

– У меня в Москве осталась жена и две дочери… Не могли бы вы передать им...

– Деньги?

– Какие деньги... Откуда? Письмо.

Родзевич внимательно всмотрелся в него.

– Но я не собираюсь посещать большевистскую столицу.

Эфрон закивал.

– Да-да, я понимаю... Просто отправьте письмо... Вы знаете, из-за границы письма не доходят... Не дойдут... – поправился он.

Родзевич помолчал, о чем-то размышляя, потом закурил и предложил собеседнику сигарету.

– Хорошо. Письмо у вас с собой?

– Вы серьезно? – не поверил Эфрон. – Я сейчас напишу.

Родзевич прервал.

– Не суетитесь. Напишите дома и завтра в десять утра приносите сюда.

На другой день он пришел в пивную. Родзевич ждал. Он положил письмо в карман и сказал:

– Я вам оказываю услугу, а вы в свое время окажите мне. По рукам?

– Конечно, конечно, я согласен, – обрадовался Эфрон.

А через некоторое время поэт Илья Эренбург привез письмо от Марины. И Сергей Яковлевич написал ответ, и Эренбург отвез письмо...

А позже вновь появился Родзевич, глядящий исподлобья.

– Вы, кажется, на хорошем счету в студенческой среде… – начал он.

– Не жалуюсь, – ответил Эфрон, ожидая продолжения.

– На мой взгляд, вы тот человек, который может организовать студенческий Союз.

Эфрон вздрогнул.

– Откуда вы узнали о моих планах? Я посвящал в них двух-трех товарищей…

Родзевич ухмыльнулся.

– Где есть трое, один обязательно проболтается. Значит, надо организовать Демократический союз российских студентов. Вы же студент?

– Студент... Стипендию получаю от чехословацкого правительства... Стипендия? – Одна профанация...

– Так вот, организуйтесь немедленно и сами проходите в председатели. Будете получать от меня полторы тысячи крон в месяц и пятьсот на представительство. Согласны?

Глаза Эфрона загорелись.

– Конечно согласен. Во много раз лучше, чем на вокзале тюки таскать...

– Вы в Гражданской войне участвовали, – Родзевич хитро прищурился, – уверен, что пошли к белым из-за романтики. А? Угадал? Белая кость, голубая кровь…

Эфрон растерялся.

– Немножко... Наверно, романтика сыграла роль... по молодости лет...

– Ну ясно, что по глупости! – улыбнулся Родзевич. – Вот теперь вы имеете возможность... Вот вам аванс... Распишитесь...

Дрожащими от радости руками, Эфрон подписал расписку и выбежал на улицу. Теперь перед ним открывалась новая, привольная жизнь!

ЗУЕВ РАССКАЗЫВАЕТ

Я познакомился с ним в поезде.

Товарный, грязный холодный вагон из Константинополя. Дует из всех щелей. До Праги целый месяц езды.

Слава Богу, по дороге я раздобыл ящик водки, противной, сивушной, но она помогла преодолеть дорогу. Эфрон с какими-то тревожными глазами, в солдатской папахе и офицерской шинели, то часами молчал, думая о своем, то вдруг начинал рассказывать о своей жене Марине. Я не любопытен, поэтому не расспрашивал. Но я хорошо смог представить женщину, ее духовный облик, – по крайней мере таким, как представлялся моему спутнику. Иногда в его словах звучало восхищение, она казалась ему чашей мудрости и литературной гениальности.

Я не большой поклонник изящной словесности, да и не до нее во время войны. Но слушать его было интересно, да и чем заниматься во время бесконечного пути как не болтать с попутчиками! Он знал много стихов жены, читал их с восторгом и непонятным мне умилением. Некоторые из стихотворений нравились, некоторые – нет. Заметно, что он признавал превосходство Марины над собою, над всеми современными поэтами, над всем ее окружением.

В Праге мы оба поступили в университет, благо Чехословацкая акция позволяла это, жили в студенческом общежитии, правда, на разных этажах.

Я хотел учиться, с детства какая-то страсть к знаниям. После гимназии я поступил в Технологический институт, а тут – война. Я с первого курса – добровольцем на фронт, потом военное училище, снова фронт… Понятно, что все свои знания растерял. И в Праге я старался не пропускать лекций. О, там читали хорошие профессора, многие – по-русски, петербургская преподавательская элита – Кондаков и другие, а философию читали Бердяев, Лосский…

Через год я уже понимал по-чешски и ходил слушать чешских преподавателей. Да! Ты будешь смеяться, когда я скажу, на каком я учился факультете: я изучал историю искусств! Почему – не знаю, то ли свободное место оказалось, то ли за компанию с приятелями – не помню. Все-таки десять лет прошло.

Технические факультеты – всё забито, ни одного свободного места, все хотят в инженеры, я и стал изучать отличие дорических колонн от ионических.

Я учился, и мне не было дела до студенческих сборищ, кружков, дискуссий. Большинство моих сокурсников – такие же недоучившиеся студенты и гимназисты, мы все оказались равны. Существовали какие-то левые кружки, правые, но мне, честное слово, все они казались на одно лицо. Да, дорические колонны интереснее, чем спор на тему – кто виноват в торжестве большевиков.

Я мечтал получить интеллигентную специальность. Я еще не знал, что с такой специальностью ни в Чехословакии, ни во Франции мне делать нечего. Подрабатывал тем же, чем и другие студенты, – разгружал по воскресным дням товарные вагоны. Часам к трем возвращаешься с товарной станции домой, в свою каморку, завалишься на койку, не успеешь очередной сон досмотреть – как в коридоре шумят: пора вставать, отправляться на лекции. Тяжело? Да, но я еще молодой, сильный; вспоминал войну, сравнивал – там было тяжелее. Почти все – опытные люди, понимали, что и как.

Эфрон? Часто его видел, мудрено не встретиться в нашем клоповнике. Кивали друг другу, улыбались при встрече, но не более того – он чаще всего отирался в левых компаниях. Ну, левые и левые, эсеры, эсдеки... Мало ли кто во что горазд, не война, когда знаешь – там враг, здесь – друг. Мирное время, демократия – одному нравится арбуз, а другому – свиной хрящик, привыкаешь быстро к хорошему, а демократия – из разряда хорошего. Не забывай, мы все в одинаковом положении: все изгнанники, все эмигранты, почти все – бывшие офицеры, по совдеповской терминологии – белогвардейцы. Большевиков не интересовали различия между антисоветчиками-монархистами и антисоветчиками-социалистами. Все мы для большевиков одинаковы: белогвардейцы – и всё.

Что? Нет, ни разу я не слышал разговоров о возвращении. Конечно, часто болтали: дескать, в России всё по-другому, НЭП объявили, частную торговлю, большевики меняются в лучшую сторону. Но я только улыбался, когда слышал такие речи. Взял однажды такого болтуна за грудки и говорю: а ты видал, как они у пленных погоны на плечах вырезали? А ты видал, как они под пулеметами гнали своих солдат вперед? Ты, сволочь, в тылу отсиживался, когда мы на передовой по трое суток глаз не смыкали, ты видал этот разъяренный плебс, которому ничего не надо, кроме твоей крови?.. Только того типа и видели…

Позже журнальчик в университете появился, на русском языке, «Другой дорогой» или «Новыми путями» назывался. Какими такими «другими»? – подумал я, что за чушь. Открыл – Эфрон, оказывается, редактор журнальчика, статья его, другая…

Ого, подумал я, Фрейд. Мы все Фрейдом увлекались тогда, я тоже... Комплексы так и вылезли наружу у Эфрона. Конечно, комплекс: жена – поэтесса, а он должен быть наравне с ней, пусть и редактором журнальчика… И буквально через несколько дней встре-

тил меня Эфрон и радостно улыбнулся. Пригласил зайти в его комнатушку. И вполголоса, чтобы не услышали за перегородкой, сообщил:

– Я получил письмо от Марины. Ей разрешен выезд за границу

– Я вас поздравляю, – сказал я, – у вас там двое детей, ваша жена приезжает с детьми?

– Один, – тихо произнес он. – Один ребенок. Вторая девочка умерла.

– Как умерла? – не понял я.

– От голода, от болезни.

Я был ошарашен, только и смог сказать:

– Вон она, Совдепия! Дети умирают от голода...

– Это не так важно, – ответил Эфрон. – Бог дал – Бог взял. Главное – Марине разрешено!

Неожиданно он попросил молчать об этом. Провокаторов в то время среди студентов еще не было, но Эфрон казался робким, подозрительным, а подчас и неискренним человеком.

Эфрон, несмотря на свою незаурядную культурность, кажется, всю жизнь тщеславно и завистливо искал известности: в своей военной авантюре, ибо меньше всего по природе был он военным; в годы студенчества, в попытках стать писателем…

Меня удивили портреты в его клетушке: на перегородке, прикрепленные кнопками, были печатные воспроизведения Царской семьи и Патриарха Тихона. Не веря в искренность монархических убеждений Эфрона, да и сомневаясь в его религиозности, я вопросительно всмотрелся в него. Он явно смутился, пробормотал что-то о мученической кончине Государя и его семьи, о подвиге Патриарха…

Я сухо возразил.

— Царя и его семью я видел много-много раз. В Крыму… Я же гимназию заканчивал в Ялте… Насильственная смерть людей, которых вы хотя бы только встречали, – не отвлеченный факт, не учебник истории. Участь их трагична. Но неужели вы верите в то, что история может вернуться вспять? Всё это романтика... Для чего она вам нужна?

Он пытался что-то возразить, объяснить. Но я знал, что мы раз и навсегда поняли друг друга. Защитного цвета личина была в природе Эфрона. Биология называет эту способность мимикрией. Русский язык достаточно богат, чтобы определить ее *приспособляемостью*.

Мы расстались, и тут мне в голову пришла странная мысль: «Каким образом Эфрон сумел письменно связаться с Мариной, оставшейся в Москве? Ведь там ВЧК! Как она могла просмотреть эту переписку? Эфрон был офицером Добровольческой армии и участвовал в Кубанском походе, состоял членом Союза его участников. И он не только получал от жены письма, но и стихи. Странно».

Учение наше заканчивалось, но Чехословацкая акция продолжалась – выплачивали некую стипендию, около 400 крон.

Я совсем не видел Эфрона. У него как у редактора студенческого журнала появилось много приятелей. Самым близким другом стал некий Родзевич. Я видел его в университете, но знаком не был, да и не стремился. С этим Родзевичем он проводил всё свободное время; потом, когда приехала Марина, они, помню, гуляли втроем.

Мы познакомились. Она оказалась такой, как ее описывал Эфрон, и, одновременно, другой. Я бы назвал ее *вещью в себе*. У нее всегда холодные глаза – и тогда, и позднее – в Париже. Опыт, в особенности опыт голода, непередаваем. Народная мудрость запечатлела эту, в веках полысевшую истину, в известной всем поговорке. Марина перевезла с собою через границу если не страх, то призрак голода.

Как-то она постучала в мою дверь. Вошла и протянула кое-как обернутую в газету большую кастрюлю:

– Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же ее.

Я с удивлением смотрел на нее. Хотя денег на жизнь в то время у меня было очень мало, в таком подарке я не нуждался. Он показался мне странным и неуместным. Но побуждение Марины стало ясным гораздо позже. Советская действительность не вошла в мой жизненный опыт, а на Марине она сказалась. Даже на ней, по своему существу – прирожденному бунтовщику, который в случае необходимости не остановится и перед кражей. Марина, кроме того, по природе своей была художником-одиночкой. Борьба за существование для нее была особенно тяжела.

Моя гостья дымила папиросой. Курила она много и некрасиво. Это тоже признак поведения и жеста. Самым изящным курильщиком, которого я когда-либо видел, был профессор международного права Московского университета Байков, самым величественным – старый турок в чалме в Стамбуле, который, задумчиво глядя на меня, вошедшего в кофейню холодным, голодным, небритым после двухнедельного пребывания на корабле, прислал мне чашку горячего кофе.

Я до сих пор вижу его жест привета с дымящимся мундштуком в руке.

Flashback

PARIS. ЭФРОН. ТРИ ГОДА ДО...

Он помнил, как всё началось. В начале февраля позапрошлого года он зашел в какое-то кафе на Монпарнасе.

Прямо у дверей, словно ожидая его, стоял... Родзевич. Они не виделись пять лет. С тех пор, как Марина призналась в любви к нему, и Эфрон в ответ заявил, что уходит от нее. Потом Марина плакала, проклинала себя и судьбу, – в общем, как обычно после ее бесконечных увлечений… Он и забыл про Родзевича, слышал только, что тот удачно женился на дочери отца Сергея Булгакова.

А сейчас, увидев его, почему-то обрадовался встрече.

– Чем занимаетесь, Эфрон? – полюбопытствовал тот.

– Пытаюсь не умереть с голода и не уморить семью. А вы? Где-нибудь служите?

Родзевич повел его в дальний угол к свободному столику.

– Да, разные комиссионные дела…

Неожиданно Эфрон рассказал ему историю своих скитаний, о жизни заграницей, о безработице и материальной нужде, о жене.

– Вы хорошо одеты, на вас модная шляпа, видно, что вы «на коне». А я? Только и могу жаловаться на горечь судьбы... Я помню, моя жена... увлекалась вами...

Родзевич отмахнулся.

– Ах, постоянные фантазии Марины... Неужели вы не привыкли?

Эфрон удивленно всмотрелся в него и вздохнул – конечно, Родзевич прав, Марина создает себе идолов из ничтожеств; стоит ей кем-то заинтересоваться – как она начинает «придумывать» этого человека. А какие страсти пылали с этим Константином… и он, Эфрон поддался! – ведь знал, что Марина всегда в кого-то влюблена, кого-то идеализирует, пишет восторженные письма, посвящает стихи...

– Да... Вы в чем-то правы...

Родзевич кивнул.

– Ну конечно! Ей важен не человек, а миф о нем. Притом, миф, который создает она. Что вы будете пить? Не стесняйтесь – я заплачу, – спросил Родзевич учтиво.

– Кафе натюр, – ответил Эфрон.

– Эх, вы – эмигрант! Кафе натюр... – саркастически ухмыльнувшись, произнес тот и предложил сигарету.

Подошел гарсон.

– Порто сэк и для месье амерпикон, – небрежно бросил через плечо Родзевич и, закурив, спросил: – Надеюсь, пьете?

– Приходилось пить эту дрянь, – ответил Эфрон, – с ног валит.

– С одной не свалит. У меня есть приятель – так по шесть пиконов глотает и только нос расцветает.

– А вы разве не эмигрант?

Родзевич хмыкнул.

– В наше время эмигрант – понятие, как говорят философы, диалектическое.

– Это как? – не понял Эфрон.

Они выпили.

– То есть его можно растянуть, как резину: с одной стороны – эмигрант, а с другой…

– Не понял, – признался Эфрон.

Родзевич объяснил.

– Кто мы, русские, во Франции? Никто. Люди второго, нет – третьего сорта. А в России мы были бы... Эх, как бы объяснить? В России мы были бы на своем месте – и не вторым, и не третьим, а первым сортом!

Эфрон кивнул.

– Согласен. Но в России – большевики.

Родзевич поморщился.

– Ах, какие там большевики… Они давно переродились в правоверных русских националистов. И тоже страдают. Знаете чем? Отсутствием в их рядах нас. Да-да! Нас, лучших представителей российского общества, волей судеб выброшенных за рубежи страны.

– Не может быть, – не поверил Эфрон.

– Может быть, может, – кивнул Родзевич. – Мало того, они просят нашей помощи, нашей, эмигрантской…

– Не может быть!

Родзевич снова кивнул.

– Ну, разумеется, не бескорыстно… Но посмотрите на меня – одет, обут, квартира оплачена, жена на всем готовом, долгов нет… Да, помогаю большевикам. Но чем? Посредничаю в разных сделках. Имею с этого процент. И признаюсь вам, не жалею! Я разве кого-то предаю? Продаю – да. Но что продаю? – Коммерческие бумажки. И разве я один такой? Боговута знаете? Он на таком посредничестве тысячи сделал… Вспомните Прагу! Вы же такие дела заворачивали в Союзе студентов…

– Ну, вы скажете, – смутился Эфрон.

– Скажу! Вы обладаете определенными качествами – легко сходитесь с людьми, ваше обаяние располагает к вам… Да и вообще, помните свои слова о поезде, который вам часто снится, – который не в ту сторону пошел? Я помню...

Эфрон тоже помнил.

– Вокзал военного времени – большая узловая станция забита, все лезут в вагоны... поезд трогается – минутное облегчение, но вдруг со смертным ужасом осознаешь, что попал не в тот поезд...

Родзевич согласно кивнул и повторил:

– Не в тот поезд…

Эфрон продолжил.

– А мой поезд ушел с другого пути в другую сторону… И обратного хода нет. Обратно только пешком по шпалам, – он вздохнул.

Родзевич налил.

– Зачем же по шпалам? Можно и в мягком вагоне.

Эфрон допил свой пикон.

– Вам можно только позавидовать. В мягком вагоне, говорите?

Родзевич рассмеялся мелким смехом.

– Не завидуйте, а идите по моим пятам. И не по шпалам! Согласны? Вижу по глазам – согласны. Вы же евразиец. Я читал ваш жур-

нальчик. Сейчас сюда придет мой приятель. Очень влиятельный человек. Из большевистского торгпредства. Я попрошу его вам помочь. Только не стройте из себя невинную девушку... Вы не забыли, что вы мой должник?

Эфрон согласно киванул.

– Конечно, я помню, вы письмо Марине... тогда в двадцать втором году...

– Да, я ей передал ваше письмо. Лично. Она вам рассказывала об этом?

Эфрон кивнул.

– А Студенческий союз?

Эфрон покраснел и кивнул.

– Не будем о прошлом, – миролюбиво закончил Родзевич. – Пейте! – он подлил Сергею.

А тут и приятель Родзевича объявился – крупный, сероглазый, в модной кепке и с таким же модным серым галстуком в красную крапинку. Родзевич их представил.

– Это мой товарищ по армии – Эфрон. А это господин… нет, лучше товарищ Берг из торгпредства. Поболтайте тет-а-тет, а меня ждут дела… – и Родзевича как не бывало.

Берг заказал бутылку красного вина, закуски, и начался разговор по душам.

Потом с некоторой иронией произнес:

– Кое-что я могу сделать для вас. Но, мой друг, я же занимаю пост директора советского агентства печати во Франции, поэтому смогу устроить только к большевикам. Большевики вас не пугают? Вы, кажется, что-то пописывали…

Эфрон кивнул.

– Когда есть нечего, а дома маленький сын… Большевики ли, монархисты, анархисты – всё едино… В Париже я почти три года... – ответил он.

Берг подливал и сочувственно кивал головой.

– Так. Обычная эмигрантская история. Могли ли бы вы быть информатором «белогвардейской» жизни Парижа? Просто информация, ничего больше.

Эфрон внимательно всмотрелся в Берга.

– Просто информация… Непонятно!

Берг удивился.

– Что тут непонятного? Знаете ли вы кого-либо из РОВС? Вы, кажется, в Марковском полку служили… Или были к нему только приписаны?

Эфрон вздрогнул, и это не укрылось от собеседника.

– Обычное дело – разведчика или контрразведчика записывают в какой-то полк для конспирации. Вы знали Харузина?

– Да, – признался Эфрон.

– Вы знали, что он застрелил генерала Романовского, начальника штаба Деникина?

– Об этом шли разговоры, – замялся Эфрон.

Берг налил вина.

– Почему вы не едите? Ешьте, здесь вполне приличная кухня. Но мы с вами будем встречаться в ресторане «Агава» на Больших бульварах – там кухня отличная!

– Не будем о прошлом, – согласился Эфрон, которому были неприятны воспоминания.

– Вино хорошее, двадцать пятого года. Пейте, Эфрон. Есть ли у вас связи в политических группировках эмигрантов, в лимитрофах? – спросил Берг.

— Кое-кого знаю в РОВС, а что касается информационной работы, то мне, кажется, я могу принести некоторую пользу…

– Хорошо. Приходите ко мне в бюро числа двадцатого. Я переговорю кое с кем и думаю, мне удастся вас устроить на работу в области негласной агентуры. Ваша работа потребует мер предосторожности. Хотя разведка в пределах белогвардейских организаций и самой эмиграции не подлежит наказанию. Хотя – ха-ха! – какая разведка! Смех да и только… – продолжал соблазнитель и, взглянув на часы, продолжал: – Вы не знаете, бывший редактор «Русского Слова» Федор Иванович Благов в Париже? Ваша жена не говорила о нем?

– Кажется, в Париже, – неуверенно ответил Эфрон.

– Что он делает теперь, старина?

– Не могу сказать точно, но, кажется, вообще не у дел, – сказал Эфрон и подставил свой бокал под любезно предложенный собеседником сифон.

– Ваша жена – поэтесса. Вы знаете людей в литературных кругах? Фамилия Горгулов вам не встречалась?

«И откуда он всё про меня знает?» – подумал Эфрон, но собеседник ждал ответа.

– Горгулов... Кажется, встречалась. Ах, да! – вспомнил он. – Графоман... Слышал о таком...

– Познакомьтесь с ним, он может пригодится.

Эфрон пожал печами.

– Хорошо.

Берг отхлебнул из бокала.

– Эх, много прозябает в эмиграции умных, честных и преданных России людей... Таких, как вы… У нас... там они многое совершили бы на пользу Советского Союза. Но упрямы эти господа: не признаем большевиков. А большевики тридцать первого года не те уже, что в Октябре или во времена военного коммунизма, – продолжал Берг, устремив взор в пурпурную влагу бокала. – Я многих знаю в Союзе... раньше – правоведы, лицеисты, камергеры, пажи Его Величества, а теперь – стойкие партийцы. А сколько аристократов? Сколько князей

и родовых дворян на службе Сталина? Слыхали – князь Святополк-Мирский у нас теперь работает. А какая плеяда российских монархистов – нелегально, понятно, – оказывает нам услуги по разложению эмиграции. Времена переменились, и с ними – люди. Раньше в наших чрезвычайках матросы и всякая шушера работали, а теперь – юристы, адвокаты в следственном аппарате, а в верхушке можно найти кое-кого из руководителей царской охранки и Генерального штаба. Мы строим и созидаем новую жизнь. Мы создаем и нового человека: безбожника, коллективиста, бессребреника, проникнутого единой идеей устройства социальной справедливости и равенства. А они – эти тени прошлого – всё еще лелеют мечты и надежды на возвращение старого. Идиоты! – произнес Берг и, взглянув на Эфрона с усмешкой, добавил: Что задумались?

– Я вас слушаю, – ответил тот, переживая в душе настоящую бурю.

– Вот поработаете у нас некоторое время, проявите себя – перед вами откроется широкая дорога, и не нужно будет служить навозом для иностранной культуры. Вы будете материально обеспечены, – добавил он и встал. – А теперь позвольте пожелать успеха. Нам люди нужны. Вы посидите еще, если хотите, а я пойду. У меня заседание в полпредстве. Вот вам сотенка, пока что.

Берг вынул из кармана бумажник и вытащил из пачки новеньких кредиток одну.

Передал деньги и бросив на стол две десятки, встал.

– Жду вас у себя. Разумеется, о нашем разговоре – никому. Даже жене.

– Буду в указанный срок, – ответил Эфрон, привстав. «Первые деньги от большевиков, – мелькнула мысль в голове. Но тут же пришла и следующая: – Но ведь ты не удивился. Ты был готов к подобному.»

Как только Берг скрылся за зеркальной дверью, он позвал гарсона и расплатился.

ПРЕССА

Убийство в Берлине

Берлин 8 апреля.

В окрестностях, Берлина, в пустынном, месте, в траве, найден, труп сраженного пулями известного берлинского телепата Эриха Яна Гануссена, Убитый – его настоящее имя Герман Штейншнейдер, – еврей но происхождению, родился в Вене и пользовался еще во время войны известностью как человек, умеющий находить источники воды; затем прославился как телепат, но многие считали его шарлатаном. За последние годы его имя связано со многими уголовными делами, а последнее время коммунисты считали его агентом хитлеровцев. Говорят, что, действительно, он был в рядах хитлеровской партии, но и в отношении хитлеровцев явился предателем. Убийство это произвело в Берлине большую сенсацию.

«Возрождение» (Париж), 9 апреля

Юбилей 25-летия служению сцене артистки Д. Н. Кировой

1-го апреля в основанном ею Интимном театре (14, рю де Тревиз), Д.Н. Кирова справляла юбилей 25-летия своей сценической деятельности. Исполнительница старых театральных традиций, многократно игравшая с М.Г. Савиной, О.О. Садовской, Е.Н. Рощиной-Инсаровой, Варламовым, Далматовым, Самойловым и рядом других известных артистов, Д.Н.Кирова была в течение 10 лет одной из любимых артисток Петербургского Малого театра. В 1929 году в Париже она создала «Русский Интимный театр», давший 128 спектаклей, почти исключительно русских пьес.

100-ый номер «Часового»

26 марта русский военный журнал в Париже «Часовой» праздновал свой юбилей – выход 100-го номера. Юбилей был отпразднован банкетом, вылившимся во внушительную демонстрацию той идеи, которой стойко и честно служит журнал.

В краткой заметке невозможно перечислить всех тех, кто явился приветствовать «Часового», как невозможно привести список тех приветствий, которые поступили на его имя: только чтение этого списка заняло 10 минут. Банкет происходил под председательством заместителя ген. Миллера адмирала Кедрова. С речами выступали председ. о-ва друзей «Часового» ген. Шатилов, генералы Драгомиров и Кусонский, редактор «Возрождения» Ю.Ф. Семенов, французские гости полк. Мело и г. Ледре, представитель Академической группы г. Ковалевский, представитель Донского Атамана и другие.

Отвечали редакторы журнала В.В. Орехов и Е.В. Рышков-Тарусский. лейт. Каменский выступил от лица третьего редактора, заболевшего лейт. Терещенко. В речах ораторов подчеркивалась не только чисто идейная нужность и полезность издания, но еще и огромная заслуга руководителей журнала, сумевших сохранить и укрепить его в тяжких условиях эмигрантского существования.

Мы, как никто другой, хорошо знаем, как тяжек и тернист путь русского журнала за рубежом. И потому мы от всей души выражаем симпатичным юбилярам наше восхищение их энергией, настойчивостью, честностью и прямотой, с какими они служат русскому делу и той идее, в правоту которой горячо и искренно верят.

* * *

Вопрос о признании Америкой СССР становится всё более возможным. Американский сенатор Бора, многолетний борец за «признание большевиков», видимо, добивается успеха, и большевики получат поддержку великой и богатой страны в момент, особенно для них тяжелый.

Политические и финансовые дельцы, руководящиеся только жаждой стяжательства, считают Россию далекой колонией с богатейшими природными богатствами и колоссальным запасом подневольного труда – и в такой стране нажива может быть велика. Этим дельцам нет дела, что «признание» даст советскому правительству новую поддержку для своей разрушительной мировой работы.

«Иллюстрированная Россия» (Париж), № 15, 1933

Паспортизация в Москве

В Москве фактически закончена выдача паспортов. Всего их выдано 2.362.748. Как известно, дети до 16 лет паспортов не получают, так что только после прописки можно будет установить, сколько остается в Москве жителей. Прописка уже начата, и так как в день каждый паспортный пункт может прописать до тысячи человек, то она должна быть закончена к 20 мая. Лица, которым отказано в выдаче паспортов, не прописываются впредь до окончательного разрешения вопроса о них. Те, в отношении коих высшие инстанции подтвердят решение о невыдаче паспорта, будут в установленные сроки выселены из Москвы.

«Возрождение, 10 мая

Сокращение безработицы

Берлин, 10 мая.

На 30 апреля безработных в Германии было на 196.000 меньше, чем двумя неделями раньше. В настоящее время их 5.333.000, на 400.000 меньше, чем год тому назад.

Сожжение книг в Берлине

Погода вначале не благоприятствовала ауто-да-фэ «вредных книг» в Берлине. До 10 час. вечера шел проливной дождь. Но затем он прекратился. Шествие с факелами двинулось через Бранденбургские ворота на площадь Оперы. На грузовиках везли книги, подлежащие сожжению. Кругом шли студенты. На площади Оперы был разложен костер. Студенты бросили на него факелы: пламя вспыхнуло ярким огнем. Затем студенты стали цепью и по цепи передавали друг другу книги, которые затем бросали в огонь. Председатель студенческого комитета громким голосом объявил имена тех авторов, «против которых был направлен гнев германского народа».

Он назвал Эмиля Людвига, Кона, Магнуса, Гиршфельда и многих других. Особенно суровы оказались студенты по отношению к Гиршфельду, директору института сексуальных наук, которого они упрекают в поощрении сексуальных извращений: не только его книги, но и его изображения были сожжены на костре. Затем имперский министр пропаганды, доктор Геббельс, произнес речь, в которой пытался определить сущность негерманского юдоистического мироощущения и призывал бороться против материализма, порожденного юдаизмом и революцией. Церемония закончилась хоровым пением национал-социалистических гимнов.

«Возрождение», 12 мая 1933

* * *

Нас запретили в Германии за помещенную карикатуру (в № 17 от 22/lV) Мада на дружбу Гитлера и Сталина.

За то, что мы в ряде номеров утверждали, что Гитлер дружит и защищает Советы.

За наши осуждения его зверств и его большевицких приемов (до 28 апреля Гитлер национализировал ряд предприятий и банков).

За большевицкую демагогию – вселение рабочих 1-го мая в лучшие отели Берлина.

За его дружбу с русскими большевиками, коих немцы в 17 году доставили в пломбированных вагонах в Россию, на несчастье и горечь России.

Мы указывали на его погромную и вызывающую политику в отношении всего мира и особенно в отношении Франции и Польши, кои за свои лояльность, благородство и гуманность получили дружбу всего мира. За то, что указывали и предупреждали, что Гитлер неизменно дружит с Советами и, на несчастье русских и России, будет помогать и поддерживать Советскую Россию.

И мы, к несчастью, правы. Сегодня это подтвердилось телеграммой агентства Вольфа от 5 мая:

Берлин, 5 мая (Вольф)

Германский посланник в Москве фон Дирксен и народный комиссар иностранных дел Литвинов обменялись сегодня в Москве ратификациями протокола. Германское и советское правительства выражают пожелание продолжать и впредь дружеские отношения, существующие между ними, и сотрудничество в интересах общего мира.

Оба правительства с удовлетворением отмечают, что с обменом ратификациями, имевшими место сегодня, снова вошел в силу Берлинский договор, являющийся вместе с Рапалльским договором основой отношений между Германией и СССР.

Сегодня мы вновь повторяем: Гитлер своих марксистов гонит, но русских большевиков поддерживает и укрепляет.

Он их политически поддерживает, он им дает деньги и кредиты, дает техников и инструкторов для их безумств и издевательств над русским народом.

Нам, русским, борющимся с большевиками, наоборот, не ждать удара Гитлера по Сталину, Гитлер его укрепляет и вместе с ним издевается над русскими и «низшей расой – славянами» (из книги Гитлера).

«Иллюстрированная Россия» (Париж), № 20, 1933

Чудовище в озере

Здесь на прошлой неделе в пятницу известный бизнесмен, живущий недалеко от Инвернесса, ехал с женой по северному берегу озера Лох-Несс. В какой-то момент они оба были ошеломлены, когда осознали, что что-то ужасающее плещется в воде. Существо играло целую минуту. По форме оно немного напоминало кита. Бурная вода пенилась и переливалась, как в кипящем котле. У наблюдателей сложилось впечатление, что они участвуют в удивительном событии, и они поняли, что это не обычный обитатель глубин.

Александр Кэмпбелл. Inverness Courier, 2 мая 1933

ПАРИЖ. МАЙ. ВАРЛОФФ

Вот он – Париж, где Варлофф не был два года, но который прекрасно помнил.

Взять такси. Варлофф идет мимо замерших на стоянке машин, мимо просящих, ждущих, псевдоравнодушных и умоляющих взглядов шоферов – кого выберет пассажир, судя по одежде, американец или англичанин. А вот этот шофер – русский, при виде клиента он сворачивает газету, которую читает, но Варлофф успел заметить, газета – «Последние новости» Милюкова. Что ж, можно проехаться и на русском такси. Он называет адрес, шофер кивает, открывает дверь.

Варлофф забыл, что не только у него хорошая память на лица, но и у любой обслуги – горничных в отелях, официантов, парикмахеров и шоферов. Мишель смутно припоминает пассажира. Он отвозил его на рю Гренель – в советское полпредство. Сейчас везет совсем в другую сторону – к Венсенскому лесу. Какой-то чертик дразнит Мишеля заговорить с пассажиром по-русски – вот тот-то удивится! Но голос рассудка останавливает: скандал тебе не нужен, не делай вид, что узнал, вдруг это чекист, которому застрелить человека – раз плюнуть.

Приехали. Пассажир расплачивается, Мишель протягивает сдачу, но тот великодушно отводит руку водителя.

– Мерси, мсье, – улыбается Мишель и трогает с места, потому что пассажир внимательно на него смотрит. Неужели вспомнил меня? Да за два года он на сотне такси ездил...

Нет, Варлофф не вспомнил случайного водителя. Просто ему пришло в голову, как использовать русских шоферов в своих целях.

Он размышляет о сути своей работы. Сеть советских агентов за рубежом существует в двух видах, каждый из которых работает на дипломатические или военные органы, и этим она схожа со службами других стран. В то же время агентурная сеть является частью международного коммунистического движения, и в этом заключается ее уникальность. Почти каждая страна является объектом внимания советской разведки, однако есть державы, которые считаются особо опасными для СССР. Польша и Румыния, соседи и потенциальные враги, стали самыми первыми целями с 1918 года. Прибалтийские страны в этот ранний советский период тоже являлись объектами наблюдения. У южных границ, в Иране и Турции, закулисная деятельность советской разведки встречала сильное английское сопротивление. На Востоке главная арена шпионажа – Харбин и Шанхай. Немного позже в центре внимания оказалась Япония.

Но на первом месте всё же были Париж и Берлин. Германия с 1920-го по 1933 год служила наблюдательным постом на Западе, но главной целью шпионажа оставалась Франция. Самая сильная держава на континенте, Франция являлась лидером интервенции союзников 1919–1920 годов. Она поддерживала Польшу в ее войне против России и финансировала перевооружение буферных государств. Совершенно ясно, что в случае нового конфликта Франция снова будет играть первую роль в антисоветской кампании.

Его встретили старый помощник Берг, местный резидент Смирнов, еще двое знакомых. Все были рады, что прислали именно Варлоффа, а не кого-то нового.

Знали и цель его приезда и направление общей работы: проникнуть во французское военное министерство и Генеральный штаб.

– Итак, что противостоит нам? – спросил Варлофф. – Докладывайте, Берг.

Тот открыл блокнот.

1. Персонал разведслужбы.

Шеф – полковник Анри Ру, помощник – полковник Жан Марсон. 17 офицеров, 2 унтер-офицера, 2 гражданских специалиста, 4 машинистки, секретарша и консьерж. Всего 29 человек. С 1923 года секретаршей является мадемуазель Люсьена Керси, женщина твердого характера.

2. Материальные средства: автомобиль, аппарат фотостат, 4 радиоприемника, 3 из которых настроены на Германию.

3. Бюджет. Десять миллионов франков в год, согласно генеральному докладчику по бюджету.

4. Местонахождение. Достаточно скромные смежные служебные помещения, прилегающие к Военному министерству на Университетской улице в доме № 75.

5. Структура. Два отдела:

а) Отдел разведки (СР): административная секция, германская секция, русская секция, итальянская секция (Средиземноморье и Ближний Восток), английская секция (охватывает всю Британскую империю), секция МГ (боевая техника).

б) Отдел контрразведки (ССР).

Три офицера связаны со службой наблюдения за шпионами Главной сыскной полиции (комиссар Луи Дюклу, Шарль Фо-Па-Биде и 10 инспекторов). Связь по телефону поддерживается между шефом разведки и директором сыскной полиции, Луи Марлье.

Резиденция за рубежом…

– Стоп, – прервал Варлофф, – это не сегодня.

Наступила пауза. Варлофф встал – размять ноги.

– Неплохо. Правда, данные – не все, не все, милый Берг, – устарели. Я их помню по прошлой своей службе. Но появились новые начальники, новые резиденты…

– Фо-Па-Биде по-прежнему на своем месте… – произнес Берг.

– Должность по-другому называется, – подал голос кто-то.

– Бог с ним, с названием, – отмахнулся Варлофф. – Продолжайте.

– Двое полицейских – шеф службы наблюдения за шпионажем Луи Дюклу и комиссар Фо-Па-Биде, двое военных – капитан Эжен Жоссе и капитан 2-го ранга Поль Шенуар из морской разведки – шесть лет назад с помощью осведомителей смогли разгромить нашу разведсеть. Они смогли вычислить шефа нашей разведгруппы. Но им не удалось узнать о существовании новичка группы...

– Есть один ценный источник, – подал голос резидент. – Чиновник в министерстве торговли. Несколько раз намекал нашему торгпреду, что готов сотрудничать с русскими. Даже принес папку с данными о торговой политике правительства. Но меня настораживает...

– Что?

Резидент неопределенно махнул рукой.

– Не пойму что... Надо бы его проверить... Я ждал вашего приезда.

Варлофф кивнул.

– Согласен. Назначьте встречу. Я посмотрю на него.

Встречу назначили в большом многолюдном парижском бистро. Берг и его сотрудник пришли заранее для наблюдения за свиданием со стороны. Инстинкт подсказал Варлоффу, что следует проявить чрезвычайную осторожность.

Как оказалось, меры предосторожности были не лишними. Варлофф сразу заметил двух мужчин, сидевших у окна, которые несколько раз внимательно посмотрели на него.

Хотя на Варлоффе был парик и накладные усы, он почувствовал себя неуютно.

– Эти двое похожи на полицейских агентов, – сказал он французскому чиновнику.

Тот поспешил развеять его беспокойство:

– На мой взгляд, они выглядят как типичные представители среднего класса. Они похожи на брокеров, которые заключают свои сделки в кафе.

– Может быть, но мне они не нравятся, встретимся в другой раз, – заявил Варлофф и быстро вышел из бистро.

Как только за ним закрылась дверь, французский чиновник из министерства торговли, как сообщили наблюдавшие за ним, сразу же поднялся и пересел к этим двум мужчинам, и у них завязался оживленный разговор.

Агенты подслушали, что упоминалось о Коминтерне и несколько раз о России и русских, затем один из французов оплатил счет, и все трое уехали в одном такси.

Резидент Смирнов показал Варлоффу документы, которые чиновник передал месяц назад. Тот внимательно просмотрел их и чуть не сплюнул – чепуха, не заслуживающая никакого внимания.

– Слушайте, Смирнов, я беру дело под контроль. Передайте этому типу, чтобы он принес на встречу в кафе «Оснер» другую документацию о торговых договорах.

Чиновник так и сделал, уверяя, что новые документы необходимо возвратить на следующий день.

Но, обычно пунктуальный, он опоздал на второе свидание. Варлофф решил, что он, возможно, доложил в полицию и что расставлена ловушка.

– Вы принесли документы? – спросил чиновник.

Уверенный в том, что французская полиция ведет наблюдение за их встречей, Варлофф позаботился о том, чтобы его не поймали с поличным.

– Конечно, нет, – с деланым равнодушием ответил чиновнику. – Они у моего коллеги. Он ждет нас в ресторане в Булонском лесу.

Они взяли такси, что дало возможность агентам Варлоффа убедиться, что слежки нет.

Затем Варлофф организовал передачу документов и немедленно ушел.

– Двойной агент? – вопросительно-утвердительно поинтересовался Берг.

Варлофф согласно кивнул.

– Один из десяти, что двойной! Посмотрите: вроде важные документы, а при ближайшем рассмотрении не имеют никакой ценности.

– Значит, их специально подготовила контрразведка.

– Именно так. Но мы сами с усами, не правда ли, Берг?

США. ЛИДИЯ И ОЛЕГ ЗА ОБЕДОМ

– Здесь не только воздух другой, – говорил Олег жене, – да, воздух иной, не знаю – чище или хуже, но другой, и отношения людей друг к другу – ины е, я не привык к постоянному деланию денег. Вероятно, привыкну.

– Но не через полгода жизни в США, а мы всего полгода здесь обитаем, мы даже не обитаем, а осматриваемся, буквально впитываем в себя американскую жизнь.

– Да, именно так – новую жизнь. А поскольку она новая, то всё – новое. А к новому не сразу привыкаешь. У меня в конторе – только и разговоров: сколько заработал и что сделали для контракта, какой контракт выгоднее, какая прибыль…

– Будто в Германии иначе…

– Не совсем. Но иначе.

– Привыкай.

– Я привыкаю. Как в русской пословице: с волками жить – по-волчьи выть. Так?

– Откуда ты знаешь столько русских поговорок?

– А, интересно! Рассказываю. Маман как-то зашла в русскую книжную лавку, чтобы купить книжку – читать на сон грядущий. Не помню, то ли Минцлова, то ли Немировича. Купила книгу и заметила, что рядом на полке стоит сборник пословиц и поговорок. Еще дореволюционное издание. Как он попал в лавку – тайна за семью печатями. Но маман полистала книгу, посмеялась и купила, сделала мне подарок к Рождеству. Маман вообще считает, что книга – хороший подарок. И мне, и брату всегда дарила книги. И знаешь, что? Ни разу не сделала ошибки! Все книги, которые она подарила, – отличные книги! Ни разу не ошиблась... Да и забывать русский язык нельзя. Брат, правда, в Париже всё время среди русских, там русских – тысячи, не то что в нашем любимом Мюнхене. Ну да, в Берлине русских много. Но не так, как в начале двадцатых годов. Тогда русских было – пруд пруди. Париж – столица нашей эмиграции, тысяч пятьдесят там русских, не меньше... Но я Берлин никогда не любил.

– Почему? Хороший город.

– Нет, он хотя и столичный, но… как тебе сказать? Он не душевный, он каменный. Не смейся, – разумеется, каменный. Но от его камней холодом веет. Ты заметила, Мюнхен – теплый город, мягкий, как и все баварцы; – фонтаны, скверы, пивные сады.

– Ну что ты придумываешь! А Нью-Йорк?

– Нью-Йорк – другой.

– И как? Ты уже воешь по-волчьи.

– Почти. Молчу. Слушаю. Изображаю пай-мальчика.

– Помогает?

– Еще как! Шеф, мистер Голос, поручает мне новое направление – Европу. Сначала предлагал Совдепию. Знаешь, у него, да и у всех в конторе, какой-то пиетет перед Совдепией. Иначе как Советским Союзом не называют. Я понимаю – новое направление, американцам интересно, но не хочу…

– Перерыв закончен. Ты доел? Ты едешь со мной?

– Нет, я должен зайти в банк, я в нем ни разу еще не был.

– Целую тебя, буду к вечеру.

– И я целую тебя, радость моя.

Олег Олонецкий шел получить деньги по чеку в банке, о котором в Европе никогда ничего не слыхал.

Из десяти лифтов он выбрал тот, на котором светилась надпись: «Экспресс». «Ведь мое конто, – думал он, – должно находиться в том отделении, у которого экспресс-лифт обязан остановиться.»

Так Олонецкий поднялся на 85-й этаж. Это обстоятельство, с одной стороны, покоробило его, но, с другой стороны, успокоило насчет солидности предприятия: ведь какой-нибудь захудалый банк не выстроил бы себе такого небоскреба.

Впрочем, счет его оказался не наверху, и он должен был на другом экспресс-лифте спуститься на все восемьдесят пять этажей, чтобы навести более точные справки. К его удивлению, он, однако, спустился не на 85, а на 89 этажей. Загадка разрешилась, лишь когда он вышел из лифта и узнал о существовании подземных этажей.

Олонецкий находился теперь у тех помещений, которые в странах, где не говорят по-английски, называются английским словом «safes», но здесь их называют «vauts».

В этих скрытых от взгляда случайного посетителя помещениях примечательна, прежде всего, дверь, механизм которой напоминает устройство средневековых башенных часов с подвижными фигурами. Дверь эта сделана из нержавеющей стали, имеет толщину 1 метр, весит 45 тонн и запирается по вечерам тремя служащими, которые ее, однако, могут снова открыть лишь в час, точно устанавливаемый старшим контролером на часовом механизме.

Все эти меры предосторожности приняты только для успокоения

арендаторов сейфов, а не против воров; даже бронированное помещение более старой системы, как, например, европейский сейф, дает так же много или, лучше сказать, так же мало гарантий против налетов и взломов. Хотя существует один оптический трюк, состоящий в том, что включенный шифр могло видеть только включающее его лицо, но не стоящий с ним рядом или любопытно заглядывающий сосед по сейфу.

Здесь хранилось около 8 миллиардов долларов наличными, а также в бумагах и ценностях. Но интересно узнать, как все эти богатства доставляются в банк! Восемнадцать броневиков с пятью полицейскими, оснащенные слезоточивыми газовыми бомбами и пулеметами, проезжали из старого здания банка между шпалерами сыщиков. Только в одном из броневиков находилась заманчивая кладь, остальные семнадцать лишь конвоировали его.

На первом, всё еще подземном, этаже, над самыми сейфами располагались так называемые «Ночные вклады». Заложенные за наличные деньги или сданные на хранение на ночь ценные бумаги обеспечиваются гарантиями не только против налетчиков, но и против обесценивания. Благодаря специальному осведомительному бюро, которое извещает банк не позже чем через две минуты после обнаружения растраты, раскрытия банкротства или самоубийства контрагента, банку еще удается сплавить его залог по возможно сходной цене.

Наверху все помещения с раздвижными дверьми, которые почти повсюду заменяли стены, были устланы пушистыми коврами – пышные залы были полны девиц у беззвучных пишущих и счетных машин.

Зал заседаний, где лежали приготовленные блокноты и остро заточеннные карандаши, имел форму полуэллипса и был, по-видимому, копией зала Верховного суда в Вашингтоне. По сверкающим золотом плакатам, прикрепленным к клубным креслам, можно было узнать имена кардиналов этого финансового собора.

В телефонной комнате находилось двадцать пять девиц-служащих, обрабатывающих сто пятьдесят государственных станций, девятьсот добавочных и сто прямых проводов на биржу и в филиалы – в среднем по 27 тысяч вызовов в день – до 31 тысячи максимум.

В смежном помещении располагался громадный аппарат – пресс для воспроизведения, проявления и копирования со скоростью обработки входящих документов и векселей за одну минуту с четвертью.

Затем шло помещение, заполненное трубами, – пневматическая почта. Здесь находилась центральная станция электрического почтового сообщения между отделениями, по 8000 отправлений ежедневно.

И в «крематории», где оплаченные купоны сжигались при полной пожарной безопасности и гарантии от воров, было всё в порядке. Перегородки, которые в случае пожара изолировали каждое отделение, оставляли открытыми лишь вход в горящую кабину.

В огромном кассовом зале ежечасно отпускалось до 8000 клиентов... Здесь же над одним из столов висела табличка: «Кредитные письма».

В раздевальне для служащих шкафы были устроены остроумно, иначе не скажешь, – повешенный снаружи зонтик мог быть снят только изнутри...

Да, то был заслуживающий доверия банк!

Олонецкий же, долго не размышляя, поднялся на лифте до нужного ему этажа и, довольный, получил все свои 100 долларов, обозначенные в представленном им кредитном письме, и, таким образом, отказался от обещанной ему в прекрасном будущем сверкающей золотом таблички с его именем, которая могло бы красоваться на клубном кресле в зале заседаний правления банка.

ПАРИЖ. АРТУР

Артур не вернулся из Советского Союза в Германию, где к власти пришли нацисты. Он поехал в Париж и стал политическим эмигрантом.

В то время резко изменилась политика компартии. Исчезли революционные лозунги и ссылки на классовую борьбу и диктатуру пролетариата. Настала эпоха Народного фронта, объединившего все «прогрессивные силы» против нацизма. СССР вошел в Лигу Наций, в его внешней политике возобладала линия Литвинова, ориентированная на союз с демократическими странами.

Для Артура в его отношениях с партией наступил «второй медовый месяц».

Когда он приехал в Париж, процесс о поджоге рейхстага, за которым с напряжением следила вся Европа, был в самом разгаре. На следующий день он познакомился с Вилли Мюнценбергом, руководителем Отдела западной пропаганды Коминтерна, получил работу в его штабе и, таким образом, стал рядовым великой идеологической войны между Москвой и Берлином.

Битва закончилась полным разгромом нацистов – единственным разгромом за семь предвоенных лет. И коммунисты, и нацисты старались доказать, что поджог рейхстага совершила противная сторона. Мир с замиранием сердца наблюдал за этим спектаклем, не понимая сути, – так малые дети, затаив дыхание, смотрят лихо закрученный боевик. Мир еще не привык к спецэффектам, надувательствам и закулисным интригам тоталитарной пропаганды; причем, у спектакля был не один постановщик, как позднее у московских судилищ, а сразу два, наперебой состязавшиеся в своем искусстве, словно два соперничающих шамана перед очарованным племенем.

Двух колдунов звали доктор Йозеф Геббельс и Вилли Мюнценберг. В ту пору почти никто не знал о Мюнценберге. Публика видела классическое сражение между истиной и ложью, добром и

злом. На самом деле обе стороны были виновны, но виновны не в тех преступлениях, которые друг другу инкриминировали. И те, и другие лгали; и те, и другие опасались, что противник располагает фактами. «Серым кардиналом», неведомым миру вдохновителем антифашистского крестового похода, был Вилли Мюнценберг. В ночь, когда горел рейхстаг, он бежал из Германии, собрал свой штаб в Париже и начал кампанию, не имевшую себе равных в истории пропаганды.

Сначала Вилли создал Всемирный комитет помощи жертвам немецкого фашизма с отделениями по всей Европе, а также в Америке, – благотворительную организацию. Филиалы возглавляли уважаемые люди – от английских герцогинь до американских журналистов и французских ученых. Все они слыхом не слыхивали о Мюнценберге и считали Коминтерн пугалом, изобретенным доктором Геббельсом.

Вилли учредил в Париже собственное издательство, «Эдисьон де Каррефур», и поручил помощникам заняться выпуском первой из прославившихся «Коричневых книг о гитлеровском терроре и поджоге рейхстага». Со времен «Здравого смысла» Томаса Пенна ни один политический памфлет не оказывал подобного воздействия на умы.

Книга вышла анонимно. На титуле значилось: «Подготовлено к печати Всемирным комитетом помощи жертвам немецкого фашизма. Предисловие лорда Марли». Здесь впервые достаточно полно говорилось о концлагерях, приводилась статистика, списки жертв, сообщалось о преследовании евреев, уничтожении книг и о других аспектах террора. Документы подготовил разведаппарат Коминтерна. Информацию собирали с бору по сосенке, дополняли догадками. Уже через несколько недель «Коричневую книгу» перевели на семнадцать языков. Она вышла миллионным тиражом и сделалась библией антифашистского движения. Ее переправляли в Германию под видом дешевых изданий классики, в обложках шиллеровского «Валленштейна» и гётевского «Германа и Доротеи».

Пока готовили «Коричневую книгу», Мюнценберг, не теряя времени, осуществлял и другие свои замыслы. Под эгидой Всемирного комитета создал Комиссию по расследованию дела о поджоге рейхстага. В нее вошли самые известные юристы из разных стран – бывший премьер-министр Италии Франческо Нитти, сын бывшего премьер-министра Швеции сенатор Георг Брантинг, Артур Гарфилд Хейс – адвокат Сакко и Ванцетти, мэтр Моро-Жаффери и мэтр Гастон Бержери, представлявшие Францию, англичанин Д. Н. Притт и другие.

14 сентября 1933 года в зале Лондонского юридического общества сэр Стаффорд Крипс откроет первое публичное заседание. Комиссия допросит свидетелей, перепроверит улики и «будет действовать как неофициальный трибунал по мандату мировой совести», – напишет во «Второй коричневой книге» Отто Кац, незримый вдохновитель этого начинания. Работа Комиссии получит название «Контрсуд».

Западу подобного рода неофициальное разбирательство будет в новинку, оно привлечет внимание всего мира. Это напомнит Мюнценбергу «революционные суды», практиковавшиеся в царской России. Кампания Мюнценберга завершится триумфом: Димитрова, Торглера и их товарищей оправдают. Для широкой публики оправдание Димитрова означало, что с коммунистического движения снято подозрение в заговорщической деятельности и, значит, «коммунистический террор» – вымысел нацистов, желающих скомпрометировать политического противника...

Артур убедился, что в пропаганде полуправда гораздо действеннее истины, а переход к обороне чреват поражением. Он поймет, что на таких условиях демократия всегда будет проигрывать тоталитаризму. Работа на Мюнценберга покажет, сколь малы шансы западной демократии выиграть психологическую войну против таких противников, как Гитлер и Сталин. Ведь ради победы Западу пришлось бы отказаться от принципов и ценностей, во имя которых он и вступил в борьбу.

ОТСТУПЛЕНИЕ.
КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ МИЛЛИОНЕР ВИЛЛИ МЮНЦЕНБЕРГ

В молодости Вилли Мюнценберг работал на обувной фабрике, затем эмигрировал в Швейцарию, где стал помощником фармацевта. Во время Первой мировой войны он сблизился в Цюрихе с большевиками-эмигрантами, с Лениным, Троцким. В 1917-м Вилли выдворили из страны; он вернулся в Германию в 1918-м, вступил в революционный «Союз Спартака», а в 1919-м стал одним из основателей отпочковавшейся от «Спартака» Коммунистической партии Германии. Первоначально Вилли занимался пропагандой среди юношества, а после того, как в Москве был организован Коммунистический интернационал молодежи, Вилли стал его первым председателем. Сколько прекрасных девушек маршировало мимо трибун, когда политическим мероприятием руководил Вилли!

Спустя год в России начался страшный голод – последствия Гражданской войны. Третий конгресс Коминтерна обратился с призывом о помощи к пролетариям мира, ко всем сторонникам социализма. Вслед за этим призывом возникает Международная рабочая помощь (Межрабпом) во главе с Мюнценбергом. Свою прославленную «Фирму», так называемый Трест Мюнценберга, он учредил в Берлине в сентябре 1921 года. Эта организация добилась изумительных результатов (правда, не совсем тех, ради которых создавалась). Поначалу главной задачей была помощь голодающим, и за два года Межрабпом собрал и отправил в Россию около пятидесяти пароходов с самым разным добром, от лекарств до грузовиков и швейных машинок. Пропагандистское значение акции было огромным.

Мюнценберг изобрел совершенно новую технику массовой пропаганды, основанную на, казалось бы, очевидной идее: когда человек дает деньги на какое-то дело, он и эмоционально вкладывается в него; его интерес тем сильнее, чем больше пожертвование. Главное – найти задевающий за живое способ собирать взносы. Тут Вилли был неистощим. Он не просил милостыню, а предлагал рабочим внести однодневную зарплату в «знак солидарности с народом России». Не благотворительность, но солидарность стала лозунгом первой кампании, а затем и всей деятельности Межрабпома. Жертвователи получали из СССР почтовые марки, нагрудные значки, медали, фотографии, бюсты Маркса и Ленина – каждая лепта оборачивалась эмоциональной связью человека с делом...

Сначала «Фирма» печатала листовки, поддерживая кампанию помощи голодающим, вскоре начала организовывать собственные издательства, книжные клубы, журналы и газеты, и к 1926 году Вилли принадлежали две немецкие ежедневные газеты с массовым тиражом – «Берлин ам морген» и «Вельт ам абенд», еженедельник «Арбайтер иллюстрирте цайтунг» – коммунистический аналог «Лайф», насчитывавший миллион подписчиков, специальные журналы для фотографов, радиолюбителей и т. п., – все с ненавязчивым коммунистическим уклоном.

Помимо всего прочего он финансировал постановку авангардных коммунистических пьес, вошедших тогда в моду, и фильмы лучших российских режиссеров. Для этого создали киностудию в Москве – «Межрабпом-Русь», которую в 1928 году переименовали в «Межрабпомфильм». На студии были созданы шедевры советского кино – «Мать», «Потомок Чингиз-хана», «Великий утешитель», «Простой случай», «Окраина», «Три песни о Ленине», а также, как сегодня назвали бы, блокбастеры «Мисс Менд», «Папиросница от Моссельпрома», «Процесс о трех миллионах», «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Праздник святого Йоргена» и многие другие. Киностудия превратилась в быстро растущий организм и по своему производственному и техническому оснащению стала лучшей советской киноорганизацией.

Мюнценберг в «Межрабпомфильм» мобилизовал цвет немецкой культуры. Эрвин Пискатор, революционер театра, сопоставимый с Мейерхольдом, переехав в СССР, снял фильм «Восстание рыбаков». Пиль Ютци создал на основе рисунков Генриха Цилле «Путешествие матушки Краузе за счастьем». Бертольт Брехт написал сценарий, а Ханс Эйслер – музыку для фильма Златана Дудова «Куле Вампе». Странное название на вестфальском диалекте – буквально: «прохладное брюхо» или «пустой живот», – название палаточного лагеря безработных. Голландец Йорис Ивенс, умевший воспеть и дождь, и работу машин, снял на строительстве Магнитки «Песнь о героях». Прокат фильмов в СССР и Европе приносил немалый доход.

Партийная бюрократия ненавидела и самого Вилли, и всех его

сотрудников, прозванных «мюнценбергцами». Ненависть сплачивала приближенных Вилли, превращая в дружную компанию, партию внутри партии. «Ближний круг» Вилли состоял в ту пору из его жены Бабетты Гросс, обер-адъютанта Отто Каца и «трех мушкетеров»: секретаря Ханса, водителя Эмиля и телохранителя Юппа.

Бабетта была одной из двух сестер, появившихся на свет в аристократической потсдамской семье Тюринг. Ее сестра Маргарет – жена журналиста Гейнца Неймана, лидера ультралевого крыла немецкой компартии. Бабетта – высокая, прекрасно державшаяся, красивая, спокойная, вежливая, – умела добиваться своего. Трудно представить себе более несхожую пару, чем холодноватая патрицианка Бабетта и приземистый пролетарий Вилли, но в их отношениях царила ощутимая даже для посторонних гармония, и оба они, при всех внешних различиях, обладали высоким чувством собственного достоинства – это был, несомненно, союз равных и близких по духу людей...

«По старшинству» после Бабетты значился Отто Кац, ближайший помощник Вилли, прекрасно его дополнявший. Он обладал теми способностями, которых не хватало Вилли, и, в свою очередь, не имел его преимуществ. Вилли был закаленный и грубоватый лидер. Отто – тонкий и вкрадчивый исполнитель. Вилли выглядел, как сапожник из тюрингской деревушки, – так и виделось, как он сидит на низеньком стуле в кожаном фартуке и с размеренностью отбойного молотка заколачивает гвоздики в старый башмак. Отто, напротив, – темноволос, красив, обаятелен, хотя чувствовалась в нем гнильца. Закуривая, он всегда прикрывал один глаз, и эта гримаса настолько вошла у него в привычку, что, обдумывая какую-то задачу, он часто жмурил левый глаз, даже если в этот момент и не курил. Вилли не знал ни одного слова на иностранном языке – Отто бегло говорил по-французски, по-английски, по-русски и по-чешски. Вилли не мог связно изложить свои мысли на бумаге. Отто, плодовитый журналист, успел написать и издать несколько книг (все, за исключением одной, анонимно).

В качестве посланца Вилли, скрывавшего свое лицо, Отто не раз отправлялся в Англию и в Голливуд, организовывал там антифашистские комитеты и собирал пожертвования. Повсюду он завязывал политические связи, пользовался популярностью у женщин, особенно у политически активных, исполненных благих намерений дам среднего возраста, – он умело использовал их расположение в своих целях.

В обязанности Отто входило шпионить за Вилли по поручению партийного аппарата. Вилли догадывался, но только плечами пожимал и откровенно презирал своего «адъютанта».

Однажды Артур спросил Вилли, как он познакомился с Отто, и тот ответил с тюрингской растяжечкой:

– Я выудил его из Ландвера.

Довольно узкий берлинский канал Ландвер чрезвычайно подходил для тех, кому требовалось скрыть труп от полиции, а также – для самоубийц. По-видимому, в начале 1920-х Отто остался на мели и просил у Вилли дать ему любую работу, угрожая, в противном случае, утопиться в канале.

В 1938-м Вилли порвал с Коминтерном, и Отто тут же изменил ему. Это не стало неожиданностью. Несмотря на имевшуюся в нем червоточину, Отто покорял сердца. С великодушием разбойника он мог прийти на помощь, проявить теплое участие, повернуться неожиданной стороной – когда это не противоречило его интересам.

Артур испытывал к нему то отвращение, то симпатию. Когда он угодил в испанскую тюрьму, Отто, чтобы спасти его, начал международную кампанию, масштабы которой совершенно не соответствовали положению Артура в компартии. После освобождения Артура Отто встретил его на Гар дю Нор с огромным букетом цветов. Они обнялись – искренне, по-братски... Однако дружеские отношения между ними не сложились. В окружавшей Вилли атмосфере придворных интриг, соперничества и фаворитизма Отто, естественно, воспринимал Артура как конкурента: оба полиглоты, оба – выходцы из буржуазии, сохранившие весьма полезные связи вне партии, оба – энергичные, активные, деятельные... Этим сходство исчерпывалось, поскольку в Отто бурлили политические амбиции, а Артур давно осознал собственную непригодность для партийной карьеры. В партии всё его честолюбие было направлено лишь на служение; он мечтал, в соответствии с лозунгом, «быть полезным партии». Но Отто не подозревал о подобных изгибах его души и не мог поверить в искренность побуждений товарища.

Наверное, Артур сумел бы что-то противопоставить ревности Отто и сохранить не слишком заметное место в Комитете, но у него появились другие, более серьезные заботы: он начал превращаться в профессионального коммуниста, в партийного чиновника на жалованье.

Да, официально он работал во Всемирном комитете, но в действительности ему платил Межрабпом, то есть партия. Артуру это претило, он не желал становиться партработником, принадлежать к официальной структуре. Он испытывал отвращение ко всем видам политической бюрократии. Этот комплекс он нажил еще в свой сионистский период, раз и навсегда возненавидев самодовольных, напыщенных функционеров, оседлавших движение. Чувство усилилось, когда ему пришлось с близкого расстояния наблюдать политические махинации Коминтерна.

Как всегда в критические моменты его жизни, решение пришло само собой, без сознательного обдумывания всех доводов «за» и «против». В начале 1934 года он уволился с платной партийной долж-

ности – единственной, что когда-либо занимал, – и временно расстался с Вилли и Отто Кацем, ничем не омрачив отношения с ними.

PARIS. МИШЕЛЬ. ОСЕНЬ

– Я страшно устала, – признается Жанна мужу. – Вчера столько дел случилось, как никогда. Убирала дом, готовила, ездила в китайскую прачечную, – ты не смог меня туда отвезти, пришлось самой, – словом, обеда у меня нет. Ты сходи в кафе напротив, к мсье Беро, поешь там…

– Что там можно поесть, – ворчит недовольно Мишель, но вспоминает, что в кафе напротив недурно кормят, в прошлом году он ел там суп, правда, не марсельский буйабез, но вкусный; обычно он забегает в кафе выпить чашку кофе с круассаном или стаканчик вина.

Мишель накидывает пиджак и переходит улицу – в кафе.

Мсье Беро подобно памятнику возвышается над стойкой. Куча седых волос до плеч, хитрые глаза и улыбка встречают водителя.

– Привет, мсье! – приветствует Беро. – Стаканчик вина или пиво?

Мишель здоровается с ним за руку.

– Я хотел бы поесть, Беро. Чем вы меня покормите?

– Вы пришли вовремя, мой друг, – кивает тот головой. – Только что приготовили утку. А что ваша хозяйка? Уже не кормит вас? – шутит кабатчик.

Мишель согласно кивает и оглядывается в поисках свободного места.

– Она сегодня занята.

– Приходите вместе с ней обедать в воскресенье, у меня будет прекрасная баранина под чесночным соусом с каштанами.

Мишель снова кивает.

– Звучит аппетитно, обязательно придем. Я в воскресенье не работаю.

Над полками с набором разноцветных бутылок, над сверкающими кофейными цилиндрами висят помятые и пробитые немецкие и французские каски, ржавая сабля, шпоры и картинки в застекленных рамках.

В вечерний час, когда почтенные жители квартала заходят сыграть в «белот», сразиться на бильярде или просто почесать язык у стойки, мсье Беро любит ораторствовать. Но сейчас день, посетителей не так много – двое потягивают пиво, в углу кто-то углубился в газету, парочка занята поцелуями.

– Садитесь за тот столик, – показывает Мишелю кабатчик, – у вас над головой будет это старинное ружье, считайте, оно вас охраняет... Вы воевали и знаете, что только тот, кто запросто похлопывал по плечу нашу общую хозяйку, госпожу Смерть, тот знает, что такое Жизнь. Это штука очень тонкая и пестрая, и надо ее понимать.

Мишель усаживается, хозяин кладет салфетку, в которую завернуты нож и вилка.

– Вы считаете, что в ней понимаете, Беро?

– Я понимаю в ней больше, чем в этой бутылке. Я и во сне скажу, какой выгонки кальвадос, сколько в нем градусов, из Шампани он или бургундского разлива. Не будете же вы спорить со мной, что бургунское только красное!

– Не буду, Беро, что вы…

– У меня еще прадед – вон его севастопольское кепи – держал бистро. Вот как я понимаю жизнь!

– Расскажите. Но налейте мне немного кальвадоса.

– Саида!

Прислуга-алжирка уже несет тарелку с уткой.

Беро в своем репертуаре.

– Хорошо. Вот, скажем, социалисты. Социалисты говорят, что в идеальном будущем уничтожат деньги. А я считаю, что нужно быть круглым идиотом, чтобы додуматься до такой чепухи. Когда я беру обыкновенное маленькое су – кстати, усилиями наших финансистов оно скоро станет меньше рубашечной пуговицы, а в его дыру нельзя будет просунуть не то что шпагата, а и средней иголки... – я беру одно су, а вы приносите мне из лаборатории хороший микроскоп. И вот тут мы с вами увидим, что это су составлено из сорока двух миллионов маленьких зернышек, ровно из 42, по числу жителей Франции. Все мы в нем, в этом су!

– Все? – недоверчиво переспрашивает Мишель, отрываясь от тушеной утки.

– Все! – подтверждает Беро. – Виноделы, сапожники, слесари, булочники, маляры, кузнецы, плотники, огородники, шоферы, чиновники и министры…

– И они тоже? – с усмешкой переспрашивает Мишель.

– Хм... Вы правы. Впрочем, зерно чиновника или министра будет всё ж помельче, чем зерно стеклодува или рабочего с вилеттских боен. Су – это взмах руки в труде, взмах всей Франции. Вот где подлинное единение, настоящий коллектив, а не в социализме. Сейчас оно у меня, потому что я его стою, я работаю и меня наградила им вся французская нация. Завтра оно уйдет на базар или к поставщику, и дальше пойдет гулять по всей стране и обойдет всех – конечно, тех только, кто работает. Лодырь и пьяница его не увидит.

– Очень хитро получается, Беро.

– Хитрости тут мало, а просто бывают разные головы, глупые и умные. До одних доходит, от других отскакивает.

Он возвращается к себе за стойку, наливает большую рюмку кальвадоса и возвращается с ней к Мишелю.

– Прекрасная утка, – хвалит Мишель. – Ваше здоровье! – выпивает кальвадос. – И кальвадос хороший.

– А я что говорю? Да… – Беро возвращается к потерянной было мысли. – Теперь представьте себе, что социалисты правы, что деньги надо отменить.

– Что же это будет? – спрашивает Мишель.

– А вот что! Все мы начнем обмениваться продуктами нашего труда. Вот, скажем, я хочу поехать в Рим, приложиться к алмазной туфельке его святейшества, принять папское благословение. Во-первых, мне нужно тащить на вокзал целый камион бутылок, во-вторых, я там получу по шее, потому что Папа не может быть пьяницей. Ничего у меня не выйдет, и моя свобода, свобода французского гражданина, будет стеснена. Теперь представьте себе, что у меня захочет выпить мирный торговец зонтиками. Во-первых, зонтичное дело будет невыгодным, потому что зонтик стоит франков двадцать, а у меня, при моих ценах, человек уже за десять валится под стол. Во-вторых, я тоже накостыляю ему по шее, потому что зонтики терпеть не могу и нахожу их несоответствующими мужскому воинскому достоинству. И опять будет стеснена свобода французского гражданина.

Сидящие в кафе, внимательно слушающие кабатчика, хохочут.

– Да, мои дорогие друзья, – продолжает Беро. – Деньги – великая вещь, гениальная выдумка и подлинное сердечное согласие всех людей. Это так, и не пытайтесь возражать мне туманными разглагольствованиями о чести, достоинстве, благородстве и прочих высоких вещах. Всё это или уже заключено в маленьком су, или сам жалуешься, уязвленный дурак, с претензиями на то, на что не имеет он никакого права. Личная стоимость человека – это вес его кошелька!

Мишель вспоминает, как несколько месяцев назад в поздний час возвращался домой. Все давным-давно спали в тихом квартале. Неожиданно он увидал приглушенный свет в окнах Беро. Ему захотелось выпить стакан вина. Из-за стекла хозяин приветливо кивнул головой старому клиенту и вышел отодвинуть засов. На прилавке лежала груда мелких денег, а рядом щипцы, тряпки, тертый кирпич и баночка с мазью.

– Что вы делаете, мсье Беро? – удивленно спросил Мишель.

Кабатчик довольно улыбнулся вопросу.

– А я устраиваю себе время от времени праздник. Я говорю о деньгах. Деньги – это священная отвлеченность. Они проходят мимо людей, лишь касаясь и благодетельствуя лучших из них. Деньги должны быть чистыми, их не смеет осквернять грязь, следы наших человеческих отношений. Каждый день я отбираю наиболее потемневшие и исковерканные экземпляры…

– Исковерканные? Это как? – не понял шофер.

– У некоторых негодяев есть мерзкая манера колотить по деньгам молотком, отщипывать углы, даже плющить их под колесами трамваев, – и раз в неделю я исправляю то, что делают дураки или

бессмысленные бунтари. Я чищу их, выпрямляю и выпускаю в мир такими же девственными, какими выходят они из рук государства... Жаль, отменили бронзовую монету, с никелем скучно. Бронзу я начищал так, что она горела, я доводил ее до блеска только что отчеканенной медали. Да, да, не улыбайтесь. Каждая монета – это медаль для честного и трудолюбивого человека...

PARIS. КРАСИЛЬНЯ ПРОЦЕНКО

Приятель Зуева работал в красильне – там красили в разные цвета ткани, шарфы, шали и покрывала. Проценко значился хозяином. Они с Зуевым то ли вместе служили, то ли лежали в госпитале – в общем, приятельствовали на правах старых знакомцев и ветеранов.

Красильня представляла собой длинный сарай, в котором, кроме двух больших и никогда не мывшихся окон, стояли три большие и одна маленькая ванны, над которыми гусиными клювами нависали водопроводные краны. Между ними располагался грубый дощатый стол, на котором на ткань наносили воск. Часть сарая занимали натянутые веревки, на них готовые изделия – или, как их называл совладелец предприятия поэт Дряхлов, *продукт* – сушился. В другой части сарая стоял большой стол, накрытый синей клеенкой, а вокруг – садовые скамейки с несколькими подушками-думками. Через весь сарай почти возле пола проходила труба отопления, которая скрывалась в стене.

Производственный процесс происходил в чистой ванне, где распускалась краска. Шарф или скатерть покрывался воском в горячем виде, воск клался по рисунку. Шарф прокрашивался везде, где не было воска. Потом снимали воск утюгом, снова покрывали воском уже прокрашенные места и снова погружали в ванну.

В помощниках Проценко значились два поэта – Кальчужный и Варфоломеев, веселые и, на его удивление, работоспособные молодые мужики.

Раздался стук в дверь.

– Кто стучится в дверь ко мне? – громко спросил Проценко.

Поэты продолжили, заметив в окошко Зуева:

– С пулеметом на ремне!
Это Зуев, это Зуев,
Пулеметчик, правда, ху...

Вошел Зуев.

– Я вам покажу ху... Я пулеметчик высшего класса. У меня команда была.

– Знаем, знаем, Николай. Садись. Настроение плохое, я не ошибся? Неприятности? Сейчас пройдут! Вина выпьешь? Впрочем, о чем спрашивать! Дайте ему чистый стакан. Извини, Николай, чистого нет. Вымой под краном эту посудину и садись к столу. А кто с тобой?

Зуев представил:

– Мой друг, мы вместе работаем. Князь Георгий Олонецкий.

– Ого! – воскликнул Кальчужный. – Настоящий князь?

Олонецкий кивнул и улыбнулся.

– Князей в нашей пещере еще не бывало...

– Ему то же самое сказали у «Ситроёна», когда он пришел туда наниматься, – сообщил Зуев.

– Садитесь, ваше сиятельство, к нашему столу, не побрезгуйте нашими напитками...

– А я спою его сиятельству свою новую песню, – добавил Варфоломеев. – Где моя гитара?

– Нет гитары, есть мандолина.

Варфоломеев оказался покладистым.

– Ничего, сыграю и на мандолине, – он забренчал струнами. – Помню, девятнадцатый год, поезд набит... кем он только не набит! Все уезжали на юг...

– К харчам? – съязвил Проценко.

– И к ним тоже. Кого только нет в поезде – и чиновники, и министры, и генералы, но жрать нечего, потом на какой-то станции один офицер притащил ведро раков... Раков, господа! Вареных раков! И все набросились на них, стали есть... простите, жрать... чепуха несусветная, тогда песенка и родилась: все жрут раков, а я съел пару и за гитару...

– Это мы давно слышали. Ты брось болтать, – прервал Кальчужный, – пой, раз взялся... человек ждет... Князь...

– Да бросьте, – отмахнулся Олонецкий, впадая в нужный тон. – Какие князья? Всё в прошлом... Наливайте.

Зуев внес ясность:

– Вы думаете, князь Георгий просто так пришел? Нет, он – личность с понятием – он вам две бутылки вина принес.

Проценко довольно кивнул.

– Это по-нашему! – он посмотрел на этикетки. – Такого дара в нашей коллекции еще не встречалось.

– Точно нет, – согласился Кальчужный. – А ты пой, пой, мы тебе подпоем. Не про поезд, а новую, про генерала…

– Ну, да, я стишки в «Возрождении» не печатаю под псевдонимом...

– Завидуешь, что ли? – не понял Проценко.

Варфоломеев скривился:

– Кому? Ему? Да я таких стишков по десятку в неделю могу выдавать! И какой он себе псевдоним придумал – Джон! Ха! Англичанин нашелся... Да ну вас... – и затянул очередной романс.

О мой генерал, эмигрантскому съезду
вы шлете привет, поднимая престиж.

Но ваш бронепоезд стоит у подъезда,
а ваша мадам покоряет Париж.

О сколько же швали под кров ваш подлезло!
А сколько невинных погибло в боях!
Но ваш бронепоезд подали к подъезду
и ваша мадам примеряет боа.

Я знаю, что вам всё на свете известно.
Вы видите светлые дали отсель.
Пусть ваш бронепоезд пыхтит у подъезда,
а вашу мадам одевает Шанель.

А что нам осталось? Вино и протезы,
И мысли о мести – высокий полет.
А вам бронепоезд подали к подъезду,
И ваша мадам о России поет.

Олонецкий захлопал в ладоши. Зуев вторил ему. Варфоломеев картинно раскланялся.

– Прекрасная песня, – высказался Юрий

– И я так считаю, – согласился автор. – Была бы гитара, а еще лучше рояль, я бы не так исполнил! Не какой-то Морфесси!

Олонецкой удивился и осторожно поинтересовался:

– А Морфесси – это плохо?

– Нет, – успокоил Варфоломеев, – Морфесси – хорошо, плохо – когда подражают... а подражателей много, поверьте на слово.

– А что за генерал имелся в виду? – неожиданно спросил Зуев. – На что намекаете? Подозреваю, что Скоблин и его бабенка – Плевицкая.

Варфоломеев перебил:

– Нет-нет, это обобщенный образ. Не надо подозрений!

Кальчужный подхватил тему.

– Да-да, офицеры – они такие... А мы люди простые, незамысловатые, штатские. Вы, ваше сиятельство, тоже штатский? Ну, замечательно. Садитесь, ваше сиятельство, к нашему столу, не побрезгуйте напитками…

Дело в том, что в свободное время (а его, поверьте мне, оказывалось много) Проценко и два его помощника, поэты Кальчужный и Варфоломеев, занимались не менее важным делом – дегустацией французского вина.

Проценко как-то обмолвился, что цель любого нормального русского человека, живущего в такой замечательной стране, как Франция... Кальчужный перебил:

– В ужасном городе Париже...

Варфоломеев добавил:

– В мерзком, грязном, вонючем Париже! – намекая на то, что он живет в отеле, где кроме него обитают клопы, тараканы и блохи, жить рядом с которыми тяжело и трудно.

Присутствующий при сем разговоре Зуев заявил, что недавно в журнале «Иллюстрированная Россия» он читал про некоего полковника, который в Ницце процветает на том, что выводит инсектов из квартир.

Проценко, знавший всех и вся в Париже, добавил:

– Ницца далеко, а у Варфоломеева денег на билет никогда не бывает. А вот я слышал, что поэтесса матушка Мария выводит клопов каким-то средством...

Варфоломеев захохотал.

– Не иначе молитвами!

Зуев его остановил.

– Простите, друзья. Дайте закончить моему славному однополчанину Проценко. Что ты хотел сказать?

Проценко закончил тираду:

– ...гарное здесь вино. У нас на Черниговщине такого нет. Я решил, что нам надо попробовать все вина, которые есть во Франции.

Он махнул рукой в сторону полок, которые украшали стену и достались Проценко вместе с сараем от прошлых владельцев. На полках лежали куски воска, парафина, стеариновые свечи, стояли пустые бутылки разнообразной формы.

Олонецкий подошел к ним и внимательно вгляделся. Будем точны – вчитался. Дело в том, что на всех бутылках, на всех этикетках химическим карандашом была проставлена дата, которая обозначала день и месяц, когда данная бутылка была откупорена. Под дробью значились цифры – 3, 3, 1, что означало, как догадался Юрий, – сколько человек принимало участие в уничтожении напитка.

– Здесь не всё, – заметил Кальчужный, – мы много выбросили. Я предлагал не бутылки собирать, а вести дневник пития – кто, что, сколько и когда выпивает. Но Варфоломеев обозвал меня бюрократом. Что с него взять, недоумка…

– А по шее не хочешь? – возмутился тот.

– А ты, Варфоломеев, продолжай.

Тот улыбнулся и продолжил рассказ:

– Особенно трудно нам было с пожилыми людьми, достигшими в России высоких чинов или положения. Они не признавали не только возражений, но даже очередей или времени приема. Помню, как один величавого вида старик, минуя очередь, решительно подошел к Смирнову и протянул ему свои документы. – Простите, голубчик, – с вежливо-смущенной улыбкой проговорил тот. – Я еще должен закончить дело стоявшей перед вами дамы... – Что? Голубчик? – покраснев от негодования, воскликнул старик. – Извините! Я вам не голубчик, а

генерал от инфантерии! – Ах, так? В таком случае простите за ласковое обращение, ваше превосходительство, будьте любезны стать в очередь.

Проценко допил свой стакан и глубокомысленно произнес:

– Из всех вин Германии баденское вино, мне представляется, быстрее всех ударяет в голову.

Кальчужный поинтересовался:

– Уже ударило?

– Пока нет, но ожидаю удара. Николай, вчера я прочитал в «Фигаро» про банковских мошенников, и просто волосы встали дыбом – как они воруют…

Варфоломеев разлил вино.

– Да... Чего не хватает? Зарабатывают – нам и не снилось…

– Погодите, погодите! – поднял ладонь Зуев. – Неужели не привыкли? Пора привыкнуть. Не следует ничему удивляться. Хотя наш любезный хозяин прав – от изумления волосы встают дыбом и глаза не верят прочитанному.

– А! – улыбнулся Олонецкий. – Это ты про большевистскую газету?

– Точно, – согласился Зуев. – Представляете, друзья, оказывается, в Москве существует «Объединение жен советских писателей», – он показал газету.

– А любовниц советских писателей нет? А подружек? – засмеялся Варфоломеев.

– Ничего особенного, – пожал плечами Кальчужный, – женщины, наверно, совместно ищут способы для приобретения крупы, муки и макарон по пониженным ценам.

Проценко кашлянул.

– Нет, они, как я думаю, вылавливают в трактирах загулявших мужей, обращаются с жалобами на них в Союз советских писателей.

– Точно, – согласился Варфоломеев, – и обсуждают на заседаниях драки между супругами, исследуют синяки и шишки, полученные женами от удара палкой или утюгом.

– Или выполняют роль предварительной цензуры, – с улыбкой предложил свою версию Юрий. – Охраняют литературу от нежелательных перегибов, сдвигов, вывихов и даже переломов идеологических конечностей.

Зуев развернул газету, нашел нужное.

– Что за газета? – полюбопытствовал Кальчужный.

– «Правда» за 15 мая.

– Ого, главная большевицкая газета! – отозвался тот. – Еще есть «Известия ВЦИК». Кто-то хорошо про них придумал: «В ‘Правде’ нет известий, в ‘Известиях’ – правды».

– Знаем мы их «правду», – скривился Варфоломеев. – А придумал, наверно, Маяковский…

– Вот читаю… Почтенное объединение жен поместило обстоятельное письмо о писателе-пьянице Шухове, который больно бил свою зарегистрированную законную супругу по животу. И в заключении указано при том: «Со стыдом и с горечью надо признать, что дело Шухова далеко не единичное. За год существования нашего объединения жалобы на недопустимое поведение писателей в отношении жен и детей поступали к нам неоднократно».

Проценко произнес:

– У советских писателей, как у широких натур, в семейном вопросе царит изрядная путаница. Сегодня жена Аня, завтра Маня, послезавтра Ганя.

Все засмеялись.

В дверь застучали.

– Аня, Маня или Ганя? – засмеялся Зуев.

– Заказчик, – определил Проценко и велел Кальчужному. – Это за мохнатым покрывалом… Вынеси ей.

Кальчужный отошел, хотя очень хотелось остаться и поскалить зубы.

Зуев кивнул в знак согласия.

– Я тоже в сомнениях. Какая из этих жен должна считаться действительным членом объединения, а какая только соревновательницей, трудно сказать.

Варфоломеев добавил:

– А если правление собирается редко, может оказаться, что прошение очередной жены устарело. Что нужно баллотировать уже не отжившую Мусю, а прижившуюся Нюсю.

Олонецкий вставил:

– Но если Муся добровольно уступит права Нюсе, а Нюся докажет, что после нее с ее мужем никто в ЗАГС не ходил. А если не уступит?

Варфоломеев добавил:

– Пока будут спорить Нюся и Муся, появится свежая третья супруга писателя – Дуся.

Вернулся Кальчужный, кивнул Проценко, что всё в порядке.

– Бог с ними. Да и не в них дело. Как должны теперь чувствовать себя сами братья-писатели. Они теперь не писатели, а формально – мужья-писатели? Мы знаем, как тяжка писательская жизнь на земле. Чтобы успешно выйти на широкую дорогу известности, всякий европейский писатель своими произведениями должен понравиться массе надсмотрщиков: книгоиздателю, редактору, критику,

– Читателю-консерватору, читателю-либералу, – добавил Варфоломеев.

– Консьержу, академику, бухгалтеру, астроному, преподавателю бокса, – улыбнулся Олонецкий.

Кальчужный продолжал:

– А что касается писателя советского, то для него число над-

смотрщиков уже не поддается никакому учету. Помимо отдельных многочисленных критиков, советский писатель должен учитывать мнение официальных лиц живых, мнение официальных лиц мертвых. Кроме того, он обязан угодить многочисленным учреждениям и, таким образом, понравиться покойным Марксу, Энгельсу, Розе Люксембург, Ленину…

– Дзержинскому! – вставил Зуев.

– Да, Дзержинскому... И живым! Сталину, Кагановичу, Ворошилову...

– Политбюро, ВЦИКу, ГПУ, – добавил Зуев.

Проценко добавил, стараясь не смеяться:

– А еще Гизу, Главлиту, Пролеткульту, Осоавиахиму, комсомолу, профсоюзам... И ясно отсюда, что в своей свободной профессии советский писатель единственно что может свободно делать, это только одно: пить в кабаке водку и закусывать соленым огурцом. Здесь, в трактире, в его литературные порывы, как-никак, никто не будет вмешиваться. Тут, за столом, уставленным бутылками и тарелками с колбасой и кислой капустой, писатель чувствует себя на высотах Парнаса. В звоне стакана слышит он свободное бряцание лиры. В игре пены у края пивного бокала...

– Какого бокала? Ты что, Леонид. Нет у них бокалов.

– А что есть? – не понял Проценко.

– Кружки! Пивные кружки!

Проценко на секунду задумался.

– Пусть так! В пивной пене в кружке советский писатель находит отклик на пенящуюся игру воображения. В винных пятнах на столе ощущает никем и ничем не сдерживаемое творческое течение мыслей. «Ты, царь, живи один...» – вспоминается ему.

Все улыбались. Кальчужный перебил:

– Так было до сих пор. И вдруг... Теперь... О, проклятая доля! Последняя свобода и та отнята! Дверь открывается. Впереди третья жена Ганя. За Ганей вторая жена Маня. За Маней первая жена Аня.

Варфоломеев закончил тему:

– В конце шествия – президиум объединения жен. Седая председательница в черных очках. Сивая вице-председательница с вязаньем в руках. И крик трех жен с трех сторон: «Ах ты, подлец! Ах ты, пропойца! Ступай домой писать роман про промфинплан, негодная тварь!»

Под общий смех Проценко достал из шкафчика на стене очередную бутылку.

– Еще раз проверим баденское, – объявил он. – И выпьем за несчастную участь советских писателей.

Не успел Зуев вымыть стакан, как без стука вошел лохматый юноша.

– А это поэт Гегемон Синдикалов.

Зуев хмыкнул. Кальчужный помахал вошедшему рукой и пояснил Зуеву:

– Гегемон – его псевдоним. Он как устроился на работу на «Рено», так стал гегемоном.

– Привет, буржуй! – приветствовал, как обычно, Синдикалов Проценко.

– Какой же я буржуй? – удивлялся тот в очередной раз вполне искренне.

– Раз держишь красильню – значит, буржуй, – безапелляционно заявил Гегемон, оглядываясь по сторонам в поисках вина. Вино, однако, от него спрятали, как только он вошел.

– А я кто? – интересовался Кальчужный.

– А ты, и ты, и все вы – пролетарии. Вы служите этому капиталисту и куете ему прибавочную стоимость.

– Каково излагает, собака! – подмигнул Зуеву поэт.

– Просто Керенский, – согласился тот.

– Это тебя на заводе образовали? – ехидно спрашивал Проценко.

– А что? – вставал тот в позу. – Я – пролетарий. Гегемон. Не то что некоторые. Представляете, да? Жена ходит на службу, а муж лежит на кровати и рассуждает о страждущей родине.

– Ага, вот у меня сейчас родилось:

Жена работает в кутюре,
а он, мятежный, просит бури!

Все захохотали.

– За это нельзя не выпить, – объявил Проценко. – Но этому хулигану повремените наливать. Слышь, Гегемон, надень перчатки, зеленые, иди к третьей ванне и выжми покрывало, что в ней мокнет. Потом растопи воск – знаешь, где он лежит. Сделаешь – тогда нальем.

– Эксплуататор! – заявил Гегемон, но отправился к перчаткам и ванне.

– Ты бездельник и шалопай, – покачал головой Проценко и понизил голос. – Кокаином балуется, дурачок... А кокаин... эх, дурак да и только...

Олонецкий в раздумье смотрел на питье, потом вздохнул, расстегнул свой портфель и достал оттуда кусок сыра в парафинированной бумаге.

– Ну какое питье без закуски? Не по-русски.

– О! – воскликнул Кальчужный. – Воистину княжеский подарок. Давно я не ел сыра! Это комталь?

– Комталь, – подтвердил Олонецкий.

– Откуда ты так хорошо разбираешься в сырах? – удивился Проценко, доставая нож.

– Ха! Я у француза в сырной лавке работал.

– Торговал? – поинтересовался Зуев.

– Нет, принеси-подай. Большая лавка. Знаешь, около «Мадалены»?

Проценко резал сыр на одинаковой формы ломти.

– А... Там теперь шикарный магазин.

– Ну да, «Фашон» – напротив.

Олонецкий был смущен всем происходящим. Он наклонился к Проценко.

– Простите, пожалуйста. Мы вас отвлекаем от работы. Извините. Все-таки производство...

Красители рассмеялись.

– Работы у нас столько, любезный князь, что мы бы еще столько же взяли в добавок. Времени хватает и на работу, и на выпивку.

– И на что-то более серьезное. А, Валентин?

Варфоломеев сделал вид, что смущен.

– Бывает, бывает… Иногда задержишься на работе, когда срочный заказ, до моего отеля далеко, заночую здесь, на лавке… Конечно, какую-нибудь веселую девчушку прихвачу, чтобы не скучать… Вот, третьего дня, когда мы красили полотенца, помнишь?

Кальчужный кивнул.

– Помню. Для больницы.

– Да! В разные цвета для больницы. Но зачем больнице красить полотенца в разные цвета? Может, для разных палат разные цвета? Впрочем, их дела... Развесил всё, как полагается, форточку открыл. Запер дверь, выхожу – бац! Идет! Подходит: не угостите ли сигареткой? Смотрю, девка крепкая, мордастая, жопастая, сисястая. Как у нас в деревне – есть за что подержаться. Люблю таких. Спрашиваю: сколько хочешь? Она называет цену. Э, нет, говорю, дорого, и сигареты тебе не дам, снижай цену. Она: ха-хаха-ха. Договорились. Пришли сюда. И я вот на этой лавке и употребил. Ох, хороша была – я же говорю! Сисятая, жопастая... Прямо невеста!

Зуев поморщился и быстро посмотрел на Олонецкого. Тот ждал продолжения.

– Фу, что за выражения: сисястая…

– А что? У нас в деревне так говорят, а что?

Посмеялись.

– Да, – глубокомысленно произнес Кальчужный, – чтобы жениться, надо найти такую невесту, чтобы не только с лица хороша была, но и…

– С деньгами, – вставил Проценко.

– Это само собой. Но если не деньги, то чтобы дом имела…

– Таких надо искать, – улыбнулся Олонецкий.

– Найдем, найдем.

– За невест можно выпить, – внес предложение хозяин.

Выпили.

Кальчужный вытер рот, поставил стакан на стол.

– Мы – настоящие поэты. Не бездельники с Монпарнаса.

Варфоломеев не согласился.

– Ну, не все, не все... Есть и там способные ребята – Смоленский, например...

Кальчужный кивнул.

– Ну, может, Смоленский. Он в конторе работает... А остальные – графоманы, изображают из себя «блистательный Петербург»! – он хохотнул. – А всё от чего? От безделья. Сидят целый день в кафе за чашкой «кофе-крем» и ждут, кто за них заплатит. Изображают из себя гениев. Особенно Борька Поплавский. Строит из себя спортсмена, ходит с эспандером и еще темные очки... А вы, князь, там бываете? – с насмешкой спросил он.

– Бываю, – признался Олонецкий.

– И у вас они стреляют сантимы на кофе?

– Стреляют, как вы изволили выразиться.

– И вы? Конечно, даете? – ехидничал Кальчужный.

– Даю, – признался он, – даю им несколько сантимов – расплатиться.

– А не надо им давать! Пусть работают лучше.

Подал голос вернувшийся к столу Гегемон:

– Да! Я поэт!! Я гегемон! Я работаю!

Все рассмеялись неожиданному пробуждению.

– Помолчи, – попросил Варфоломеев. – Это про тебя у Маяковского: землю попашет, попишет стихи. Тебе бы только в Совдепии жить.

– Почему мне? А откуда ты знаешь стихи Маяковского? Читаешь, да? Большевистскую пропаганду читаешь, да? – нападал, защищаясь, Гегемон.

– Никакой пропаганды я не читаю. Просто я был на вечере Маяковского. Лет шесть или семь назад.

– Это когда Цветаева сказала, что *сила там*? – спросил Проценко.

– Ну да. А на нее накинулись. А чего кидаться на человека? Она права: большевики – это сила, все-таки одна шестая, огромная страна...

– Америка тоже большая страна, и там тоже есть сила, – возразил Проценко.

Варфоломеев продолжал:

– Я пошел и купил книжку Маяковского.

Гегемон не поверил.

– Пошел и купил? Где же?

– В книжном магазине Сияльского. У него совдеповская литература продается, как и наша. Он молодец, что и тамошней литературой торгует. Можно сравнивать, кто лучше пишет, – наши поэты или советские. Я купил книжку Маяковского, стихотворений сто в ней,

да... Почти все – дрянь или пропаганда. Или – и то, и другое. Но три стихотворения... Нет, два – очень хорошие.

– Он потому и застрелился, что не мог писать хорошие стихи и пропаганду, – высказался Проценко.

– Или его застрелили! – предложил свою версию Гегемон.

Снова посмеялись.

– Это тебе с кокаина пригрезилось! – предположил Кальчужный.

– Я сейчас не потребляю, – нахмурился Гегемон.

– Тебе бы детективные романы читать, – высказал общую мысль Зуев. – Закусывайте, друзья, наш любезный хозяин сыр нарезал...

– Беда наша, как русских, что мы привыкли закусывать. И не просто сыром. Нам нужен хлеб или другое мучное...

– Пирожок, – съязвил Кальчужный.

– Это с голодухи, – разразился тирадой Зуев. – У всех нас. Кто из нас не голодал во время Гражданской войны? Все голодали. Пятнадцать лет прошло, а мы всё никак не можем наесться хлеба.

Наступило молчание, все жевали и думали о словах Зуева.

Прервал молчание Олонецкий. Ему доставлял большое удовольствие разговор. Он любил серьезные и не совсем отчетливые беседы.

– Кока, дай мне французскую газету…

Юрий раскрыл газету, прочитал:

– Очень весело пишет газета «Эвр» о русском голоде.

– Ну-ка, чем они нас повеселят...

– Голодом в России.

Проценко и Варфоломеев оторвались от еды.

– Чем-чем? Я не расслышал, князь Георгий...

– Читаю, друзья. Перевожу на русский. «В России не может быть хорошего супа, потому что супа вообще нет. В смысле политическом и в смысле пищевом Россия существует самоедством.»

– Ого! – покачал головой Зуев.

– Да-да! «Русские отцы пожирают своих детей, русские дети – родителей. Штатские едят военных, а военные – штатских. Но штатские подаются в казармах в виде консервов... На рынках продают человеческое мясо, которое г. Эррио принял за превосходную телятину. Но и человеческое мясо продается не первого сорта. Часто под именем свежей человечины продают лежалых покойников, вырытых на кладбищах...»

– Тьфу на них! – скривился Варфоломеев.

Проценко перебил:

– Я не думаю, что это живодерское остроумие – результат душевной грубости и злого озорства. Тут дело обстоит проще – сытый голодного не разумеет.

Зуев согласно кивнул:

– Откуда французу знать, что такое голод и что значит «нет хлеба»? Кажется, Париж в последний раз голодал во время Великой

французской революции, и голодал относительно, без голодных смертей, и уж, наверное, без трупоедства.

– Погодите! – остановил Юрий. – Но если отсутствие опыта не мешает французу ясно представить себе картину беспощадного голода, то элементарное чувство сострадания к несчастным должно бы удержать счастливых людей от неприличного зубоскальства.

Проценко кивнул.

– Да уж... Над чем, в самом деле, смеетесь, господа.

Кальчужный добавил:

– Они понятия не имеют о голоде в России.

Юрий добавил:

– Если бы так! Кое-что они слышали и даже читали в своей же газете «Эвр». Это их сотрудница, Женевьева Табуи, побывала в России, писала о случаях голодной смерти. Она только, по наивности, не знала, чему эти случаи приписать: дурной ли привычке русских или действительно голоду.

– И тоже смеялась?

– Нет, не смеялась. Очевидно, понимала, какое производит впечатление, когда к умирающему подходит веселый развязный зубоскал и нестерпимо острит на кладбищенские темы.

Проценко посмотрел через плечо Олонецкого и прочитал:

– «Покупая человечину, надо, господа, остерегаться, чтобы торговцы не всучили лежалого покойника с кладбища»... Ведь экая бездна остроумия у человека!..

Варфоломеев, молча слушавший, вставил реплику:

– Если ты считаешь, что эта непристойность не от злобы, а от легкомыслия...

– То пусть простят ему боги! – закончил Кальчужный.

Юрий согласился.

– Я, собственно, и заговорил на эту тему только потому, что очень задело.

Проценко вздохнул.

– Сколько же новых бездомных, беспризорных детей в России! Это всё от голода. Дети погибших, дети умерших, дети, потерянные и оставленные на вокзалах и на базарах. Я помню по Гражданской войне.

Зуев ехидно добавил:

– Не сравнивай, дорогой однополчанин! Сегодня политическая полиция страны (а здесь, как говорит Горький, притаились лучшие воспитатели России) нашла новое занятие для бездомных детей. Не слышали? Теперь из беспризорных созданы кадры «полевых шпионов», наблюдающих за крестьянами, ворующими колосья в поле.

Варфоломеев недоверчиво поинтересовался:

– И какой результат?

– Отличный. Из детей вышли первоклассные шпионы. Азартные, настойчивые, дерзкие и наглые.

Проценко удивился.

– Откуда сие?

Зуев пояснил:

– От того, что в этом занятии есть элемент «охоты» и «травли». А может, от того, что на большой высоте стоят воспитатели из ГПУ, но только русская деревня еще никогда не знала таких сыщиков, бессердечных и назойливых. За «работу» им дают куски хлеба, дают пайки, а для особо отличившихся есть даже специальная одежда, которая выдается как награда. Говорят, что среди детей-сыщиков уже теперь попадаются совсем законченные подлецы.

– И это, конечно, понятно. Вот я, к примеру, тоже деревенский, ну, пусть относительно деревенский. Но помню свое детство – мы с ребятами играли в бабки, играли в солдатиков, играли в жмурки... А сейчас любимая игра, выходит, – в шпионы и сыщики.

Проценко хмыкнул.

– А что ты хочешь? Каков поп – таков и приход. Теперь не просто игра, дети состоят на действительной службе, пользуются властью, получают вознаграждение и служат советскому социализму...

Он кивнул Зуеву, отзывая его для личной беседы.

Тот отошел вместе с Леонидом к ваннам.

– Николай, тебя просил зайти к нему Ларионов, – тихо произнес Проценко.

– Виктор? Конечно, зайду.

Так просто Ларионов не приглашает к нему зайти, мелькнуло в голове Зуева.

ПИСЬМА

Дорогие княгиня и князь!

Приглашаем Вас на новоселье. Пусть Вас это не удивляет – мы продали наше имение в Латвии и купили небольшой замок на родине предков в Шварцвальде.

Будем рады Вас видеть в субботу.

Искренне Ваши

Анна и Оскар фон Тизенгаузен

Олег – родителям

Мои любимые маман и папан,

рад вам сообщить, что мы с моей замечательной женой Лидией живы и здоровы (чего и вам желаем!) на цветущих просторах Северо-Американских Соединенных Штатов, а точнее, города Вашингтона, округ Колумбия.

Я устроился на работу (50 долларов в неделю) в туристическое бюро м-ра Голоса, а Лида встретила своего бывшего шефа герра Ройтмана, и они зарегистрировали адвокатскую контору «Фон

Тизенгаузен и Ройтман» (видите, как она цепляется за свою бывшую знаменитую фамилию?). Иностранцы к ней в контору выстраиваются в очереди. Надеюсь, что деньги польются теперь рекой.

Ваш сын Олег (американец)

Приписка Лиды

Дорогие Лариса Владимировна и Роман Николаевич!

Мы действительно живем хорошо. Знаю, что вас интересуют бытовые подробности.

В пригороде купили в рассрочку дом (два этажа, шесть комнат, две веранды, подвал, чердак, центральное отопление, водопровод), рассрочка на 10 лет. При доме гараж на две машины.

Возле дома растут каштаны. Соседи – приличные люди, один – фабрикант, другой – коммивояжер. Я посадила цветы, а Олег – две яблони и сливу. Если они примутся, то через несколько лет будем есть собственные фрукты. Карлуше раздолье, он бегает вокруг дома и своим лаем пугает окрестных кошек.

Конечно, наняли служанку. Очень милая работящая негритянка по имени Патриция. Утром она нам готовит завтрак и после завтрака я на своем «порше» везу Олега в его офис, а сама еду дальше – в свою адвокатскую контору. Вечером заезжаю за мужем, и мы отправляемся ужинать (постоянного ресторана у нас еще нет – выбираем).

Да, забыла сообщить Вам новость: мои родители переехали в Германию, купили то ли дом, то ли целый замок в Шварцвальде в каком-то маленьком городке, теперь вся родня туда съедется…

Лида (теперь тоже американка)

Олег – Георгию

Привет, братишка!

Надеюсь, что ты проходишься сексуальным ураганам по парижским барышням, и они на тебя не в обиде.

Мои дела идут, как я и представлял, неторопливо, но плодотворно. Я работаю в туристической фирме, набираюсь американского опыта.

Посылаю тебе модные американские брюки, чтобы тебе все завидовали, на них пять застежек «зиг-заг»: на боковых и задних карманах и на ширинке.

У вас в Европе такие застежки – новость, а здесь все ходят с такими. Уж зипер-то точно на «зиг-заге».

Я по-американски ношу вместо ремня подтяжки, но тебе их не посылаю, чтобы ты не зазнавался.

Ты, конечно, по-прежнему врешь родителям, что служишь переводчиком у Ситроёна, а сам охраняешь ночной покой парижан?

Не бойся, не выдам, даже Лидии не скажу.

Я специально выписал из Франции «Иллюстрированную Россию», чтобы читать твои шуточки. Не беспокойся, твой псевдоним ни родителям, ни читателям не сообщу.

Если нужны деньги – напиши.

Брат Олег

ПРЕССА

О том, о сем...

Евгений Замятин опубликовал в «Marianne» (21 decembre) свой очень интересный разговор с советским студентом.

Студент заметил в руках г. Замятина газету несоветского издания и спросил:

– СТУДЕНТ (увидев в руках у меня какую-то советскую газету): А скажите, правда, что до революции были журналы и газеты разных партий, и все читали, кто что хотел?

– Да, правда.

– И в этих газетах об одной и той же вещи, например – о войне, печатались разные статьи, разные мнения?

– Да, разные.

– Не понимаю, как это могло быть! Ведь о войне – только наше, партийное, мнение правильно: зачем же печатать остальные?

Таковы результаты советского воспитания молодежи. Студент никогда по видел в своей жизни свободных газет, а уже не понимает, зачем же они существуют и на какой предмет может понадобиться людям свобода мнений.

Раз истина принадлежит Советам, и партия уполномочена эту единую истину провозглашать, то для чего же может понадобиться другое, вне истины лежащее мнение. Как видите, это точь-в-точь мнение калифа Омара, который сжег библиотеку в Александрии:

– Если в этих книгах заключается то же, что в Коране, то они не нужны. А если заключается другое, то они вредны.

Не без тонкого расчета Москва наняла в Париже несколько человек «годовых свидетелей», которые за умеренную плату должны хвалить всё московское и «восстановлять престиж». В сущности, этих людей нельзя даже назвать лгунами, потому что их ложь шита белыми нитками и никого не обманывает. Это, вульгарно выражаясь, обыкновенные «брехуны», которые решетом воду носят и из песка веревки вьют.

– Вы говорите, в Москве нет хлеба? Какой вздор. Дай Бог, чтобы Париж так питался, как питается Москва!

– Вы слышали, что целые площади в городах зарастают травой и на улицах нет движения? Но вот вам фотография: автомобильное движение не меньше, чем в Париже.

Особенно развязно свидетельствует В. Кутюрье в «Юманитэ»:

«По своей скромности русские полагают, что они еще дурно одеты. Но я несколько раз был в Москве, и меня поразило, что с каждым разом массы людей были одеты всё лучше и лучше. На улицах вы видите массу людей в новых костюмах, в новых шубах, в новых шапках... Правда, эти костюмы не шиты на заказ, они куплены в магазинах готового платья, но они все-таки новые...» А журнал «Вю» врет по части обуви. Этот журнал сфотогра-

фировал несколько случайных московских ног, и все они оказались прекрасно обуты.

Вообще, Москва живет припеваючи, а что советские враги плетут небылицы, так что же тут поделаешь?

Александр Яблоновский, «Возрождение» (Париж), 10 мая

Самоубийство коммуниста

Лидер баварских коммунистов Дрессель, находившийся в концентрационном лагере Дахау, покончил с собой, вскрыв себе вены на руках. Арестованный коммунист Баймлер прошлой ночью бежал из лагеря. Ему удалось скрыться.

«Возрождение», 11 мая

Расстрелы не прекращаются

Агентство «Крестросс» сообщает: Ростовский краевой суд приговорил к расстрелу члена миллеровского районного Посевного комитета Гладкого за выдачу ссуды зерном из посевного фонда.

14 апреля на пленуме средневолжского краевого Исполнительного комитета сообщено, что накануне были расстреляны пять заведующих совхозными ремонтными мастерскими и три ответственных работника машинно-тракторных станций. Между 7 и 15 апреля нижневолжское краевое ГПУ без суда, по простым запискам начальников политотделов, расстреляло 38 колхозников.

«Возрождение» (Париж), 6 июня

В РОССИЮ

После ликвидации в Париже ночной стражи Зуев с Олонецким нанялись расклеивать афиши. Но такая жизнь не давала Зуеву покоя, ему хотелось что-то делать, совершать, действовать. Он решил ехать в Россию.

Так он и заявил Олонецкому:

– Идем со мной, Жорик. Это настоящее дело! Не штаны протирать в Париже. Послужим России! Шлепнем пару комиссаров и обратно – а, Жорик? Гады... как же они меня вокруг пальца…

Олонецкий с жалостью смотрел на друга:

– Вот, Кока, лишнее подтверждение того, что к тайной деятельности ты не готов. Ты – боевой офицер...

Тот вскинулся:

– А ты готов?

Олонецкий удивился:

– При чем здесь я? Мы говорим о тебе.

Он понимал, что Зуев растерян и над собой издевается. Есть такие люди, что постоянно играют сами с собой. Казалось, что для Зуева его собственная персона – только объект для наблюдений. Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение. Но он вспомнил одного неприятного человека, который заявил Георгию,

что он «у нас на крючке». Очень хорошо запомнил фразу про крючок. Что бы она значила?

Фраза напугала *советскостью*. Только так он мог назвать подобные словесные обороты. Только в той стране так говорят. Олонецкий общался с беглецами из Совдепии и хорошо запоминал их словечки, обороты, поговорки – новые для него. Они все разные. Одни – невозвращенцы-коммунисты, которые работали здесь, в торгпредстве, в торговых делегациях и представительствах, потрясенные западным изобилием (можно представить себе советскую нищету и карточную систему!), оставались во Франции или в других странах Европы, наивно надеясь на такую же жизнь, какую они видят в зеркальных витринах Елисейских полей или Курфюрстендам. Большинство скоро спивались или бежали в полпредство на Гренель, просились домой. Некоторых охотно принимали, отправляли «на родину», где они участвовали в очередном пропагандистском спектакле, после чего их отправляли на Соловки, где через пару-тройку месяцев под благовидным предлогом расстреливали. Других же обратно не пускали, а оставляли в качестве подсадных уток, на которых эмиграция скоро обращала внимание, но не замечала подлинных агентов, которых плодились и на рю Гренель, и в других интересных местах.

Виктор Ларионов в эмиграции – человек, известный своей храбростью. В 1927 году с двумя товарищами пробрался в Ленинград и бросил гранаты во время доклада в партклубе. И благополучно ушел обратно за кордон.

Зуев, однополчанин Ларионова, вовсю расхваливал Юрия, и Ларионов решил проверить, каков тот стрелок, если, судя по рассказам Зуева, на лету сбивал трех ворон из стаи. Виктор Александрович пригласил Олонецкого в тир.

Олонецкий взял малокалиберную винтовку, небрежно поднял ее одной рукой, подхватил другой и тут же выстрелил. В яблочко! Не меняя позы, выстрелил еще три раза. Всё в яблочко.

– Отлично, – похвалил Ларионов. – А из револьвера? – он подмигнул хозяину тира.

Хозяин достал наган и протянул Юрию.

Олонецкий провел ладонью по барабану, проверил, на месте ли патроны, поднял револьвер и выстрелил. Неудачно. Второй выстрел. Уже лучше. Он сжал губы – всегда, когда нервничал, сжимал губы (мама ругала за дурную привычку, а брат Олег угадывал по сжатым губам настроение младшего). Он поднял наган обеими руками, прицелился и плавно нажал курок. Яблочко. Снова выстрелил. Снова яблочко.

– Вам надо стрелять всегда из этой позиции, – кивнул головой хозяин тира, бывший артиллерист-дроздовец. – С одной руки вы рискуете попасть не туда, куда хотите, – довольно закончил он.

Ларионов согласно кивнул.

Генералу Скоблину он расхвалил Олонецкого не только как отличного стрелка, но как умного и инициативного человека. Генерал слушал равнодушно: достоинства кандидатов в смертники оставляли его безразличным.

Старшим к ним назначили моложавого, с седыми висками человека, который назвался Яковом Львовичем Платоновым. Позже в разговоре Платонов сообщил, что дослужился до подполковника, в Россию ходил уже несколько раз, и ничего страшного в очередном походе нет, надо просто держаться, как все окружающие, быть похожими на других, стараться ничем не выделяться – и тогда всё будет в порядке.

Олонецкий отправлялся в Россию впервые и рассматривал свой поступок ни более ни менее, как героический подвиг. Честно сказать, он не понимал грядущей опасности. Ему особенно и не хотелось идти в Россию, но Зуев с его постоянными разговорами о несчастной стране и голодающем народе, о предназначении эмиграции, да беседы в кружке Национального Союза нового поколения – всё подтолкнуло Юрия на отчаянный шаг.

Они получили благословение от генерала Миллера. Выехали в Финляндию с югославскими паспортами, которые вручил им Скоблин.

Олонецкий удивился, зачем Скоблину понадобилось фотокарточек больше, чем требовалось для паспорта. Но ничего не сказал. На следующий день приступили к тщательной подготовке перехода в СССР.

– Давно не носил я сапог! – воскликнул Зуев и похлопал по голенищу.

Олонецкий засмеялся.

– Точно, Кока, ты – военный человек. По сапогам тебя любой определит...

Зуев отмахнулся.

– Да ну тебя... Там все ходят в сапогах. А вот сапоги для тебя – брезентовые, с ремешками…

Эмиссары Миллера изучали вопросы, интересовавшие Генеральный штаб Финляндии. Тут Олонецкий невольно запомнил слова Скоблина, сказанные перед отъездом из Парижа: «Деньги приходят с работой...»

От РОВСа эмиссары получили задание организовать опорные пункты в Москве и Ленинграде и вернуться за границу. У Платонова имелось свое задание.

Белой июньской ночью проводник-финн перевел Платонова, Олонецкого и Зуева через границу. Он провел их в обход пограничных препятствий и заграждений. Пожелав успеха, распрощался. Посланцы Миллера двинулись дальше на Ленинград. Шли через лес.

«Чем русский лес отличается от финского или французского?

Ничем, – размышлял Юрий. – Что здесь необычного? Ничего. То же самое – и деревья, и трава, и воздух. А нам в уши дули: Россия, Россия, воздух родины... Тьфу!»

Зуев огляделся по сторонам:

– Это уже Россия, чувствую ее запах! Какой запах? – Травы, навоза, ржи, помню по детству, сразу вспомнил... слышь, Жорик, мы с тобой уже в России…

– Спокойнее, господа, спокойнее, – произнес Платонов.

К двум часам следующего дня были уже вблизи Парголовского шоссе, верстах в четырех от Парголова.

Осмотрелись, вышли на дорогу. Кругом мирная жизнь. Стадо коров. Люди с портфелями и сумками, идущие на станцию. Когда-то юношей ходил Платонов по этим местам. Знакома и станция. Выйдя на платформу, боевики убедились, что ни одеждой, ни своим видом они не отличались от многочисленной толпы пассажиров.

Не желая рисковать и ехать поездом, они наняли извозчика и под видом инженеров, ищущих дачу, проехали за три рубля до Озерков. Там сели на трамвай № 20 и прибыли без задержки в Ленинград около восьми часов вечера. Случайно успели купить в кассе последние билеты до Москвы на скорый поезд. Утром прибыли в столицу.

Олонецкий не знал Москвы. Мальчиком родители возили его в Первопрестольную, но кроме кремлевских куполов, ничего не запомнилось. Удивил тогда и подавил красивый храм Христа Спасителя. Да и купола напоминали ему какие-то вкусные птифуры. Писали, что в прошлом году храм разрушили до основания. Петербург он тоже помнил уже плохо. Другие впечатления выдавливали детские.

И на Олонецкого, и на Зуева Первопрестольная не произвела того впечатления, которое они ожидали. Поразили люди: серые, с опущенными глазами, с выражением непонятной злобы и зависти во взглядах. Почему это, откуда?

Но, с другой стороны, размышлял Юрий, люди как люди. Одеты только скромнее.

– Беднее, – поправил его Зуев.

Первым делом приобрели толстовки, фуражки и приняли подходящий вид. Купили три брезентовых плаща для ночевок. С собой имелись ботинки, в которые они переобулись. Затем Платонов достал план города и стал знакомить своих спутников с главнейшими улицами – попутно интересовались охраной.

Вечером, уставшие, отправились на Савеловский вокзал и, отъехав верст 25 от Москвы на дачном поезде, заночевали в лесу.

Утром Платонов сообщил товарищам, что идет на явку. Встретятся они у дома № 6, что позади церкви на Ордынке, в Замоскворечье.

Они подошли к дому с разных сторон, словно незнакомые, Зуев

прошел во двор, там никого не оказалось, но имелся выход на соседнюю улицу, под старинной каменной аркой, и он прошел туда, выглянул наружу, вернулся и сразу увидел Платонова, который направлялся к дверям дома.

– Не оглядывайся, Яков Львович, – сказал Зуев спине подполковника.

Тот напрягся и резко повернулся.

– А что – следят?

– Следят – не следят, а так безопасней.

Платонов остановился – вокруг никого не было, кивнул, вошел в дверь – у лестницы ждал Олонецкий, сунув руку в карман.

– День добрый, – сказал он.

– Чекистов просто распознать – у них взгляд наглый, – продолжая разговор с Зуевым, заметил подполковник. – Знаешь, будто им всё позволено.

– Как у бандитов.

– Точно.

Зуев сплюнул и растер подошвой плевок.

– Я не дам себя схватить, застрелюсь.

– Если успеешь, – согласился Платонов, – я тоже так решил…

Олонецкий кашлянул.

– А я, если схватят... А я на процессе скажу всё, что я о них думаю.

Платонов рассмеялся, Зуев усмехнулся.

– На каком процессе? Что ты скажешь? Кто тебя услышит? На такой процесс ни один иностранный корреспондент не будет допущен.

– Они без процесса шлепнут тебя в подвале, в затылок, а если процесс... Что бы ты ни сказал на суде – в газеты не попадет. Прав капитан – никто не услышит, вот что обидно... Напишут – во всем признался и проклинал...

Юрий не понял.

– Кого проклинал?

– Мировую буржуазию, капиталистический Запад и проклятое эмигрантское отребье!

– Точно, капитан, так и напишут, гады, – согласно кивнул подполковник. – Я вас специально на свою квартиру не веду. Держит ее человек… Добров его фамилия… Очень хотел узнать, куда иду, он меня через час будет ждать... Трудно сказать, свой или подсадная утка... Но другого нет. Я в прошлый раз у него два дня ночевал…

– Это когда же, Яков Львович?

– Да два года назад.

Зуев присвистнул.

– За два года всё могло случиться...

Платонов согласился.

– Я тоже так думаю. Сказал ему, что один прибыл из-за кордона.

Лучше про вас ему не знать... Да нет, ты зря, капитан! Меня бы сразу арестовали...

Зуев вынул папиросу изо рта.

– А если они специально сразу не арестовали, хотят узнать, с кем встречаешься, с кем прибыл?

Тот шмыгнул носом.

– Чепуха. Я бы сразу заметил. Но ты прав – держимся на расстоянии. В случае неудачи – сразу уходите. Около Лубянки не болтайтесь, чекистов всюду достаточно.

Зуев бросил папиросу на дорогу.

– Вы идите впереди, а мы издалека будем смотреть – вдруг за вами слежка.Тогда мы вас обгоним, и вы поймете, что надо отрываться...

Платонов кивнул.

– Сейчас сядем в трамвай. Я сойду на следующей остановке, а вы – через одну и идите из Замоскворечья на мост. Там увидите меня… Если я без картуза, значит, не всё в порядке – идите вдали. Если беда – сразу разворачивайтесь и уходите.

Зуев тяжело вздохнул, кивнул в ответ, запахнул свой плащ, и они с Олонецким прошли по галерее. Юрий оглянулся: подполковник исчез. Он сбежал по лестнице вниз и прошел во двор. Его преследовали слова Платонова: «то ли свой, то ли чекистская подсадка». Значит, будем считать худшее: Добров – чекист, за ними следят, но никакой слежки не замечено; может, следят только за Платоновым? Как же так, ведь они еще ничего не сделали, как же возвращаться ни с чем? Скоблин не зря говорил: «работа денежки дает», а если следят за Платоновым, то где гарантия, что не следят и за ними? Правда, они сегодня впервые встретились с подполковником и притом на лестнице, в полупустом доме, но откуда ему известно об этом доме, может, от того же Доброва, а значит, здесь тоже засада и за ними следят?..

Как и договорились, Платонов соскочил с трамвая, а они сошли на следующей остановке, перешли мост и сразу же заметили Платонова. Он снял кепку и обмахивался ей, словно жарко. Они поняли сигнал – держаться вдали.

С Платоновым стоял мужик с длинными усами в фуражке с лакированным козырьком.

– Тот самый Добров, – догадался Зуев. – У которого Яков Львович квартирует.

Платонов смазал их взглядом и надел кепку.

Добров что-то сказал, и они пошли по Красной площади по направлению к Ильинским воротам. Платонов внимательно осмотрелся по сторонам и вычислил изображавших праздных гуляк чекистов.

Они подходили к Верхним Торговым рядам. Какие-то люди шли

навстречу по тротуару. Прямо на подполковника шел высокий мужчина в темном пальто и в кепке. В глаза бросалась большая борода рыжего цвета. Эта борода буквально заворожила Платонова, он никогда не видел таких рыжих бород. И только переведя взгляд налево, он в трех шагах от себя увидел Сталина.

Он сразу его узнал по сходству с портретами. Сталин показался ниже ростом, чем Платонов его себе представлял. Сталин был одет в солдатскую шинель, на голове картуз защитного цвета. Шел он медленно и смотрел на Платонова в упор. Платонов тоже не спускал глаз со Сталина.

За Сталиным шло человек шесть-восемь. Они так близко сошлись на узком тротуаре, что Платонов даже задел рукой рыжебородого.

Первая мысль – выхватить револьвер и выстрелить. Но в тот день подполковник вместо куртки надел пальто, а револьвер лежал в кармане брюк под пальто; он понял, что раньше, чем выстрелит, его схватят. Перевел дыхание – встреча со Сталиным была совершенно неожиданной.

Он прошел несколько шагов – не вернуться ли, чтобы выстрелить? Но восемь человек охраны! Поразило не количество охранников. Он считал, что Сталин передвигается только на автомобиле, окруженный плотным кольцом чекистов, причем машина идет самым быстрым ходом. Именно такое представление о способах передвижения вождей большевиков всегда вызывало наибольшие затруднения при обсуждении вопроса о террористическом акте.

– Ты что? – спросил Добров, взяв его за рукав пальто.

Платонов переживал упущенную возможность.

– Как странно! Когда встречаешь, ничего не предпринимаешь, а когда захочешь встретить, не встретишь. За границей мне никто не поверит.

Зуев сжал ладонь идущего рядом Олонецкого.

– А? – не понял Юрий, но и сам увидел, как идущий вдали со своим приятелем Платонов вдруг замедлил шаги, приятель толкнул его в переулок, буквально потащил туда, а из переулка выскочили двое и повисли на подполковнике, еще один откуда-то с площади побежал к ним.

– Поворачиваем, – только и произнес Зуев, и они резко повернули и быстро пошли туда, откуда только что пришли, затем повернули на Никольскую.

Чекисты заломили Платонову руки назад, держали крепко.

– Пистолет у него в правом кармане брюк, – сообщил Добров.

Платонов плюнул ему в лицо – нет, не в лицо, лица есть у людей, а это – морда, поганая чекистская харя, – и тут же получил удар в нос, и из носа пошла кровь.

«Только бы капитан со своим парнем не вмешался, – мелькнуло в голове, – парень сумасшедший, откроет огонь, а чекистов здесь тьма», – и он рванулся, но его держали крепко.

Они вернулись дневным поездом в Ленинград, добрались последним дачным до Левашово. Нервы были напряжены, оба страшно устали, опасались чекистской облавы. Поздно вечером дошли до полустанка. Утомленные переходом, повалились прямо на перрон и заснули.

Пробуждение утром не обещало ничего хорошего.

Юрия кто-то ударил в бок, потом еще раз.

– Эй, дядя, проснись! Поезд проспишь!

Олонецкий открыл глаза, первое, что увидел, – ноги вокруг, толкнул Зуева и вскочил.

Около них стояли местные жители, удивленные видом спавших чужаков. Значит, это и есть русский народ, крестьяне, угнетенные большевиками?

Зуев встал, потянулся, протер глаза и подмигнул девице в косынке.

– Что, красавица, понравился?

Та прыснула и спряталась за мужика в ватнике.

Тот толкнул соседа:

– Смотри, какие у них башмаки! Ненашенские.

Другой мужик кивнул головой.

– Заграничные, – и спросил Олонецкого: – Ты где, парень, такие ботинки купил?

– В Ленинграде, – ответил тот, чувствуя, как в груди поднимается тревога.

Мужик хмыкнул:

– Брось врать, в Питере такой обувки не бывает…

Юрий ухмыльнулся.

– Знать надо, где и у кого покупать…

Мужик подошел ближе.

– Так, может, и мне скажешь? Я тоже такие башмаки хочу!

Другой мужик придвинулся вплотную к Зуеву.

– Вы кто такие будете, а? Документы у вас есть?

При чем здесь документы? Почему не поздоровался? Почему про документы? – застучало в голове Олонецкого, и рука автоматически легла на отворот куртки, чтобы быть ближе к пистолету.

Зуев потемнел лицом.

– А ты кто такой будешь, чтобы у меня документы спрашивать?

Мужик не смутился.

– Меня здесь все знают, а вы люди чужие, непонятные, на перроне спите...

Вмешалась девка в косынке.

– А вот милиционер идет, пусть они ему документы покажут. Эй,

Кузьма, давай сюда! – закричала она. – Здесь чужаки какие-то! И обувка на них заграничная!

Юрий с размаху оттолкнул от себя мужика.

Недолго думая, Зуев выхватил из-за пазухи парабеллум и выстрелил в воздух.

Все вздрогнули и отшатнулись.

– Бежим! – крикнул Николай Олонецкому и спрыгнул с перрона.

Тот подхватил свою котомку и прыгнул следом.

– Стой! Это мазурики! Держи их!

Зуев мчался большими прыжками.

Олонецкий не отставал. Он слышал за спиной шум погони. Резко остановился, достал браунинг и обернулся.

Мужик в ватнике с озверевшим лицом совсем близко.

Юрий выстрели ему в ноги. Тот вскрикнул и упал.

Второй выстрел повалил бегущего следом мужика с палкой. Тот катался по земле и кричал. Крестьяне остановились, попятились, опасаясь выстрелов. Мужик бился на земле, кричал от боли.

Олонецкий повернулся и побежал догонять Зуева.

В лесу они отдышались.

– Пристрелил гада? – переводя дыхание, спросил Зуев.

– Мужики, грязь деревенская… – тяжело дыша, отозвался тот. – По ногам бил…

Зуев выдохнул.

– Пожалел, значит, большевика…

Олонецкий спрятал пистолет в боковой карман.

– Ах, какой он большевик, обыкновенная советская сволочь…

Целый день шли по компасу через лес, петляли, заметали следы, прятались в кустарнике и вечером вышли к реке Сестре.

Переправились через речку и с облегченным сердцем вышли к финскому пограничному посту.

Доставленные в Выборг, они рассказали о своей неудаче. Финны удивились и обеспокоились провалом на маршруте, который считали сравнительно безопасным.

Потрясенные пережитой опасностью и провалом похода, Олонецкий и Зуев вернулись во Францию. Плыли назад в трюме парохода – на более удобное путешествие Скоблин денег не дал.

Он буквально рвал и метал – так был недоволен их возвращением. И приказал Ларионову немедленно отстранить Олонецкого от дальнейшей работы как штатского, от которого мало пользы.

– Уверен, что Олонецкий струсил, – говорил он Ларионову, – я понимаю – шпак! Зуев – боевой офицер, корниловец, сразу вынул револьвер и стал стрелять, а ваш протеже… Впрочем, тоже мне офицер! Тьфу, нет, больше никаких штатских, какими бы они снайперами ни казались…

В столовой Галлиполийского собрания в Париже Олонецкого и Зуева в узком кругу чествовали скромным банкетом. Успокаивали и говорили, что следующий поход будет удачнее, что можно и другими путями добраться до цели, что нужно и можно…

Зуев всегда смотрел на свой поход в Россию как на миссию. Он верил, что народ только и ждет, когда ему расскажут правду о том, что происходит, и народ очнется от вечной российской спячки, будет действовать, надо только рассказать правду и подтолкнуть. Ну, чекисты понятно, слуги режима. Кровавые палачи… Но народ! Оказывается, народ хочет тебя схватить, крутить тебе руки, тащить в лапы власти, которая этот самый народ угнетает, – для Зуева это был шок.

Пили и искали виновников провала.

– Ботинки, – прошептал Юрий.

– Что? – услышал Зуев.

Юрий объяснил, что когда готовились к походу, то Скоблин посоветовал надеть ботинки на толстой подошве – дескать, они удобнее для похода по болотам. Он промолчал о фотографиях, посчитал, что это ненужная деталь.

Зуев отмахнулся – при чем здесь Скоблин? Он, конечно, темный человек, и жена его тоже хорошая стерва… Но обувь… Ботинки, действительно, очень удобные для похода по заболоченной местности, а что мужики обратили на них внимание, так потому, что ничего, кроме своих лаптей да солдатских сапог, никогда не видели, не бери в голову, Жоржик.

Олонецкий чувствовал себя опустошенным, словно давно не ел, и пустой желудок просит пищи. Вот еще один путь служения отпал, никто не ждал их в России, никому они не нужны, да и кому нужны все мы, для чего, для какой цели?! И есть ли та цель, ради которой идти на смерть, на крестные муки, – не выдумки ли это доморощенных философов и неудачников-генералов?

Когда они уходили, то Олонецкий обнял Николая и прошептал ему в ухо:

– Кока, я больше в Россию не пойду. Я сгорел.

Впоследствии он вспоминал свой поход в Россию как страшный кошмар, как крушение несбыточных надежд, и никому о нем не рассказывал

В эти дни в Москве, на Лубянке выбивали правду из подполковника.

Следователь бил Платонова по ребрам и спрашивал:

– Кто был с тобой? Я знаю – ты был не один!

– Я был один, – кривился тот. – Не люблю коллектива. Я работаю всегда в одиночку.

– Врешь! – следователь выбил ему два зуба. – Кто был с тобой?

Платонов мотал головой.

– Только Иисус Христос. Я анархист, работаю в одиночку.

– Врешь, сука! – орал следователь. – Ты не анархист, ты офицер!

Платонов выплюнул кровь изо рта (эх, жалко, далеко сидит чекист...).

– А почему офицер не может быть анархистом?

– Ах ты сволочь!

Его били, но он в юности занимался боксом и потому переносил удары, он умел сгруппироваться и расслабиться там, где надо и когда надо.

Тогда его посадили на ведро без дужки с высокими ушками, которые постепенно вонзались ему в зад.

– Скажешь, скажешь, у нас не такие говорят…

Но он молчал, лишь однажды, когда ему ноги привязали за веревку и стали растягивать, как на средневековой дыбе, мелькнуло: может, сказать?

Капитан со своим молодым приятелем давно перешли границу, уже, наверно, в Париже?

Но голос рассудка выбил подлую мысль: «Забудь, дурак, и не вспоминай ни о ком – а если не перешли? А если до сих пор около границы тыкаются и блуждают?»

«Что же будет, если ты их выдашь, – сразу же усилят патрули на границах, на всех границах, будут стрелять навскидку по любой движущейся цели, и главное – себя ты не спасешь, они тебя всё равно убьют.»

Ему выбили почти все зубы. Он снова выплюнул кровь и сказал:

– Ничего, не страшно. На том свете мне новые вставят.

– Это точно, вставят, – подтвердил один из палачей и ударил его табуретом по голове.

Подполковник ухмыльнулся сквозь бред:

– Со мной Господь, мне умирать не страшно…

В апреле его расстреляли. Точнее – убили: в подвале, в затылок, как и многих других до и после.

ПРЕССА

В центре Парижа, в витрине рыбной торговли можно прочесть такое объявление: «СВЕЖАЯ РЫБА. Получается каждую пятницу». Очевидно, рыба в этой лавке обладает счастливой способностью сохраняться свежей шесть дней подряд.

* * *

Образцы парламентского красноречия, позаимствованные из стенографических отчетов заседаний палаты:

– Мы не должны насиловать молодые умы с первых же их шагов.

– В этих кожаных штанах шахтеров бьются сердца смелых людей.

– Сердце, бьющееся под блузой рабочего, такое же честное, как и сердце, бьющееся под цилиндром буржуа.

– Благодарю вас, г. министр: вы выслушали меня благожелательным взглядом.

– Я обратился к правительству с запросом. Мне ответили положительно: нет.

– Затем наступил резкий кризис, на этот раз смертельный, но он не имел тяжелых последствий.

К этой коллекции можно с успехом прибавить фразу, сказанную на приеме в Елисейском дворце маршалом МакМагоном:

– Вы – негр? Отлично... Продолжайте в том же духе!

Железная Маска.
«Иллюстрированная Россия» (Париж), № 20, 1933

Советский анекдот

Лицо, бывшее недавно в Советской России, рассказывает, что в Москве в особом ходу сейчас истинно трагический анекдот:

Сталин решил удостовериться, до какой степени дошла покорность населения. Он велит одному из своих секретарей объявить от имени советского правительства, что отныне хлеб будет выдаваться лишь каждому десятому из жителей Москвы.

– Что сказал на это народ? – спросил Сталин, когда вернулся секретарь.

– Народ безмолвствует, – отвечал тот.

Тогда Сталин приказал секретарю объявить населению, что лишь каждому сотому жителю будет выдаваться хлеб. Но и на эти слова народ никак не отозвался. Не отозвался он и на новое заявление секретаря, что отныне хлеба никому не будут выдавать.

Сталин решил испытать тогда крайнее средство.

– Объяви жителям Москвы, – сказал он секретарю, – что завтра они все будут расстреляны.

И когда вернулся секретарь, он спросил его:

– Как восприняли жители приказ об их расстреле?

– Становятся в очередь, – отвечал секретарь.

«Возрождение» (Париж), 13 июня

Вещания Троцкого

Жорж Сименон, известный автор целого ряда уголовных романов, в которых роль Шерлока Холмса играет инспектор Мегре, посетил в качестве представителя газеты «Пари-Суар» Льва Троцкого в его уединении на Принцевых островах.

Троцкий беседовал с Сименоном на всевозможные историко-философские темы, не высказав чего-либо нового. По его мнению, решающим в международной борьбе явится не расовый, а классовый фактор.

Сименон спросил:

– Следует ли рассматривать объединение диктаторов как зародыш новой перегруппировки народов?

Троцкий на это ответил, что он не верит в объединение диктаторов, с одной стороны, и демократии – с другой. Далее он сказал, что диктатуры являются неизбежными в периоды острой борьбы; они являются своего рода короткими замыкателями электрического тока, которые разрушают выключатели демократии. Это случилось и в Италии, и в Германии.

По вопросу о войне и мире Троцкий ответил, что фашизм, и в особенности германский национал-социализм, принесли Европе опасность военных потрясений.

– В пределах нескольких лет, не месяцев, но и не десятков лет, я считаю совершенно неизбежным военный взрыв со стороны фашистской Германии, – сказал Троцкий.

– Можно ли вам задать еще один вопрос? – спросил Сименон. – Я только боюсь быть нескромным.

Троцкий улыбнулся и сделал жест рукой – говорите.

– В газетах писали, что вы принимали недавно посланцев из Москвы, предлагавших вам вернуться в Советскую Россию.

Троцкий улыбнулся еще шире.

– Это неверно, но я знаю происхождение этого сообщения. Два месяца назад я поместил в американских газетах статью, где, между прочим, писал, что даже при нынешнем советском политическом курсе я готов снова оказать содействие, если опасность стала бы угрожать стране.

– Вы поступили бы на активную службу? – спросил Сименон.

Троцкий на это кивнул головой.

«Возрождение» (Париж), 16 июня

Троцкий – контрреволюционер

Москва, 17 июня.

Агентство ТАСС заявляет: Сообщения иностранных газет относительно переговоров о возвращении Троцкого лишены какого-либо основания. Троцкий изгнан из СССР в качестве контрреволюционера на основании советского закона, сохраняющего свою силу.

«Возрождение» (Париж), 18 июня

ПАРИЖ, 1934. ОСЕНЬ. АРТУР

Летом Артур написал под псевдонимом первую из трех своих книг, посвященных сексологии, – «Энциклопедию сексуальных знаний». Впервые этой темой Артур занялся в 1932 году, работая научным редактором у Ульштайнов, незадолго до того, как был уволен. Несколько недель он изучал работу Сексологического института М. Хиршфельда и был поражен неблагополучным состоянием общества и в этой области, как и в других, в ту предшествующую приходу нацистов к власти эпоху, – в чем Артур увидел один из многих признаков кризиса современной цивилизации. Серия написанных им статей рисовала такую мрачную картину, что «Фоссише Цайтунг» не решилась их опубликовать.

Написанная после ухода от Мюнценберга «Энциклопедия» стала бестселлером и вышла на многих языках, однако материальных проблем Артура не решила: львиной долей доходов завладел предприимчивый издатель.

В числе организаций, опекаемых «Фирмой Мюнценберга», был приют для детей беженцев. Официально он предназначался для детей бедствующих немецких эмигрантов. Их классовая или партийная принадлежность якобы не имела значения, но на самом деле воспитанниками приюта были преимущественно сыновья и дочери партийных

работников, убитых нацистами либо направленных на подпольную работу в Германию и на другие секретные задания. У приюта закончились деньги. Тридцать детей и подростков в возрасте от двух до шестнадцати лет жили на вилле с подходящим названием La Pouponnière («Ясли») в Мезон-Лаффит, близ Парижа – это помещение предоставил фонду какой-то филантроп-француз.

Вилли вызвал Артура и поручил провести там несколько дней, чтобы написать брошюру, которая помогла бы собрать недостающие средства.

– Скажите им: нельзя допустить, чтобы голодали дети, чьи отцы сражаются за свободу, и так далее. Пять тысяч слов и несколько фотографий этой мелюзги – веселые, но отощавшие и тому подобное. – По обыкновению пристально глядя на собеседника, Мюнценберг подчеркнул: – Задача неотложная.

Сколь неотложной она была, Артур понял на следующий день, когда оказался на вилле, одиноко стоявшей в нескольких сотнях метров от леса и от знаменитой гоночной трассы в Мэзон-Лафитт. Среди детей свирепствовала дифтерия, персонал не имел ни знаний, ни опыта, а запасы пищи сводились к рису, макаронам, какао, сахару и маргарину.

Коммунистическая партия предъявляет к своим писателям и прочим интеллектуалам вполне здравое требование «практики» – подразумевается, что нельзя писать о коммунистической стратегии, не поработав на заводе, в ячейке или в подпольной организации. Уже Маркс настаивал: «Без революционной практики нет революционной теории», – и посвящал гораздо больше времени созданию небольших союзов рабочих, нежели написанию «Капитала». Советский автор, собираясь писать о колхозе или об автомобильном заводе, должен был несколько месяцев проработать там, ощутить тему изнутри.

Вот почему, хотя Артур знал о детях меньше, чем о бушменах, ему казалось вполне естественным превратиться в учителя, сиделку и фельдшера одновременно. Он провел в приюте не несколько дней, а два месяца, и начал писать свой первый роман. Роман получил второе место на международном конкурсе социалистической книги швейцарского клуба «Бюхергильде Гуттенберг», однако так и не был издан. Он назывался «Приключения товарища Птахи и его друзей в эмиграции».

Герой романа – четырехлетний мальчик, чьим главным словом было «товарищ»: он обращался так ко всем – ко взрослым, детям и животным. Однажды, ковыляя по саду, он воскликнул, указывая на нахохлившегося на ветке воробья: «Смотри, товарищ, там товарищ птаха», – отсюда его прозвище, ставшее конспиративной кличкой.

Все дети имели подобные прозвища: они скрывали свои фамилии от внешнего мира и, по возможности, друг от друга. Поскольку

родители некоторых детей проживали по подложным документам в Германии и в других странах, список детей из Мезон-Лаффит мог пригодиться гестапо для установления личности функционеров, активно налаживавших подпольную работу, а то и выследить их. Документы с подлинными данными детей на вилле не хранились, и самих воспитанников учили никогда не называть себя настоящими именами. Дети на удивление дисциплинированно подчинялись этому правилу – разумеется, их увлекала романтика игры в «казаки-разбойники». Словом, приют представлял собой хорошо организованный сумасшедший дом и весьма напоминал советские школы первых послереволюционных лет...

В числе прочих обязанностей Артур вел занятия у малышей и укладывал их спать, редактировал еженедельную газету «Коллектив», мыл в свой черед полы и давал уроки русского языка двум лидерам этого сообщества – Большому Питу и Бонзе Флориану. Питу, высокому, сильному, вдумчивому пареньку, было около шестнадцати лет. Его отца, гамбургского кочегара, убили нацисты. Флориан, отпрыск члена Центрального Комитета партии, уже к пятнадцати годам представлял собой вполне оформившийся тип коминтерновского бюрократа (как известно, «бонзами» на партийном жаргоне именовали важных шишек)... Проведя два месяца в Мезон-Лаффит, Артур смог возвратиться в Париж и дописать роман.

Он выступил с чтением на собрании писателей-эмигрантов и, неожиданно для себя, получил разнос. Его обвиняли в мелкобуржуазном уклоне, и он не понял, что такое «мелкобуржуазный уклон». Он стал огрызаться, но руководители объединения были отнюдь не писателями, а партийными функционерами. И в эмиграции они продолжали функционировать, как прежде.

Его спасло неожиданное предложение: партия поручит работу – неоплачиваемую, но чрезвычайно интересную – на полгода или даже больше, месяцев на девять. Предполагалось создать центр для исследования структуры и функционирования фашистских режимов – учреждение более академическое по своей методике, нежели другие филиалы пропагандистской «Фирмы Мюнценберга». И он полностью погрузился в работу.

L'Institut pour l'étude du fascisme («Институт изучения фашизма», сокращенно ИИФ) существовал как бы вне партийной иерархии. Компартия руководила его работой, но институт сам добывал средства и являлся одной из организаций Народного фронта. Здесь собрались удивительно приятные и преданные делу люди – да и в целом ИИФ оказался самой удачной и достойной командой, какая Артуру встречалась в партии. Здесь сохранилось что-то от первоначального духа революционного движения – вероятно, именно поэтому спустя год партбюрократия раздавила институт.

Артура назначили коммерческим директором; ему приходилось

посещать французов – членов попечительского совета института – и просить их о вспомоществовании. Именно так он познакомился со многими французскими интеллектуалами, в том числе с Андре Мальро.

Артур явился к нему в кабинет в издательстве «Галлимар»*;* они спустились в маленький садик и там, гуляя, беседовали. Артур постарался описать великое будущее института и еще более великую потребность в деньгах. Мальро слушал молча, вдруг резко остановился, грозно надвинулся, почти прижав Артура к садовой решетке, и произнес:

– Да-да, mon cher, но что вы думаете насчет апокалипсиса? – с этими словами он протянул пятьсот франков и пожелал удачи.

Членами попечительского совета ИИФ состояли бородатый, обходительный профессор Ланжевен, молодой и полный энтузиазма Фредерик Жолио-Кюри, заряженный тщеславием и амбициями Луи Арагон – только он один всегда отделывался добрым советом и ни разу не дал ни сантима, и профессор Люсьен Леви-Брюль, чьи научные работы о дологическом первобытном мышлении повлияли на интеллектуальное развитие Артура. Все они и многие другие французские интеллектуалы проявляли доброту и участие к безвестному «беженцу-антифашисту». Большинство из них не были членами партии, но давали деньги институту, входили в Совет попечителей и писали рекомендательные письма к другим знаменитостям; однако в их участии было нечто отстраненное, безличное и холодное – испытывая благодарность за помощь, Артур всё же страдал, что ни его, ни других эмигрантов французы никогда не приглашали к себе в дом. Он знал, что подобная отчужденность присуща их культуре, и принимал ее как должное, когда был в Париже иностранным корреспондентом, но теперь бедность и изгнание обострили его чувствительность.

Больше всего беженец мечтает хоть ненадолго избавиться от ощущения бездомности, неустроенности. Так и солдаты на чужбине, в казармах, томятся по уюту и теплу семейного ужина. Британцы инстинктивно понимают эту потребность и, вопреки своей сдержанности, подбирают иностранца, словно приблудного пса, приводят к себе домой и помогают обосноваться. Французы же легко сближаются с незнакомцем, горячо обнимают его – и оставляют зябнуть на улице, обреченного на участь вечного туриста или вечного изгнанника, как доведется.

Вот почему основная масса эмигрантов во Франции не имела местных связей и жила словно в гетто, читая эмигрантские газеты, посещая эмигрантские клубы и кафе, с головой погрузившись в неизбежные распри и интриги эмигрантской общины.

Как и положено беженцу, Артур оказался еще и бездомным в самом буквальном смысле слова: не мог платить даже за дешевые номера в отеле «Бельвиль» и перебрался на бесплатный «сеновал».

Хотя он всё время недоедал, а по воскресеньям, не получая супа в ИИФ, просто умирал с голоду, он чувствовал себя совершенно здоровым и вполне довольным жизнью. Работа, пылкое чувство товарищества и принадлежности к коллективу выжгли последнюю каплю жалости к себе. Он считал, что живет, как следует жить коммунисту, – в нищете, дисциплинированно и самоотверженно исполняя свой долг.

Ему шло к тридцати; эмоционально он всё еще оставался неустойчивым, недостаточно взрослым человеком, но, несмотря на внешние противоречия и путаницу в голове, что-то менялось и начинала структурироваться новая Личность. Путем проб и ошибок он убедился, что безусловная преданность делу составляет физическую потребность, только она избавляет от гложущего чувства вины, укоренившегося с раннего детства. Только трудясь во имя «дела», он мог избежать превращения в интеллектуала-невротика.

Артур начал смиряться с тем, что он – человек одержимый, одарен (или наказан?) избытком нервной энергии, которая требует выхода, и если он не поглощен страстью к какому-то делу, одержимость превращается в манию. В такой жизни он обретал душевный покой – творческую радость, счастливую возможность строить, созидать, добавлять по кирпичику в здание более достойного будущего для всех людей – а в него он верил по-прежнему...

ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ. ОСЕНЬ. 1933

Он вышел из своей подворотни, сразу стало светлее – ничто не закрывало небо.

Стоящая невдалеке машина тронулась с места.

Он вздрогнул. Полиция?

Но машина остановилась, пропуская его. Юрий широким жестом показал, что дорога свободна, может ехать. Шофер в ответ улыбнулся, кивнул головой, отдал честь (не иначе бывший военный!) и проехал дальше.

Олонецкий проводил взглядом уезжающий «рено».

Где-то я видел этого шофера. А может, не видел, показалось. Знакомых шоферов у меня нет, у Коки Зуева имеются знакомые шоферы, он рассказывал, как одному из них они с отцом моего одноклассника душевую кабинку поставили. Ну да, Григорович-Барский. Мы с ним дрались несколько раз. По какому поводу – не помню. Но тогда казалось – из-за чего-то важного. Из-за чего-то принципиального. Но из-за чего? Французские глаголы…

В детстве всё – принципиально. Мальчишками были, дрались по поводу и без повода, силы некуда девать... Он мне в глаз, я ему – под дых... Ох, дураки...

Юрий направлялся в кино, он еще не видел новый фильм, о котором болтали секретарши в офисе «Ситроёна». С афиши на Олонецкого с усмешкой глядел новая звезда Голливуда Хамфри Богарт. Он пом-

нил актера – видел детектив, в котором тот играл частного сыщика: сыщик поймал бандита и бил его рукояткой револьвера... Что за дурацкие ассоциации – детская драка и кадры из фильма... В жизни не так просто, как в кино. Но фильм посмотреть надо!

Был бы я писателем, писал детективы, и меня читали бы от мала до велика.

Как хорошо, что я не писатель!

Навстречу шел человек в светлом макинтоше и котелке, и, приближаясь, с каждым шагом он вносил тревогу в душу Олонецкого – что-то в нем настораживало.

– Добрый день, господин Олонецкий, – дружелюбно произнес прохожий и приподнял котелок. – Вы меня узнаете?

Юрий сглотнул неожиданно появившийся в горле комок и молча кивнул.

Flashback

ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ. ЗА ТРИ ГОДА ДО

Где ты и с кем ты?

Куча окурков.

Вчерашние картежники дрыхнут: кто свернулся калачиком, кто укрыт драным пальто – из подкладки вылезла вата; другой влез в мешок и пустым мешком накрылся.

М-да, где мои ботинки? Слава Богу, под головой. Самое главное – обувь. Без ботинок по Парижу не походишь. В Индии или в Африке ходят босиком. У нас босиком не походишь. А где мой мешок? Мой мешок подо мною. Им накрыты ботинки – на них я спал, как на подушке. Пиджак – вместо одеяла. Правда, кто-то прошелся по карманам. Но дураков нет, чтобы на ночь в карманах что-то оставлять. Пора вставать, пора. Кого там кормят ноги? Волков? Волки перевелись. Или их перевели. Куда их перевели? В другой лес? В лес на том свете – вот куда их перевели. А вокруг все – волки. На противоположном берегу такая поножовщина шла – кровь отсюда видна; полиция приехала, когда двоих уже прирезали, а остальные разбежались. Что за апаши напали? Откуда взялись? Черт бы их взял...

А что было днем? Днем произошло что-то важное.

Он вошел в банк – вошел с таким независимым видом, будто каждый день ходит разменивать стодолларовые банкноты.

– Минутку, – попросил кассир.

Юрий поднялся на цыпочки – кассир не разменивал деньги, а сверял номер банкноты с какими-то цифрами в длинном списке. «Погорел», – мелькнуло в голове. Кассир поднял голову, показал Юрию таблицу и сообщил, сколько франков будет по сегодняшнему курсу. Тот согласно кивнул головой и забрал бумажки и мелочь. Пересчитывать не стал – страх гнал из банка.

Он вышел на воздух, вздохнул и побрел к углу, за которым его ждали «заказчики».

Двое темных элементов честно отсчитали ему 15 франков. Для Олонецкого это деньги! Не маленькие, не большие, а именно – деньги. В кармане лежали два франка от сданных бутылок, и надо снова вышагивать улицы и набережные, выискивая пустую посуду, заглядывать во все встреченные урны…

Довольный, он лежал на своем привычном месте на каменной скамье, считая, что загорает. В августе в Париже всегда тепло, даже жара случается; Париж в августе малолюден – его жители стараются переждать жару на берегу моря или океана.

На секунду что-то закрыло солнце, Юрий приоткрыл глаза – мужчина в белой панаме прошел мимо, остановился поодаль и посмотрел на него. Что он нашел интересного во мне, чтобы так внимательно рассматривать? Не знаю. Впрочем, если он гомосексуалист... Или его прельстил мой пиджак, относительно модный, хотя и не совсем чистый... Но пиджак свернут и заменяет подушку. Бог с ним. Солнце расслабляло, и он снова прикрыл глаза.

Справа послышались шаги – уверенные, знакомые. Юрий приподнял голову – конечно, Шарль.

– Слышь, Жорж? – спросил тот. – Видал здесь мужика в панаме?

– В панаме? – не вспомнил Олонецкий. – Не помню.

Шарль сплюнул.

– Он из полиции. Что-то высматривает, гадина.

Юрий сел.

– Если ты его знаешь, он к тебе подошел, расспрашивал, наверно.

Шарль сморщился.

– Да нет! Просто я знаю, откуда он. Лично не знаком, но знаю, что из полиции.

Юрий закусил губу – он не боялся столкновений с законом, но всегда помнил, что у него нансеновский паспорт. Тот самый документ, который больше всего не любят власти.

У родителей и брата – немецкие паспорта, у свояченицы Лидии – латвийский паспорт. А у него – беженский... Он знал много случаев, когда иностранцев с такими паспортами быстро высылали за границы гостеприимной будто бы Франции. Он помнил эти случаи, был всегда осторожен, потому никогда не ввязывался в драки, случавшиеся под мостами, – чаще всего они заканчивались поножовщиной и полицейскими.

Появление полицейского не обещало ничего хорошего. Не пойти ли мне сегодня ночевать в скверик в Марэ, где такие удобные скамейки? Через ограждение перелезть ничего не стоит, в крайнем случае, можно лечь в тамошних кустах, благо брезент с собой – завернулся и спи до утра... Решено. Он встал, отряхнул пиджак, расправил его и

спокойно надел. Ничего, всё в порядке, бояться нечего. Потом сложил в несколько раз брезент и положил в мешок, свернул мешок и перекинул лямку через плечо. Теперь мешок издали напоминал рюкзак или дорожную сумку.

Шарль уже ушел – Юрий видел, что бродяга сел на краю, свесив ноги вниз, – издали могло казаться, что он мочит ноги в воде, но сидя ее не достанешь, вода – ниже. Юрий отправился в противоположную сторону, оглянулся, поднялся по каменной лестнице с набережной.

Перевел дыхание... – и на его плечо легла рука. Он сразу понял, что по его душу, и, по всей видимости, рука полицейская.

– Привет, – сказал человек в панаме. – Скучаешь? Гуляешь?

Юрий стряхнул чужую руку.

– Прогуливаюсь. Чего надо?

Тот кивнул головой.

– Прогуляешься вместе со мной.

Юрий повел носом.

– Не имею желания.

Человек в панаме показал полицейский значок.

– Пойдем в одно учреждение. Прогуляемся! – передразнил он.

Юрий сделал шаг назад и оглянулся – они стояли вдвоем, вокруг никого не было.

– Я ни в чем не виноват.

Полицейский согласно кивнул.

– Там разберемся.

Убегу, мелькнуло в голове Олонецкого, сшибу его с ног, перебегу улицу, между домами – проход во двор.

Но полицейский взял его под руку, словно закадычного приятеля.

– Еще чего! – сказал Юрий и освободил локоть. Не хватало, чтобы кто-то из живущих под мостами увидел его под ручку с полицейским.

Сыщик понимающе кивнул головой.

– Ага! Боишься, что нас с тобой кто-то увидит и тебя примут за моего соглядатая? Не бойся, здесь никого нет.

Юрий молча шел, куда вел сыщик.

Они перешли улицу, вошли в переулок, обогнули кафе и подошли к двухэтажному дому. «Да это же полицейский участок, – понял Олонецкий, – только с другой стороны. Сколько раз проходил мимо, а видел только парадный вход с флажком.»

К дому подъехал на велосипеде полицейский в форме, поставил велосипед в проволочное гнездо, кивнул приветственно сыщику и поднялся на крыльцо.

– Иди следом, – велел сыщик, легко подталкивая его.

Они прошли по коридору, миновали большую комнату с барьером, за которым сидел офицер, – тот не обратил на них внимания, свернули в следующий коридор и зашли в пустую комнату, где кроме стола, нескольких стульев и шкафа ничего не было.

Полицейский показал Олонецкому на стул, сам сел за стол и сказал:

– Рассказывай.

Тот не понял.

– Что рассказывать?

Полицейский кивнул понимающе.

– Ты где был 14 июля?

Юрий пожал плечами.

– Не помню. Праздник... гулял...

Полицейский снова кивнул.

– Сейчас напомню.

Он достал ключик, отпер ящик стола и достал черный пакет – в таких обычно хранят фотографии.

Достал несколько фотографий и положил перед Юрием.

– Полюбуйся.

На фотографии Олонецкой увидел себя у входа в отделение банка «Лионский кредит». На другой – он выходил банка, на третьей – стоял на углу.

– Что ты делал в банке?

Юрий повел плечом.

– Что делают в банке – менял деньги... Как все...

Полицейский в очередной раз согласно кивнул

– Совершенно верно. Ты менял сто американских долларов на наши франки. Не так ли?

– Так. Не имел права?

– Мог, мог, имел право, – успокоил сыщик. – А где ты взял сто долларов?

«Не буду врать», – решил Олонецкий.

– Мне их дали, попросили разменять. Обещали за обмен пятнадцать франков.

– Кто дал доллары?

– Ну... два типа – один высокий, другой ему по плечо, просто Пат и Паташон...

– Ты их не знаешь?

– Откуда мне их знать? – искренне удивился Юрий.

Полицейский усмехнулся.

– Вот так просто – подошли двое незнакомцев к незнакомому человеку и попросили обменять сто долларов на франки..

– Нет, – пояснил Юрий, – наши ребята, ну, которые под мостом, меня... рекомендовали...

– А почему именно тебя?

– У меня вид приличный, не как у них.

– Я это заметил, – подтвердил сыщик. – Потому они тебя и наняли разменять фальшивые доллары.

– Что? – не понял Юрий.

– Ты плохо слышишь? – скривился сыщик. – Ты менял фальшивые доллары, значит, ты сообщник фальшивомонетчиков.

ПРЕССА

Из записной книжки Сталина

Маленький фельетон

1929 год.

«...Получил просьбу из Индо-Китая, чтобы дал спешно еще пять миллионов, а то восстание туземцев не состоится. Черти проклятые! Два раза посылал им по десять миллионов, и оба раза они надували. Сам грабил казну, много грабителей видел, но таких разбойников не встречал всю свою жизнь. Что они, в самом деле: думают, будто я их папаша? Будто фальшивые деньги не требуют никаких затрат на типографию? Довольно с меня уже этого самого Абд-Эль-Крима... Жулик! Обещал целые Атласные горы, а что родил? Мышь!

1930 год.

....В конце концов, меня всё это раздражает до центра печенки. Со всех сторон просьбы: шлите деньги, шлите деньги, а выступлений – как скот наплакал. Французским товарищам к первому мая отправил двадцать миллионов, а они ни одного городового не убили. Наоборот даже. Самих демонстрантов поколотили. Так им, паршивцам, и надо! В Швецию послали три миллиона. Они деньги взяли, поблагодарили, а первого мая никто на улицу не вышел. Пишут, что дождь был. Это что же за мировой пожар, если его может потушить меленький дождик?

В Англию двенадцать миллионов потребовали. Думал, что разнесут вдребезги буржуазное Сыти, побросают всех банкиров в реку Сену, которая течет посередке. А они извиняются, что не поняли инструкций и что весь день играли в футбол.

В общем и целом, за все эти годы израсходовали мы через Коминтерн четыре с половиной миллиарда, а получили кукиш с горчицей. Все на жалованье, все довольны, все стараются протянуть это удовольствие. А когда мы требуем от них выйти на улицу, они отвечают, что выйти нетрудно, но остаться на улице нехорошо.

Вызывал к себе Орджоникидзе для совета. Он успокаивает, говорит, что есть такая русская поговорка: «цыплятки осенью читают». Читают! Черт их знает, что наши заграничные цыплятки читают. Хорошо, если «Хуманите»! А может быть, английскую «Тимес»? Или французское «Темпс»?

1931 год.

Я положительно начинаю беситься, как чистокровная собака. Сегодня дали мне список заграничных пролетариев, которые получают наше пособие. Оказывается, 175 тысяч, не считая вольнонаемных для отдельных скандалов. Куда, в конце концов, мы идем? Куда заворачиваем?

Орджоникидзе тоже не понимает, куда мы идем, и говорит, что иностранную политику нужно обязательно изменить, чтобы добиться успеха. Только как? Он предупреждает, что вопрос очень трудный.

Идиот! При чем вопрос? Помню я... В семинарии учитель математики Хевцуриани сказал мне, когда я не мог ответить, чему равняется сумма углов в треугольнике: «Ну что, брат, трудный вопрос?» А я не растерялся: «Вопрос

не трудный, Окропир Елизбарович. А вот ответ очень трудный...» Так и теперь. Трудности в вопросе никакой нет. Но как ответить, совершенно не приходит в голову.

1932 год.

....Ну и умница Каганович! Ловкач, каких Совет не видал. Сегодня беседовал с ним насчет иностранной политики и спрашивал, как он смотрит на трудный ответ по ниже вышеуказанному вопросу.

И Каганович сразу сказал. Ничего трудного в ответе нет, говорит он, нужно только учредить вместо Коминтерна Буржинтерн. И всё будет ясно, как в шоколадной фабрике.

Я сам в арифметике плох; никаких бидонов Ньютона не помню. А Каганович считает быстро, как робот. В уме всё перемножает; там же, в уме, вычитает, что нужно. И он говорит так:

– На какого дьявола, скажи пожалуйста, мы кормим всю пролетарскую заграничную рвань? К чему бросаем миллиарды на 175 тысяч никому не нужных болванов, когда за какие-нибудь пятьсот миллионов можно приобрести двести стрекулистов, пишущих в буржуазных газетах? Если мы, говорит он, не могли зажечь за границей пожар снизу, так мы зажжем его-таки да сверху.

– Это верно, – говорю я.– Очень интересно. Только кто же, Каганович, поджигает предмет сверху?

– Без высокой техники, – говорит Каганович, – конечно, трудно немного. Но имея наши достижения, ничего не стоит поставить заграничное общественное мнение вверх ногами, и тогда тяга пойдет, как следует, – не сверху вниз, а снизу вверх...

Уходя, Каганович оставил мне список 195 человек, с которыми нужно войти в сношения. Какие имена! Какие блестящие европейские и американские личности! Ну и молодчина Каганович. Откуда только у него выросла такая башка?

1933 год.

Я доволен. Я счастлив. Дела идут, как сыр по маслу: все нас уважают, все низко кланяются... А мы-то кормили до сих пор прожорливую босую команду в 175 тысяч человек. Наивняки!»

А. Ренников, «Возрождение», 6 октября

PARIS. АРТУР

В кафе окажется накурено, что для некурящего Артура представляло неудобство.

Артур будет смотреть на знакомых по прошлой жизни социал-демократов, вслушиваться в их спор и вдруг произнесет то, что накипело:

– Если бы мы все вместе выступили, если бы вы помогли нам, коммунистам.

– Не помогли? – рассмеется усатый Бруденьрок. – Это с каких таких коврижек помогать? После того, как ты называл нас «продажными псами буржуазии»!

Артур заморгает.

– Я ничего подобного не писал!

– Ну, не ты – так другие коммунисты. Вы же нас называли социал-фашистами, а? Не вы ли называли нас убийцами рабочих и угрожали короткой расправой? Будешь говорить, что ты не при чем и только выполнял указания партийного начальства? Говори. Если тебе от этого легче.

Артур вздохнет и опустит голову.

– Да не смогли мы добиться единства...

Бруденьрок расхохочется и потом глотнет из кружки.

– Слышь, Роберт! – подмигнет соседу. – Не смогли... Чудак! Еще как смогли! В концлагере у Гитлера – теперь тачку катают вместе коммунист и социал-демократ.

Роберт засмеется. Артур рассердится.

– А что написал ваш любимый рабочий-поэт Макс Бартель, забыли? У Геббельса в газете «Ангриф». Забыли? «Письмо друзьям, перешедшим границу.» Я напомню, что пишут ваши товарищи по партии: «По сравнению со старыми рабочими партиями национал-социалистская партия – цветущий весенний луг».

– А вашего Тельмана предал его близкий друг-коммунист, – выложит свой аргумент Роберт.

– Неправда! – возмутится Артур.

– Правда, правда, – подтвердит молчащий товарищ.

Артур разозлится, но возьмет себя в руки и, не прощаясь, выйдет из бистро.

Злость пройдет, он оглянется в поисках остановки автобуса.

На плечо Артура ляжет чья-то мягкая рука.

– Что ты такой грустный? Посмотри, какая хорошая погода!

– Жабо! – узнает голос и обрадуется Артур. – Ты ли это?

– Я, я... – улыбнется Жаботинский. – Почему ты в грусти и печали? – ласково поинтересуется.

Артур улыбнется, обрадованный встречей.

– Как всегда – проблемы.

– И как всегда – мировые? – улыбнется в ответ лидер сионистов.

– Не говори... – Артуру не хочется посвящать старого товарища в дела. – Давай выпьем кофе. Только не в этом бистро.

Они сядут за столик на тротуаре в кафе «Дантон», на углу Сен-Жерменского бульвара.

– Как же так? – с улыбкой удивления вопрошает Жаботинский. – Чтобы ты, правоверный сионист, вдруг стал правоверным коммунистом? Не понимаю, как такое с тобой случилось? Что произошло? Откуда такой прыжок из одного в другое?! Обратный процесс мне известен – из социалистов в сионисты, но из сионистов в коммунисты... Ну и ну. Ты взрослый человек, тебя на мякине не проведешь, не пойму, честное слово. Ты же знаешь, основная идея сионистов – создание своего еврейского государства там, где оно существовало тысячу лет назад. А коммунисты призывают к уничижению капиталистических

государств. К уничтожению буржуазии. Для них она – главный враг коммунизма.

PARIS. ЛЕТО. 1933. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

– Как вы относитесь к наркотикам? – поинтересовался полицейский. Его звали Жофруа.

Олонецкий не понял вопроса. Они сидели на скамейке на бульваре. В этот час бульвар удивлял малолюдьем.

– Я? Никак. А почему вы спрашиваете? Думаете, я потребляю?

– Да что вы! Ничего подобного даже на секунду не имею в голове, что вы!

– А разве принимать наркотики...

– Да, на мой взгляд – преступление. Но продавать наркотики – еще большее преступление. Наркоман потребляет наркотики – больной человек. А тот, кто продает, на мой взгляд, – убийца. Кокаин, гашиш, морфий...

– Я слышал, но не сталкивался.

Полицейский закурил.

– И слава Богу. Кроме известных, у наркодельцов на службе химики, которые создают новые наркотические соединения. Одним словом, помогите нам!

Он в упор посмотрел на Олонецкого.

– В чем? – не понял тот.

– Окунитесь в атмосферу наркоманов. Вы человек со стороны, вас не знают, представьтесь журналистом... Вы пишете... очерк для русской газеты.

– Лучше журнала.

– Как вам удобнее. Вы должны понять, чем живут наркоманы, что ими движет – и узнаете, откуда к ним поступает наркота. Вот двести франков на расходы, вам придется их угощать, распишитесь здесь. Мы чего-то не понимаем, а вы поймете, у вас свежий взгляд, подскажите новый подход... Заранее предупрежу вас. Не ищите кокаинистов среди рабочих, каменщиков, маляров, шоссейников, железнодорожников, среди шоферов и матросов, среди грузчиков. И вообще, среди рабочего люда, который живет за счет физической силы. Здоровому и сильному человеку, ведущему нормальный, размеренный образ жизни, не нужны волшебные опьянения и фантастические видения.

Олонецкий кивнул понимающе.

– Да! Здоровый человек предпочитает сытный обед, много мяса, зелени, сыра и фруктов, бутылку красного вина, от которого нисколько не пьянеет, а только становится еще сильней и напористее в работе.

Жофруа добавил:

– Кокаин необходим тем, кто ведет ночную, безалаберную жизнь, кто хочет забыться, оторваться от страшной, зачастую преступной,

действительности, его окружающей... Но вы же работали ночным стражником, видели таких людей.

Юрий согласно кивнул.

– В такой среде белый порошок находит наибольшее число своих потребителей?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Ну? С Богом?

Ну с Богом так с Богом.

Кафе на Монпарнасе. Столики вынесены на тротуар, а за ними – «художественные натуры», в большинстве случаев – непризнанные таланты; гении, оскорбленные на всю жизнь невниманием к ним грубой толпы. Художники, писатели и поэты. Их подруги, натурщицы, жрицы любви...

– Алло, Жорж! – услышал он.

За столиком сидел поэт Гегемон Синдикалов. Олонецкий вгляделся. На поэте потрепанный костюм, рубашка с открытым воротом, на ногах белые сандалии. Шляпу заменяет копна густых, черных волос.

Зрачки расширены, взгляд расплывчат.

– Давно вас не видел, Гегемон, наверно, год, – присаживаясь, произнес Юрий. – Вы перестали бывать у Проценко. Вы по-прежнему работаете на заводе?

Гегемон удивленно взглянул на Олонецкого.

– На каком заводе? Меня давно уволили. За то, что я... Я поэт, что им до моего вдохновения...

Юрий всё понял.

– Вы принимаете этот... яд? Вы потребляете кокаин? – тихо спросил он.

– Вы говорите – яд, – возбужденно воскликнул Синдикалов. – Хорошо. Пусть яд, но яд волшебный, поднимающий, возвышающий над толпой... – Гегемон с особым презрением повторил о толпе: – Только избранный, только самые изощренные натуры могут понять, что такое кокаин. Для нас, поэтов, он прямо необходим. Творческая способность усиливается, зачастую достигает границ гениальности... Лучшие свои вещи я написал под кокаином. Стихи – как старинные кружева... У меня есть целый сборник стихов под общим названием «Волшебный яд». Вы не читали?

Олонецкий признался, что не читал.

– Ну вот, ну вот... Это в природе вещей. Авантюрные и полицейские романы расходятся в стотысячных тиражах, а стихи таких тонких мастеров, как я... Вы знаете, сколько было продано моего «Волшебного яда»?

– Откуда мне знать.

– Четыре экземпляра... Четыре! Вы не понимаете трагедию души поэта, в самую глубь которой так грубо плюнула мещанская и пошлая толпа...

К столику подошел араб, весь увешанный цветными коврами и белыми козьими шкурами.

Поэт странно заволновался. Араб улыбнулся ему, оскалив ряд ослепительно белых зубов, как старому и хорошему клиенту.

– У вас не найдется до завтра тридцати франков? – вдруг спросил поэт и схватил Юрия за руку.

– Неужели вы хотите купить один из этих ужасных ковров? – удивился тот.

– Ковры? К черту ковры! Во-первых, они стоят дороже тридцати франков, а во-вторых, они – образец мещанского безвкусия. Эти ковры не для поэтов, а для толпы. Но есть кое-что и для поэтов... – Он лукаво улыбнулся и даже подмигнул глазом с расширенным зрачком.

Араб подошел вплотную и стал разворачивать перед носом поэта свои цветистые восточные ковры. Поэт рассматривал их, торговался и, в конце концов, ничего не купил. Араб обиженно пожал плечами и двинулся дальше.

Денег в руке поэта не было.

– Где же ваша покупка?

Поэт разжал кулак под столом. На ладони – маленький конвертик.

– Вот он. Новый источник вдохновения... Сегодня ночью я буду писать... О, я чувствую... Я уже чувствую, какие бессмертные образы родятся под моим пером...

Он встал и распрощался. Олонецкий следил за его сухопарой и тонконогой фигурой до поворота улицы. Он не шел, он почти бежал. Колени его сгибались, как у дряхлого старика.

Араб продолжал обходить столики. Он не продал ни одного ковра, ни одной шкуры, но довольная хищная улыбка не сходила с лица. Тайная торговля, по-видимому, шла великолепно.

Соланж! Боже, ночная бабочка, залетная ласточка... Сколько ночей она грелась у печки ночного стражника возле ресторана... Сколько раз платила любовью за его тепло... Не прошло и года...

– Ты что, доктор, что ли?

С раздражением посмотрела на Юрия и отодвинулась.

Соланж – довольно редкое имя. Звучит поэтичнее всех этих Мадо, Сюзетт и Жанетт... Что-то вроде Сольвейг, героини «Пер Гюнта».

Ей не больше двадцати. У нее стройная, красивая фигура. Она была бы гораздо красивее и привлекательнее, если бы густой слой всяких красок не покрывал лица.

Зрачки глаз расширены, как и у монпарнасского поэта, но это ей даже идет.

Она смотрела на Олонецкого, а он не мог поймать расплывчатого взора. Она повторяет:

– Ты не доктор, я знаю. Ты – ночной стражник, помню...

– Я не доктор, Соланж. Но я знаю, к чему, в конце концов, ведет этот проклятый порошок. Тебе двадцать лет, у тебя еще вся жизнь впереди... Надо беречь свое здоровье.

Соланж приходит в бешенство. Сегодня она в ужасном настроении. Такое настроение наступает всегда после «вытрезвления», на другой день после «понюшки».

– Беречь здоровье! Да я рискую им каждую ночь по десяти раз... Вся жизнь впереди... Ха-ха-ха... Но какая…

– Тише, Соланж, тише... Мы не одни.

– Ах, мне всё равно. Всё равно...

Она закрыла лицо руками и заплакала. Круглое, красивое плечико вздрагивало.

До боли жаль эту милую девушку, по воле судьбы свернувшую на страдный и унизительный путь. Три года тому назад она окончила лицей, мечтала о Сорбонне.

Она вновь придвинулась к Юрию и зашептала умоляюще:

– Послушай, прошу тебя... Я не могу сегодня работать... В голове туман... Я хочу опять... Купи мне... Я тебе что угодно сделаю, хочешь, прямо здесь...

– Как – здесь? – не понял Юрий.

– Здесь, сейчас... Сейчас встану на колени и сделаю... Расстегни... Купи мне...

Юрий снял ее руки со своих колен.

– Но где же достать?

– Я знаю... Поедем в одно кафе... Там дорого, но всегда есть...

Биржи запретных товаров в Париже надо искать в кафе. Эти кафе делятся по специальностям их клиентов. Одни облюбованы торговцами белыми рабынями, другие – сбытчиками фальшивых монет, третьи – продавцами кокаина, опиума и морфия. Непосвященный войдет в такое кафе и ничего не заметит. Полиция выслеживает продавцов, но преступные штабы имеют свои контрразведки и заблаговременно переносят биржи в другие места.

Соланж остановила такси на одной из отдаленных монмартрских улиц. Они вошли в небольшое, довольно неуютное кафе. Кожаные диваны. Усатый, одноглазый, несимпатичный хозяин за кассой. Два вертлявых гарсона.

Соланж, очевидно, здесь уже знали. Едва скрывая свое радостное возбуждение, она сказала гарсону.

– Здравствуй, Гюи. Здравствуй, старина... Два стакана белого...

И повторила с ударением:

– Белого...

Гюи принес два стакана золотистой влаги.

– Плати, – прошептала Соланж и назвала чрезвычайно высокую для двух стаканов вина цену.

Юрий вынул бумажку, протянул гарсону. Тот перевернул блюдце в знак уплаты, унес деньги и не вернулся со сдачей.

– А где же, – невольно спросил Юрий у Соланж, – где же «товар»?

Она чуть приподняла перевернутое блюдце и нервно хохотнула.

– Вот здесь. А ты, глупый, и не заметил.

Действительно, Гюи проделал это, как фокусник в цирке. Не было – и вдруг есть...

Опасливо оглянувшись кругом, она быстро забрала из-под блюдечка маленький, беленький конвертик и положила в сумочку. Она бесконечно счастлива, она вся дрожит от радостного возбуждения, от ожидания блаженных часов нереальной, восхитительной жизни...

И тысячи, тысячи таких, как Соланж, тысячи Мадлен, Симон, Луизет и Нинет, чьи одинокие и жалкие фигурки маячат на ночных улицах и бульварах ночного Парижа, готовы отдать последнее су за понюшку белого порошка, за щепотку волшебного яда. И только ли одни парижские Магдалины ищут радости забвения и, не думая о неминуемой расплате, жаждут волшебного яда…

Грустный поэт в костюме Пьеро, с лицом, осыпанным мукой, уже двадцать лет тому назад и в другой стране, в другой столице, написал: «Что вы плачете здесь, одинокая, бедная деточка. / Кокаином распятая на мокрых бульварах Москвы...»

Профессиональные танцоры, молодые люди, способные и готовые на всё, с подведенными глазами и губами и малиновыми ногтями, куплетисты и певцы ночных кабаре, юнцы без определенных занятий, но с определившимися уже наклонностями к преступному образу жизни, подростки-бои шикарных отелей, – все они, спящие днем и бодрствующие ночью, являются ревностными потребителями белого порошка... Сбыт есть, рынок обширен. Спрос превышает предложение. Кокаин – товар очень удобный и портативный. В этом главная причина трудности борьбы с его продажей. Разновидность розничных продавцов весьма велика. Коко продают сиди, для отвода глаз таскающие свои никому не нужные ковры, продают во многих кафе гарсоны, продают из рук в руки сами потребители, продают, доставляя на дом, особые представители, имеющие длинные списки адресов парижских кокаиноманов.

– Здесь живет госпожа Дювернэ?

Вопрос задается прилично одетым господином или почтенной дамой средних лет.

Консьержка с любезной готовностью отвечает:

– Третий этаж направо...

Продавец кокаина медленно поднимается по лестнице, спокойно звонит. Дверь открывается. Его ждут, ему рады. Он принимает новый заказ и, не спеша, проходит мимо консьержки.

Сбыт обеспечен... Спрос превышает предложение... Цены увеличиваются произвольно. Барыши достигают чудовищных размеров.

После всех историй, рассказанных Олонецким, полицейский только чиркал что-то в записной книжке и довольно хмыкал, потом произнес:

– Этих двоих мы знаем, а вот официант на Монмартре – новый кадр… С серьгой в ухе, говорите? Вы краем глаза увидели трезвый и реальный мир кокаиновой промышленности. Да-да, ежегодные обороты кокаиновых королей достигают многих миллионов франков.

– Но кокаин запрещен!

Жофруа кивнул.

– Несомненно. Его продажа запрещена всеми государствами. Законодательство всех стран предусматривает суровые наказания за продажу кокаина. И тем не менее кокаиновая промышленность процветает и даже в международном масштабе... Ладно, не будем о плохом. Что вы делаете завтра? Свободны. Прекрасно. Так... Теперь у нас к вам будет еще одна просьба. С вами хочет поговорить комиссар Шарль-Адольф Фо-Па-Биде. Смешная фамилия, да? Фо-Па-Биде.

PARIS. СЮРТЕ

Комиссар говорил:

– Вы обязаны нам помочь. Как русский патриот и как князь, и как честный человек. Пожалуйста, помогите. Вы должны привлечь к себе внимание. Самым простым способом. Суньте в карман «Попюлер» или «Юманите». Чтобы видели название газеты. В аудитории читайте ее. Но не во время лекции, конечно, это выглядит нарочито. В библиотеке возьмите коммунистическую брошюру. Любую. И листайте ее.

– Вести со студентами разговоры...

– Э, нет, дорогой. Публичный человек ему не нужен. Будьте вещью в себе. Загадкой. Да, интересуюсь социализмом. А тебе какое дело, что я читаю? Вот в таком тоне.

Олонецкий усмехнулся, и полицейский заметил это.

– Что-то не так?

– Извините, господин комиссар, но вы не знаете нынешних студентов. У них из карманов может торчать что угодно, даже порнографические журналы, но коммунистическая газета... Ни разу такого не видел, когда учился.

Фо-Па-Биде пожал плечами.

– Времена меняются. Все-таки попробуйте.

PARIS. КРАСИЛЬНЯ ПРОЦЕНКО

Кальчужный ходил, напевая.

– Ты что поешь? – поинтересовался Варфоломеев, отрываясь от работы, – мычание приятеля мешало сосредоточиться.

– Тебя! Тебя, друг мой! Только тебя! – отозвался тот.

– Ну, молодец. А я думал – Плевицкую.

Кальчужный сплюнул в ванну.

– Тьфу на тебя и твою Плевицкую с ее «замело тебя снегом, Россия». Будто снега никогда не видела в России...

– Точно. У нас в деревне как заметет – на целый месяц снег навалит. Ты лучше пишешь, да она и не пишет, ей пишут. А вот такая песня...

Он запел:

Привет, мои подружки,
веселья проблядушки,
со мною на подушке
всегда лежат девчушки.

И не разбудят пушки
подружку-проблядушку.
И в нашей деревушке
остались лишь старушки...

Пуста моя избушка,
скучна моя пирушка –
от хлеба лишь горбушка.
Ты не приходишь, врушка…

– Полностью поддерживаю! – смеялся Проценко, слышавший диалог. – А где, кстати, наш *вьюноша с пылающим взором*? Гегемон где?

Кальчужный подтвердил:

– Точно. Давно его не видели. Давно он нас не развлекал своими глупостями.

Варфоломеев закончил наносить парафин на материю.

– Кажется, порядок, – пробормотал он. – О чем вы? О Гегемоне? Черт его знает, куда пропал... Может, опять наркотой занялся?

Проценко сел за стол, выдохнул кусок углекислоты, вздохнул.

– Может.

– Угу, – отозвался Варфоломеев и потянул к себе газету. – Очередной процесс в Москве...

Проценко согласился.

– Куда без него! Иди к ванне – там с воском проблема.

– Красная сволочь... Гнусный карапет Джугашвили... Тварь! – воскликнул Кальчужный.

– Все они твари, – согласился Проценко. – Согласен с тобой. Пауки в банке – так называется. Грызутся, суды устраивают... Читал? Все признаются.

Кальчужный захохотал.

– Так тебе зажмут яйца в дверях, ты тоже признаешься в чем угодно.

Варфоломеев с умным видом сообщил:

– В истории это называется термидор.

Проценко покачал головой.

– Какой термидор... До термидора им далеко. Просто... – он задумался, – просто сведение счетов. Сталин сводит с ними счеты, со всеми продажными тварями – Зиновьевым, Каменевым... Да Бог с ними…

Варфоломеев добавил от ванны с краской:

– Не Бог, а черт.

Проценко кивнул.

– Точно – черт.

– А как насчет... Как у вас на Украине говорят, а?

Проценко усмехнулся.

– Как у нас гово́рят – не твоего ума дело. Ты свои намеки насчет выпивки оставь, работай, любезный друг и работник.

Варфоломеев откликнулся.

– Работай, работай... Вчера ни глотка не дал, позавчера не дал...

Проценко встал и подошел к нему.

– Ты свою норму не выполнил, забыл? Ты должен был узор нанести на десять покрывал. Так? А ты только три обработал. Так? Или я ошибаюсь?

– Ну, так, – согласился Варфоломеев.

– Вот и ответ на твой вопрос. Сам знаешь – заказчиков меньше стало, денег, выходит, меньше мы зарабатываем, налоги повысили… Новое надо придумать.

– Ну? – поднял голову поэт.

– Художник придет. Принесет эскиз – Петербург, Собор, Дворцовая площадь. А? И второй – Париж, Эйфелева башня, Сакре-Кер, Нотр-Дам... А? Хорошо.

Кальчужный ответил за обоих поэтов:

– Здорово! Коврики на стену – и российский, и французский. Заказчикам должно понравиться.

Варфоломеев крикнул от ванны:

– Ой, смех с этими французами... Я вчера в гостях был... – он подошел к столу, вытирая руки тряпкой. – Так представьте себе – иностранцы убеждены, что все русские писатели сидели в тюрьме. Если писатель был не без таланта и если он не сочувствовал правительству, тюремный стаж для него обязателен, как оспопрививание. Одна хорошенькая француженка уверяла меня, что в тюрьме сидел и Толстой. Я ей объясняю: Толстой, сударыня, никогда не сидел в тюрьме... «Но уверяю вас, что сидел, отлично знаю... Могу вас уверить... Я столько раз об этом слышала и даже читала... Вы просто забыли...» – «Я ничего не забыл, пойдемте, я вам расскажу...»

Проценко и Кальчужный засмеялись.

ПРЕССА

Арабы-фашисты

Лондон, 18 июня.

Из Иерусалима сообщают, что в среде арабской молодежи Палестины растет движение, стремящееся к созданию арабской фашистской партии, которая должна включить арабов, проживающих и в других странах.

Бегство Отто Штрассера

Берлин, 20 июня.

Прусское правительство распорядилось арестовать представителей «черного фронта» – революционной группы, отколовшейся от Хитлера. Лидер этой группы, Отто Штрассер, бежал за границу. Полиция установила, что «черный фронт» находился в сношениях с большевиками. Его главные деятели посвящали все свои усилия борьбе против правительства Хитлера.

«Возрождение» (Париж), 21 июня

Два полотна Рембрандта

Распродажа Эрмитажа идет полным ходом Вслед за «Пиром у Клеопатры» Тьеполо проданы две из лучших картин Рембрандта. Амстердамский корреспондент «Морнинг Пост» сообщает следующее: «Союз имени Рембрандта купил у советского правительства две хорошо известные картины Рембрандта: ‘Отречение апостола Петра’ (висевшую в Эрмитаже) и портрет сына Рембрандта Тита в монашеском одеянии. Обе картины будут показываться в Амстердаме, в Рикс Музеум, начиная с понедельника». К этому нужно добавить, что среди величайших произведений голландской школы, находившихся в Эрмитаже, полотно «Отречение Петра», считалось одним из прекраснейших. В середине – фигура апостола, около него римский воин, обращающийся к апостолу с вопросом, и тот ему отвечает, отрекаясь от Спасителя. Всё словно выплывает видением из ночной тьмы.

«Возрождение» (Париж), 8 июля

Самоубийство комиссара Скрыпника

Агентство ТАСС сообщает: 7-го июля заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, председатель плановой комиссии Украинской республики, член ЦК коммунистической партии СССР Николай Скрыпник покончил с собой. В сообщении ЦК компартии указывается, что «Скрыпник стал жертвой буржуазных и националистических элементов, которые, прикрывшись формальным вступлением в партию, втерлись в его доверие и воспользовались его именем для достижения целей антисоветских и националистических. Скрыпник совершил многочисленные политические ошибки. Отдав себе в них отчет, он покончил с собой».

«Возрождение» (Париж), 9 июля

Распродажа Эрмитажа. «Пир Клеопатры»

У нас сообщалось о том, что большевиками продана из Эрмитажа прекраснейшая картина Тьеполо «Пир Клеопатры» и что эта картина приобретена Мельбурнским музеем. Сообщаем некоторые подробности. Мельбурнский музей пополняет свою коллекцию старых мастеров на средства особого

фонда, завещанного г. Фельтоном несколько лет тому назад. Фонд этот с процентами достигает весьма значительной суммы. Несколько лет назад на средства Фонда была куплена картина Ван Эйка за 30000 фунтов ст., а потом – автопортрет Рембрандта из коллекции герцога Портландского за 27000 фунтов ст. Какая цена уплачена теперь за Тьеполо из Эрмитажа, нам неизвестно. Покупка совершена музеем у лондонского антиквара Кольнаги, а не непосредственно у большевиков, как это нами было указано предшествующим сообщением. По существу, это мало меняет дело... Протест по поводу приобретения австралийским музеем картины, принадлежащей, как всем известно, Российскому Императорскому Эрмитажу, заявлен председателем Р.Ц.О. А.О. Гукасовым в форме письма в газету «Таймс». Письмо это помещено 10 июля, а на следующий день помещено краткое заявление представителя означенного музея, который подтверждает факт покупки, но вносит только, как он сам выражается, легкую поправку, указывая, что картина приобретена у Кольнаги.

«Возрождение» (Париж), 12 июля

СОРБОННА. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Олонецкий поступил по-своему. Он взял в университетской библиотеке комплект «Юмы» за месяц и комплект социалистической «Попюлер», сел за стол, достал блокнот и стал делать заметки. Постепенно он увлекся чтением, отметил, что определенная логика в статьях есть. Но какая-то она вывернутая. Он аккуратно посещал библиотеку, знакомясь с образцами французской коммунистической пропаганды, пока в пятницу какой-то молодой человек, подойдя к его столу, спросил:

– Это последний номер?

Юрий напрягся, но не поднимая головы, ответил:

– Нет, вчерашний. Сегодняшний еще не поступал.

– Что-то интересное?

Олонецкий поднял голову – скромно одетый молодой человек, жилет в полоску, рубашка без галстука...

– Статья о перспективах советско-французской торговли. И речь Дюкло...

– Можно взглянуть?

Он наклонился и через плечо Юрия быстро просмотрел статью.

– Да, интересно, – согласился он.

– Судя по вашему выговору, вы из Прованса, – заметил Юрий.

– Нет, я из Брно.

– Брно? Где это? В Эльзасе?

– В Чехословакии.

– А! – извинился Юрий. – Вы, значит, чехословак.

– Чех, – поправил собеседник. – Чехи и словаки – разные нации.

– Да-да, я читал, – согласился Юрий.

– А еще точнее – моравец. Наша область так называется – Моравия, самая красивая в стране. Меня зовут Зденек. Я изучаю антропологию.

– А я – Жорж. Готовлю диплом.

Так они познакомились и отправились вместе слушать лекцию профессора Дюмурье.

– Он хороший лектор, – объяснял Юрий, – я его несколько раз слушал. Всё по полочкам разложит...

Они пришли в аудиторию и заняли место рядом с какими-то симпатичными девицами, которые поглядывали на них и хихикали. Юрий стал строить им рожи, и девицы смеялись.

– Хорошие девчонки, – заметил Зденек.

– Хорошенькие, хорошенькие – особенно со стрижкой. Вам нравится?

– Лучше другая, с заколкой в волосах. Впрочем... Давай на «ты».

– Давай. Но для этого надо выпить.

– Почему нет!

– Кончится лекция, пойдем в «Гримасу», ты бывал в «Гримасе»?

– Еще нет.

– Вот и познакомишься. Шикарное место!

– Девчонок пригласим?

– Хм... Вообще-то можно, но...

– Ты хочешь сказать, что сегодня не при деньгах, Жорж? Так у меня есть. Хватит и нам, и на девчонок.

– Ты сын миллионера?

– Нет, но у моих родителей маленькая пивоварня, для любимого отпрыска ничего не жалеют.

– Мне бы таких родителей. Мой отец – военный пенсионер, правда, подрабатывает в министерстве, но денег мало... Я хотел жениться – не получилось...

В аудиторию вошел профессор, и все стали серьезными; шум смолк.

Зденек (на самом деле – помощник Варлоффа Коротков) докладывал начальнику:

– Он отошел в буфет, а мне оставил свою папку. Я, конечно, сразу полез в нее. А там бумаги, документы...

– Какие документы?

– Расписание лекций, студенческая книжка... Я списал его данные, квитанция об оплате, фотографии каких-то девчонок.

– Голых?

– Да нет, просто какие-то девчонки... Хотя – да, одна в купальнике, видно, снимали на пляже...

– А еще что?

– Да ничего особенного, записи лекций, справка из университета, я внимательно просмотрел, он не скоро пришел... Потом он вернулся, я говорю: ты не оставляй папку, вдруг сопрут, а он смеется: кому нужны записи моих лекций.

Варлофф выслушал Короткова и подумал, что профессиональный разведчик папку просто бы подкинул, но что француз Жорж случайно оставил папку – реально. Много позже, когда дело закончилось провалом, он вспомнил свои опасения. Но, разумеется, промолчал – это был бы минус.

– А как его фамилия? Или хотя бы имя?

– Имя? Зденек. А фамилия?.. Сейчас вспомню... Грочек. Грачек? Горажик? Как-то так... С виду хороший парень, он увидел у меня в руках «Юма» и подошел.

– Так мы и думали!

– И еще. Он не значится в числе студентов.

– Вольнослушатель?

– Не знаю. Может быть.

– Не может быть.

– Как так?

– Так. Проверили списки всех студентов, всех вольнослушателей, всех посетителей лекций. И бывших, и настоящих...

Георгий даже отшатнулся.

– Но ведь он так же может проверить и меня! И окажется, что я не Жорж Паскаль.

Его успокоили:

– Ничего он не проверит. А станет проверять, найдет то, что требуется. Да и проверка станет известна. Вы же учились в Сорбонне, знаете про нее всё...

– Всё не знаю.

– Но достаточно, чтобы показать этому чеху, где какой факультет, где кафедра находится...

– Покажу, если попросит.

– Думаю, что попросит.

Полицейский оказался прав.

Варлофф послал своего человека проверить, существует ли такой студент – Жорж Паскаль. Проверка показала, что студент существует, и адрес его подтвердился, но плату за обучение за последний семестр он не внес.

– Отлично, – решил Варлофф, – мы ему поможем внести плату...

– Он русский, – уверенно произнес Олонецкий. – По крайней мере, не чех и не словак.

– Из чего вы это заключили?

– Он фразу строит по русскому учебнику.

– Не понял, – брови Фо-Па-Биде прыгнули вверх.

Олонецкий стал объяснять:

– Есть учебник французского языка начала века. Во всех русских гимназиях преподавали язык по этому учебнику. Понятно?

– Не совсем, – честно признался комиссар.

– Меня учила француженка, домашняя учительница, родом из Марселя. Поэтому я говорю, как француз из Марселя, с тамошними прибаутками и диалектом. Меня сразу определяют. Мой профессор, как только мы стали беседовать, спросил: «Вы из Марселя?» – я соврал, что – да, из Марселя, но уже пять лет живу в Париже. Понимаете? Он сразу определил корни моего французского. Так и я могу определить, что Зденек учился по русскому учебнику французского языка. Он строит фразу, исходя из чужого языка.

– Но он же чех, потому он так и строит фразу, – не согласился полицейский.

– Да, конечно. Но строит фразу, как его учили по русскому учебнику французского языка. А так строили фразы в прошлом веке. Учебник переиздавался каждые три года.

Полицейский кивнул.

– Мы это проверим.

– Не надо, – усмехнулся Юрий. – Я уже проверил.

– Где вы взяли русский учебник?

Он пожал плечами.

– В любом русском книжном магазине.

Столкнулись они – случайно? – в метро.

– Жорж!

– А, Зденек!

– Как дела, Жорж? Куда ты?

– На работу.

– Работа? Здорово. А Сорбонна?

Юрий махнул рукой.

– Пока бросил. Деньги нужны. Хочу жениться. Отец сначала возражал, а потом говорит: я тебе помогу. Устроил на работу. Платят мало, но обещают повысить...

Зденек одобрительно кивал головой.

– Правильно. А работа не тяжелая?

Юрий покачал головой.

– Нет, я же ретушером... Карты ретуширую.

– Карты? – удивился чех. – Игральные?

– Да нет, – поморщился Юрий. – Географические. Это военное министерство.

– Ух ты, тебе и форму выдали?

– Да нет, – улыбнулся Юрий, – я для армии не гожусь, у меня плоскостопие... Вольнонаемный, кажется так называется. Вставать только рано. Извини, Зденек, мне сходить, пересадка у меня.

– Будь здоров! До встречи!

– Удачи! – махнул рукой Юрий.

Он вышел из вагона, не оборачиваясь, спиной чувствуя чужой

взгляд, протолкался среди пассажиров, от которых в утренний час пахло потом, мочой, перегаром; они рыгали и сморкались на пол, смеялись своим непонятным шуткам, а Юрий поднимался вместе с ними по лестнице, чтобы быстрее глотнуть свежего воздуха. Впереди мелькнуло здание министерства, и он убыстрил шаги, нога подвернулась, он выругался и спокойно дошел до нужного подъезда, показал пропуск и вошел в здание.

– Ваш приятель шел за вами следом, – рассказывал на другой день полицейский, – проверял, точно ли вы служите в военном ведомстве.

«Чех» Коротков докладывал начальству.

– Он служит в картографическом отделе. Зарплата маленькая, надеется на повышение.

Варлофф одобрительно кивнул.

– Перспективный объект. Только не спугните. Пригласите в кафе, разговорите, предложите взаймы. – И видя гримасу на лице, добавил. – Деньги вы получаете от родителей. Не забывайте, что у них в Моравии маленький пивной заводик. Кстати, почитайте о чешском пиве, чтобы блеснуть эрудицией.

ПРЕССА

Колхозное счастье

Степан Ивана стережет,
Но и Степану пан не верит.
Степан, быть может, лицемерит,
Возьмет амбар и подожжет!

У всех у них кулацкий норов,
И воровство в большой чести.
Позвать Егорова! Егоров
Идет ответственно блюсти.

У пана в сердце червь сомненья,
Их трое там в своей степи,
А вдруг они лишь только звенья
Всё той же проклятой цепи,

Которую кует крестьянство
И днем и ночью на панов.
Проверенное постоянство
Всегда показывал Петров.

Так вот наган и дать Петрову
И поручить ему колхоз,
Пусть по добру и по здорову
За дело примется всурьез.

Петрову быть в селе оплотом,
А надо всеми Евдоким,
И на коне, и с пулеметом
В угрозу этаким таким.

И чтоб не снюхались друг с дружкой,
Чтоб каждый был душою чист –
Превыше всех поставить с пушкой
Лукьяна – он артиллерист.

Кругом в полях воздвигнуть вышки
И телефонами связать,
Тогда, глядишь, ни сельской мышке,
Ни воробью зерна не взять.

И окончательный о хлебе
Осуществляя панский план,
Парит и бдит в горячем небе
Всевидящей аэроплан.
Жни, дожинай, бедняк Иван!

Валентин Горянский,
«Возрождение», 23 июля

Радио – восьмая великая держава

Соотечественники, товарищи!

Наполеон называл прессу «седьмой великой державой». Ее политическое влияние проявилось с начала Французской революции и сохранялось в течение всего 19 века. Политическая жизнь любой страны во многом определялась прессой. Невозможно представить себе или объяснить важные исторические события в период с 1800 по 1900 гг. без учета мощного влияния журналистики.

В двадцатом веке ту же роль, что в 19 столетии играла пресса, будет играть радио. С соответствующими поправками фраза Наполеона сохраняет актуальность и для нашей эпохи: радио становится восьмой великой державой. Его изобретение и распространение имеют поистине революционное значение для современной общественной жизни. Будущие поколения, возможно, придут к выводу, что радио оказало столь же мощное интеллектуальное и духовное воздействие на массы, как появление печатного станка накануне Реформации.

Йозеф Геббельс. Речь на открытии
Десятой германской радиовыставки, 18 августа 1933

* * *

Эренбург выпустил новую книгу. По порядку это, вероятно, сто сорок третий или двести девяносто шестой его шедевр, – но не будем придираться: плодовитых людей в наше «безвременье» мало. Не качеством, так количеством.

Книга называется «Мой Париж». По резюме, составленному Д. Заслав-

ским, эренбурговский Париж сплошь состоит из обрюзгших животов, облезших голов и дряхлых трясущихся колен. Картина ужасающая. Загнивание капитализма идет полным ходом. Запах гниения и разложения нестерпим. Д.Заславский задает не лишенный убедительности вопрос:

– Как это писатель, прожив шестнадцать лет среди этой капиталистической гнили, еще не сбежал?

«Последние новости» (Париж), 3 августа 1933

* * *

Общественная и русская жизнь в Берлине совсем замерла. С прекращением газеты «Руль» русские эмигранты постепенно перешли на немецкие газеты и на парижскую русскую прессу. Нет русской труппы – изредка ставятся любительские спектакли. Нет также и общественных учреждений, защищающих и представляющих интересы русских эмигрантов. В этом отношении Берлину остается лишь завидовать русскому Парижу, с его множеством всевозможных объединений.

«Иллюстрированная Россия» (Париж), № 9, 1933

Цена Беломорского канала
Гибель ссыльных

Агентство «Крестросс» сообщает («Знамя России», № 3):

В Петербург возвратились монтеры заводов «Красный путиловец» и «Электросила», работавшие по оборудованию шлюзов на Беломорско-Балтийском канале. Они сообщают о страшных условиях, в которых работали ссыльные, проводившие канал. Монтеры сами видели команды ссыльных, которых выгоняли на работу при 20-градусном морозе, в рваных опорках и калошах на босую ногу. В январе и феврале почти ежедневно из каждой команды на «врачебные пункты» отправляли 8-12 человек с отмороженными конечностями. Ужасающе много больных цингой и сыпным тифом. Лечить их не могли, так как не было ни лекарств, ни питания; уход за ними ограничивался отправкой их в отдельные бараки, из которых больные в команды почти никогда не возвращались. Все ссыльные жили во временных, наскоро сбитых бараках, в которых сквозили стены, было мало печей, и всегда сквозь щели гуляли сквозняки. Не было ни обуви, ни теплой одежды, ни ухода за больными, ни сколько-нибудь сносного питания. В результате за период с октября 1932 г. до апреля 1933 г. от голода, морозов, цинги и сыпного тифа погибло более 18000 ссыльных.

Хитлер должен отдохнуть

Берлин, 4 августа

Канцлер Хитлер отправляется в свой домик в Оберзалецбер около Берхтесгадена, Баварские Альпы. По этому поводу начальник баварской Политической полиции опубликовал обращение к населению, предлагая ему в точности следовать указаниям полиции, чтобы сделать отдых канцлера возможно более приятным. Всякий излишний шум строго воспрещается. Не разрешено кричать, издавать восклицания, петь хором около виллы канцлера. Движение по двум дорогам, находящимся поблизости от виллы, разрешается только экипажам, снабженным особыми пропусками. Начальник полиции пишет также, что не рекомендуется заниматься рассматриванием в подзор-

ную трубу виллы Хитлера и ее окрестностей; постоянное наблюдение было бы весьма неприятно Хитлеру.

Виктор Серж сослан в Оренбург
БОЛЬШЕВИЗАНЫ ПРОТЕСТУЮТ

Группа французских писателей, по своему политическому направлению очень левого уклона, – среди них имеются лица, недавно еще публично выступавшие заступниками за большевиков, например, по делу обвинявшегося в государственной измене французского офицера Гильбо, – обратилась с письмом к коммунисту-писателю Анри Барбюсу по поводу того, что в Советской России без всякого основания задержан француз Виктор Серж. Письмо это следующего содержания:

«Дорогой Барбюс. Как мы, вы хорошо знаете дело Виктора Сержа. Вы знаете, что за партийную ересь этот прекрасный французский писатель не может получить от русского правительства, несмотря на продолжающиеся уже несколько лет хлопоты, разрешение вернуться во Францию и что недавно его распоряжением ГПУ отправили в ссылку в Оренбург. Серж Виктор известен, между прочим, и тем, что дал в ‘Завоеванном городе’ образы революционной эпохи, остающейся темной и неразъясненной, вопреки стараниям историков. Он дал живые портреты революционеров, которых печать, враждебная или дружеская, представляла до сих пор отвлеченными фантомами... Мы убеждены, что вы вмешаетесь и не дадите возможности подумать ни друзьям, ни врагам СССР, что революцию теперь защищают такими же способами, какими в дни 1900 года французский генеральный штаб защищал честь армии» (намек на дело Дрейфуса).

Письмо это подписали Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Жорж Пош, Леон Верт, Марсель Мартине, Мадлен Пац, Анри Пуляль.

«Возрождение», 6 августа

Виктор Серж – русский
ЕГО НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ ВИКТОР КИБАЛЬЧИЧ

«Возрождение», 9 августа

США, ДЕМБЕРИ. ЛИДА

Какое жалкое впечатление производит окружающий пейзаж, когда опадают листья!

Деревья словно голые. Жалко кусты и траву, покрытую серой и желтой листвой. Какое гнетущее впечатление производит осенний пейзаж парка! А зимой – просто страшно смотреть.

Она проехала на своем автомобиле через половину страны. Пейзаж приблизился, словно в кино, – так оператор приближает оптикой нужную деталь. Правда, не уверен, что в тридцать третьем году уже изобрели трансфокатор, но спишем это на более поздние воспоминания моей героини. Она отметила, что, несмотря на теплую осень, птицы не поют так весело, как весной. Вообще не поют. Разве кукушка куковала кому-то года… Надо было попросить и ей – вспомнила, что последний раз спрашивала у кукушки в прошлом году, и та напророчила ей пятьдесят четыре года. Очень хорошо! Хватит на

исполнение всех нынешних и завтрашних планов. Будут дети, а может и внуки, и им передаст опыт. Опыт? Какой опыт? Как какой! Опыт эмигрантской жизни. А он чего-то и стоит. Это же не опыт вождения автомобиля. Водить машину она научила мужа за неделю. А вот опыт жизни… Другой вопрос.

Город изготовлял только шляпы:
соломенные,
фетровые,
дамские и мужские,
мягкие и твердые.

За год он выбрасывал на рынок миллионы шляп, которые составляли 75% всей потребности Северо-Американских Штатов. Город именовался Дембери и располагался на юго-западной границе штата Коннектикут.

В городе жили со своими семьями 4000 шляпных мастеров. Остальная часть рабочего населения занималась пряжей шелка для шляпных подкладок и лент или обработкой заячьих шкурок, а также изготовлением деревянных болванок, картонок и коробок для упаковки.

В этот город приехала наша героиня по приглашению – будем называть так! – профсоюза шляпников. У профсоюза шла тяжба с хозяевами местных фабрик, суть которой Лида поняла после знакомства с местными реалиями.

Сырье прибывало из Ньюйоркского порта на тяжелых грузовиках. Сюда свозили миллионы окровавленных шкурок, снятых с зайцев, убитых в России и Австралии. Убитому зайцу, с которого уже до его прибытия в Америку спущена шкура, разумеется, вполне безразлично, что с ним будет в дальнейшем. Он не дрожит ни перед протравой, ни после нее. Его хвост и уши за ненадобностью отрезают. Остается шкурка из меха и отдельных волос. Эти волосы надо удалить.

Шкурки попадают на фетровую фабрику, где их моют, чистят и травят посредством азотнокислой окиси ртути, а потом просушивают с помощью сложных вращающихся паровых труб. Эта работа отравляет весь организм, хотя рука, которая держит щетку, защищена резиновой перчаткой. Несмотря на предупреждающие меры, ежедневное действие окиси ртути, нагретой до 12°, не остается без последствий. Большую часть отравленных составляют старики, в свое время понаехавшие сюда из Германии и Швейцарии.

Когда шкуры вылущены машиной, обнажается волосяная ткань. Это прозрачная сетка, как бы сплетенная из сухой соломы. Быстрой лентой скатывается мех из машины в опытные руки работниц, которые удаляют из него последние затверделости. В пакетах весом пять фунтов фабрикат отправляют на шляпные фабрики. Каждая мужская шляпа должна пройти не меньше чем через 36 машинных операций. Все они производятся на особых аппаратах и в специальных мастер-

ских. Только тогда примет шляпа неизвестного джентльмена точно такой же вид, как миллион других мужских головных уборов.

Фетровую шляпу так просто не расправить. Во-первых, этот шутовской колпак огромен и был бы впору разве что больному водянкой; во-вторых, он еще тонок, влажен и непрочен. Над ним надо как следует поработать: уменьшить в объеме посредством дрожжей и винного камня, а в некоторых случаях и провальцевать, или попросту сжать специальными тисками по размеру. А каких усилий требовали мытье, сушка, стрижка, точка, глаженье, наведение блеска, окраска, начес, накрахмаливание, вшивание кожаных ободков против пота, нашивание бантов и лент (последние операции производятся в огромном помещении целой армией 70-летних старух)! Потом шляпы штампуются и отправляются в магазины.

Профсоюзный активист водил Лиду по цехам фабрики.

– И что это за фабрики?.. – рассказывал он. – Шляпное производство в Коннектикуте наследственно. Уже в освободительном движении оно сыграло не последнюю роль. В 1750 году английским парламентом был издан закон, запрещающий изготавливать в колониях шляпы и шерстяные изделия, равно как и вывозить их в соседние колонии. Этот закон, изданный в интересах английской метрополии, и послужил первым сигналом к великим войнам за «независимость и свободу».

Старо демберийское шляпное дело. Производству шляп больше 100 лет – и всё в тех же зданиях, в деревянных строениях с прибитыми вкривь и вкось досками, выкрашенных в рыжевато-красный цвет. Когда переступаешь порог здания, кажется, что попадаешь в тиски: крошечные комнаты, вовсе лишенные света, повсюду шерсть и пыль, плохая вентиляция, плохая вытяжка. Люди работали в безрукавках и коротких штанах, в сырых помещениях – в сапогах из бараньей кожи и резиновых фартуках. Некоторые рабочие из Азии были в штанах, надетых поверх длинных изорванных кальсон, – как настоящие оборванцы!

Только у Малори в меховой шляпочной фабрике имеются новые фабричные приспособления. Более того, на этом предприятии практикуется даже страхование от старости. Тот, кто выбывает со службы, не обязан ничего возвращать и может остаться в числе застрахованных, если будет и впредь вносить свою ежемесячную лепту.

– Очень гуманно, – согласилась адвокат.

Профсоюзник усмехнулся.

– Да! Но! Понимаете, в случае конфликта или при увольнении обыкновенно не оказывается под рукой нового рабочего места, или жалованье там значительно меньше, а взносы по-прежнему остаются высокими. Поэтому вся эта гуманная «забота» о рабочем на самом деле является только новым способом его закабаления.

Оказалось, что фабриканты Дембери страхуют только свои фаб-

рики. Они правильно рассчитали, что пожар в плохо построенных и хорошо застрахованных деревянных зданиях значительно выгоднее постройки нового дома.

Лида бродила по оживленным улицам города, старательно посещая каждую отрасль производства. Больше всего поражало обилие импорта: специальные машины все без исключения выписаны из Германии; рисовая солома перевезена из Модена или из Швейцарии, панамы вывезены из Мантуи, а рабочая сила – из Сирии, Италии и Германии.

«Для меня здесь работы непочатый край», – подумала Лида, хотя приехала по другому делу.

Шляпные фабрики Дембери предъявили иск профсоюзу о возмещении в троекратном размере всех убытков, причиненных очередной забастовкой. Сумма иска равнялась 78000 долларов. При этом фабриканты ссылались на акт Шермена, направленный против спекулятивной деятельности трестов и их старинной привилегии устанавливать цены на все товары. Демберийские фабриканты прибегли к контрманевру, пытаясь истолковать и профессиональные союзы как тресты, устанавливаемую же ими оплату труда — как цены на товар.

Адвокат леди Олонецкая подала иск в Верховный суд.

Верховный суд сделал соответствующее разъяснение, ясно подчеркнув недопустимость приравнивания заработной платы живого рабочего к товарной цене. Дело было выиграно.

Этим прославились Дембери и госпожа Олонецкая.

(*Окончание в следующем номере*)

Владимир Гржонко

Дом

*Главы из романа**

Часть пятая. Эпилог. БЫТИЕ 2.0

В этот Дом я попал не сразу. Сначала мне пришлось навсегда уехать из страны, в которой родился и вырос. Перелетев через океан, я искренне полагал, что старая жизнь закончилась и началась новая, совсем другая…

Через несколько месяцев после приезда в Америку, когда, наконец-то устроившись на работу, мы с женой решили сменить комнатку у друзей на отдельную квартиру, в моей жизни возник Дом.

Теперь уже не помню ни самого переезда, ни того человека, который подсказал нам снять квартиру именно в этом Доме. Впрочем, может быть, я и сам нашел объявление о сдаче квартиры в единственной тогда на весь Нью-Йорк русскоязычной газете «Слово».

Всё это – новые реалии, новые запахи и краски, новые язык и обычаи, в общем, ощущение Начала, когда всё заново, всё с нуля, – как будто бы вернуло меня в прошлое. Я вдруг почувствовал себя маленьким ребенком, открывающим неизвестный мир, и, как в детстве, мир этот был многоцветным и не до конца познаваемым…

Испытания, выпавшие на мою долю, такие обычные для всякого иммигранта, казались чуточку чрезмерными, ненастоящими. На лицах окружавших меня людей ловил я иногда странное выражение, значение которого не мог понять. Возможно, меня смущала знаменитая американская улыбка, которую у нас было принято считать фальшивой.

Дом стоял на холме. У подножия холма по шоссе, словно по дну ущелья, денно и нощно несся бесконечный поток машин, а чуть дальше лежало серое байковое одеяло Атлантического океана.

Позже, когда все связанные с переездом хлопоты наконец-то закончились и мы с женой немного обжили свою новую квартиру, я вдруг сообразил, что этот Дом – четырехэтажный, с внутренним двором и фонтаном посередине, – очень похож на мой родной, оставшийся где-то далеко за этим скучным океаном, в стране, которой боль-

---

*Окончание, начало в «Новом Журнале», № 313, 2023, № 314 и № 316, 2024.

ше не существовало. Правда, здесь посреди фонтана вместо мраморного Пана стоял выкрашенный белой масляной краской бетонный херувимчик. Но чуткое бесшабашное эхо, сломя голову носившееся за каждым, стоило ему только выйти в мощенный плиткой двор, показалось мне бесконечно знакомым. Это было удивительно и немного смягчало чувство бесприютности.

А через месяц после переезда, возвращаясь домой с работы, прямо у фонтана познакомился я с соседом из квартиры «один эй». Это был немолодой, довольно грузный дядечка с тяжелыми руками, в которые намертво въелась грязь, и безупречно-белыми зубами.

– Новенький? – спросил он и улыбнулся той самой американской улыбкой. – Из России, поди. К нам теперь много ваших приехало. Понимаешь, нет? В Доме уже несколько семей живет. Так что – добро пожаловать. А я – Сэмюэл, но все жильцы, шутники, зовут меня дядя Сэм. Это потому, что я тут самый главный. Супер! Понимаешь, нет?

Дядя Сэм рассмеялся и подмигнул так, что мне поневоле пришлось ущипнуть себя за руку. Конечно, этого не могло быть, и всё же сходство было удивительным… Я помотал головой, отгоняя наваждение, и постарался улыбнуться дяде Сэму в ответ. Может, я действительно чего-то не разобрал в его быстрой речи.

– Да ты не смущайся, если что непонятно – спрашивай. Супер – это не то, что ты подумал! На самом деле я в этом Доме – суперинтендант, а если попросту, то мастер на все руки. Раковину починить или там унитаз… Дом-то старый. Ну вот я и чиню. Понимаешь, нет? Я тебе по секрету скажу: трубы в нашем Доме давно уже никуда не годятся. Так что у нас тут то и дело потоп. Хорошо, если водопроводные трубы прорвет. А вот если канализационные, то просто беда. Ну и я – тут как тут, прям как Ной, весь Дом от потопа спасаю. У нас ведь точно как в Ковчеге – каждой твари по паре…

Нет-нет, конечно, никакой мистики, мне просто показалось. Но всё же было что-то неуловимо знакомое в манере дяди Сэма говорить, в его повадке лукаво склонять голову набок и как бы посмеиваться над собственными словами, словно призывая слушателя не воспринимать сказанное всерьез…

Это было трудное для меня время. Работа, на которую я устроился, давала возможность существовать, но… Взрослый тридцатилетний мужик, я работал в небольшом магазинчике красок так называемым стак-боем. То есть складским рабочим, следившим за тем, чтобы товар был своевременно расставлен на стеллажах. Кроме того, я должен был помнить, где в подвале хранится та или иная краска и вовремя поднимать наверх недостающие банки.

Несложная, в общем-то, работа в тот момент заставляла меня выкладываться на пределе сил. Чужой, не всегда понятный язык,

неизвестные мне термины, названия, виды и сорта красок… Словом, мне было нелегко.

Помню, как подрабатывавшая в магазине девятнадцатилетняя толстушка, студентка католического колледжа, для чего-то – от скуки, наверное, – вдалбливала другому продавцу, туповатому долговязому пареньку, библейские тексты. Но заучить мудреные и совершенно ненужные ему имена и события у него почему-то совсем не получалось.

– Ну скажи хотя бы, кто был первым человеком? – вопрошала толстушка, иронически скривив рот. Над верхней губой у нее топорщились темная полоска усиков.

Паренек только мялся и пучил глаза.

– Эх ты! Я же тебе сто раз повторяла!

– Ну... ну этот... как его... – мямлил паренек.

– Да господи, Адам, – не выдержав, однажды выпалил я. – Первым человеком был Адам! А-дам!

Толстушка посмотрела на меня как на внезапно заговоривший табурет. Заподозрить в знании такой премудрости невежественного иммигранта, не умевшего отличить банку краски «Регал селект глосси» от «Глидден премиум мэтт», было просто невозможно.

– Вот видишь, – после паузы сказала она, – даже он и то знает! Стыдно тебе должно быть, ведь Адам – это Начало Начал. Поэтому и все алфавиты начинаются с «А», алеф, альфа, ну и так далее… А ты балбес!

Паренек потупился, но искоса глянул на меня веселым глазом – что ему было до Начала Начал…

В общем, мы с женой жили, обустраивались, присматривались к соседям и пытались понять, где же все-таки оказались. В тот момент для нас было крайне важным определиться с понятиями. Наша тогдашняя жизнь была чем-то вроде чистилища. А вот что последует за ним – рай или ад, – оставалось неясным. Но, так или иначе, флёр нереальности и даже некоторого абсурда всё не исчезал. И я часто вспоминал своего соседа по старому Дому, покойного Матвея Рувимовича Газенпуда, чуть было не сошедшего с ума в попытке понять окружавший его мир…

Вскоре я познакомился с жильцом из квартиры «четыре си» Михаилом Максимилиановичем Перельманом. Раньше он работал следователем в районном уголовном розыске небольшого украинского городка, без всяких надежд на повышение. Потому что был он беспартийным, да еще и евреем, а, значит, абсолютно бесперспективным. Оказавшись в Америке, Михаил Максимилианович понял, что здесь и того хуже: в партию можно вступать в любую, хоть свою создавай, но это совершено не гарантирует никакой работы.

– Собственно, – сообщил он мне при первом знакомстве, – это даже и справедливо. Ведь что я на самом-то деле умею? Разве что преступников ловить. Так здесь для этого всё нужно с нуля начинать, диплом подтверждать да разные квалификационные экзамены сдавать, а у меня возраст – и английский, считайте, никакой.

Помыкавшись некоторое время в безуспешных поисках источника пропитания, Михаил Максимилианович ударился в религию.

– Я стал религиозным евреем, да, именно так! – Михаил Максимилианович рассмеялся. – Вы знаете, что такое настоящий религиозный еврей? Ведь это просто счастье – приникнуть к вере предков, да еще и не бояться, что тебя за походы в синагогу с работы уволят, как это было дома! Сделал я обрезание, начал умные книги читать, молиться, кашрут соблюдать, Субботу, ну, в общем, всё как положено. С самим раввином Шмуклером несколько раз за одним столом сидел! А равви Шмуклер – это вам не абы кто! Его весь Боро-Парк уважает!

Но потом… потом я стал задумываться. Помните эти трогательные истории про больных, просивших об исцелении, голодных, умолявших о куске хлеба, ну всякое такое? И как этим больным и голодным потом воздавалось за их веру и искренние молитвы? Или вот о бедном Иове слышали? *Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?* Это, между прочим, он сказал. То есть, получается, что, прося для себя добра, мы пытаемся избежать зла, мы не готовы его принять даже от Всевышнего…

Михаил Максимилианович помолчал и посмотрел на меня со значением.

– Я сейчас вам страшную тайну открою… есть что-то общее между заветом с Богом и договором с дьяволом. Ну ритуалы, может, и другие, а смысл-то один: будь послушен воле того, кто сильнее тебя, и всё у тебя будет хорошо. Вот представьте себе: молится, например, безнадежно больной о выздоровлении. Так ведь он, сукин сын, потому только это делает, что жить уж очень хочет! А кому молится, и сам толком не знает. С чего мы взяли, что страстно желающий чего-либо человек именно к Богу обращается? Нет, он просто помощи просит. Ну может ли умирающий от голода принимать милостыню, скажем, только от голубоглазых? А от черноглазых – отвергать с презрением? Нет, кто подаст, тому и спасибо.

Дошел я до такой мысли – и сам испугался. Гоню ее от себя, а она, зараза, всё не уходит. И вот получается: как же я могу о чем-то молиться, если сам не знаю, к кому обращаюсь? Вроде и к Богу… А только лезу себе в душу поглубже – и что там вижу? Да ничего я там не вижу, но сомнение-то куда девать? Ведь для себя блага желаю получить. А дурное, Им же посланное, получать не хочу, бунтую. Значит, уже грешу, если верить Иову. А еще… Знаете, ведь бывших следователей не бывает. Я это понял, когда вдруг стал на Библию с

профессиональной точки зрения смотреть… Ну и всё покатилось под гору. Разругался я в прах с раввином Шмуклером, расквасил нос одному из самых фанатичных прихожан нашей синагоги, чтобы не совался куда не следует, да и ушел ко всем чертям. И правильно сделал!

Михаил Максимилианович снова выдержал паузу, словно оценивая, достоин ли я услышать дальнейшее, и доверительно сообщил, что, освободившись от пут официальных религий, сейчас он занимается расследованием, которое окажет огромное влияние как на жизнь самого Михаила Максимилиановича, так и всего человечества, и что пусть меня не удивляют некоторые его поступки…

Михаил Максимилианович многозначительно подмигнул:

– Чтобы иметь больше свободного времени на расследование, я прикинулся психом и даже получил пенсию по инвалидности, – сказал он и улыбнулся. – Я называю ее «дуркина премия». Да, премия, потому что выдают ее не каждому. Представьте себе, мне, например, пришлось отвечать на совершенно идиотский вопрос психиатра: «Что общего между маракуйей и детским садиком?» Если вы скажете, что детский садик набит детишками, как маракуйя зернами, то не видать вам «премии». Вот и приходится дурака валять. По-английски маракуйя – пэшэн фрут, то есть в буквальном переводе – плод страсти. Ну я и ответил психиатру, что детки – тоже плоды страсти… Противно, конечно, но выхода нет. Кроме того, не для себя ж одного стараюсь. Человечество спасаю!

Глаза Михаила Максимилиановича при этом были трезвыми и внимательными, и никакого безумия в них не наблюдалось.

– Человек-то он неплохой, – заметил дядя Сэм, когда Михаил Максимилианович ушел. – Только вот должен предупредить: время от времени бегает по двору совершенно голым. По мне бы оно и ладно, но многим одиноким леди от этого беспокойство. Их тоже можно понять. Не старый еще мужик, а устраивает тут бесплатный стриптиз, понимаешь ли.

– И что, никто не жалуется на него в полицию? – спросил я, уже немного знакомый с местными правилами. – Ведь в таком случае, кажется, увозят сначала в полицейский участок, а потом в дурдом?

– Ну, – замялся дядя Сэм, – тут ведь как… они, эти леди, каждый раз ждут, когда он появится, просто от окон не отходят. Что мадам Бобкович, что миссис Мак-Ферсон. Даже мисс Хавольски и та... Да всё не так уж страшно, ты и сам скоро увидишь. Ладно, у меня дел по горло – в «три джи» опять что-то засорилось, что б его!..

Через несколько дней, довольно поздно вечером, когда мы с женой собирались ложиться спать, чуткое эхо вдруг хохотнуло и тут же испуганно закудахтало, рассыпаясь мелким бисером по всем уголкам двора.

Я выглянул в окно и увидел стоявшего у фонтана Михаила Максимилиановича. В серебристом свете заглянувшей во двор Дома полной луны было четко видно его обнаженное тело. Сначала обе руки Михаила Максимилиановича были подняты вверх, потом он, издав резкий каркающий звук, резко опустил их на уровень плеч и скрюченными пальцами заскреб воздух. При этом он шагал на месте, высоко поднимая колени. Было в этом зрелище нечто настолько дикое, что оно завораживало. Будто бы исходил от Михаила Максимилиановича и волнами слался по двору легкий туман безумия.

Вдобавок Михаил Максимилианович пел. То есть, скорее, читал нараспев. Сначала тихо, почти неслышно, а потом всё громче и громче, и я с удивлением узнал в его речитативе знакомую с детства «Гренаду».

– Он пел, озирая родные края, – продолжая маршировать, уже во весь голос скандировал Михаил Максимилианович, – Гренада, Гренада, Гренада моя!..

– Увы, он действительно сумасшедший, – грустно сказала за моей спиной жена. – Да, *дуркину премию*, как он выражается, просто так никому не дают. А ты говоришь…

Ничего такого я не говорил, но вдруг с горечью осознал, что жена права: Михаил Максимилианович очень больной человек. Я отошел от окна, а вдогонку мне неслось: «…и песенку эту поныне поет жена молодая и муж-идиот!»

Когда спустя несколько дней я снова встретился с Михаилом Максимилиановичем, то невольно отвел глаза.

– Ну что ж, – с укором произнес он, – кажется, вы за формой не видите содержания. Жаль, жаль. Впрочем, грех вас винить, вы – жертва стереотипов…

Он не договорил, разочарованно взмахнул рукой и отошел от меня. Но тут же вернулся.

– Вот интересно, а если бы сам Мессия пришел к вам, но пришел голым, вы бы его тоже первым делом в сумасшедшие записали? – и Михаил Максимилианович снова, не давая мне ответить, махнул рукой. – Хотя откуда вам знать, во что должен быть одет Мессия? Но вы не обижайтесь, я тоже не знаю. Дело-то не в этом! Притворяясь психом для получения той самой *дуркиной премии*, я совершенно случайно выяснил: чтобы открылось главное, нужно привести себя в состояние… ну как бы вам это объяснить? Ведь если я скажу, что раздеваюсь не просто так, что в этом измененном состоянии сознания на меня нисходит откровение, вы смеяться будете. Думаете, зря что ли ходили по Руси юродивые, то есть, мнимо безумные? То есть убогие. Ведь «Бог» и «убогий» – однокоренные слова. Вот эти-то знали, откуда берется откровение.

Михаил Максимилианович чуть наклонился ко мне и сказал, что я, пожалуй, единственный в этом Доме, кому он может хоть как-то

объяснить то, что происходит. Дело в том, что именно теперь настало время расследовать одну давнюю криминальную историю.

– И вот, сопоставляя факты и версии, стал я в этом деле детально разбираться. Как профессионал. Интересное дело, скажу я вам, получается...

Я смотрел на Михаила Максимилиановича, стараясь убедить себя, что говорю с больным человеком. Но ни манеры, ни речь, ни глубоко посаженные умные глаза его не выдавали душевной болезни. Наоборот, мне стало казаться, что говорит он о чем-то крайне важном и сложном настолько, что мне нужно сделать над собой усилие, чтобы оказаться с ним на одной волне. Причем усилие не столько умственное, сколько душевное. Потому что, по словам Михаила Максимилиановича, речь шла о древних сакральных таинствах, благодаря которым только и держится этот висящий над пропастью мир…

– *Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел.* Как вы думаете, почему «не призрел» Бог на то, что от всей души принес ему Каин?

Я неопределенно покачал головой.

– Да ведь Авель-то овечек в жертву Богу принес! То есть попросту резал им глотки в Его честь. А зачем, спрашивается, Господу кровавая жертва? Вы только представьте себе это, что называется, воочию. Но не сухой библейский текст, где действуют не люди, а только персонажи, а как оно на самом деле быть могло.

И вот вам картинка: мирно на земле, благостно, солнышко светит, птички чирикают, пчелки жужжат… Адам с Евой, конечно, трудятся в поте лица как проклятые. Потому что они и есть проклятые, наказанные. Но не ропщут, да и дети стариков утешают. Два замечательных сына. И смерти еще нигде нет в мире! Хорошо так, пасторально, жить бы и радоваться. А только приходит время благодарить Бога. И вот Каин несет Ему фрукты и овощи – земля-то родит щедро! Каин уверен: Бог мудрый и добрый, Он вегетарианец, зачем Ему кровь…

А Авель – младшенький и, понятно, баловень всей семьи, ему многое прощается. Что поделать, мизиникл, как в еврейских семьях говорят… Тут, значит, жертвоприношение. И видит Каин, что всерьез увлекся Авель, что с упоением рычит он и скалит зубы, задирая очередной овечке голову и вонзая в трепещущее горло нож. Снова и снова… И кровь, смешиваясь с потом, заливает его лицо.

И тогда зарождается и крепнет у Каина подозрение, что не Богу приносит жертвы его младший брат! Что Змей, лишивший их родителей Рая, не оставляет людей и на Земле. Впрочем, Каин давно уже чувствовал неладное. Ведь сам он – земледелец, жизнь его размеренна и спокойна. А Авель – мальчишка, искатель приключений, бродя-

га, ходит за своими стадами, его месяцами носит неведомо где и с кем. Но главное не в этом…

Михаил Максимилианович помолчал, испытующе глядя мне в глаза.

– Главное, что не убивал Каин Авеля, понимаете? Не убивал! Хотя, если посмотреть на эту историю с профессиональной точки зрения, можно сказать, что мотив у него вроде бы был. И дело не только в жертвоприношении. Там ведь и имущественные споры имелись. Да еще и сестры масла в огонь подливали. Каин ведь был неказист, а вот Авель, двадцатилетний красавчик с бесовским огоньком в глазах...

Михаил Максимилианович поднял правую ладонь, словно принося присягу, и заявил, что, опираясь пусть и на косвенные, но убедительные факты, собирается доказать полную невиновность Каина. Он знает, это непросто. Но важность раскрытия этого дела для всего человечества трудно переоценить.

Михаил Максимилианович споткнулся на полуслове, почему-то виновато взглянул на меня и бросился к двери подъезда.

На следующий день я познакомился с проживавшей в квартире «два джей» миссис Мортенсон. Миссис Мортенсон была удивительно добрым человеком. Это мне стало ясно с первых же ее слов.

– Вам наверняка нужна помощь! – едва увидев меня, заявила она. – Вы же только приехали в страну. Я знаю, это непросто. Я сама перебралась в Нью-Йорк из Калифорнии. Вам нужно обустроиться. Подождите меня немного вот здесь, у фонтана, и я непременно вынесу вам что-нибудь полезное из вещей.

Я смущенно пробормотал, что работаю и ни в чем не нуждаюсь, но миссис Мортенсон протестующе замахала руками.

– Нет-нет, не спорьте со мной, все, кто приезжает к нам, такие ужасные бедняки! Я тут как-то помогала одной семье из Намибии… или из Сенегала, не помню. Они так мерзли нашей холодной зимой! Знаете, я принесу вам какие-нибудь теплые вещи.

– Спасибо, но я из России, – успел вставить я, – там тоже холодные зимы…

– Ах да, конечно, вы из России! Как же я не сообразила! Тогда вам, наверное, будет трудно переносить эту нашу летнюю жару. Я подарю вам вентилятор!

Несмотря на мои возражения миссис Мортенсон через три минуты вышла во двор, держа в руках вентилятор в железном намордник. Судя по виду, в последний раз им пользовались во времена Карибского кризиса.

– Он, правда, не очень работает, – миссис Мортенсон чуточку смутилась, но тут же с улыбкой добавила, что уверена: я смогу его починить.

– Вы, русские, такие рукастые. Я знаю. Мой последний муж работал с одним русским…

Чуть позже дядя Сэм рассказал мне, что миссис Мортенсон очень одинока и старается помочь всем новоприбывшим. Например, сейчас у нее в квартире проживает девушка то ли из Польши, то ли из России, поди пойми, хорошенькая такая блондиночка. Сама миссис Мортенсон утверждает, что просто сдает ей комнату.

– Только, знаешь, – дядя Сэм многозначительно покачал головой, – сам я, конечно, свечи не держал, но ходят к той барышне самые разные ухажеры. Понимаешь, нет? Но я уверен: миссис Мортенсон об этом и не подозревает.

Насколько я мог судить, существовала миссис Мортенсон на пенсию, доставшуюся ей от покойного мужа, много лет проработавшего механиком в метро. Поселилась она в Доме давным-давно, и никто, даже дядя Сэм, не помнил ее молодой.

Вроде бы приехала она в Нью-Йорк откуда-то с Запада. Тот самый скромный механик был то ли третьим, то ли четвертым ее мужем. Но супружеское счастье длилось недолго: спустя три года муж попал под поезд в депо. Больше миссис Мортенсон замуж выходить не стала и вообще, по словам дяди Сэма, вела довольно замкнутый образ жизни. Почти ни с кем, кроме проживавшей у нее девушки, не общалась.

Думаю, дядя Сэм был прав в своих подозрениях относительно рода занятий этой девицы. Однажды я столкнулся с нею во дворе. Она оказалась действительно очень симпатичной и шествовала в сопровождении немолодого толстого господина в добротном костюме и с нехорошими бегающими глазами. Он опасливо зыркнул на меня и ускорил шаг. Девица за спиной господина беззвучно хохотнула и, прежде чем скрыться вслед за ним в своем подъезде, послала мне короткий кокетливый взгляд…

Иногда Миссис Мортенсон становилась странно говорливой и любила вспоминать о какой-то своей прошлой жизни, совершенно не похожей на ее нынешнее скромное существование. В такие минуты она рассказывала всем желающим послушать о невероятной роскоши, безрассудных страстях и пережитых ею опасных, но всегда хорошо заканчивавшихся приключениях.

Правда, была у миссис Мортенсон неуемная тяга к бульварным романам в мягких обложках, которые она читала летними вечерами, сидя во дворе у фонтана в раскладном пляжном кресле. И, по мнению дяди Сэма, рассказывая о своей жизни, кое-что из этих романов заимствовала. Ну никак не мог он поверить, что была когда-то миссис Мортенсон знаменита и владела огромным домом с дворецким в Малибу. Еще сложнее ему было представить ее красивой настолько, что за ней увивался сам президент Соединенных Штатов, по ее словам, отчаянный мот и бабник. Правда, иногда миссис Мортенсон

называла своим ухажером сенатора из Калифорнии. Чему, впрочем, нисколько не мешало присутствие поклонника-президента.

Следом за дядей Сэмом и остальные обитатели Дома стали считать миссис Мортенсон… ну скажем так, фантазеркой. Немолодой дамой, которая от безысходности и одиночества придумывает себе фальшивое прошлое. Такое же фальшивое, как и крупные камни в многочисленных кольцах, которые миссис Мортенсон носила не снимая. Хотя дядя Сэм мог ошибаться, вполне мог.

Как знать, может быть, действительно была миссис Мортенсон когда-то восхитительной красавицей и знаменитостью, которую любили сильные мира сего. Глядя на эту немного нелепую женщину, я старался представить себе ее юной, счастливой и полной надежд. Это было непросто. Что ж поделаешь, долгие пустые годы и большие разочарования намертво иссушают душу… Но все-таки иногда мне казалось, что я вижу на лице миссис Мортенсон отсветы совсем другой жизни.

– Вы, молодежь, – сказала она мне как-то, – не знаете, что такое настоящая любовь. Да и не можете знать. Про это понимаешь только спустя десятилетия, когда уже и любить некого, да и незачем. Ах, если бы была возможность хоть еще один разок заново пережить то удивительное чувство…

А потом в наш Дом въехала семья выходцев из Средней Азии. Это была очень большая семья, так что казалось, что даже дядя Сэм не знал точного количества всех чад и домочадцев, включая глубоких стариков и новорожденных младенцев. И сразу по двору забегали разновозрастные дети, с криками гоняя перед собой чопорное американское эхо. А у фонтана на вынесенных из дома стульях невозмутимо расселись седобородые патриархи в теплых халатах.

Был в этой восточной семье довольно молодой мужчина, который сильно отличался от остальных – смуглых, черноволосых и черноглазых. Кожа у него была светлой, волосы – русыми, а глаза за очками в толстой оправе – ярко-синими. Так что, скорее всего, был он приемышем.

Конечно, миссис Мортенсон тут же бросилась помогать новоприбывшим. Беда заключалась в том, что по опыту ей было совершенно точно известно: все эти бедные иммигранты очень плохо знают английский. И надо же было такому случиться, что натолкнулась она во дворе именно на этого приемыша.

Миссис Мортенсон остановила его и прибегла к жестикуляции. Кроме того, она старалась говорить очень громко в наивной надежде, что так ее лучше поймут. Непостоянное эхо тут же оставило несносных ребятишек и, предвкушая скандал, закружило над миссис Мортенсон. А наблюдавшие за ней седобородые патриархи неодобрительно покачивали головами.

– Вещи! – кричала миссис Мортенсон, делая паузы между словами. – Зимние – вещи! Зима – холодная! Вам – нужно! Я – вам – принесу – вещи! Я – вещи!

И тыкала пальцем себе в грудь.

– Благодарю вас, мадам, – на приличном английском ответил ей молодой человек и, сняв очки, близоруко взглянул на миссис Мортенсон. – У вас большое сердце. Но мы привезли с собой достаточно одежды на все сезоны. Позвольте представиться, меня зовут Ахматджон.

Он смотрел на нее и улыбался. И тогда что-то случилось с миссис Мортенсон. По ее собственным словам, ее как будто пронзило молнией. Джон! Его зовут Джон!

– Ах, нет! – в отчаянии говорила она потом миссис Мак-Ферсон. – Это не та безнадежная влюбленность зрелой, но еще полной сил женщины, в молодого мужчину, годящегося ей в... ну, не будем преувеличивать... не в сыновья, а, скажем так, только в младшие братья.

Миссис Мортенсон уверяла, что у нее и в мыслях не было заводить с ним роман. Она хотела только вернуть себе ненадолго те незабываемые ощущения... Это трудно объяснить, но ведь мало того, что паренька зовут Джоном, так он еще очень похож на того, другого Джона. Который так ужасно погиб в самом расцвете сил… В этом месте она закрыла рукой глаза и всхлипнула.

– Но, умоляю вас, ни слова никому! Это должно остаться великой тайной навеки! Я знаю вас много лет и потому открылась только вам…

Миссис Мак-Ферсон, конечно же, пообещала молчать как рыба. Но увы, несчастной влюбленной явно требовались слушатели, способные оценить ее возвышенное чувство. Ведь, рассказывая о нем другим, миссис Мортенсон облекала свои смутные мечты в конкретные слова. И от того они, эти мечты, становились будто бы менее иллюзорными.

Поэтому я ничуть не удивился, когда спустя короткое время выяснилось, что о великой тайной любви миссис Мортенсон знает уже весь Дом.

И как всегда бывает, эта тайна тут же пополнилась множеством подробностей и живописных деталей. Говорили, будто бы миссис Мортенсон еженощно ждет предмет своей страсти во дворе, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. И действительно, мне самому несколько раз приходилось видеть, как поздно вечером миссис Мортенсон кружит вокруг фонтана. А однажды, уже осенью, я стал свидетелем ее встречи с молодым Ахматджоном.

Миссис Мортенсон стояла не двигаясь, с застывшей на лице вымученной улыбкой. И только поднятые к горлу руки беспокойно перебирали бусинки ожерелья из речного жемчуга. Молодой Ахматджон остановился в трех шагах от нее, поправил сползавшие с носа очки и тоже улыбнулся.

– Джон… – пролепетала миссис Мортенсон. – Можно, я буду называть вас просто Джон?

– Да, конечно, – легко согласился молодой Ахматджон. – Если вам это будет приятно.

– Приятно… – эхом отозвалась миссис Мортенсон. – Да-да, конечно, приятно…

Со стороны казалось, что она судорожно пытается понять что-то очень важное для нее.

– У вас что-то случилось? – после паузы спросил ее молодой Ахматджон. – Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

– Помочь… – шепотом, почти неслышно повторила миссис Мортенсон и чуть громче добавила. – Нет-нет, благодарю вас.

Потоптавшись на месте еще немного, молодой Ахматджон ушел. И тогда, бессильно опустившись на бортик фонтана и зажимая руками рот, миссис Мортенсон закричала. Примчавшееся на шум эхо даже не сразу откликнулось на этот странный сдавленный крик. Это был крик любви, страстной и безнадежной.…

Впрочем, некоторые наиболее приземленные и черствые натуры, вроде мадам Бобкович, жилички из квартиры «четыре эй», утверждали, что будто бы миссис Мортенсон пытается соблазнить бедного иммигранта, предлагая ему всего за одну ночь любви все свои фальшивые бриллианты.

– Конечно, фальшивые! Откуда им взяться, настоящим-то! – рассудительно говорила мадам Бобкович соседкам. – Были бы настоящие, так разве жила бы она в этом сарае? Уж поверьте, я-то знаю, что такое настоящий бриллиант!

Ее дедушка, ювелир из Пинска, приехал в Америку в начале двадцатого века и успел умереть задолго до рождения мадам Бобкович. Сама же она держала небольшую доставшуюся ей от родителей лавочку, в которой торговала местными бубликами-бейглами.

– Но попомните мои слова, – продолжала она, покровительственно поглядывая на соседок, – хоть бриллианты у нее и фальшивые, но трагедия из всего этого получится самая настоящая…

А дальше случилась вот какая история.

По Дому пополз слух, что у жилички миссис Мортенсон, той самой симпатичной Риты, которую я встретил во дворе с пожилым господином, начался роман с близоруким молодым Ахматджоном, предметом воздыханий самой миссис Мортенсон.

Вездесущая мадам Бобкович неожиданно для соседок сменила точку зрения и теперь называла миссис Мортенсон неразумной жертвой собственного легкомыслия и доверчивости.

– Чего вы хотите от этой наивной овечки? – вопрошала она. – Ее можно только пожалеть. Да, в жизни случается много такого, о чем ни в какой книжке не напишут.

При этом мадам Бобкович многозначительно улыбалась, давая понять, что не у одной бедной миссис Мортенсон бывали тайные безумные страсти. Да только знать об этом никому не следует.

– Последняя любовь – самая что ни на есть страшная, – просвещала соседок мадам Бобкович. – Особенно, если неразделенная. Ну вот так получилось, что родилась женщина слишком рано. Или мужчина – слишком поздно. А родились бы почти одновременно и встретились, так, может, всё по-другому и сложилось бы. Да только что теперь поделаешь?..

Мадам Бобкович печально склонила голову, а вслед за ней загрустили и все соседки. Им было искренне жаль миссис Мортенсон, которую они дружно считали немного дурочкой и врунишкой. Но вместе с жалостью к ней все они вдруг с удивлением почувствовали, как откуда-то со дна души, из самых потаенных ее уголков, поднимается странная зависть. Нет-нет, никто из них не хотел бы оказаться на месте бедной миссис Мортенсон! И тем не менее каждая с горечью понимала, что никогда в жизни не испытывала таких сильных чувств. Да и, наверное, теперь уже и не испытает…

Тем временем прошла осень, начались и закончились праздники: Рождество, Ханука и Новый год. Наступила долгая холодная нью-йоркская зима.

Это произошло вечером, когда одинокое заскучавшее эхо уныло гоняло по опустевшему двору злую серую поземку.

Одно только эхо стало свидетелем того, как молодой Ахматджон, крадучись, пересек двор и скользнул в подъезд, где находилась квартира миссис Мортенсон…

О том, что произошло дальше, рассказывают удивительные вещи. Возможно, это только домыслы мадам Бобкович, поскольку сам я, как и остальные обитатели Дома, видел только финальную часть этой необычной истории.

Смешно сказать, но любовный опыт молодого Ахматджона оказался на удивление скромным для парня его лет. То есть женщины у него еще никогда не было. Он верил в настоящую любовь, хотя и не знал ее, и ждал этой встречи как откровения, со всё большим нетерпением. Пробираясь к квартире миссис Мортенсон, он трепетал от предвкушения чего-то настолько великого, что одна мысль об этом обжигала молодого Ахматджона сильнее холода. По совести говоря, он еще не знал, что ему думать об этой женщине, но наотрез отказывался относиться к ней так, как остальные соседи.

– Но ведь я, кажется, не люблю ее так, как любили Данте или Петрарка! – горячечно рассуждал он. – Да и она меня вряд ли. Так почему же меня бьет озноб, и я трясусь как сумасшедший?

Молодой Ахматджон скрипнул зубами и даже приостановился перед квартирой миссис Мортенсон. Зачем он идет к ней? Может

быть, тайна женщины – но не этой, а вообще Женщины – сводит его с ума?..

В это время дверь приоткрылась, и мягкие руки обхватили его, увлекая в теплое и темное нутро квартиры.

Они устроились в комнате Риты и целовались так, что у молодого Ахматджона перехватило дыхание. То и дело он поправлял сползавшие с носа очки и уже совсем не думал о том, любит ли он ее. Очень долгую минуту спустя Рита извинилась и сказала, что ей нужно в ванную комнату.

– Я быстро. А ты пока… ну, очки хотя бы сними, смешной такой! Да и всё остальное тоже, – торопливо прошептала она и исчезла.

Ожидание показалось молодому Ахматджону вечностью. Но зато потом… Потом было невероятное. В темноте, на ощупь Рита показалась ему крупнее, и груди, которые он трепетно охватил ладонями, тяжелее, чем виделись под одеждой. И бедра ее были не такими гладкими, как он себе представлял. И талия не такой тонкой. Но она так страстно и в то же время застенчиво приникла к нему, так при этом выдохнула, словно душа ее устремилась навстречу любимому, не заботясь больше ни о чем.

Тогда молодой Ахматджон неожиданно для себя тоже глубоко выдохнул. И наступило объятье душ...

Тут я вынужден вернуться во времени на несколько недель назад и рассказать о том, как в самый канун Рождества встретил во дворе немолодого тщедушного джентльмена. Из одежды на джентльмене имелся только натянутый на бедра надувной круг в виде ярко-розового фламинго. А всё тело было покрыто зеленой краской. Зеленый джентльмен невозмутимо прогуливался вокруг фонтана.

– Ого! – растерянно подумал я. – Это зрелище будет почище того, что устраивает Михаил Максимилианович.

К счастью, оказавшийся рядом дядя Сэм объяснил мне, что джентльмен этот никакой не псих, а просто мистер Робинсон из квартиры «три ди». Дело в том, что он – распорядитель ежегодного летнего парада русалок на Кони-Айленде.

– Ты зря смеешься, – сказал мне дядя Сэм. – Мистер Робинсон – человек серьезный и положительный. А парад – нормальное мероприятие, я там как-то раз был. Интересно, только очень уж шумно.

Позже я убедился, что, действительно, летом, в конце июня, тысячи людей собираются вместе, чтобы в карнавальных костюмах пройтись по улицам бруклинского Кони-Айленда. Это впечатляющее зрелище: грудастые красотки-русалки с едва прикрытыми морскими звездами сосками, играющие мышцами Нептуны с гарпунами, морские коньки, акулы и чудища всех мыслимых и немыслимых видов, просто одетые непонятно во что чудики, да мало ли кто еще… И вся эта веселая орда, танцуя под оглушительную музыку, движется по

городу, привлекая к себе всеобщее внимание. А потом, в самом конце парада, торжественно выбирается королева русалок.

И вот оказалось, что руководил этим парадом скромный мистер Робинсон. Убежденный холостяк, весь год он прилежно работал бухгалтером в небольшой фирме, но летом, в начале июня, неизменно брал двухнедельный отпуск и денно и нощно готовился к параду. Вел регулярную переписку с десятками активистов, просматривал заявки претендентов на участие и эскизы костюмов, утверждал с полицией маршрут парада, приглашал музыкантов, а порой на свои скромные средства покупал недостающие хлопушки и блестки.

Словом, вся его жизнь была посвящена одному-единственному сверкающему летнему дню, когда полуголый мистер Робинсон торжественно шествовал посреди улицы во главе огромной толпы. Тогда и извивавшаяся змеей многолюдная колонна карнавала, и собравшиеся на тротуарах зеваки, и старавшиеся сохранять невозмутимость при виде полуголых русалок полицейские, и даже выцветшее от жары июньское небо, и плещущийся неподалеку океан... в общем, всё это в тот день принадлежало одному только мистеру Робинсону.

В этот момент он как будто приподнимался над самим собой, орлиным взором окидывал свою одинокую жизнь и с удовлетворением понимал, что все лишения были перенесены не зря, что совершенные ошибки незначительны, а достижения, наоборот, велики и очевидны всем. И несомненное подтверждение этому видел он на лицах окружавших его людей… Да, это был его День!

Но, увы, он, этот День, как-то слишком уж быстро заканчивался, а за ним снова наступали скучные беспросветные будни. Триста шестьдесят четыре похожих друг на друга, как близнецы, унылых дня, отделявших его от счастья. Да, это было подлинное и полновесное счастье, каким бы нелепым оно ни казалось другим.

Но чем старше становился мистер Робинсон, тем невыносимей было ожидание. Ведь легко подсчитать, сколько Дней еще впереди. Недавно мистеру Робинсону исполнилось шестьдесят четыре года, и даже если доживет он до ста, то в лучшем случае осталось у него в запасе всего тридцать шесть. Тридцать шесть Дней абсолютного счастья. Это было до обидного мало!

И тогда мистера Робинсона осенило. Мысль была настолько очевидной, что ему оставалось только удивляться тому, что она не родилась у него раньше. Ведь если проводить парад русалок не раз в год, а два раза, летом и, например, на Рождество, то количество Дней, а с ними и счастья, соответственно, увеличится ровно вдвое.

Сразу же после летнего парада мистер Робинсон активно принялся за работу. Он написал сотни писем единомышленникам, в которых доказывал все выгоды парада Рождественского, а кое-кому даже прозрачно намекал на то, что посодействует при выборе королевы зимних русалок.

Но, к его удивлению, из всех активистов и энтузиастов парада на призыв откликнулась одна только толстая пуэрториканка Кармен. За свои формы и экстравагантные наряды она уже дважды избиралась королевой русалок и была не прочь сделаться ею еще разок. Остальные, что называется, отписались. Все они были молоды, и им вполне хватало одного летнего парада.

Такая реакция единомышленников покоробила мистера Робинсона. Неужели они не понимают?.. Мистер Робинсон разослал еще более убедительные послания еще более широкому кругу людей и запросил в полицейском участке официальное разрешение на проведение парада на Рождество. Но даже из полиции ему не ответили. Видимо, решили, что это шутка.

Тогда мистер Робинсон понял, что нужно действовать на свой страх и риск. Он решил, что проведет этот парад во что бы то ни стало и договорился встретиться с толстой Кармен во дворе Дома утром в Рождество. Хорошо зная бестолковую Кармен, мистер Робинсон за один вечер соорудил для нее из куска поролона русалочий хвост, обсыпал его блестками и задумался. Он представил себе, как они вдвоем под удивленными взглядами прохожих шествуют по Мёрмейд авеню, и улыбнулся. Ничего, все великое всегда начинается с малого!

Но нужно было собираться, и мистер Робинсон приказал себе сосредоточиться. Он привычно намазался зеленой морилкой, надул свой лучший розовый круг в виде фламинго, надел его, глубоко вздохнул и, держа под мышкой пакет с хвостом для Кармен, вышел во двор. Как раз в этот момент я с ним и столкнулся. Но отчего-то почувствовал себя неловко и заторопился домой.

А дальше происходило вот что.

Рождество в том году оказалось бесснежным, но холодным. Ожидая Кармен у фонтана, мистер Робинсон невольно поежился. От остывших за ночь плит тянуло холодом, словно вонзавшим в его голые ноги в резиновых шлёпанцах острые иглы. Легкий ветерок поднимал волну в фонтане, попутно покрывая кожу мистера Робинсона пупырышками. Он закашлялся, и удивленное эхо, передразнивая его, заметалось по двору.

– Ничего, – подумал мистер Робинсон, – это всё ерунда! Главное – праздник. Сегодня – мой День! Нужно сосредоточиться на нем, а там и теплее станет!

– Э-э, мистер Робинсон, здрасьте, – услышал он у себя за спиной голос Кармен и обернулся.

Кармен была одета в толстую куртку на меху, теплые брюки и похожие на утюги зимние ботинки. На круглом лице застыла жалостливая гримаска.

– Я... это, – мямлила Кармен, стараясь не встречаться взглядом с мистером Робинсоном, – я тут подумала, ну, в самом деле, какие в

Рождество могут быть русалки, сейчас время Санта Клауса… Да и холодно очень. Вы бы, мистер Робинсон, тоже… Шли бы домой.

Мистер Робинсон смерил Кармен взглядом, улыбнулся и покачал головой. Отступать он не собирался.

– Иди уж тогда сама домой, Кармен, – сказал он и неторопливо вышел со двора. Его ждало такси. А Кармен, присев на краешек фонтана и потрясенно шевеля пухлыми губами, смотрела ему вслед.

На Кони-Айленде было еще холоднее, чем во дворе Дома. Морской ветер мел вдоль Сёрф авеню мелкий уличный мусор. По серому небу в том же направлении ползли низкие тучи. Из-за мерзкой погоды людей на тротуарах было немного. Да и они, ежась от холода, торопливо пробегали мимо опоясанного розовым фламинго мистера Робинсона. Но он всё равно упрямо шел вперед. Мистер Робинсон был совсем один, но чем дальше, тем меньше чувствовал холод, и тем легче ему было поверить, что сейчас лето и жаркое солнце, и что идет он впереди шумной толпы, а музыка заглушает грохот проносящегося над головой по эстакаде поезда метро. Это был его День, черт возьми!

Конечно, он понимал, что выглядит нелепо, но странное сладкое ощущение восторга не покидало его. И вспомнился ему вдруг заученный еще в католической школе стих:

Сын Божий пригвождён ко кресту;
я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться.
Сын Божий и умер;
это вполне вероятно, потому что это безумно.
Он погребён и воскрес;
это достоверно, потому что это невозможно…

Так и вижу мистера Робинсона, бредущего по улицам, заиндевевшего в своем нелепом фламинго, смешного и жалкого одновременно. Легко представить себе, что могло бы случиться дальше. Он бы, конечно, простудился, тяжело заболел, но, умирая на руках у Кармен, всё вспоминал бы тот одинокий парад. А потом, после смерти, попал бы в русалочий рай… И была бы это вполне рождественская история – на свой лад.

Но действительность оказалась совсем не такой.

– Мистер Робинсон! А-а, мистер Робинсон, погодите-ка! – пробился вдруг к нему чей-то знакомый голос.

Мистер Робинсон очнулся и увидел, что, раздеваясь на ходу, его догоняет Кармен. Вот она, запутавшись в брючине, чуть не упала, но удержалась и, нисколько не заботясь об оставленной на грязном тротуаре одежде, кинулась вперед. Ее огромные груди колыхались из стороны в сторону, грозя вывалиться из пестрого в цветочек лифчика, а мощные бедра тряслись в такт притоптывающим по асфальту утюжкам-ботинкам.

– А-а-а! – закричала Кармен, шагая вровень с мистером Робинсоном. – Хорошо-о-оу!

Мистер Робинсон протянул ей хвост. Кармен сноровисто приспособила его к трусам и заходила-заплясала под ей одной слышный горячий ритм. Несмотря на толщину, двигалась она удивительно пластично. Мистер Робинсон кивнул и пошел дальше, чуть подпрыгивая и покачивая бедрами. На устах его горела яркая, как солнечный день, улыбка.

Ближе к парку аттракционов народу стало больше. Ньюйоркцев трудно чем-нибудь удивить, но невысокий зеленый дяденька в розовом круге-фламинго и раскрасневшаяся огромная, танцующая на ходу полуголая пуэрториканка с блестящим рыбьим хвостом привлекали к себе внимание. Они шли в тишине, но зеваки вдруг услышали гремящую, раскаленную, как летний полдень, музыку, и даже почудилось им, что вслед за странной, не по сезону одетой парочкой идет большая шумная толпа. И под палящим солнцем сверкает русалочья чешуя…

А потом случилось и вовсе несусветное. Сидевший на асфальте попрошайка вдруг подскочил, содрал с себя грязный «худи» и рваные джинсы и, оставшись в затертых белых трусах, пританцовывая, подбежал к мистеру Робинсону и Кармен.

Но дальше… Дальше будто прорвало плотину. Те, кто еще минуту назад удивленно качали головами и крутили пальцами у виска, вдруг, словно охваченные заразным сумасшествием, стали торопливо раздеваться, бросая вещи на тротуар и присоединяться к шествию. Говорили даже, что продавец хот-догов бросил свою тележку на произвол судьбы и пошел с парадом. Позже никто из случайных участников этого шествия не мог объяснить, что же с ними со всеми произошло в тот День...

В общем, к тому месту на променаде Ригельмана, неподалеку от парка аттракционов, где обычно вручались призы и выбиралась королева парада, пришла огромная толпа практически раздетых мужчин и женщин. Приплясывая и выкрикивая что-то невнятное, они окружили мистера Робинсона. И тут солнечная улыбка погасла на его устах: он вдруг растерялся, не зная, что делать дальше. К тому же кто-то уже сообщил в полицию о таком вопиющем нарушении порядка – толпе полуголых людей, вероятно, членов какой-то секты, одним своим видом оскорблявших в этот праздничный день приличных граждан и налогоплательщиков.

С воем подкатили две полицейские машины, толпа замолкла и испугано подалась в сторону, оставив мистера Робинсона один на один с четырьмя полицейскими. Возможно, всё и обошлось бы, но тут к мистеру Робинсону присоединилась верная Кармен. Недолго думая, она набросилась на недоумевающих полицейских, требуя оставить мистера Робинсона в покое.

– Он ни в чем не виноват! – визжала она. – Не трогайте его, ублюдки вы эдакие!

Полицейским ничего не оставалось делать, как надеть на нее наручники и арестовать. Увидев, что двое полицейских, безжалостно сминая поролоновый хвост, с трудом пытаются затолкнуть сопротивлявшуюся Кармен в свою машину, мистер Робинсон опомнился и кинулся ей на выручку. Почему-то больше всего его оскорбило зрелище осыпавшихся на ботинки полицейских блесток с ее русалочьего хвоста.

– *Сын Божий пригвождён ко кресту; я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться,* – отчего-то закричал он, острыми кулачками толкая полицейского в грудь. – *Сын Божий и умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребён и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно!*

И его, и Кармен отвезли в полицейский участок. Кармен после ночи, проведенной в камере, судья отпустил, приняв во внимание то, что она женщина, мать и, наконец, латиноамериканка. Мистера Робинсона за организацию несанкционированного мероприятия и сопротивление аресту приговорили к штрафу в пятьсот долларов и двум неделям тюрьмы на Райкерс-Айленде.

В день, когда он освободился, пошел снег, было очень холодно. Но на остановке автобуса за воротами тюрьмы его встречала возглавляемая Кармен большая группа русалок обоих полов в ярких и не по сезону легких костюмах. Усыпанная с головы до ног снегом и блестками, Кармен высоко над головой держала надувного розового фламинго и, подпрыгивая от нетерпения, кричала то, что запомнила: «*Он погребён и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно!*»

В тот же самый вечер, когда молодой Ахматджон оказался в комнате у Риты, а мистера Робинсона выпустили из тюрьмы, в дверь нашей квартиры негромко постучали. На пороге стоял Михаил Максимилианович.

– Ну вот и всё, – устало произнес он. – Мое расследование наконец-то закончилось.

Он вытянул шею, заглядывая через мое плечо в квартиру. Из кухни слышался шум воды и позвякивание – жена мыла посуду после ужина.

– Надеюсь, вы можете уделить мне немного времени. Только… – Михаил Максимилианович еще раз глянул через мое плечо и понизил голос. – Только давайте не здесь. Я приглашаю вас принять участие в, так сказать, следственном эксперименте. Пойдемте во двор?

Я заколебался. В этот промозглый зимний вечер выходить наружу совсем не хотелось. Да еще и непонятно зачем. Но во взгляде Михаила Максимилиановича было нечто настолько требовательное и жалкое одновременно, что после секундной заминки я надел ботинки, взял теплую куртку и шагнул через порог.

– Хочу предупредить, – скучным официальным голосом заговорил Михаил Максимилианович, спускаясь за мной по лестнице, – как участник следственного эксперимента, вы обязаны точно и беспристрастно оценить предъявленные вам свидетельства и, делая выводы, руководствоваться фактами и только фактами.

Мы вышли во двор, уже покрытый белесыми снежными разводами. Я невольно поежился под порывом сырого ветра. Но Михаил Максимилианович довольно бесцеремонно подтолкнул меня вперед, к фонтану.

– Знаете, у психологов-криминалистов есть такой термин – «свидетельская ложь». Это когда свидетель преступления, сам того не желая, дает такие ответы на вопросы о том, что он видел, какие, по его мнению, от него ждут. Более того, в этот момент свидетель сам искренне верит, что всё случилось именно так, как он говорит. И опытный, но недобросовестный следователь всегда может это использовать в своих интересах.

Я вопросительно посмотрел на Михаила Максимилиановича, и он пояснил, что собирается провести следственный эксперимент, доказывающий полную невиновность Каина. Да, именно так! Михаил Максимилианович взмахнул руками, как дирижер, призывающий оркестрантов к вниманию. А на меня с новой силой нахлынуло ощущение нереальности происходящего.

– Вы только подумайте, что это может означать для всего человечества! – горячо воскликнул Михаил Максимилианович, и бдительное эхо тут же подтвердило его слова, разнеся их по пустому двору. – Вы ведь знаете, Авель-то потомства не оставил, то есть род человеческий произошел от Каина. И вот вопрос: может быть, все несчастья и несправедливости этого мира, все убийства и преступления – следствие нашей уверенности, что в нас течет кровь завистника и братоубийцы? Мы сами, сами убедили себя в этом!

Михаил Максимилианович, казалось, не чувствовал холода. Он сорвал с шеи старенький вязаный шарф и утер им разгоревшееся лицо.

– Конечно, прямых свидетельств для доказательной базы почти не осталось. Но у нас есть тексты, на которые можно опереться. Во-первых, и это самое главное, Бог спрашивает Каина о брате. Да, кровь убитого Авеля призывает к Нему, то есть, говоря современным языком, у Бога есть свидетельства потерпевшего, что его убили. Но при этом потерпевший почему-то не указывает на Каина как на своего убийцу. И еще. Я имею основания полагать, что настоящий смысл заданного Каину вопроса затерялся в многочисленных переводах. Подозреваю, что в оригинале Бог спрашивает не «где брат твой?», а «*с кем* брат твой?» Понимаете разницу?

Ведь Каин-то, он старший был, ему первородство принадлежало. А значит, приглядывать он должен был за младшим братом, наставлять его. Потому и скажет Каин, что не сторож он брату свое-

му. Только означает это совсем не то, что принято думать. Мучился Каин тем, что плохо сторожил он Авеля, то есть не уберег: никудышным оказался наставником братишке. В его ответе – раскаяние! А иначе это был бы невообразимо оскорбительный ответ Вседержителю.

Более того, Господь, зная, что в убийстве обвинят именно Каина, поставил ему метку, так называемую каинову печать.

И Господь сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Каин ушел от Господа и жил в земле Нод, к востоку от Эдема.

С чего бы Господу оберегать убийцу? Мало того, прапраправнук Каина Ламех говорит, что *если за Каина отомстится в семь раз, то за Ламеха в семьдесят семь…* О чем это может свидетельствовать, по-вашему?

Михаил Максимилианович помотал головой.

– Да, Каина не любили в семье, он был небогат – тогда не очень ценилось земледелие, – и братья и сестры относились к нему пренебрежительно. Кроме того, был он правдолюбом и совсем не умел льстить. Сказано же: *«Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него: гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет…»*

И еще, заметьте, никаких свидетельств того, как на убийство Авеля отреагировала семья, не осталось. Хотя, казалось бы, такое страшное событие, а тут – никто из родственников не проклял Каина, более того, вообще не поинтересовался, куда подевался Авель. Впрочем, последнее объяснимо: я уже говорил вам, что пастух Авель вечно шлялся где-то со своими стадами. Но всё равно: семья молчит, она вообще как будто старается остаться в тени, словно хочет, чтобы о ней забыли. Хотя Адам и Ева, по некоторым данным, прожили еще девятьсот лет. А теперь самое главное!..

Михаил Максимилианович разгорячился. Он стянул старенькое, еще советского пошива пальто, под которым была надета несвежая байковая фуфайка, и бросил его на бортик фонтана. Лицо его стало жестким, глаза жарко заблестели. Мне стало совсем не по себе.

– Кому было выгодно устранить Авеля? – жестяным голосом спросил Михаил Максимилианович, и я живо представил его в мундире в кабинете НКВД. Для полноты картины не хватало только направленной на меня лампы. Следом за этим я вспомнил, что Михаил Максимилианович серьезно болен, и искренне пожалел, что ввязался в эту авантюру.

– Отвечайте!

– Не знаю, – промямлил я. – То есть, если разобраться…

– Ну-ну, – заторопил меня Михаил Максимилианович, – давайте, выкладывайте, всё равно выясним!

В его тоне явственно звучала угроза. Он придвинул свое лицо

почти вплотную к моему, а острые глаза, казалось, пытались заглянуть в самую душу. Да что это со мной?..

– Вы знаете! Знаете! И лучше, если скажете сами. Ну?! – рявкнул Михаил Максимилианович. – Итак, кому могло быть выгодно убийство Авеля? Говори, сука!

Не буду скрывать, я перепугался до смерти. Физически я был, наверное, не слабее Михаила Максимилиановича, но его всё более очевидное сумасшествие словно парализовало мою волю. Кроме того, откуда-то из глубин подсознания поднялась вдруг и молнией ударила в мозг чья-то чужая память – о допросах с пристрастием, об отбитых почках и невозможности доказать свою невиновность…

– А-а, – просипел Михаил Максимилианович, – Гренада, Гренада, Гренада моя!..

Адам однажды уже был страшно наказан, но дело было не в нарушении Запрета, а в том, что, сорвав и вкусив плод, он послужил Другому. И никто яснее Адама не понимал страшную опасность нового греха. Адам твердо знал – не мог не знать! – то, о чем Каин только догадывался. Итак, спрашиваю в последний раз – кто убил Авеля, чтобы предотвратить еще одну катастрофу? Ну, отвечай!

Ощущение нереальности происходящего, то и дело посещавшее меня с момента приезда в Америку, вдруг превратилось в твердую уверенность. Так перед самым пробуждением, на грани сна и яви, понимаешь, что всё столь остро переживаемое тобой тебе только снится. И тут я вспомнил толстую усатую продавщицу из магазина красок, в котором когда-то работал.

– Альфа! – радостно воскликнул я. – Алеф! Адам! Это был Адам!

– А-а-а, во-от! – закричал Михаил Максимилианович. – Видишь?! Да, это было убийство, но совсем не братоубийство! Понимаешь теперь? Авеля нужно было остановить во что бы то ни стало, это была вынужденная мера. Вспомни, чуть позже, за поклонение Золотому Тельцу Моисей безжалостно вырезал десятки людей. И еще десятки за недонесение. И ничего, никто Моисею за это не попенял. А тут у нас та же статья, не расстрельная. Да и по совокупности срок давным-давно погашен!

Михаил Максимилианович гулко ударил себя в грудь и заявил, что не виноватые мы и, значит, Армагеддон отменяется за ненадобностью.

– Приказываю, – голос его стал суровым и торжественным, как у командующего парадом, – осужденных освободить из-под стражи немедленно, прямо в зале суда! Мы пойдем другим путем!

Я вдруг поверил Михаилу Максимилиановичу. Поверил, хотя и продолжал считать его психом. В его лице было столько яростного восторга, столько надежды и уверенности в своей правоте, что мне вдруг всерьез показалось, будто сама Земля приостановила свое вечное кружение и задумалась о том, куда же ей теперь податься…

В этот самый момент пустынный двор огласился криками, и из подворотни повалили пляшущие фантастические существа – не то люди, не то рыбы, – под предводительством зеленого, опоясанного розовым фламинго человечка. Полуголые, они смотрелись на заснеженном дворе дико и нелепо. Эхо замерло было от удивления, но тут же спохватилось и смешалось с толпой, подбрасывая ее крики высоко в лиловое, исчерканное снежинками небо.

Михаил Максимилианович на секунду растерянно замялся, но тут же закивал головой, рассмеялся, бросился вперед и тут же затерялся среди фантасмагорических фигур, выделывающих самые невероятные па. А из окон начали высовываться привлеченные необычным шумом любопытствующие соседи.

– Да что же это? – мелькнуло у меня в голове. – Такого просто быть не может!

В эту минуту отворилась дверь одного из подъездов, и во двор с криком выбежала миссис Мортенсон в девичьей ночной рубашке из плотной ткани. Лицо ее выражало такое отчаяние, что я даже не сразу обратил внимание на ее одежду. А прямо следом за ней выскочил молодой Ахматджон без очков.

– Нет! – кричала миссис Мортенсон, воздевая руки к небу. – Нет! Я грешница, я совершила ужасное преступление!

Увидев танцующих, миссис Мортенсон остолбенела, отчаяние на ее лице сменилось растерянностью. Тут ее догнал молодой Ахматджон.

– Я люблю тебя! – закричал он так громко, что танцующие русалки замерли.

– Нет! Ты любишь Риту! – еще громче закричала миссис Мортенсон, и эхо жалостливо прилегло на ее плечо. – Я подло воспользовалась твоей наивностью и близорукостью!

– Я знал, что это была ты, – тихо сказал молодой Ахматджон, и русалки, чтобы расслышать, придвинулись поближе, – я понял это с самого начала. И это очень хорошо, потому что сам я никогда бы не решился…

– Что? – еще тише переспросила миссис Мортенсон, и русалки подошли совсем близко. – Нет, такого быть не может.

– Может, – сказал молодой Ахматджон и взял миссис Мортенсон за руку.

Сценка эта была очень похожа на эпизод из столь любимых миссис Мортенсон дешевых романов. Но удивительное дело: все невольные свидетели, даже застывшая столбом в своем окне приземленная мадам Бобкович, сразу же поняли, что это правда, что это – настоящее…

Вдруг откуда-то из другого конца двора отвлекшееся было эхо принесло странный булькающий звук. И следом за ним подпрыгнула и покатилась в сторону замершей толпы тяжелая чугунная крышка канализационного люка. Почти одновременно хлопнула дверь дальне-

го подъезда, и во двор с разводным ключом в руке выскочил дядя Сэм.

– А-а-а, черт! – кричал он, не обращая ни на кого внимание. – Трубы, мать их, засорились! Канализационные!!! Эх, говорил же я хозяину, сто раз предупреждал! А он всё отмахивался. Вот и доотмахивался!

Дядя Сэм стремглав кинулся к открытому канализационному люку, в котором, выплескиваясь через край, угрожающе бурлило темное месиво.

– Ну теперь спасайся кто может, дерьмом всё по самые окна зальет! – завопил он еще громче.

А потом, оглянувшись на толпу, обреченно добавил:

– Пока ремонтники приедут, пока то да сё, с этим говенным потопом один я должен бороться. Не хочется, но – долг службы.

И дядя Сэм героически шагнул к бьющему из люка небольшому гейзеру, от которого в ужасе отпрянуло брезгливое эхо. Толпа тоже попятилась. Дядя Сэм подошел поближе, пригляделся, и в прерываемой только бульканьем тишине вдруг рассмеялся.

– Не-е, это не канализационные трубы! Это просто вода! Чистая, водопроводная! Теперь каток будет вместо двора, понимаешь, нет! Ну ничего, глядишь, и на этот раз спасемся от потопа, – он мельком окинул взглядом русалок, морских коньков, ведьм и прочих чудищ и хохотнул еще громче. – Не, ну у нас тут точно как в Ковчеге, каждой твари по паре!..

И засучив рукава, дядя Сэм деловито ступил в разливавшуюся по двору воду.

Застывшая было на месте Земля почесала в затылке и, что уж там, снова двинулась нарезать привычные круги. Можно было жить дальше.

Я поднял голову к своему окну и увидел улыбавшуюся жену.

– Куртку-то застегни, охламон, – ласково закричала она мне. – Холодно, а тебе только простудиться и не хватало!

Да, действительно, простуда была бы лишней. Ведь завтра рано утром мне на работу. Я помахал жене рукой и пошел домой.

Нью-Йорк, сентябрь 2024 г.

Автор благодарит за помощь и поддержку жену Наталью Бернадскую, а также Стеллу Томарченко, Полину Брейтер и Геннадия Вербовецкого.

Александр Немировский

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Бойся суббот.
Но еще больше бойся дней
праздничных.
К себе соберет
самых значимых
из твоей жизни. Ему видней.
Кто уйдет быстро, упадя навзничь,
а кто по долгой болезни.
Сам останешься лишь с неважными,
с теми, кого по будням
забирать будут.
А как научишься и их любить,
так разверзнется опять страшное
и опять почнёт из тебя боль лепить,
что получится.

И повторятся круги эти много раз.
А в конце пойдешь один, без попутчика,
по трущобам
памяти, как рыцарь смелый.
Не выдержишь, побежишь, но не найдешь пауз
для отдыха –
на пути лишь мытарства.
А спросишь: «Зачем так отпущено?»
Пошлет тебе ответ в день праздничный, светлый.
Полыхнёт.
Но принять его уже не достанет мудрости.

О ЛЮБВИ

Пусты слова. Волна и пляж,
где ты из пены
сотворена.
Где солнце пляшет,
что едва хватает платья
прикрыть колени.
Где плети ветра, оторвав
от звуков эхо,

Меняют смысл твоих речей
на тень от смеха.
Здесь цвета патины
вода и привкус соли,
там, где прореха
у плечей
в твоей рубашке.
Уж сколько
лет не понарошку пробежало,
а ты всё терпишь мою убогость,
а ты всё веришь цветам бумажным.

Мы сложим горсть
мою в твою, как в точку счастья.
Пусть плоскость
моря повздыхает про отлив от суши быта.
Дрожало
время, понапрасну распадаясь
в лучах созвездий.
Мы переждем – одной волной с тобой умыты.
Я стану грязью,
чтоб опять
по воле бога,
не зная слов, тебя обнять –
ты пахнешь сыном.
О, как легко всё оставлять, когда дорога
ведет на свет,
чтоб зашагать, расправив спину.

К чему слова? Пора молчать,
читая мысли.
Ведь кто чья часть –
не разобрать, да и не надо.
Седьмая держится печать
на дверце ада –
два человека, но всего одна из истин.

* * *

Бахыту Кенжееву

Ну и как нам теперь выпивать, балагурить, смеяться
по разные стороны этой вселенной?
Эти плотские радости, тебе они снятся,
а мне больше беседовать не с кем.

Да, я опять пролистаю томик,
многое знаю почти на память.
То, что трогало, теперь по-другому,
а комок
в горле затыкает дыхание, давит сухо,
и опять
невозможно продолжить по миру,
в котором дыры
нарастают рыбака сеткой.
Я запутан в смерти, я шевелю строка́ми,
и мои хрипы
застывают плавниками
наших редких
встреч. Твоя «двушка» в Сохо
когда-то,
с шумом лифта на лестничной клетке,
жарко́е из «мор-гадов»
и те стихи, что подарил, стесняясь версии самиздата,
мол, не пристало большому поэту.
А в глазах свет и в руках дружба –
в краткое, последнее лето,
по которому война болью брызжет.
Ты там, откуда не отмотать обратно.
И ты здесь, где ты нужен –
строкою, памятью, плечом, многократным
эхом пустоты моей жизни.

июль 24

ВЕРШИНА

Я вернусь на вершину,
где снег отражает тепло от палящего солнца,
где в кратере время решило
свернуться в кольцо
вертикали обрыва.
Где мы были живы,
движеньем сгущая пространство,
чтоб швы наших жизней стянули века
и мгновения вместе.
Расшиты лучами, распластаны
вширь облака
под ногой в остановленном шаге.
Прошедшего вести,
печали собой закрывает раскрой этой ткани.

По тени от камня
скользит моя тень, как перо по бумаге,
и пишет, что зло и несчастье
далéко внизу,
и покуда не надо туда торопиться.

Я вернусь на вершину.
Сегодня вернусь на вершину,
где птицам –
не место. Где в грозу
навсегда замерзают с улыбкой
досады.
То, что не дошли мы,
взывает разлукой с любимой,
горчит, оставляя осадок.

Наст хрустит
на морозе под стальною подошвой ботинка.
Взорвавшийся снег бесконтрольно песчинками
катится в пропасть.
Простив
человеку желанье,
гора открывается полностью.
Шоколадный
рассвет, растворяя звезду
над громадой наклонной границы,
проявляет картинку.

Непогоду раздув,
ветер стих без причины.
Затишье случайное длится.
Подарок и приз –
света луч. Он срывает личины
с событий. Они катятся вниз.
Не забыть бы спуститься.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Утро. Тротуар. Перекресток.
Блондинка. Кепочка.
Из-под нее волосы. Разбросаны,
спускаются вдоль тонкой шеи
на плечи.
Далее, облегающая грудь футболка,

талия, открытые стройные ножки,
спортивные шорты в обтяжку.
Она бежит вдоль проволоки
заборчика вокруг стройки.
За заборчиком трактор.
Возможно,
углубляет траншею.
Роет. Вдруг замер.
Тракторист увидал внешний фактор.
Вздохнул тяжко.
Струйки
воды из лопнувшей трубы потянулись по асфальту.
Ковш застыл в воздухе.
Девушка огибает угол. Поют ляжки.
А течь разливается
всё больше. Посуху
уже никак. Она удлиняет шаг,
нога проскальзывает. Шмяк.
Нет – шлёп. Удержалась.
Грациозная рука на заборе.
Но секция под ее весом вдруг прогнулась.
Всплеск. –
Не верь опоре.
Повело.
Вода заливает площадь.
Рванулась,
зацепилась футболкой. Треск
нейлона.
Тракторист выскочил из кабины на помощь.
Судьба во взоре.

ИСААК

Я потерял тебя и боль непоправимей пустоты.
Да, дни мои заполнили заботы,
свершенья дел, сплетенье тел
в награде пота.
Лишь луч не разрывает темноты.
Просты
слова потерянного смысла.
У них бессилен звук.
Рука с ножом в сомнении повисла.
Гляжу, но нету агнца вокруг.

Я потерял себя. Вина моя, твоя ли воля?
Мой плуг
смятений роет до крови́.
Но как мне врать?
Раскрой, что ни когда не перешить,
порви
на доли.
Не страшно, что с виною надо жить,
а страшно то, что с нею умирать.

YAHRTZEIT

Папе

Вот уж год, как тебя не стало.
Не зарастает дыра. Непрестанно
ноет, и вина моя никуда не делась,
а любовь не утратила остроты.
Твое тело
ушло, но руки помнят наши объятия,
уши – голос,
и ничто не претит
чувству, что ты просто вышел и скоро вернешься.
Восприятие
времени изменилось.
Оно поменяло масштаб и фокус.
И, возможно,
встало,
или просто минуты сжались, увеличив скорость,
в результате чего их теперь так мало.

Кислое
выражение лица –
всегда результат спешки.
Смех требует не торопиться.
Ты это умел.
А я вот бегу, в предчувствии неизбежного конца,
только вешки
результатов далеки́ от того, что я хотел.
Внешне
не устаю бодриться,
но внутри
мне жаль потери любви
в ее абсолютной форме.

Утешение в детях,
в которых проглядывают твои
черты,
так что кроме
нас с тобой, кроме моей пустоты,
есть кому лупить
в ладоши от радости, когда солнце светит.

ВОЗРАСТ ВЕСНЫ

Количество грусти давно измерено в рюмках.
Пора продвигаться дальше,
в горные городки,
говорящие
августом, горьким элем
с придыханием мачтовых сосен, елей,
с запахом реки
в шлюпках,
болтающихся у причала.

Пора начинать сначала.
С ресторанчика с видом на марину,
где местные, пара звезд,
под настоящими делают джаз,
безжалостно разрывая спину
виолончели. Час
после заката. Многопородный пес
изучает помойку в надежде
на еду с краю, у тротуара.
Фемина в разрывах сатина,
в тонкой,
шевелящей глаза, одежде,
походкой
завоевателя плывет к стойке бара.
Трубач застрял на высокой ноте.
Зачем всё это?
Крик зверей, свара
енотов,
не поделивших еду с собакой,
крошки
сладкого,
застывшие в пятнах пены
на деревяшке
стола. Колени,
ножки,
текущие с высоты барного стула.

Запить печаль. Сплюнуть,
начать с продолжения.
Сбросить возраст с плечей,
встать, надвинуть кепочку,
пройти сквозь стены
и, лишенному притяжения,
слушать звяканье
поставленных с кряканьем
стаканов, разговор без конца
на избитые темы,
трубу и виолончель,
и вспоминать будущее – девочку,
так и не повернувшую ко мне лица.

Каринэ Арутюнова

Прощание с Кабуром*

ТЯЖЕСТЬ РЕК УНОСЯТ ОБЛАКА[1]

Болит, говорит, болит.
Дверь нараспашку, только зола
Сквозь пальцы струится уходит течет.
Песочным дождем забит дымоход
Держись, говорю, хватайся, дыши,
За спину, за шею, хребет, позвонки.
Беги, говорю, беги.
Не хочу, говорит, лучше иди,
Всё равно не уйти, лучше здесь, чем там,
Лучше так, чем там.
Беги, говорит, – ноша станет чужой,
Посмотри, говорит, я нага и боса,
Я живу, я дышу, чего же еще.
Это смерч, тайфун, вселенская дрожь.
Уносит тебя, уносит их, чужих, старых, младых,
Обернись – видишь, там, вдали, всё черным-черно.
Там одни кресты. Там погосты, дороги, свадьбы, мосты.
А под ними – река, широка, глубока,
Над рекою – дом.
Всё, как прежде в нем.
Все за длинным столом. А за окнами – сад.
А за окнами – синь.
Я останусь здесь.
Я останусь с ним.
Да и кто мы там? Придорожная пыль.
Полевой сорняк.
Ты иди, говорит. Лучше я вот так.
Вот же бабья дурь, всё талдычат одно,
Про любовь, про сны… Всё давно ушло.
Знаю, знаю, молчи, просто руку мне дай.
Просто молча ступай.
Брось узлы, баулы, стены, столы,
Все давно ушли. Всё равно не догнать.
Хоть бегом беги, хоть ползи, хоть вой.
Видишь, в зарослях вьется вьюнок голубой.

---

* Город во Франции; Бальбек – в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени».

Видишь, там, вдали, за рекой, огни.
А у ней лицо пузырем, волдырем.
Лучше лягу здесь, я и так одна.
Разве дело в снах? Я давно в них живу.
Там сочна трава, там вода мягка.
Слышишь, колокола...
Не по нам ли звонят, не по нам ли гудят?
Я стара, говорит, для свадьбы стара.
А вот этот дёрн, с травою, с песком,
Он мне в самый раз. Он мне в самый рост.
От макушки до пят. Вот и рот забит.
Что ж меня знобит.
Что ж меня знобит.
Обещай, что в горсти унесешь этот стол,
Эту пыль с дождем, этот чернозём,
Эту топкую зыбь, непролазную грязь.
Молока из-под рыжей кобылы хлебни,
Рядом ложись, просто усни.
Вот и плод, погляди,
Всё кричит и кричит
Так страшна и темна его голова.
Новорожденного завернуть в лопухи,
Пусть темно и безвидно, а все же – свои.
Погорельцы, подайте, впустите в дом.
Мы полати застелем душным ковром,
Коричневым ворсом забьем небосвод.
Там, вдали, одинокой звезды послед.
За лесом бежит чужая река,
В ней вода тяжела, в ней плывут облака.

2008–2009

1. Строка из стихотворения Ури Цви Гринберга

МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ВЫЧТЕНА ЖИЗНЬ

Мне страшно войти в опустевший город,
Обнаружив собственное небытие.
А также понять, что отсутствие –
Это всего лишь место, из которого вычтена жизнь.
Капля по капле, день за днем,
Ночь за ночью.

Мне страшно оказаться меж стен,
Которые не защитят.

Мне страшно оказаться меж теми,
Кто никогда не вспомнит
имя моего отца.
Я воскрешаю отца, произнося его имя.
Я воскрешаю жизнь,
Касаясь того, что уходит.
Мне страшно лишиться последнего.
Свидетелей и свидетельств.
Я увожу с собой всё, чем владею.
Мой самый надежный вклад.
Он не требует места в багаже.
Не занимает места в чужих домах.
Когда это необходимо,
я раскладываю его в любом месте.
Случайный ракурс становится пристанищем моего взгляда.
Тот самый вид из окна,
Которым принято восторгаться,
Он столь же случаен, как место,
в котором я родилась.
Случайное стечение обстоятельств.
Войны, погромы, покорение космоса, падение метеорита.
Во всем этом, несомненно, отводится место любви.
Любовь это достаточно веское основание,
чтобы родиться в том или ином месте.
Правее или левее.
Западней или восточней.
Возненавидеть либо возлюбить.
Бежать или оставаться.
Покидать либо возвращаться.

Чтобы возделывать сад,
нужна всего только малость.
Уверенность в том, что плод,
созревающий к осени, будет взвешен.
Есть слово такое...
«Лелеем».
То есть, возлюблен.
Проживая отсутствие,
Становлюсь объектом забвения...
Забвения? Нет, забытья.
Отбытия.
Засыпая, вспомнить о том,
Что всякая жизнь, скорей, исключенье из правил.
В том мире, в котором смерть перестала быть потрясением.

Июнь 2024

Я ЛЕЖУ НА ЗЕМЛЕ

Сядь, мой хороший, я расскажу тебе сказку.
Впрочем, не то что бы сказку.
Утро, праздник Суккот[1] (по-нашему, Кущей).
Вечером мне позвонила знакомая,
Ну, знаешь, та самая, из матнаса[2].
А я позвонила Оле, она с Украины,
Хорошая женщина Оля, дай Бог ей здоровья.
В общем, мы дружим.
Ходим в бассейн иногда (на иврите – бреха),
Нянчим внуков, отгадываем шарады. Учим иврит.
«Ани, говорит, смеха!»[3]
И смеется. Ямочки на щеках.

Завтра, сказала мне Рая, будут все наши, –
Оля, Римма, Полина.
Нечего дома сидеть,
Мертвое море неповторимо.
Кроме того, движение – это жизнь.
Пока ты стремишься, ты жив.

В панамках (на Мертвом море адово пекло),
В сумочках крем от загара, расческа,
Бутылка воды, конечно же, телефон,
В нем снимки, – дочери, внука в детском саду.
А здесь, не поверишь, я молодая, в таком-то году.
В таком-то году я еще не старуха, не хворост, не пыль.
Сядь, мой хороший,
Я расскажу тебе быль.

В дороге (ты уже в курсе) лопнуло колесо.
Оля, Полина, Римма.
Рая погибла первой.
В руке телефон.
Босоножки, купила недавно по скидке.
Сумочка, как обычно,
Собрана с вечера.
Салфетки, валокордин...
Орешки, бутылка воды.

Думаю, это был сон.
Утро. Праздник Суккот (по нашему, Кущей).
Тишина.
Тени филистимлян,
точно коршуны, кружат.

Я лежу на земле,
косы мои в пыли.
Рядом женщина из украинского городка.
Кажется, Оля...
Она учила иврит.

Старухи еврейские,
Точно сухие ветви,
вдоль дороги лежат.
Адово пекло. Шабат.
Мертвое море необозримо.

октябрь 2023

1. Сукко́т или Праздник кущей, также Праздник собирания плодов – один из основных танахических еврейских праздников, начинается 15-го числа месяца тишрей (осенью) и продолжается семь дней. Речь идет о первых жертвах 7 октября 2023 года: по дороге на Мертвое море террористами был расстрелян экскурсионный автобус с пенсионерами.
2. матнас – клуб, местный дом культуры (*ивр*.)
3. я рада, счастлива (*ивр*.)

СЛОВО ПРОДОЛЬНО, КАК БОЛЬ

«Дивись»[1], говорит, «дивись».
Как устремленные ввысь
Деревья плывут за окном.
Жизнь обещает быть долгой.
Дивись.
Я и дивлюсь.
Свету и тени.

Каждому мигу дивлюсь.
Будто молюсь.
На языке, прорастающем
на крови – Аствац[2], Элоhим ишмор[3].
Из каждой поры и капли – иди и смотри.
Вот алеф. Вот бет.
Видишь, скрижали эти истекают кровью.
Вот и слово «террор».
Так язык, обретая смысл, угасает во мне.
Я выталкиваю, хрипя,
глаголов поток. Низверженье основ.
Извержение слов.
Я умираю. Иссякаю с каждым мгновеньем.
Было «насквозь». Стало «скрізь»[4].
Было «вдаль». Стало вдоль.
Слово продольно,
Как боль.

Синева, ослепительная до слез.
Дивись, говорит, дивись,
как реки, луга, небеса заполняют тебя,
будто сосуд.
Если любить, то, конечно же, «скрізь»,
Звонкоголосо пение птичье.
Многоголоса, сквозь слово «марор»[5],
И сладкозвучна жизнь.

31.05.2023, Киев – Варшава

1. Дивись – смотри (*укр.)*
2. Аствац – Бог, Боже (*арм*.)
3. Элоһим ишмор – Боже сохрани (*иврит*)
4. Скрізь – всюду, везде (*укр*.)
5. Марор – горько, горькое (*иврит*)

ПРОЩАНИЕ С КАБУРОМ

В давние времена
Мы говорили о Прусте,
О быстротечности жизни.
О ее долготе.
О подробности.
Мир тишины,
Прописанный густо,
требовал времени.
Что сказать?
Мы внимали.
Под сенью цветущих дерев
Длились и множились тени.
Благоухали сады.
Жизнь, можно сказать, воплотилась.
Как будто сбылась.

Воспевая достоинства света,
Мы упустили тень.
Мы ее потеряли.
Вместе с ней
Медовую тяжесть яшмы.
Пчелиную вязкость сот.
Синий, столь безутешный,
Густеющих сумерек звон.

Вот он, заброшенный сад.
Прибежище для гурмана.
Мы так долго его искали...

Говорят, он пропал.
Растворился, исчез.
Что же осталось?
Ресторанчик в цвету.
Пять мишленовских звезд.

Список потерь.
Нынешних и грядущих.
Сводки с полей.
Белый, безжизненный свет.

Помнишь Кабур?
Густая, как мирра, тень
Растекалась в траве.
Неспешно рождался день
Под пресловутой сенью.
Медный гул вдалеке,
Белых цветов знаменье.

Очнувшись от долгого сна,
мы плакали,
Точно дети.
Мы плакали,
грезя о тени.
Но беспощадный, разящий,
белый
Нас настигал.

28.07.2024

РОЖДЕННЫЕ В МАЕ

Мы с тобой никуда не бежали.
Мы купили фужеры к свадьбе.
А на стену вышитый коврик.
За окном то каштан, то липа.
А она уже настигала.
А она уже была близко.
Погоняла, дышала смрадом,
Загоняла в окоп, в поле.
Погоняла штыком и прикладом.
Но мы никуда не бежали.
Мы просто лежали рядом.
Мы просто друг друга любили.
Мы их сами вам подносили.
Мы их сами вам отдавали.

Как мы глупые не понимали.
Мы их сами к вам приводили.
Вон к тому жирнозадому.
Вон к тому бесталанному.
Вон к тому рыбьеглазому.
Вон к тому вялорукому.
Вон к тому вороватому.
Это был урожайный на мальчиков.
Это был урожайный, каштановый,
Год такой-то, записан так-то.
Месяц майский шумел деревьями.
Месяц майский смеялся звонко.
Месяц майский, в травах высоких
Колыбели качались детские.
Там фужеры звенели хрустальные.
Там играли майские свадьбы.
Там кричали «горько» и плакали.
А на стенах пылились коврики.
А в комодах лежало приданое.
А в оврагах рыдали скрипки.
А в окопах лежали дети.
Мы их сами вам приносили.
Мы их сами вам отдавали.
Помнишь, как мы тогда любили,
Как под сердцем вдруг оживало.
Как тянуло и как дышало.
Как сирень за окнами пела.
Как трамваи звенели, и реки
Как текли, и как утекали...
Мы с тобой никуда не бежали.
Мы на стену купили коврик.
Там осоки, а там каштаны...
Там сирены кричат и стонут,
Точно дети, рождённые в мае.

11.05.2024

ЭТА ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Эта летняя ночь,
Эта нежная
августовская
Ночь
Вновь стала ночью убийства.
Кто-то захлопывает форточку,
Кто-то пишет «Боже спаси и сохрани».

Кто-то молчит,
Потому что все слова сказаны.
Всё давно названо.
У всего есть имя,
у всякой вещи
Под солнцем,
Но это имя забыто.
Кто-то сидит у стены,
Полагаясь на ее надежность.
Я слышу, как где-то вдали,
(На самом деле,
возле моего дома)...
Взрывы.
Я слышу адскую машину,
Поставляющую смерть.
В тот дом пришло горе.
В тот дом пришло горе.
Никто не знает имен.
В этой стране горе безымянно
И бесперебойно.

Я открываю окна,
Вдыхая горьковатый утренний воздух.
В нем роскошь уходящего лета.
В нем близость обступающего
Горя.
Оно наступает, огибая сады,
Касаясь каштановых крон.
Этот воздух такой горький,
Этот воздух такой густой,
В нем не слышен плач ребенка
За тысячу километров отсюда.
В нем не слышен плач ребенка.
Ни его матери, ни отца.
У них нет имен.
Ни окон, ни стен.
Только яркая вспышка,
И эти слова,
Смилуйся, Боже.
Боже, спаси и сохрани.
Но Боже не слышит.
Его давно нет.

2024, август

Янислав Вольфсон

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

заканчивается пластинка
и звук
вдыхается и выдыхается так тихо
как «у» в соприкасании двух рук

игла сползает как в воронку
торнадо ли тюремной раковины слив
непойманная как воровка
в толпе в водовороте слабых сих

шумов и от нее бежит пластинка
и скорость всё быстрей
и как писклявый лилипут в чужих ботинках
нашептывает прейскурант скорбей

какая черная досталась нам пластинка
пробил ее последний час
орфей на ней то автора зовет то эвридику
но трубный глас

невнятен доигравшимся до занавеса
в беде стоящим по кадык
нанизывая стоны заживо
на острие иглы

пока душа на дне каньона
и не замрет от истощенья сил
и не взлетит невидимой рукой влекома
в космический иерусалим

* * *

спал
и вдруг
стало плохо
дышать

сразу вскочил
разбудил жену

как не хочется
умирать

огненную
сглотнул
слюну

сына
мыслями
разбудил

под простой
работой
светил
через поле
пошел
к отцу

постучал в ночное стекло

как
не хочется
умирать

по лопатке тепло стекло

чуть тошнит
и стучат
часы

озираться
в лесу лежать

свое полушарие разбудил
как не хочется умирать

нет никаких совершенно сил
висеть за ребро на крюке тоски

в форсунке страха себя сжигать
как не хочется умирать

торопись же
пока живой
как не хочется
Боже мой

1979

* * *

Сон в ночь на вторник.
Приходит дворник
и возвещает:
в переулке революция,
отменена конституция
но вас я прощаю.

С вас взятки гладки.
Собирайте манатки.
Плетитесь с опаской.
По Малой Спасской.

Здесь такое начнется,
Исус задохнется,
да не станет мешаться,
может статься.

Куда ж нам деться?
Здесь наше детство,
иконы, законы,
законные жены.

Нету ответу, молчит угрюмо,
да в том ли дело.
Да и мы не готовы, думаем думу,
потеет тело.

Идем переулком,
выходим к дали.
А где-то нет ли,
чтоб не качались
над головами
пустые петли.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИСНИВШИЕСЯ СТИХИ

спал у соседей на раскладушке
из дому выгнал пианый сын
он пианист

проснулся но не встал
дал остыть мозгам
потом вскочил

за стенкой звук которым
резак режет фотобумагу
в, ж, и, к, в, ж, и, к

троим всё это предстоит
нам об этом говорит
резинка от волос

от косички чтоб торчала
от хвостика и того веселей
черная аптекарская резинка

она под ноги нам летит
и доказательно лежит
что это вряд ли сон

вот раздается первый вжик
и первый звук в какой-то миг
похож на пук

но видно слаб размах ножа
или рука дрожа дрожа
у телоча

и повторяя этот вжик
он превращает его в жик
и просто в ик

и к нам резинка в ноги мчит
и вот что видно он молчит
тот что готов

а вот и ветреный второй
но только с третьего захода
теперь попробуй скрой

а третий с шеей петушиной
как будто тухлое яйцо
такой же звук машинный

дрожит перо на бумаге
скача на сломанной ноге
кричит шерчит быстрей

вот три резинки у меня
смотрю на это среди бела дня
я еврей

1983

* * *

ходишь как по дну аквариума
но аквариум пустой
и ему пауза подарена
перекур или простой

удочка с магнитом маленьким
ты как гупия лежишь
пластмассой детской послесталинской
во рту кусок металла лишь

голову задрав рассматривать
как петля пошла искать
шею тонкую да здравствует
бесконечный результат

глубоководной бойся улочки
там шатаются без слов
дирижерской бойся удочки
выловят и был таков

быстро кончилось бедняцкое
детство в райском сне дневном
вышвыривая нас не цацкаясь
прямо на сухое дно

не вода а так неведенье
с металлическим в зубах
сняв исподнее последнее
страхом страшное поправ

* * *

двери взяли и сомкнулись как в метро
поезд ход набрал
нутрия грызет мое нутро
каждый нерв нарвал

доедаем черной соли пуд
над свечой ладонь
подержать уже совсем не труд
но не вой не вой

на свалилось и заволокло
свет во времени увяз

через выставленное стекло
виден дождь и вяз

точка покрывает эту ру
и за нею лит
и не видно кто скитается вокруг
и земная ось скулит

* * *

и дараданит дождь
одним и тем же «до»
и шепелявит ливень
и заливает ель
сдавайся руки вверх
чтобы тебя забыли
уже не важно где
почти не важно кто

Владислав Китик

«Под звездою завещанной...»

* * *

Угловатые контуры крыш,
Предрассветных огней многоточья,
Дальше – мыслящий бурый камыш,
Степь и трав перемёрзшие клочья.

Ни додумать, ни дать, ни отнять, –
Край судьбы: ближе нет и не надо.
Отвыкаю его понимать,
Привыкаю к ненастью распада.

Обезбашенный ветер, кружа,
Превращает дорогу в мытарства, –
Так незримо проходит межа
Между родиной и государством.

Брови пашен в черту сведены,
Не меняя акценты местами
На суровой холстине страны,
Беспощадно расшитой крестами.

* * *

Вышел сеятель сеять.
Лука, 8:5

Терпению Творца предела нет,
Снопу его надежд, пронзивших время.
Лишь потеплеет по весне, чуть свет
Вновь сеятель выходит бросить семя.

Всё так же значим перечень сухой
Соединенных в притчу аллегорий:
Одно зерно загублено травой,
И птичьим кормом сделалось другое,

Упало третье на проезжий шлях,
Где грубо в пыль его втоптали кони, –

Так и не удалось ему в степях
Сплести с дородным черноземом корни.

И к зернам слов не чуток род людской,
Меняя только кушанья и платья.
И сеятель, поднявшись над тоской,
Глядит, что нет ему лицеприятья.

Он может всё: бесплодно ждать. И – ждет.
Он стынет – и себя надеждой греет,
Что брошенное семя прорастет.
Наполнит горсть и снова сеет, сеет.

Мы это чувство вечностью зовем.
А он – любовью. Потому простится
Неурожай. И снова грянет гром,
И будет повод, чтоб перекреститься.

* * *

Всё есть – как есть, не сетуй потому
На холода, на то, что мало денег,
На то, что был тяжелым понедельник
И полусвет похож на полутьму,

Что миг ловил, а потерял года.
Что есть – то есть, но заштормило – круто.
Ты ни себе, тем более кому-то,
Не жалуйся на это никогда.

Молчи, но жизнь за речь благодаря,
Скажи, но так, чтоб за слова ручаться.
Будь прав, но не по правилам, а счастье
Испытывай, как море – якоря.

* * *

Прибой следы стирает мокрым ластиком,
Простилась капля с поднятым веслом.
Взлетела чайка, поразила пластикой
И прошлое отрезала крылом

С его тревогой дымной и бессонницей,
С желаньем жадным всё забыть, когда
Из моря пьет обугленное солнце
И тонет, как горящие суда.

Ослеп маяк, фарватеры заилены,
Ночь копошится в страхе и золе.
Ломоть отрезан. Это ли просили мы?
Но кровь зари засохла на крыле,

На режущем. А там, за красной линией?
Что не исчезло, то вернется впредь.
Там время, как патрон в стволе, заклинило,
Здесь оглянуться – как окаменеть.

Знак белой птицы… Уберечь хотела ли?
Забвенье тоже требует труда.
Спасибо, чайка, что могла, то сделала,
Не возвращайся только никогда.

ДОРОЖНОЕ

И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый…
А. С. Пушкин, «Приметы»

И у дороги есть две стороны.
Нет в мире постоянства, он – подвижен,
Неясно только, станем ли мы ближе,
Преодолев дистанции и сны.
Я месяц справа добрым знаком вижу.

Всё совместил простор в одном лице:
Прозрачен звонкий холод на крыльце,
Проплыл колодец с журавлиным скрипом,
Едва проникнусь шорохами липы,
Мне Царскосельский чудится лицей,

Пера полет гусиный, храп коней,
И пунш, и долгий путь с игрой теней,
Когда души прекрасные порывы
То, что неясно, делают ясней
Под легкий хруст зимы солнцелюбивой.

* * *

Под звездою завещанной, ветхой,
Где отечество степью лежит,
Дней грядущих не видя сквозь веки,
И на мертвой крови ворожит,

Там душа моя бродит, как солод,
Различая в скупой полутьме
Бренность плевел и внутренний голод,
Как зачин в девяностом псалме.

Я и так очевидец счастливый
Дней, когда, раздвигая туман,
Крестным ходом спускаются ивы,
Заходя по колени в лиман.

Я и так обдарован доверьем
Белизною помазанных стен
Со светящейся щелкой под дверью,
Приоткрытой в вечернюю степь.

Здесь отмолено вдоволь печали,
Чтоб откликнуться мудростью в нас.
Просветлит ли неполотой дали
Золотящийся иконостас?

БЫЛ ФЛОТ…

Я список кораблей…
О. Мандельштам

В свой рейс последний черноморские суда
Ушли. За бортом – стиксова вода.
Смолк телеграф. Рассеялся дымок,
Сигнальные огни еще глядят мне в спину.
Я список кораблей прочел до середины
И отложил, и далее – не смог.
Они исчезли анфиладным строем.
Повис на мачтах шелк чужих знамен.
За давностью простят и не такое,
Сославшись, что не мы сжигали Трою,
Легенду терпкую прихлынувших времен…

Сергей Попов

Поручение

Сага о бессоннице

Какой-то призрак неизменный
Везде преследует меня.
Константин Фофанов

Ночь похожа на реку. Она увлекает своим течением, затягивает в себя, поглощает заживо... И ты соскальзываешь в темные глубины, забываешь берега, облака, кроны... Дальние стебли света всё реже и реже трассируют русло уходящей реальности. А потом исчезают и они... И будто всё начинаешь заново. С чистого черного листа.

Я не верил в приведения, потому как ни разу в жизни их не видел и вообще не был склонен к потустороннему. Жизнь приучила смотреть на вещи утилитарно – в противном случае, вылетаешь в трубу и поминай как звали…

Ночью я проснулся. Бабушка стояла среди комнаты. Она была в белой ночной рубашке. Голые ступни тускло светились на темном полу. Узловатые кисти безжизненно свисали вдоль туловища. Она смотрела на меня в упор, но выглядела при этом смущенно и нерешительно. Несколько раз она пыталась что-то сказать, но только сглатывала горловой ком...

Я ничуть не удивился ее приходу – будто ждал. Хотя в последнее время за плотной служебной текучкой было не до того... Наверное, когда эта самая текучка бесконечна, невольно переходишь в автопилотный режим и профилактически отключаешь голову. И тогда в автономно существующей голове возникают удивительные тени, совершенно не подотчетные ее обладателю. И, верно, бабушка была одной из них...

Я разглядывал ее лицо, и мне казалось, что она помолодела. Глаза были ясны и пытливы, морщины едва угадывались, пепельные волосы струились по скулам. Странно, что я никогда не отмечал, что она красива... Я хотел ей об этом сообщить, но подумал, что диалог следует начинать не мне. Первое слово – негаданной гостье... Наверное, бабушка меня поняла...

– Я к тебе по делу, – заявила она. Голос ее был незнакомым, полнозвучным, молодым. – Но об этом не сейчас. У меня слишком мало времени. Как ты живешь?

– Хорошо, – сдавленно пробормотал я.

– Я рада. Я приду еще.

И она растворилась в темноте комнаты... Я даже головой потряс. Было ли это?

...Всю последующую неделю я прожил как будто под гипнозом. С кем-то о чем-то договаривался, что-то подсчитывал, куда-то ездил... Но вся эта рабочая рутина не заслоняла бабушкиного лица... Хотя, конечно же, это был всего лишь глюк. Других вариантов не вырисовывалось... Спал я в эти дни плохо – ворочался, вставал, включал компьютер, снова ложился... Но мне не мерещилось ничего.

Через неделю я более-менее оклемался. С удовольствием вспоминал о всяческих соблазнительных вещах... А еще через неделю прежнее наваждение стало понемногу забываться. И я уже не воспринимал это воспоминание всерьёз...

Я вспоминал другое... Мой дед был человеком обстоятельным и законопослушным. С четырнадцати лет он работал в железнодорожных мастерских на станции Грязи. Подносил инструмент, убирал металлическую стружку, разгружал болванки... Он так и пошел потом по путейской линии. Трудился в ремонтных бригадах, заочно закончил транспортный институт, стал главным инженером паровозоремонтного... Из Грязи да в князи, говаривал он в застольях. Это наше, наверное, фамильное – если попал в борозду, будь любезен, просуропь ее до конца... И никаких иных мыслей! Если приведений не бывает – значит, не бывает...

Однако не все мои родственники были на одно лицо... У деда моего имелся брат. Совершенно иных качеств товарищ. Весельчак, гуляка, авантюрист. И кутить любил, и деньги делать умел... Он всегда строил невероятные планы, проворачивал умопомрачительные комбинации, выходил сухим из воды... Красавчик, смельчак, охальник. Братское единство противоположностей...

Корова категорически не желала уходить со двора – яро упиралась и угрожающе мычала… Члены комиссии матерились и дружно тянули ее к воротам. Хозяйка нараспев кляла непрошеных гостей и кидалась царапать их напряженные физиономии, хозяин молчал и мрачно взирал на разор. В стороне веско курил уполномоченный из района. В происходящее он не вмешивался…

Судачили, что заявили соседи. Шутка ли – четыре поросенка, пара дюжин гусей, полсотни кур… Понятное дело, заявители не расчитывали на кулацкую живность – но зато рядом не будет этого бельма на глазу... Пусть похозяйствуют где-нибудь на Северах – флаг в руки...

Вообще, прадед с соседями ладил – подкармливал, одежонкой помогал – те голодранцами голимыми были. И соседи к нему – с почтением. Но плебейское почтение – штука хорошо известная…

Раскулаченных из этого района определяли под конвой в архан-

гельские края, и бабушкино семейство проследовало товарняком именно туда. По прибытии родственников разлучили, и больше они никогда не встречались. Говорили, что прадеда видели в начале сороковых на Кольском полуострове...

Всего этого бабушка мне не рассказывала. Только в полубреду в больнице...

Что-то царапнуло по борту. Потом еще и еще... Рулевой прижух и выругался. Повисла тишина... Но молодцеватый военный улыбнулся как ни в чем не бывало и скомандовал «Полный вперед!» Портупея его грозно скрипела, пряжка победоносно сверкала, гимнастерка полнилась ветром...

Бабушка ошарашенно взирала на деда, на его брата, на свежие пулевые отверстия... Разве это можно было себе представить?.. Бестия! Оторва!.. Как он это всё устроил? Как узнал, в каком я лагере? Где бланки документов раздобыл? Форму? Катер откуда?..

Палата была четырехместной, но она оказалась там в одиночестве. Редкий для областной больницы случай… Поэтому я мог расположиться на соседней койке. В окно глядели заснеженные фонари, и ночная комната наполнялась бледным дневным светом.

Она долго была без сознания. Дыхание становилось прерывистым, хриплым… А потом и прекратилось вовсе. Я спешно перенес ее на пол и принялся что есть силы толчками давить на грудину... Это длилось целую вечность… Но, к моему изумлению, время вернулось в свои права – бабушка открыла глаза и заговорила…

Бравый офицер коротко козырнул и протянул документ. Дежурный принялся его с интересом изучать…

– Рядовой, повеселее! – скомандовал прибывший, – у меня мало времени. Доложи начальству. Срочно.

– Есть! – недовольно буркнул дежурный...

Начальник явился мгновенно. Это был испуганный упитанный человек с бегающими глазками. В руках он держал бумагу, переданную дежурным.

– Мне приказано срочно сопроводить заключенную в исправительно-трудовой лагерь, указанный в документе, – заявил визитер, – на сборы даю тридцать минут.

– А чем это вызвано? – робко осведомился начальник.

– Я приказов не обсуждаю, – отрезал офицер, давая понять, что тема исчерпана.

– Да, да, конечно…

– Действуйте.

Начальник оказался расторопным. Через двадцать минут заключенная была доставлена на вахту с вещами.

– Где расписаться? – сухо поинтересовался офицер, – благодарю за оперативность. Доложу командованию о вашей исполнительности.

Начальник воодушевленно подтянулся и с признательностью приложил руку к козырьку. Заключенная и офицер прошли по сходне, мотор затарахтел, катерок отчалил...

На третьем курсе мединститута после бурной ночи я с ватагой таких же разгильдяев понуро влачился за преподавателем по этим же палатам и на занятиях после обходов со значением нес несусветную чушь. При этом я вполне отчетливо видел себя в худом больном на койке у окна и прекрасно понимал, что рано или поздно видения наши обретают плоть и кровь. На другой стороне жизни – точно за колючей проволокой – тоже светило солнце. И в его лучах предстояло выкупаться по-любому... Но прежде всего думалось о головокружительных красотках, о немыслимых выходках, о бездонных далях и всякой другой тому подобной чепухе... Я себя постоянно и тщетно одергивал. И только теперь стало бесповоротно понятно, что это – самое главное.

…В следующий раз бабушка явилась мне через несколько месяцев. Она была улыбчива и разговорчива.

– Там прямо к воде подступали темные сплошные леса, и казалось, что крайние деревья стояли по колено в воде. Ветви вверху сплетались, и единая гигантская крона нависала над нескончаемыми стволами. Вода была непроглядной, небо свинцовым... Просто страшная сказка какая-то… Для меня всё было в диковинку. Я ведь ничего этого не видела – ни по пути в лагерь, ни, тем более, по прибытии на место...

– Ох, и брат был у твоего деда! Это что-то с чем-то… Озорной, заводной, безбашенный. И что редко – фартовый… Я-то поначалу и не поняла, что это за всплески прямо у борта… Под пулями в полный рост стоял и шутил!.. Обалдеть…

– А что с ним потом было?

– Он лишь однажды возник на горизонте… Уже после войны. А потом – с концами. Говорили, какое-то подпольное ателье в Воронеже организовал и совсем не бедствовал... Мне почему-то кажется, что жил он долго-долго... С его-то неугомонностью вполне мог и где-нибудь на Западе оказаться… У деда с ним связи не было. Да и я ничего специально не узнавала… Трудно сказать – почему. Всё течет, всё меняется… И может быть, я боялась лишний раз убедиться в этом?..

О чем еще думал студент третьего курса? О тех, кто стремится жить и по мере возможности противостоять переходу в иную ипостась… И о тех, кто сопровождает их в этом бенадежном противостоя-

нии. Или лечит как умеет, или, наоборот, приближает переход… И это вовсе не означает, что первые – добрые, а вторые – злые. Так уж сложилось в каждом конкретном случае… Хотя, конечно, финальная расстановка обстоятельств – всего лишь расшифровка детских смутных начал… Но жизнь и сопровождение чужой жизни – это совсем разные участи. И не факт, что первая слаще…

– Так вот. О деле, – кинула вместо приветствия бабушка при очередном визите. Будто мы долго болтали перед этим бог весть о чем…

А между тем, я не видел ее много дней, и я уже начал было думать, что бабушка не вернется никогда.

– Дело в том, что я оставила в совершенно непотребном месте то, чего оставлять нельзя. И никакие обстоятельства оправданием тому быть не могут... Речь о моем нательном кресте. Конечно, кресты нещадно отбирали, да еще и били при этом... Я там на кухне работала – всё время на виду... Скрыть невозможно... Но никогда себе этого не прощу... Ну, да что теперь говорить... У меня к тебе настоятельная просьба. Нужно вызволить его оттуда. Понимаю, дело хлопотное. Но мне поручить это больше некому...

– Как это – вызволить?..

– Очень просто – поехать и забрать.

– Ты считаешь, что это просто?..

– Я считаю, что тебе это нужно сделать.

– Но я же работаю...

– Придумаешь что-нибудь. Это дело куда важнее работы…

– Ты в этом уверена?

– На все сто...

– Как же я там отыщу этот крест?.. А может, его давно уже и нет вовсе?.. А если он даже и сохранился каким-то чудом – как я узнаю, что это именно он?..

– Узнаешь, – отрезала бабушка.

Девчонки в нашей группе были броскими, яркими, острыми на язык… Почти все – из окрестных областей. Потому ли, нет ли – но общались мы будто на танцах в сельском ДК...

– Не желаете ли нынче вечером пройтись?..

– Буду безумно счастлива…

– Какое шампанское предпочитаете?..

– «Вдова Клико». Впрочем, оно последнее время испортилось…

– Совершенно с вами согласен. Империалисты всякий стыд потеряли… «Советское», безусловно, предпочтительнее…

– Главное, не чем угощают, а с каким чувством…

– В качестве чувств можете не сомневаться…

– А я и не склонна принимать какие-либо приглашения при наличии сомнений…

– И очень осмотрительно поступаете. Всецело поддерживаю…

– О, как важна трепетной девушке поддержка! За это многое можно отдать…

– С огромным удовольствием возьму. Если позволите, конечно…

– Это порой не вполне от меня и зависит… Мне ли Вам объяснять?

– Что вы, что вы… Никаких объяснений. Они совершенно убивают очарование…

– Его так легко убить?..

– Чем эфимерней материя, тем она драгоценней…

«...Территория относится к таежной подзоне, поэтому вдоль берегов много густых лесов. Они состоят преимущественно из елей и сосен с примесью лиственниц, пихт, берез и ольхи. Летом в лесу много черники, клюквы и другой ягоды. Также можно собирать самые разные грибы, в том числе белые. В лесу живут куропатки, перепела, тетерева, глухари, совы и другие птицы, а также многочисленные животные. В воде – заросли камыша, рогоза, тростника. В них обитают водоплавающие птицы – утки, журавли, кряквы, гагары, лебеди и другие. Там встречается более 200 растений, внесенных в региональные красные книги. Среди редких и исчезающих видов можно назвать пихту сибирскую, родиолу розовую и валериану блестящую. К охраняемым животным относятся белки-летяги, манулы и кабарги…

...Недостатком текущего расположения производительных сил в регионе является привязка к водным путям снабжения, которая была исторически обусловлена наличием больших запасов леса в прибрежных лесничествах и низкой стоимостью транспортировки сырья по воде... Создание сети перспективных лесопильных предприятий осложнено отсутствием общей транспортной и энергетической инфраструктуры в этих районах…»

Ночью мы с подружкой вели беседы на необязательные темы. Она, откинув простыню, просила подтвердить ее неотразимое очарование… А я щеголял окололитературной эрудицией…

– После того, как невеста придушила Николая Рубцова подушкой, хорошо его знавший Виктор Астафьев сокрушался, что «исчадью северных лесов» совсем не та нужна была женщина... Ему нужна была мамка... Только в этом и состояло возможное спасение.

– Я никогда и ни за что не буду мамкой, – деланно надувалась подружка. – Я девочка. Мне самой нужен папик...

– Так ты бы и ему изменяла…

– Конечно. Глупо тратить молодость на верность...

Мы хохотали, и этот смех казался нам воздухом всего на свете...

Суденышко шло до самого Архангельска, но моя остановка была значительно ближе. Пассажирский люд в массе своей был рабочим. Лишь одна группка туристов при бородах и гитарах выглядела на особицу. Тяжелые крупные брызги порой долетали из-за борта и холодом прожигали щеки. По берегам проплывали высокие древесные ветви, сплетающиеся в одну бесконечную общую крону.

Я заранее выяснил, что на прежнем месте лагеря давно уже не существовало. Там устроили музей репрессий, а потому доступ туда был свободным. Трудность состояла лишь в транспортной доступности. Но разве это проблема?..

Как мне действовать по прибытии на место, было неясно. Понятно, что сообразно обстоятельствам. Но какими эти обстоятельства случатся, ведал один Бог. И надеяться приходилось только на него... И ещё – меня пугало то, что могу не распознать бабушкин крест. Она, понятное дело, помнила его отчетливо и потому была уверена, что спутать его с прочими я никак не могу. Но я-то хорошо знал, что крест другого человека явлен только ему. И близкие здесь не помощники…

Черные разлапистые деревья провожали меня настороженными взглядами, и я кожей чувствовал холодное воздушное электричество…

Музеем заведовал худой подержанный человек, похожий на бывшего зэка. Он посетовал, что посетители случаются не каждый день. А впрочем, ему до лампочки. Вход, один черт, бесплатный, и денежка ему капает в любом случае. А рассказывать он готов всегда – хоть среди ночи растолкай… Работу в поселке не сыщешь, а потому пришлось податься в артисты разговорного жанра…

– Итак, что я могу сообщить по интересующему вас вопросу... В Российской империи к 1917 году большинство тюрем подчинялись Главному тюремному управлению Министерства юстиции. После Февральской революции была объявлена широкая амнистия, и число заключенных к сентябрю 1917 года сократилось до 34 тысяч человек, тогда как еще в 1916 году количество их составляло 142 тысячи. Новыми властями была создана новая структура – Главное управление местами заключения, которая после Октябрьского переворота была, в свою очередь, распущена. Вместо нее в апреле 1918 года учрежден Центральный карательный отдел. В июле 1918 года служащие сего отдела составили «Временную инструкцию Народного комиссариата юстиции» о создании новой системы мест заключения. Она основывалась на двух принципах: самоокупаемость – доходы от труда заключенных должны покрывать расходы правительства на содержание мест заключения, – и полное перевоспитание заключенных.

Нужно сказать, что в Советской России до 1922 года существовало пять типов лагерей принудительных работ: лагеря особого назначения, концентрационные лагеря общего типа, производственные лагеря,

лагеря для военнопленных, лагеря-распределители. Но с терминологией тогда обращались вольно. В документах НКВД термины «лагерь принудительных работ» и «концентрационный лагерь» использовали часто как синонимы. Встречается и название «концентрационные трудовые лагеря» – так что скорее всего разделение на типы было формальным. Кроме того, при необходимости – как при подавлении Тамбовского восстания – организовывались временные полевые лагеря...

Поначалу заключенных не рассматривали как дешевую рабочую силу – в лучшем случае рассчитывали лишь на то, что их труд покроет затраты на содержание мест лишения свободы. Но потом ситуация изменилась… Словосочетание «исправительно-трудовой лагерь» впервые прозвучало 27 июня 1929 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). 11 июля 1929 года постановлением Совета народных комиссаров СССР «Об использовнии труда уголовно-заключенных» были созданы две параллельные структуры, ведающие местами лишения свободы. Первая управлялась в ОГПУ СССР, вторая – республиканскими НКВД. Основу первой составляли исправительно-трудовые лагеря для осужденных к лишению свободы на срок свыше трех лет, а вторая включала в себя места лишения свободы для лиц, осужденных на срок до трех лет, для содержания которых следовало было организовать сельскохозяйственные и промышленные колонии.

А 25 апреля 1930 года во исполнение постановления СНК СССР «Положение об исправительно-трудовых лагерях» от 7 апреля 1930 года приказом ОГПУ было организовано Управление лагерями ОГПУ – УЛАГ, которое в 1934 году было переименовано в Главное управление лагерей, трудовых поселений и мест заключения – ГУЛАГ... Ну вот мы и подошли к знакомой до боли аббревиатуре... Лагеря в те годы появлялись как грибы после дождя... На месте, где мы с вами сейчас мирно беседуем, как раз и располагался один из исправительно-трудовых лагерей. Их и выше, и ниже по реке было много. Здесь содержались женщины. Лагерь был средних размеров, общего режима. Типовое такое учреждение этого рода. Заключенные занимались швейными работами. Производили форменную одежду для красноармейцев… Два барака еще сохранились – доживают свой век. Никто ремонтировать их, конечно, не собирается. Есть нынче дела поважнее...

– Основная экзпозиция развернута в помещении администрации лагеря. На этих стендах можно увидеть фотографии его рабочей зоны – производилась официальная съемка. На лицах работниц – энтузиазм, между прочем… Скажете, постановка? Но разве так сыграешь?..

– Жить захочешь – и не так сыграешь…

– Среди заключенных соревнование организовывалось – два дня ударного труда за три дня срока шло...

– Царская, прямо-таки, щедрость…

– По крайней мере, это поманче денег было…

– А находились ли желающие как можно быстрее выпасть из этих трудовых гонок?

– Это вы о чем?

– Случались ли побеги?

– Нет, такого за всю историю лагеря не было ни разу…

– Ни разу?!.

– Впрочем... был один случай… Вроде бы сбежала одна из поварих... Но это нигде документально не зафиксировано. Похоже на легенду.

– Всё тут похоже на легенду... Какие музеи не гандоби – а всё до конца не верится…

– Это почему же не верится? Вот здесь – личные вещи заключенных. Расческа, заколка, нательный крестик… Кстати, якобы той самой улизнувшей кухарки. Ох уж этот лагерный фольклор!..

– А откуда вы его знаете?

– А некоторые из отбывших срок так и осели потом в поселке. Моя бабка работала в хозчасти при зоне. Работу и тогда выбирать не приходилось... Так что я в детстве много чего наслушался.

– Выходит, это учреждение перешло вам по наследству?..

– По наследству перешло удовольствие существовать при нем…

– Не сгущайте краски.

– И не думаю. Это не самая печальная стезя…

– А в этой комнате всё, что можно показать? Не густо...

– Для объемной экспозиции деньги нужны. А презренного металла в музее, как водится, в обрез. Крыша течет, полы гниют, экспонаты плесневеют... Кое-какие из них – что под открытым небом – местные втихаря растащили... А нанять сторожа всё никак не сподобятся... Охранную сигнализацию – и ту поставить не на что... Да что музей?! Дорогу в поселок до сих пор не проложили. Стыд и срам! У нас и поныне одна только связь со всем остальным миром – та же самая неизменная река...

Дым высоко поднимался над кронами. На костре стоял огромный котел. Варево волновалось, пузырилось, закипало... Бабушка сидела чуть поодаль и думала о том, чем будет кормить народ. Отсутствие необходимого – это личная проблема повара. Дерзай, придумывай, выкручивайся... Ведь ценится лишь вкус на выходе. Им одним, конечно, не насытишь. Но порадуешь. А радость сплошь и рядом нужнее сытости.

В центре поселка располагался гостевой дом. Вросший в землю, почерневший, с плесенью по углам. Я был в нем единственным постояльцем, а потому свободно разгуливал по его скрипучему кори-

дору и облупившейся кухне без риска вступить в какой-либо дежурный диалог. Меня радовала возможность спокойно всё обдумать. Хотя думать, по сути дела, было и не о чем… Всё сложилось само.

Окно поддалось легче, чем я предполагал. Стекло вывалилось из рамы и даже не разбилось. Я без лишнего шума забрался в темную комнату, вытащил фонарик и быстро отыскал нужный стенд. А уж тут стекло и вовсе никакой помехой на стало... Я деловито сунул крестик в карман и неспешно ретировался прежним путем. Кругом было тихо и черно. Еще бы! Три часа ночи...

УК РФ – Ст. 158, ч. 2, п.б *«Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище… Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового…»*

Билет на катер я купил заранее. Я прекрасно понимал, что из этой дыры иначе как по реке не выбраться, и поджидать меня будут именно у речных касс. Но могли караулить и прямо на пристани… Нужно было глядеть в оба. Хотя и грела надежда, что грешить станут на местных…

Я долго смотрел на однообразные лесистые берега, и мне начинало казаться, что мы никуда не движемся – за бортом всю дорогу одно и то же. Наверное, от желания того, чтобы мы шли быстрее. Ожидание остановки оказалось безразмерно долгим… Но наконец мы причалили к небольшому пирсу. Я не спеша направился к выходу и, проходя мимо рубки, услышал, как по громкой связи капитану диктуют мою фамилию, имя, отчество... К счастью, дорожная сумка была со мной... Я ускорил шаг и через несколько минут оказался в центре населенного пункта. Он был совсем крохотным, но междугородные автобусы сюда ходили…

– Наши лахудры и там по-крестьянски быстро сориентировались. Унывать – дело рисковое… Вохровцы все сплошь молодые да горячие, подруги сердечные далече... Жизнь начиналась после отбоя. Девочек вызывали к начальству… Возвращались они под утро – веселые, очумелые… Никто их не заставлял. Они сами напрашивались. И никаких особых поблажек за это не имели. «Что ты кочевряжишься, – говорила соседка, – жизнь проходит...» Ко мне тоже подкатывали... Но зачем мне это? Не под дулом, ведь, пистолета... «Представляешь –

шампанское, икра, шокодад... Только он слишком быстро кончает. Но ласковый, ласковый… Только ты об этом никому. Договорились?»

Даже не знаю, вышли они потом оттуда или нет. Болтовни вдогонку не любит никто…

Я сидел на остановке и ждал автобуса. Ясное дело, ходили они сюда неохотно, но иного пути не было… Редкие прохожие поглядывали на меня с недоверием и, удаляясь, по нескольку раз оглядывались. Что во мне такого необычного? Во лбу звезда не горит...

Я, понятное дело, тоже озирался опасливо – для полноты ощущений только отсидки и не хватало… Но было ощущение, что слишком заморачиваться моей персоной здешние ищейки не станут… Даром, долго прислушиваться к себе не пришлось – рейсовый возник как из-под земли. История с погоней повторялась в виде фарса…

Улица утопала в цвету. Щербатая мостовая горбилась по прибрежным буграм, порой исчезая вовсе, порой снова выныривая из зарослей. Набитые зеленью дворы наползали друг на друга. Из густой листвы в глубине участков торчали крашеные крыши приземистых строений. По прибытии из северных краев бабушка снимала в одном из них комнату. Дед жил и работал в Грязях. По их мнению, так было лучше для конспирации…

Я любил гулять по этим местам. Прекрасно зная, что бабушкино пристанище сгорело еще в Отечественную, заглядывал в калитки, радовался лавочкам на пригорке, тер в ладонях травяные стебли…

Спал я плохо. Долго не мог сомкнуть глаз. Потом проваливался и стремительно шел на дно сознания. А когда выплывал – водяная толща беспощадно испытывала череп на прочность. Болевой напор казался нескончаемым...

Во время войны дедовский завод эвакуировали бог знает куда, стремительно развернули, перепрофилировали на изготовление танков. Вскоре и бабушка последовала за мужем и очутилась на неожиданно солнечной стороне жизни – с невиданными могучими кедрами, желанными домохозяйскими обязанностями, новыми нелюбопытными друзьями... Впрочем, и на прежнем месте всем было уже не до нее…

– Бабушка, я привез его тебе. Возьми...

– Спасибо. Но он мне больше не понадобится…

– А зачем же я всё это проворачивал?.. Выходит, что напрасно…

– Как это напрасно? Разве можно его оставлять тем, кто над ним надругался? Пусть он будет у тебя. Он теперь твой...

– А что я с ним делать буду?

– Нести.

– В каком смысле?

– В прямом. На собственной шее…

– Неужели все мои приключения – только ради этого?.. Я думал, что это жизненно важно именно для тебя.

– Это важно и для меня тоже. Но «жизненно» – в моем случае не то слово... А что тебя так смущает?.. Ну, так и не бери в голову...

Страх перед будущим нелеп,
стареть без паники сумейте.
Как ели, так и ешьте хлеб,
Вино – как пили, так и пейте…

– Это, кстати, подруга-убийца твоего любимого непутевого поэта написала… Напрасного на свете не бывает. Если бы всё можно было понять разом – не существовало бы времени…

Я задумался и опустил глаза. А когда поднял голову – бабушки уже не было…

Какие только таблетки для сна я не глотал!.. И те, которые все пьют, и всяческие экзотические – на названиях язык сломаешь… Толку было чуть. Подуспокаивало, смягчало... А потом – всё в полный рост по новой... Вопросы, вопросы, вопросы... Далеко не сразу до меня дошло, что дело не в лекарствах. А в умении не тормозить на ответах... Не останавливаться, не вглядываться, не тупить... Ответчики уже давно за всё в иных пределах ответили... А дурацкие заминки отпечатываются навсегда…

Я очнулся один в четырехместной палате, хотел поднять голову, но не смог. Нестерпимая боль сдавила виски. Я хотел позвать постовую сестру, но голос пропал начисто… Ночная комната полнилась бледным дневным светом. Я понял, что это из-за обледенелых фонарей, которые казенным тусклым взглядом, не отрываясь, глядели в мое окно.

Бабушки рядом не было. Она умерла полвека назад. Но палата была той же. Те же инвентарные номера на грядушках коек, те же листки с температурными кривыми, те же обшарпанные колченогие тумбочки. Всё было на месте. Я с облегчением выдохнул и закрыл глаза.

– А с чего всё началось?

– Долго рассказывать… Если не размазывая – с постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации крестьянских хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 года. Хотя это вовсе не самое начало… А 2 февраля 1930 года был издан приказ ОГПУ СССР № 44/21. В нем говорилось, что «в

целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства – в первую очередь в районах сплошной коллективизации – в самое ближайшее время кулаку, особенно его богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный удар». Ну, и нанесли…

– У тебя и память!.. Неужели ты все эти даты и номера помнишь?

– Мне полагается. У ведь меня ничего другого не осталось. Ну да разве что – ты...

«Вода смыкается с небом, и плывут по нему облака, а там другие, а потом гряда облаков уходит за выгнутый дугой простор. И, верно, от привычки человека, оставаясь наедине с природой, с красотой родной земли, вопрошать прошлое, сама собой приходит здесь мысль, что и ты видишь сейчас всё так, как первый новгородец, которого неспокойная русская душа позвала с волховских берегов обживать неведомую северную реку. Так же далеко уходят песчаные откосы убегающих берегов и круто обрываются в свинцово-серую воду, так же желтеют твердые, сглаженные водой отмели, а за зелеными длинными островами взблескивают на солнце протоки, спят в опуши ивняка тихие старицы, и до синевы темны зеленые увалы лесов, окаймленные по краю изумрудными пожнями со слюдяным блеском чарус, которые расступаются только затем, чтобы пустить дальше по берегу череду сизых деревень, уходящих по холмам в иные дали, в иной простор.»

Ни изумрудных пожней, ни сизых деревень мне увидеть так и не привелось. Берега у каждого свои...

Больница была светлой и почти праздничной – просторные прямые коридоры, квадратные холлы с веселым настенным узором, панорамные окна, из которых порой выбрасывались слетевшие с катушек пациенты... И прерывистый шепот веселых студенток, с круглыми глазами обсуждавших очередной случай... Пространство словно раздвигалось, объем яви увеличивался. И нечеловеческое давление просто обязано было оставаться где-то там – в цепких недрах небытия. Если бы все обязанности на свете неизменно выполнялись!..

– После возвращения из Сибири на улице я случайно столкнулась с братом твоего деда… И уже почти бросилась ему на шею, но он кратко и остро зыркнул, втянул голову в плечи и резко зашагал в сторону... Я замерла как вкопанная и только проводила его пустым взглядом. Сутулая спина, поднятый воротник, приплюснутая кепка… Может быть, он меня не узнал? Может быть, принял за сумасшедшую? Может быть, следовало кинуться за ним, догнать, напомнить?..

Нет, этого делать не следовало ни в коем случае… Я и сейчас так думаю.

По берегам могучей реки стояли непроглядные черные леса. Отражения деревьев мелко дрожали на рябой поверхности тяжелой воды. Рваные тучи покорно щли по течению.

Вокруг было тихо, и я думал, что через какое-то время можно уже будет где-нибудь причалить и перевести дух. И принялся было выбирать подходящее место... Но вдруг что-то коротко ударило в судовую обшивку, потом еще раз и еще... Потом резкое пламя вспыхнуло в животе, потом в груди…

В суденышко стремительно набиралась вода – по щиколотку, по колено, по пояс... Чтобы не накрыло с головой, нужно было вставать. Но силы уходили вместе с предательски быстрой кровью. Я всё же собрался, облокотился о ближний борт… И мир перевернулся.

– А твой дед никуда не сворачивал... Всегда ходил по прямой. Когда вернулись, опять работал на паровозоремонтном… В партию, правда, никогда не вступал. А для начальника это было куда как непросто… И в тот же день, когда ему исполнилось шестьдесят, – ушел на пенсию. Его долго и усердно упрашивали – кадр, всё-таки, ценный… Но он мягко улыбался и говорил: «Нет, нет… Спасибо за доверие, но всё, что мог, я сделал…» И не слышалось в этом ни кокетства, ни надрыва… Он с детским азартом играл в городки, воздвигал из фанерных ящиков дачный домик, придирчиво изучал кулинарные рецепты… По утрам дед надевал соломенную шляпу и отправлялся за свежими газетами. А потом долго читал их на лавочке во дворе… Будто из них можно было почерпнуть что-то неведомое… Он слишком любил быть в тени. И возможно, эта любовь была искренней…

...Теперь мне было не выплыть… И дежурный врач тут, как ни упирайся, не при делах… Я всё прекрасно понимал – сам на практике хаживал по таким вызовам… Слава Богу, некоторым верхоглядам всё-таки дается под занавес не свойственное им понимание… И это, что ни говори, разновидность счастья. А значит, я его заслужил… Крест был на мне.

Где-то над головой являлись и уносились течением какие-то случайные силуэты, стертые черты, забытие лица… Заводные подружки из группы, бородатые романтики на баркасе, настороженные северяне в допотопном поселке… Всё быстро, безвозвратно, пунктиром… Точно кто-то стремительно прокручивал пленку, мельком показывая запечатленное… Смысла останавливать показ не просматривалось никакого. С остановками всё было ясно…

* * *

– Мне всегда хотелось всех накормить. И, видит Бог, я очень старалась… И радость при этом давалась прежде всего мне самой… Так что действовала я из корыстных побуждений… И стало быть, наказана вполне заслуженно... Да что мы всё обо мне да обо мне?.. Ты сам-то каким воздухом дышишь?

– Твоим.

– И тебе его хватает?

– Такова уж участь сопровождающего… С прежней работой пришлось расстаться. Начальству нужно иное… Похоже, придется попрощаться и с чем-то более ценным… Но разве быть подле тебя – это дорога в никуда?..

– Мы как-то невзначай поменялись ролями… Это неправильно. Мне виделось, что всё будет с точностью до наоборот…

– Ничего страшного – всё рано или поздно переворачивается…

– Это единственное, в чем сомнений нет никаких…

И мнимая бабушка промелькнула, и обрывок нашего нелепого разговора, и жгучее недоумение от него…

Стебли света лениво змеились перед глазами, любопытные рыбы замирали совсем вблизи, бойкие воздушные пузыри наперегонки мчались вверх… Осклизлые коряги кратко салютовали изломанными руками, расномастные водяные пласты стремительно сменяли друг друга, стойкая придонная взвесь невозмутимо поджидала внизу… Там происходила другая жизнь. И ее предстояло принять.

15 августа 2024

Ольга Симонова-Партан

Сталина-процентщица

I

В середине восьмидесятых годов прошлого века, городское начальство Н-ска, небольшого городка в Среднем Поволжье, бурно отмечало пятидесятилетие второго секретаря горкома, Сталины Георгиевны Бодровой (в жизни просто Лины). Пировали за длинными банкетными столами в лучшем местном ресторане «Мой причал», пели хором под оркестр линину любимую «Наде-е-ежда – мой компас земной, а удача награда за смелость…» Ну, а главным гвоздем программы был сын юбилярши, Георгий, подающий большие надежды баритон, недавний выпускник вокального факультета московской консерватории, только что победивший в международном конкурсе имени Чайковского. В его исполнении романс «Гори, гори, моя звезда!» прозвучал как предначертание большого звездного пути, а слова «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда!» были обращены к матери. Мягкий тембр его голоса («Вот стервец, как за душу берет – и ведь не отпускает!»), его исполнительское обаяние («Как возмужал и похорошел этот долговязый кудрявый пацан!..») не оставляли ни у кого из присутствующих сомнения в том, что его звезда уже зажглась и будет гореть, мерцать, сеять. Все неистово аплодировали, лили пьяные слезы умиления и поднимали новые тосты за материнскую любовь и чутье.

Горкомовские работники всё судачили-дивились: «Ну надо же! И с сыном Лине повезло!» У всей городской верхушки дети непутевые, и тут думали, что растет лентяй и неуч, а оказалось, что волжский самородок, уже прославивший их Н-ск на международном конкурсе. И то ли еще будет! Лине, конечно же, с Гошей было нелегко: единственный обожаемый сын учится в школе через пень-колоду, прогуливает уроки и бегает в кружок хорового пения. Надо признать, что, в отличие от сверстников, он не пил и по подъездам не курил, а с утра до ночи пел, крутя пластинки и магнитофонные записи с операми, романсами и русскими народными песнями и голосил в ванной:

Эх, вдо-о-о-ль по Питерской,
По Тверской-Ямской, да ох!
Да по Тверской-Ямской,
Да с ко-ло-ко-льчи-ком!

В Н-ске каждое лето перебои с водой – все же огороды поливают, – а он воду, при подаче, пускал на полную для аккомпанемента, дверь запирал и вперед… – «по Тверской-Ямской».

– Ты хоть ведра, кастрюли и тазики подставляй, когда воду пускаешь! – негодовала мать.

Ну а если ванная была занята, или вода отключена, то сын шел в кухню, напевая арию Эскамильо: «Тореадор, смелее в бой», – аккомпанируя себе всей кухонной утварью, что попадала под руку. В те времена оперные арии чаще всего пелись и транслировались по радио в русских переводах. Помните?

Лина, конечно же, всё с учителями улаживала – куда ж они, родимые, денутся, когда Н-ское дошкольное, начальное и среднее образование под ее надзором и руководством. Но всё же нет-нет, да и пошутит, что, мол, от Гошкиного пения ее хрустальные чешские бокалы звенят в румынском серванте колокольчиками. Материнское чутье подсказывало ей, что надо поддерживать сына и дать ему какое-никакое начальное музыкальное образование. Ей самой очень нравилось его пение, ну а вдруг это просто потому, что сын?.. А с другой стороны, чем черт не шутит, вдруг это его судьба? Как знать? Ни к чему другому Гоша был совершенно непригоден.

– Значит так, Георгий, хочешь быть запевалой в городском хоре, валяй, но с одним условием: учись играть на пианино, чтобы аккомпанировать себе дома, как положено, на инструменте, а не по кастрюлям ложками в кухне дубасить.

– Ладно, мам!

Учительницу нашла, интеллигентную старушку-пианистку Нину Ивановну Красновскую, в прошлом ссыльную, так и осевшую в областной музыкальной школе, пианино приобрела и с удовлетворением отметила, что сын увлечен, слух идеальный, музыкальная усидчивость уникальная. Играет и всё время себе подпевает – да как душевно... заслушаешься! Учительница музыки тоже была поражена вокально-музыкальными способностями ученика:

– Мы, – говорит, – с вами, Линочка, должны помочь этому одаренному юноше сделать первые музыкальные шаги и направить его в нужное русло – впереди у него большое плавание. Уж поверьте мне, старухе.

Тем не менее, школу-то надо было как-то заканчивать, принимать участие в общественной работе юных пионеров: «Пионер, тебя зовет ‘Зарница’ – игра дружных, сильных и смелых!», а потом и в комсомол вступить, без этого же все пути перекрыты.

– Гош, ты хотя бы вид какой-то можешь создать, что ты сын второго секретаря? А? Ты вот отрастил волосы до плеч за лето, и я тебе ничего не говорила, но к первому сентября ты должен постричься. Ради матери. Не срами ты меня, ради Бога.

– А мне так нравится, – перечил Гоша, представляя себе группу «Beatles».

К слову сказать, английский язык с пятого класса давался ему относительно легко – музыкальное ухо. К тому же, он ежедневно слушал привезенные матерью из Куйбышева магнитофонные записи групп «Beatles», «Pink Floyd» и «Eagles», подпевая им в своей комнате и улучшая таким образом свое произношение.

– Здесь тебе, сынок, не Англия, а наш Мухосранск, – думала мать и волоком тащила сына в парикмахерскую:

– Ты учишься-то кое-как, так хоть выгляди, как нормальный пионер. Постриги свои патлы, а то тебя все за девочку будут принимать (тут у Лины что-то ёкало внутри: «Конечно же, это не патлы, а буйно вьющиеся кудри, и на девочку он ничем не похож… ну да ладно… для воспитательных целей сойдет.»).

А началась вся эта певческая эпопея с поездки в Москву на партийную учебу, когда Лина решила взять с собой маленького Гошу. Заранее, через секретаршу горкома, заказала все театрально-концертные билеты, воспользовавшись, как всегда в таких случаях, особой бронью для региональной партийной элиты; распланировала всю культурную программу и даже мужа решила, в виде исключения, с собой прихватить, чтобы присматривал за сыном, пока она занята. Так в десятилетнем возрасте мальчик впервые попал на оперу «Борис Годунов» в Большой театр. Лина еще тогда сомневалась по поводу оперы и классической музыки, но сын мгновенно развеял все сомнения. Сидел не шелохнувшись, не ерзая, широко и удивленно раскрыв свои серые глаза. В антракте Лина расчувствовалась: сын в буфете вдруг вскочил со стула, обхватил ее за шею, прижался к ней и прошептал на ухо:

– Как здесь хорошо, мамочка!

Лина тогда не сразу поняла, что значат эти нежности и где «здесь», и подумала, что «здесь» означает в Москве, в столице, после нашей провинциальной дыры. И в который раз удивилась, как близок ей сын по духу. Вот и думают они об одном. Но сыновье «здесь» означало встречу с музыкальной стихией, которая вынесет его позже на подмостки лучших оперных театров мира. Заоблачной же тайной мечтой матери был переезд в Москву, хотя бы на старости лет. Вот это самое чеховское «в Москву, в Москву…» было ее постоянной, никому неведомой мантрой. И всё же... «Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе, – утешала себя Лина, – по крайней мере, пока». Как и когда ей в будущем удастся поселиться в Москве, она не очень представляла, но внутренне не сомневалась, что такой день непременно наступит. Она любила бывать в столице, ей нравилось сливаться с толпой, ходить в театры, в музеи. Поглядеть во что одеты, послушать, о чем говорят, пофантазировать, как живут. Так было и тогда в Большом: «Ну чем я хуже их», – размышляла Лина, разглядывая в бинокль нарядную публику и прислушиваясь к многоязычию и отрывкам русских фраз.

А Гоша в антракте внимательно штудировал программку «Бориса Годунова»:

– Мам, а Мусоргский – это от слова «мусор»? – неожиданно спросил он.

– Шшш, сынок, не болтай глупости..., – прошептала она, оглядываясь по сторонам.

В ту же самую поездку она привела сына в магазин «Мелодия» на Калининском проспекте и накупила ему пластинок с операми да романсами. Всё, что могли вместе унести, унесли. Именно эти пластинки были первыми музыкальными университетами баритона Георгия Бодрова. Это, конечно же, ей, матери, был он обязан ранним расцветом своего певческого дара. Любила его Лина безумно и часто признавалась себе, что столь бескорыстно и самозабвенно она никого никогда не любила: ни тетку (родителей она не помнила), ни мужа, ни своих партийных товарищей-полюбовников. Внешне Гоша был похож на мать – высокий сероглазый брюнет, сильно выделяющийся из толпы волжских ребятишек слегка восточными чертами лица и классическим профилем. Лина была полугрузинкой, полурусской.

Как бы это поточнее описать позицию такой женщины в провинциальной иерархии города Н-ска последних десятилетий советской эпохи?.. Живя под лозунгами над входом в горком «Партия – всех наших дел начало!», «Наша цель – коммунизм!», Лина была главнее самого городского головы (по тем временам, первого секретаря горкома партии). Как это так? А вот так! Сталина Георгиевна Бодрова была городской шеей; куда хотела – туда и поворачивала похмельную башку первого секретаря, своего давнишнего любовника Николая Петровича Трошкина, – в любом нужном ей направлении. Захочет, на сто восемьдесят градусов повернет, а захочет – и на все триста шестьдесят. Николай Петрович был неплохой мужик, но запойный алкоголик. Лина его всегда выручала, все подписи его искусно подделывала – с его, разумеется, согласия; бюллетени на время запоев с диагнозом «гипертонический криз» для него добывала, врачам дорогие дефицитные подарки, на его, разумеется, деньги, дарила. Жена первого секретаря не могла нарадоваться на Линочку, понимая, что зависит от нее на все сто. Одним словом, первый секретарь Трошкин без Лины пропал бы совсем.

Кроме Трошкина, у нее был еще и влиятельный давнишний обожатель в областном центре, Александр Витальевич Щербатов, с которым она регулярно встречалась на партийных мероприятиях и раз в два года отдыхала в санаториях ЦК КПСС, чтобы «подлечить нервишки и сердечко». Товарищ Щербатов любил разнообразить свой отдых – год с женой, год с Линой. Все они были люди семейные: у Сталины был муж, местный учитель истории, а у ее обожателей были жены – но куда им, этим толстым теткам, было до Лины! Она и в свои пятьдесят – еще кровь с молоком. Умная, начитанная. За всем следи-

ла, всем интересовалась, подписывалась через горком партии и на «Иностранную литературу», и на «Науку и жизнь», и на «Новый мир», и на «Знамя». И даже за границу в страны социалистического содружества раз в три года ездила руководителем туристических групп. Высокая, статная, брови вразлет, с длинными вьющимися волосами, в молодости – темно-каштанового цвета, а ныне цвета темно-коричневого «Колестона», который по ее специальному заказу регулярно завозили в местную парикмахерскую:

– Седой и без маникюра меня никто никогда не увидит. Даже в гробу! – всегда говорила она, выходя из парикмахерской, чувствуя себя помолодевшей с исчезнувшими миллиметрами седых корней волос. Со свойственной ей самокритичностью, она поглядывала на свеже-наманикюренные ногти, которые заметно улучшали общий вид ее слегка грубоватых по форме кистей рук. (И ведь как в воду глядела: действительно вышла из парикмахерской, как всегда, умиротворенная и помолодевшая, ровно за день до насильственного отправления в мир иной.) Но не будем забегать вперед.

На закрытую распродажу пойдет, накупит себе отрезов на солидные премиальные, закажет у местной портнихи костюм и платье по последней моде по выкройкам из журнала «Burda». Та ей:

– Линочка Георгиевна, вы уж, пожалуйста, как всегда со мной сырком, сарделечками и свежими овощами-фруктами расплатитесь! – горкомовские отоваривались на специальной базе, а на Н-ских прилавках – шаром покати.

По натуре Сталина Бодрова была уже тогда, в советское время, как сейчас принято выражаться – бизнесвумен, с цепким, практичным, политизированным умом и завидными организаторскими способностями. В любой другой стране она могла бы добиться больших коммерческих или политических успехов и занять солидный пост в правительстве – кто знает, может быть дослужиться и до министра. Но в Советском Союза в те времена женщин на высоких ответственных правительственных должностях было на удивление мало. Сталина и смекнула, что лучше уж и не трогаться с места. А если трогаться, то только в Москву.

Быт ее был налажен и не давал никаких сбоев – продукты питания или из ресторана, или прямо с продовольственной базы; шоколад и сладости с куйбышевской шоколадной фабрики «Россия»; молоко, творог, сметана, парное мясо от местных деревенских доставлялись прямо на дом; ни за коврами, ни за румынской мебелью, ни за хрустальными люстрами, ни за новенькими «Жигулями» – игрушки для мужа – записываться за годы вперед и ждать своей очереди не требовалось. Десятилетиями работали отлаженные неформальные связи и знакомства. Ее форма существования была наглядной иллюстрацией жизни привилегированного провинциального партийного работника в эпоху позднего советского социализма.

В городе Сталину многие не любили. Должно быть, из зависти. Где это видано, чтобы баба за рулем новенькой горкомовской «Волги» носилась по городу и по всему Среднему Поволжью и от персонального шофера отказывалась!? А она не любила соглядатаев, и очень ценила собственную независимость. Муж ее, Пал Иваныч Бодров, был человеком скромным, и на лице его всегда держалось выражение: дескать, вы уж не обессудьте, что мы так живем, – он был совестливым провинциальным интеллигентом и часто стыдил жену за излишества. Но ее ответы были всегда одни и те же:

– Паш, тебе не нравится, что еда у нас в доме всегда свежая, с базы, – так и не ешь! Тебя ведь никто не заставляет. Не хочешь ехать со мной в санаторий ЦК КПСС, ну и не езди, я одна отдохну и подлечусь, без тебя. Тебе стыдно со мной маршировать во главе колонны на первомайской демонстрации вместе с горожанами?! Сиди дома. Всё нормально, Паш, не напрягайся и не комплексуй!

Он и не ел, и не ездил, не маршировал, но напрягался и комплексовал и сидел дома, или ходил к друзьям детства, посудачить и выпить стопочку-другую. Иногда попивал втихомолку, ну, конечно, не так, как запойный первый секретарь Трошкин. Знал ли он о любовных похождениях своей партийной супруги? Это остается загадкой. Говорят, мужья всегда узнают последними. Он уже несколько раз получал анонимки, но Лина молниеносно определяла, откуда ветер дует, и убеждала мужа, что это всё из зависти. Он верил – вернее, предпочитал верить, потому как глубоко и беззаветно любил эту сероглазую городскую хозяйку. Он так всем и говорил:

– Пойду спрошу у хозяйки.

Одним словом, подкаблучник. Близких подруг у Лины не было, но были приятельницы из местных, образованных: библиотекарь – умная, но старообразная Анна Елизаровна, с которой можно было поговорить о последних публикациях, или директриса местной школы Елена Петровна – довольно прогрессивная, по-своему интересная и, в меру своих возможностей, следящая за модой дама.

II

Звали ее до замужества Сталина Гонгадзе. Ее отец, Георгий Атарович, сын крупного фабриканта из Кутаиси, получив по настоянию отца прекрасное юридическое образование в Московском университете, посещал революционный кружок, чудом избежал ареста в студенческие годы, но выйдя из университета, порвал все связи с семьей и с головой окунулся в революционную деятельность. Женился он поздно, на русской девушке Надежде, лет на пятнадцать его моложе, младшей сестре революционно-настроенного университетского друга. Рожденную в 1935 году дочь назвали Сталиной, хотя уже к 1937 году пожалели о таком выборе, потому как стали понимать, что исчезающие один за одним революционные товарищи ну никак

не могут быть виновны в измене революционным идеалам или в шпионаже...

Георгий Атарович занимал в родном Кутаиси высокий пост главного городского прокурора и был арестован в 1938 году по анонимному доносу вместе с женой как враг народа, за свое буржуазное происхождение и подрывную антисоветскую деятельность. Вскоре он был приговорен к высшей мере, а жена его, слабая здоровьем сердечница, не перенесла потери и вскоре сгинула в ГУЛАГе.

Сталине, можно сказать, сильно повезло, – ее взяла на воспитание одинокая тетка по материнской линии. Работая на Ивановской швейной фабрике модельером одежды, она, имея деловую смекалку, обшивала всю местную и окружную знать. Именно во время примерок Сталина нагляделась на разных провинциальных дам, нанюхалась их приторных духов, наслушалась их жалоб на мужей, исповедей и бахвальства, и многому по-женски научилась. Ее умение держать себя в великолепной физической форме и хорошо одеваться шло оттуда, от детских подглядываний и подслушиваний. Училась она в школе легко и успешно и поступила в Куйбышевский педагогический университет без особых проблем. От тетки Сталина уехала, но навсегда осталась ей благодарной и при первой же возможности начала помогать материально.

Павел Бодров и Сталина Гонгадзе познакомились на студенческой вечеринке в Куйбышевском педагогическом. Он учился на учителя истории, она планировала преподавать литературу и русский язык. Явный интерес красавицы Гонгадзе к общественной работе проявился рано, и она была избрана старостой курса, благодаря недюжинным организаторским способностям и блестящей успеваемости. К концу пяти студенческих лет, известная активной комсомольской работой, она вступила в партию. Поженились они к концу четвертого курса и, получив распределение в только что отстроенную новую школу города Н-ска, откуда родом был Павел Бодров, решили там и начать семейную жизнь. Через два года преподавания в местной школе Сталина Бодрова была назначена завучем, а еще через год появилась возможность возглавить школу – директриса уходила на пенсию. Столь быстрый взлет и политическая активность Сталины привлекли к себе внимание горкомовцев. К этому времени первый секретарь Трошкин уже был по уши влюблен в молодую политически сознательную директрису и спал и видел, как бы ее перевести на работу в горком. Он стал делать первые пробные поползновения, посылать букеты цветов и приглашать на партийные банкеты, а потом, выпив для храбрости, объяснился ей в своих чувствах. Сталину это признание нисколько не удивило и, не теряя времени даром, она в ответ выступила с рационализаторским предложением:

– Значит так, Николай Петрович, вы всячески способствуете моему поступлению в Высшую Партийную школу при ЦК КПСС в

Москве как молодого, подающего большие надежды специалиста с внушительным комсомольским и партийным стажем. А потом мы с вами *обо всем* договоримся!

Тот обомлел от такой прямоты и замямлил:

– Но туда ведь очень трудно поступить, туда ведь не всех принимают...

– Я – не *все*, не правда ли? – жестко ответила Лина, сверкнув своими стальными глазами.

– Да-да-да, конечно, – быстро исправился тот, – мне надо всё это обдумать...

– Я слышала, у вас много старых добрых друзей в Куйбышевском обкоме... Вот и соображайте! Молодым везде у нас дорога! Нам нужно растить региональные партийные кадры, не так ли, Николай Петрович?

– Всё, чем смогу, помогу, Сталина Георгиевна!

– Не сомневаюсь! Я надеюсь, что, получив необходимое образование в ВПШ ЦК КПСС, я смогу во многом быть полезной и нашему Н-ску, и Вам лично, Николай Петрович, – заключила она с обворожительной и многообещающей улыбкой.

И, пронзенный насквозь стрелой Амура, товарищ Трошкин решительно взялся за дело, в течение следующего месяца поставил на ноги всех друзей-товарищей в Куйбышевском обкоме, которые, в свою очередь, оборвали телефоны своих высокопоставленных московских партийных друзей-товарищей по охоте и рыбалке, а те уже напрямую выходили на ВПШ и с напускной гордостью рекомендовали молодого специалиста-партийца из глубинки – Сталину Бодрову – к принятию в это престижное идеологическое заведение.

– А когда же детей-то будешь рожать, дочка? – заикнулась было ее деревенская свекровь, узнав, что невестка собирается в Москву аж на два года. – Неужто не дашь понянчить внуков из-за этой партейной школы?

– Успеем, мама, как только закончу всё в Москве, так и понянчите.

– Бог ты мой, чё деется… ну и девку нашел… – бормотала старушка старику. – И чёй ей дома не сидится? Чё она там, в этой Москве, потеряла? Сдается мне, не любит она нашего Павку... Вот и несет ее бес в Москву...

А Сталине слышалось в этом шипение и цоканье – «ВПШ при ЦК КПСС» – что-то чрезвычайно солидное, вызывающее всеобщее уважение и сулящее если не счастье, то явные шансы на всяческое благополучие. От заочного варианта идейно-политической подготовки она наотрез отказалась. В Москву так в Москву. И чтоб по полной программе. Ее не смущало общежитие; она окунулась в московскую жизнь, выбрав кафедру государственного права и советского строительства. Именно за эти два года она создала свою собственную сеть знакомств и партийных связей, которые сослужили службу и ей, и

Гоше, как только тот решил поступать в Московскую консерваторию. Без сомнения, при поступлении вокальные данные и фактурная внешность Георгия сразу же привлекли к себе внимание приемной комиссии, но связи и звонки из Московского горкома партии ничуть не помешали, а лишь повысили шансы на его поступление с первого раза. Тут Сталина не просчиталась.

В годы своей учебы она регулярно наведывалась в Н-ск, к мужу, несмотря на то, что серьезно увлеклась в ВПШ женатым однокурсником Александром Щербатовым, и тот влюбился в нее не на шутку. Закрутивший их вихрем московский роман был тайной для всех окружающих. Александр был не из болтливых и прекрасно осознавал, что развод неблагоприятно повлиял бы на его многообещающую партийную карьеру, а он в то время метил в первые секретари крупного индустриального города в Поволжье. Тем не менее, чувства между ними были искренние, и связь продлилась более двух десятилетий. Это с ним она регулярно встречалась на областных партийных форумах и совещаниях и отдыхала в партийных санаториях. То, как Лина умудрялась маневрировать между двумя первыми секретарями (городским и областным) и при этом нигде не засыпаться и не оступиться, поражает. Каждому из них она убедительно говорила: «Мы просто товарищи по работе и старые друзья» – и те верили!

А тогда, в Москве, партучеба подходила к концу, и пора было возвращаться на круги своя. Несколько месяцев Лина переживала и плакала украдкой, но решила не устраивать Щербатову никаких сцен, не виснуть у него на шее и ничего не требовать. Заботиться нужно было прежде всего о себе и о своей будущей карьере, а лучшим лекарством от любви должна была бы послужить беременность, поняла она под стук колес поезда Москва-Куйбышев. Решено! Вернувшись в Н-ск и взяв летний отпуск, Лина исполнила обещанное свекрови и к сентябрю – точно, когда ей надо был выходить на работу в школу, семья уже радостно ожидала пополнения. В карте, заведенной на нее в Н-ской женской консультации, 28-летняя Сталина Бодрова именовалась «старородящей», однако носила она легко, мечтала о сыне и решила поработать в школе до декретного отпуска. Первого секретаря Трошкина постигло большое разочарование, и на время он малость поостыл, но, как позднее оказалось, ненадолго, ибо сразу же после декретного отпуска Сталина была приглашена на работу в горком партии заведовать отделом пропаганды и агитации под прямым и заботливым руководством товарища Трошкина.

Верила ли Сталина Бодрова в то, что пропагандировала и за что агитировала? Была ли она счастлива? Нет, нет и нет. Тогда отчего же она решила посвятить свою жизнь системе, безвременно уничтожившей ее родителей? Трудно с уверенностью утверждать, но очевидно одно: после сиротского детства она наслаждалась обретенной властью и максимальным в провинциальных советских условиях

комфортом. Начитанная, с прекрасной памятью, она переделала пушкинское «На свете счастья нет, но есть покой и воля» на «есть комфорт и воля». Под «волей» Сталина подразумевала одновременно и свою относительную свободу, и стальную силу воли, благодаря которой эта свобода была достигнута.

И всё бы хорошо, если бы только не постоянные тревожные гудки товарных и пассажирских составов, которые были слышны в любом районе города; этому тоскливому «У-у-у-у-у!!! В Москву-у-у!» вторило всё ее существо, и ничем этого воя было не унять и не усмирить. А когда мимо проносились поезда дальнего следования, никогда не останавливающиеся на Н-ской городской станции, Лине казалось, что вот точно так же проносится мимо нее что-то настоящее. Что именно – она ответить не могла, ведь вроде всё есть: дом – полная чаша, весь город у ее ног, подрастает обожаемый сын. «Неужели и он, ее Гоша, застрянет здесь на всю жизнь», – задумывалась она и тут же отвечала себе, что костьми ляжет, продаст душу дьяволу, чтобы избежать для сына такой участи.

III

Единственная дочь маститого советского писателя Виталия Кронина, Дарья, училась на факультете журналистики МГУ и мечтала освещать новости культуры на телевидении. Летом после третьего курса она решила поработать на международном конкурсе Чайковского – поднабраться профессионального опыта и взять интервью у участников и будущих победителей. Знакомые отца помогли ей получить аккредитацию и обещали помочь с публикацией в журнале «Музыкальная жизнь». Дарья Кронина влюбилась в Георгия Бодрова с первого взгляда и без памяти, когда он – статный, с кудрями до плеч – исполнял моцартовский дуэт Дон Жуана и Церлины «La ci darem la mano». Его партнершей была молоденькая и субтильная Лариса Михайленко, сопрано из Киева, тоже победительница конкурса.

Ручку, Церлина, дай мне,
В домик со мной пойдем.
Все сохранится в тайне,
Мы будем там вдвоем...

– пел молодой красавиц-баритон, и Дарья готова была выскочить на сцену и отдать ему и руку, и сердце, оттолкнув нерешительную Церлину. Откуда он, такой загадочный и нездешний? Сама Дарья в то время была умненькой толстушкой с хвостиком и в больших очках. Георгий поначалу не обратил на нее никакого внимания. Она сильно проигрывала большинству ярких столичных девиц в его богемном окружении. Но Даша была девушкой целеустремленной, посему,

влюбившись по уши и договорившись с Георгием о двух интервью – проведенных, кстати, столь профессионально, что ему и в голову не пришло заподозрить романтический интерес интервьюирующей, – она вежливо попрощалась и сказала, что уезжает из Москвы на месяц, но с удовольствием придет на его концерт осенью. «Какая милая, образованная девушка», – подумал Георгий. Не более.

Дома, внимательно оглядев себя в антикварное зеркало в прихожей писательской квартиры, Даша всплакнула, потом позвонила знакомому окулисту, который уже предлагал ей попробовать контактные линзы, и назначила консультацию. Затем села на вырезанную из привезенного отцом иностранного журнала «Космополитен» двухнедельную диету. После двух недель самоистязаний, она сбросила восемь килограммов и укатила на месяц на юг, чтобы отдыхать, плавать и загорать, а главное, сбросить всё еще мешающей ее самоуверенности лишний вес.

Тем временем в летнем августовском номере «Музыкальной жизни» вышла ее статья о победителях вокального Международного Конкурса имени Чайковского. Для Георгия это была первая серьезная рецензия, которую он тут же с гордостью отослал родителям. Он позвонил Даше, чтобы узнать, когда она вернется, и поблагодарить ее за публикацию и просил передать Даше, кто именно ей звонил.

Вернувшись с юга и посмотрев на список всех звонивших, Даша с удовлетворением взглянула на свое отражение всё в том же антикварном зеркале, улыбнулась и прошептав: «А теперь с Богом...» – набрала Гошин номер телефона. Они договорились встретиться через пару дней у консерватории, и Гоша, с интересом скользнув глазами по загорелой, в темных очках стройной девушке в легком бежевом в белый горошек платьице, стал поджидать Дарью Кронину с журфака МГУ.

– Здравствуйте, Георгий, – обратилась к нему девушка и сняла солнечные очки, но и тут Георгий не сразу узнал ее. – Я Даша Кронина, не узнаете?

По звуку голоса и по милой улыбке Георгий, наконец, узнал Дашу и был заметно удивлен такой метаморфозой.

– Вы... Дарья... Здравствуйте. Извините... не узнал. Вы так сильно... загорели, – нашелся он, чтобы не ляпнуть «похудели».

– Меня теперь никто не узнаёт, – отметив произведенный эффект, радостно засмеялась Даша, – давно чувствовала, что пора привести себя в божеский вид, а тут как раз каникулы и путевка в Пицунду подвернулась. Это всё море… длинные заплывы…

– Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, – засмеялся Георгий, вспомнив бодрую присказку матери, отправлявшей его, рыдающего, во всесоюзную здравницу «Артек».

В сентябре роман молодых людей развернулся со всей юношеской стремительностью. Пока родители были в Прибалтике, Даша

привела Гошу в пустую писательскую квартиру и неожиданно взяла на себя инициативу, поменявшись ролями с оперным Дон Жуаном:

Ручку, любимый, дай мне,
В домик со мной пойдем.
Всё сохранится в тайне,
Мы будем там вдвоем.

Чувства Даши были куда серьезнее, чем у ее избранника, который, несмотря на искреннюю в тот момент влюбленность, был всем своим существом одержим своей главной страстью – оперой и был совершенно не готов к семейной жизни. Сентябрьский медовый месяц в пустой квартире близился к концу и вот-вот должен был закончиться приездом родителей.

Гоша собирал свое нехитрое имущество, а Даша, глядя на него с отчаянием, как ни крепилась, разрыдалась:

– Что же теперь бу-удет? Как же я теперь, без тебя -я?!

В этот момент она была столь очаровательна с распущенными волосами, струившимися ниже плеч, столь беззащитна в своем отчаянии, что непривычный к обильным женским слезам, Георгий вдруг бухнулся на колени и предложил Дарье руку и сердце.

Дело было совсем за малым – посвятить в курс дела родителей. Гоша рассказал матери – та оживилась и отреагировала радостно, чувствуя, что главное сейчас поддержать сына, поздравить, а потом уж разобраться, что за невеста такая:

– Поздравляю, сынок. Не сомневаюсь, что ты сделал правильный выбор, и мы ее полюбим как дочь. Когда же ты нас с познакомишь?

К этому времени мать уже была в курсе, что сын пропадает в писательской квартире с той самой журналисткой, которая расхвалила его в «Музыкальной жизни». Лина торжествовала: всё складывается как нельзя лучше; вскоре после женитьбы на москвичке он получит московскую прописку, а через год у сына грядет распределение. Только бы не сорвалось, только бы они поженились, молилась она, сама не зная, к кому именно она обращается. Более того, она принялась усердно изучать творчество потенциального тестя сына: прочитала кое-что из его ранних и поздних произведений, посмотрела пару фильмов по его сценариям – и находилась в полной готовности к предстоящей встрече.

Родители невесты разделились – отец был рад и уже готовился пойти на концерт с участием будущего зятя, но мать оказала серьезное сопротивление. Она была женщиной вздорной:

– Куда ты так торопишься? – спросила она дочь, – боишься замуж не успеть? Тебе и ему надо еще доучиться, встать на ноги. – Ее смутило то, что уж слишком избранник дочери, как она выразилась,

«смазлив». «Зачем вы девушки, красивых любите, одни страдания от той любви», – крутилось у нее в голове.

IV

Георгию Бодрову было суждено стать одним из тех одаренных оперных певцов из российской глубинки, которые после распада советской империи начали покорять лучшие оперные сцены мира. Звучание его бархатного баритона, яркая «итальянистая» внешность, великолепная вокальная и физическая форма, а главное, его драматическая выразительность завоевали ему признание зрителей, критиков и коллег по «оперному цеху» (как называлось это в советские времена). Предложение ушлого английского импресарио слегка переделать его имя Георгий в «Жоржа» создало мелодичное сочетание: *Жорж Бодров.* Имя это радовало его слух и чем-то отдаленно напоминало о другом Жорже – Бизе – и полюбившейся с детства арии Эскамильо. Именно эта ария принесла Георгию первый ошеломляющий успех на московской оперной сцене, когда он (тогда еще по-русски) спел со всем – в жизни дремлющим, а не сцене искрящимся – темпераментом грузинских предков:

Тореадор, смелее!
Тореадор! Тореадор!
Знай, что испанок жгучие глаза
На тебя смотрят страстно.
И ждет тебя любовь, Тореадор!
Да, ждет тебя любовь!

Позже, уже работая на Западе с Винченцо Росси, знаменитым итальянским педагогом по вокалу, и одновременно изучая итальянский, французский и совершенствуя английский, он победно шествовал по сценам Европы и Америки с куплетами Эскамильо, спетыми с прекрасным французским произношением. И даже самые придирчивые оперные критики не могли упрекнуть Жоржа Бодрова, когда он, изящно грассируя и притопывая себе в такт ногой – обтянутая стройная ляжка! – перетянутый высоким поясом, – пел:

Toreador, en garde! Toreador, Toreador!
Et songe bien, oui, songe en combattant
Qu’ un oeil noir te regarde,
Et que l’amour t’attend.
Toreador, L’amour t’attend!

А тогда, в юности, его, студента последнего курса вокального отделения Московской консерватории, не взлюбила теща и стала методически отравлять ему жизнь. Мать Даши, Зинаида Петровна,

была праздной, попивающей женщиной, претенциозной на людях, от природы же – простоватой и даже хамоватой. Когда-то она была хорошенькой курносой блондинкой, машинисткой в Союзе писателей, и Виталий Кронин, в то время уже известный писатель, влюбился, бросил первую опостылевшую и бездетную жену и женился на очаровательной Зиночке, на двадцать лет его моложе. Вытащив свой счастливый билет, Зиночка не работала после замужества ни единого дня, родила дочь, раздобрела и утратила всё свое очарование. Она была из породы кудрявых блондинок, слегка напоминающих болонок, тонкая и нежная кожа лица которых быстро скукоживается и покрывается, как паутиной, сетью мельчайших морщин. С помощью приходящего на дом парикмахера, ей всё еще удавалась воссоздавать свои светлые кудри – увы, во всем остальном очаровательная Зиночка растворилась, как мираж, в отяжелевшем, одутловатом теле.

Когда Даша заикнулась было матери о том, что Георгию в этот выпускной год нужно создать особые условия для занятий вокалом, поскольку звучание голоса во многом зависит от состояния нервной системы, та взъерепенилась:

– Не барин, и так поживет. Въехал в такие хоромы – должен радоваться.

Когда дочь попросила денег, чтобы снять квартиру, ответ был:

– Хочешь квартиру снимать – на нас не рассчитывай. Скажи своему горлопану, чтобы шел ящики по ночам разгружать. А как другие работают по ночам, чтобы содержать семью?..

Зинаида души не чаяла в дочери, ревновала ее к зятю и даже представить не могла, что та переедет в отдельную квартиру.

– Если Дашенька переедет отсюда со своим Генацвале, я вообще никому не буду нужна, – признавалась она приятельнице. – Виктор всё время работает, то на киностудии, то где-то еще, то запирается у себя в кабинете, мы с ним почти и не разговариваем в последнее время... Только Дашенька у меня всегда и была свет в окошке, а сейчас и ее, по сути, больше нет. Оторвалась и прилепилась к этому верзиле. И что только она в нем нашла?

Приятельница на другом конце провода сочувственно вздыхала.

Георгий постоянно ощущал себя не в своей тарелке; ему нужно было распеваться и репетировать, да и хотелось иметь свой угол, чтобы матери с отцом было куда приехать погостить. Денег, которые ежемесячно присылала мать и консерваторской стипендии катастрофически не хватало. Брать деньги у жены не позволяло мужское самолюбие. Даша писала диплом, была взвинченной, к тому же она оказалась еще и страшно ревнивой, постоянно что-то подозревала. Начались ссоры, перемежавшиеся скандалами с Зинаидой Петровной. Трезвой она одолевала молодых своими дурацкими советами, а выпивши становилась задиристой хамкой. Более того, к полной неожиданности, Зинаида наотрез отказалась дать согласие на

прописку зятя. Уперлась – и ни в какую. Сама ведь была в прошлом из провинции – а тут на тебе:

– Не пропишу, и точка. Он с тобой скоро разведется, как только на ноги встанет. Я его насквозь вижу – он и женился на тебе только из-за московской прописки. А ты дура набитая, ничего не хочешь замечать.

Именно на жилищном вопросе и схлестнулись две матери, когда Лина решила позвонить Зинаиде для конфиденциального разговора, в процессе которого предложила снимать молодым однокомнатную квартиру, оплачивая пополам, пока «наши дети не станут на ноги».

– А потом, – добавила она, вполне дружелюбно и по-семейному, – мы могли бы вместе с вами купить им кооператив в Москве. Ведь Всеволод Семенович мог бы похлопотать и поставить их на очередь?

О том, что Зинаида была женщиной сильно пьющей, в то время знали только близкие. К несчастью, междугородний звонок раздался, когда она была уже пьяна, а потому агрессивна.

Зинаиду предложение Лины вывело из себя:

– Так-так-так, я чё-то не поняла: это кто это – «мы»? У нас четырехкомнатная квартира, и у дочери своя комната. Ей ничего снимать не нужно. Здесь ее родительский дом.

Вот это «у дочери, а не у молодых», сильно задело Лину.

– Я к Дашеньке отношусь, как к родной дочери, а вы, Зинаида Петровна, очевидно, даже не замечаете присутствия Гоши в вашей квартире.

– Да уж, как же, не заметишь его... – выпалила Зинаида. – От его распевок и припевок ни мне, ни Виктору нет покоя – хоть из дома беги! В ванную очередь занимаем, как в коммуналке, пока ваш сынок распевается!

– Поэтому я и предлагаю снять детям квартиру. Молодому певцу необходим благоприятный психологический климат. Вы же не захотели отдать им еще одну проходную комнату.

Услышав о «психологическом климате» и проходной комнате, Зинаида окончательно распоясалась:

– Слушай, ты там привыкла у себя в горкоме своем распоряжаться, вот и распоряжайся. Поняла? А в мою жизнь не лезь. И не учи меня, как мне жить в собственной квартире. Привыкли, мать вашу, всех уплотнять! В проходной комнате у меня гостиная, так что губы не раскатывай!

На минуту Лину выбило из колеи, но она и не с такими справлялась.

– Вы, Зинаида Петровна, очевидно *опять* пьяны, – скрыв эмоции, отпарировала она, продемонстрировав, таким образом, свою полную осведомленность в семейных тайнах. – Я не желаю разговаривать с вами в таком тоне. – И бросила трубку.

Зинаида поматерилась, выпила еще рюмочку-другую и уснула, в

чем была, прямо в столовой, развалившись на диване из карельской березы.

Лина затаилась и начала вырабатывать новую тактику, ни слова не сказав о разговоре ни Гоше, ни невестке. Даша сетовала, что у Георгия что-то с голосом, очевидно, на нервной почве от перенапряжения, а через пару недель, у него случился желудочный приступ. Диагностировали язву желудка. Это в 23 года! Вот до чего довела сына писательская семейка.

А где же при всем при этом был сам маститый писатель Виталий Кронин? С творческой точки зрения, он давно уже буксовал, с финансовой и общественной всячески процветал. Писал душещипательные мелодрамы и повести из жизни научной и творческой советской интеллигенции, был неплохим востребованным сценаристом. Жену свою он старался всячески избегать, не выносил семейных сцен, а она становилась всё задиристей и всячески провоцировала конфликты. Были у него и другие личные причины редко бывать дома.

V

Телефонное столкновение произвело тягостное впечатление на Сталину. Больше всего ее угнетала не замаячившая в недалеком будущем возможность развода, а невозможность московской прописки для сына, без которой, как ей казалось, не видать ему столичной оперной сцены как собственных ушей... Ни она, ни семья Кроминых не осознавали тогда калибра таланта Георгия Бодрова. В то же самое время, ни у кого из консерваторских корифеев-педагогов, работавших с Георгием, не было ни малейших сомнений в том, что его пригласит один из ведущих музыкальных театров Москвы – с пропиской или без.

Но у материнского страха глаза велики. Сталина так разнервничалась, что даже начала попивать тазепам, чтобы бороться с всепоглощающей, биологической тревогой за сына. Именно в этот момент Георгий сообщил ей, что теща наотрез отказалась прописать его у Кроминых. Об этом во время очередной стычки с зятем сильно перебравшая Зинаида оповестила его сама, порушив все мосты. Дергая ручку туалета, где находился зять, и теряя терпение, она пьяно орала:

– Долго ты там еще будешь заседать? Заседания у тебя, видать, в крови! Эй, ты! Слышь? Московскую прописку в этой квартире ты, парень, получишь только через мой труп. Так что ты и твоя политически сознательная мамаша просчитались! Ха-ха-ха – загоготала она, нетвердо стоя на ногах и всё еще дергая ручку. – Ты тут временный жилец! Ха-ха-ха!

Не дождавшись ответа, превозмогая головокружение, Зинаида поплелась в гостиную и плюхнулась всё на тот же диван из карельской березы. Отперев дверь, Георгий молча прошел к себе в комнату и стал собирать вещи. Даше он оставил сдержанную записку, о том,

что переезжает к приятелю, так как больше не в силах находиться под одной крышей с Зинаидой Петровной.

Узнав об этом происшествии, Сталина посчитала, что внезапное бегство из писательской квартиры потянет за собой неизбежный развод и шлейф нежелательных для карьеры и репутации сына сплетен. Она решилась на атаку как лучший способ защиты своего потомства. От кого же она надеялась получить защиту? – Конечно же, от системы, частью которой она являлась. Удивительным является тот факт, что для борьбы с недругами в ход были пущены классические методы сталинской эпохи: Сталина решила взять на себя «грех во спасение» сына, написав печатными буквами анонимку, – и отправила ее в Союз писателей, а заодно и в Московский городской отдел внутренних дел. Поразмыслив и уточнив, куда лучше всего посылать жалобы в новые перестроечные времена, Сталина решила послать копию еще и в общий отдел ЦК КПСС на имя самого Михаила Горбачева. Понимая, как работает партийная иерархия, она быстро смекнула, что писательская партийная организация может всё замять, чтобы выгородить *своего*, в Городском отделе МВД могут затянуть – они сами еще не уверены, какова их перестроечная функция и в какую сторону дуют новые ветра перемен, а уж в ЦК КПСС точно разберутся! И Сталина решительно подписала конверт: *Куда: Москва, пл. Ногина, ЦК КПСС, Кому: Генеральному секретарю тов. Горбачеву М.С.* В графе «индекс предприятия связи» и «адрес отправителя» значился адрес всем известного писательского дома, а вместо фамилии отправителя стояла подпись «группа жильцов». На конверте с доносом была картинка, на которой был изображен круг, а в кругу деревья, охваченные огнем, – с надписью: «Будьте осторожны в лесу с огнем!» Казалось бы, просто картинка, которая при других обстоятельствах ничего особенного и не означала бы – так, реклама противопожарной безопасности и не более того, но для нашего повествования этот конверт содержит в себе роковое предначертание.

Донос гласил:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Во времена, когда благодаря вашей государственной политике перестройки и гласности вся наша страна с энтузиазмом смотрит в будущее, непонятно куда именно смотрит руководство Союза писателей и Союза кинематографистов. Они выдвинули на Государственную премию писателя и сценариста Виталия Кронина – аморальную, антисоветски настроенную личность. Некоторым жильцам нашего дома хорошо известно, что Кронин вступил в партию только для продвижения в карьере, и был втянут несколько лет назад в антисоветскую организацию. Его завербовал профессор из США, Бил Николаефф, который встречался с ним под предлогом того, что интересуется его неопубликованными антисоветскими

пасквилями. Кронин – двуличный человек, он пишет и для нашей страны, и в стол для публикаций за рубежом (сделайте обыск и проверьте). Писатель Кронин часто бывает на писательских конгрессах и партийных съездах и после этого информирует ЦРУ, о чем говорит и думает советская элита, – шпионит. За свою деятельность он получает доллары, часть которых ему откладывают на счет в швейцарском банке, а часть которых он через связи во Внешторге незаконным путем обменивает на чеки. При получении чеков, он дает взятку работнику Внешторгбанка в размере 100 чеков. Если поймаете его на этом, заодно наведете порядок и во Внешторгбанке. Совсем распустились, ничего не боятся. Страна перестраивается, а они спекулируют и шпионят.

Жильцы нашего дома осведомлены и о том, что Кронин завел себе молодую любовницу, на 35 лет его моложе, поэтессу-эротоманку Олесю Черемушкину. Проживая в престижном писательском кооперативе, имеет жену, Зинаиду Бодрову, в прошлом машинистку Союза писателей, а ныне алкоголичку и спекулянтку. Гражданка Бодрова активно спекулирует валютой – торгует чеками, заработанными ее мужем, продавая их в два раза дороже, 1:2, или перепродает купленные в 'Березке' дефицитные товары через своих знакомых – писательских жен. В то время, когда в нашей стране развернулась борьба с нетрудовыми доходами, такая деятельность в стенах престижного писательского дома недопустима и требует решительного искоренения.

Все эти противозаконные операции спекулянтка Бодрова проворачивает по телефону. Адреса знакомых спекулянток можно узнать, подключившись к ее телефону. По нашей информации, она тоже втянута в антисоветскую организацию и часть заработанных денег она вносит туда. Ее там учат конспирации. Если поймать ее на спекуляции чеками, она расколется и всё расскажет.

Михаил Сергеевич, наши правоохранительные органы обязаны пресечь такого рода противозаконную деятельность в центре Москвы.

Группа жильцов писательского кооператива, пожелавшая остаться неизвестной в целях предосторожности.»

Само собой разумеется, ни словом ни полсловом, Сталина не обмолвилась о доносе ни одной живой душе. Тайком от сына и мужа, сообщив, что едет в Куйбышев на совещание, она не поленилась съездить в Москву и отправить злосчастные письма с Главпочтамта на улице Горького.

Донос был состряпан хитро, языком пасквилей, жалоб и доносов Сталина владела в совершенстве, поскольку по долгу службы, разбиралась с анонимками в ее собственной вотчине и хорошо знала однообразные, неустаревающие клише этого жанра. Страшен был этот донос тем, как ловко правда была переплетена с кривдой. Цель была

наказать обидчиков сына, внести раздор в писательский дом, который не принял как должно ее мальчика; развести родителей, разменять при разводе писательскую квартиру, и, ослабив влияние Зинаиды, любыми способами прописать сына в Москве. Никто так и не узнал, кем именно были написаны доносы. Все три письма были посланы как раз в то время, когда планировались заседания Комитета по Ленинским и Государственным премиям. Посему подозрения упали на завистников – злопыхателей из киношно-писательской среды, которые хотели любыми способами лишить Виталия Кронина престижной премии.

Но времена были другие, магазины «Березка» уже доживали свой век, а в январе 1988 года правительство объявило о ликвидации торговли за чеки. Шла перестроечная борьба с привилегиями за социальную справедливость. Знаменитого писателя с супругой вызвали в московские органы, показали им анонимное письмо, спросили, нет ли у них врагов и не подозревают ли они кого-то. Как стеклышко трезвая в этот день Зинаида, прочитав про поэтессу эротоманку Олесю Черемушкину тридцати лет отроду вдруг притихла и вопросительно взглянула на мужа. А тот возьми да скажи прямо перед представителями внутренних органов: «Да, Зинаида! Что правда, то правда. Я виноват перед тобой и хочу попросить у тебя... – «прощения» надеялась услышать Зинаида, но вместо этого прозвучало совсем другое: – попросить у тебя развода». Зинаида Бодрова оказалась в больнице с сердечным приступом, била на жалость, рыдала, валялась в ногах, причитала, проклинала, обещала бросить пить, но всё напрасно. Виталий был непреклонен. Молодая Олеся была его последним шансом на счастье, его лебединой песней. Что касается Союза писателей, то с Государственную премией его в тот год обошли – ждали разбирательства в иных инстанциях и указаний свыше, потому просто пожурили за внебрачную связь с молодой поэтессой. Однако узнав о серьезности намерений в этом вопросе, отстали.

Ушлому маклеру удалось с большой доплатой разменять четырехкомнатную писательскую квартиру на три маленькие. Гошу прописали в однокомнатную с Дашей («Победа!» – торжествовала Сталина), Кронина с молодой женой в двухкомнатную, а безутешную, скорбную, резко бросившую пить, исхудавшую и седую как лунь Зинаиду Петровну – в двухкомнатную, правда, крошечную.

И все-таки, откуда вся подноготная семьи Крониных была так хорошо известна Сталине? За первый год жизни сына в писательской семье, ей удалось разузнать от него, от невестки и от самого Кронина, с которым они по-семейному несколько раз ходили в рестораны, многие детали московского писательского быта в закатные советские годы. Поскольку несколько ранних романов и повестей Кронина часто переиздавались за рубежом как яркие примеры хрущевской

оттепели, с наступлением перестроечных перемен интерес к ним повысился. Некоторые ранние произведения Виталия были переведены на иностранные языки, и он действительно получал переводы через Внешторгбанк, которые затем переводились на сертификаты. Эти «чеки» перепродавались и покупались между своими, что с юридической точки зрения считалось нелегальными валютными махинациями. Сама Сталина не раз с благодарностью принимала подарки от заботливой и щедрой на первых порах невестки, купленные в тех же «Березках». Из турпоездок за границу, организованных Союзом писателей для писательских жен, Зинаида привозила одежду и косметику на продажу, – так что за спиной у мужа она свои рублей двести пятьдесят в месяц «зарабатывала», половину пропивала, остальное откладывала на собственную сберегательную книжку «на черный день».

Иностранные слависты нередко интересовались творчеством Кронина – и одним из них действительно был профессор из США Билл Николаефф, решивший заняться переводом нескольких рассказов Кронина, написанных «в стол», и убеждал его, что пришло время, отрыть потайные ящики и публиковать созданное «от души».

– Это новая оттепель, Виталий. Она продлится недолго. Чего вы опасаетесь? Публикуйте! Боитесь здесь, давайте опубликуем в Америке.

– Ну что вы говорите, Билл, дорогой. Если я опубликую это в Америке, мне полный каюк!

Седовласый, подтянутый Билл был потомком белых эмигрантов первой волны и превосходно понимал значение слова «каюк». Кронин полностью доверял этому русскому американцу, своему ровеснику. Так что и Николаефф, попавший в донос, был реальной фигурой. Кронин и сам на семейных обедах с родителями зятя, разомлевший от выпитого и окрыленный комплиментами Сталины его писательскому дару, рассказывал о том, что вот-вот решится опубликовать многое из написанного «в стол», по совету де американского профессора, высоко ценившего его творчество. Вот и попался!

Что касается молоденькой поэтессы, то первым о тайной жизни тестя узнал Гоша, столкнувшись с парочкой в арбатских переулках в кооперативном ресторане «Белый лебедь». Виталий при виде зятя покраснел, попросил его выйти в вестибюль и, поговорив с ним, как мужчина с мужчиной, умолял ничего не рассказывать Дашеньке и Зинаиде Петровне. Гоша и не рассказал, не хотел новых скандалов, но в один из приездов матери в Москву, смеясь, обмолвился о встрече с тестем – дескать, «седина в бороду, бес в ребро, ты, мам, там за папой приглядывай и надолго в санатории не уезжай». Посмеялись. Гоша полностью доверял матери.

После описанных событий, Даша и Гоша прожили вместе в отвоеванной однокомнатной квартире всего лишь года два. Союз их оказался недолговечным и вскоре распался окончательно. Георгию

казалась, что Даша лишь тормозит развитие его карьеры. Она докучала ему своими участившимися сценами ревности: могла неожиданно, без предупреждения, появиться на репетиции или примчаться в гостиницу, где он жил во время гастролей. Выслеживала его после спектаклей, прячась в подъездах, когда он в толпе поклонниц с букетами цветов выходил со служебного подъезда музыкальных театров или концертных залов. Вскоре Георгий стал увлекаться сценическими партнершами и после очередного скандала оставил Дарью Кронину во второй раз, без малейшего сожаления, и на сей раз навсегда.

VI

Перестроечные годы, с их дефицитом и свежим воздухом перемен, поначалу мало повлияли на приволжскую повседневность, разве что стали расти как грибы кооперативные предприятия, и горкому партии приходилось делать вид, что они всей душой поддерживают самостоятельную торговлю. В пятьдесят пять, летом 1990-го, Сталина Георгиевна ушла на заслуженный отдых, точно за год до развала империи, которой она прослужила несколько десятилетий. Она была одной из последних работников Н-ского горкома партии, кто успел уйти на пенсию со всеми советскими почестями и щедрыми (по сути, никому не нужными) подарками – какими-то аляповатыми кусками гранита с дифирамбами местного рифмоплета из Дома культуры.

А тут – на тебе: в конце 1991 года Борисом Ельциным был подписан закон о приватизации, а вскоре и об ускорении приватизации. Поняв, что жизнь предоставляет ей уникальный шанс, Сталина с головой ухнула в водоворот событий. Поскольку в провинции все предприятия и натуральные ресурсы приватизировались местными партийными или комсомольскими лидерами, репутация и деловые качества Сталины Бодровой позволили ей стать равноправным участником раздела местных натуральных ресурсов: свой проверенный человек, скучает на пенсии и полна сил и идей. На собрании местной верхушки вопрос был поставлен цинично и прямо: давайте разбираться, товарищи, вернее, дамы и господа, какие натуральные ресурсы в нашем родном Поволжье и в округе нашего Н-ска? – лесные, водные, земледельческие, рекреационные и, конечно же, натуральные – нефть, газ и поваренная соль, – кого из вас что интересует?

– Я беру на себя рекреационные, – сразу же заявила наша героиня. – Начнем незамедлительное строительство нового комфортабельного санатория на месте всем вам известной развалившейся турбазы «Волжский утес». Пляжи прекрасные, леса вокруг. Несколько акров прибрежной и лесной полосы предлагаю разбить под дачные участки. Скоро сюда потянутся и москвичи, и самарцы, помяните мое слово. Рекламу проекта и наглядную агитацию я возьму на себя.

Баба – ума палата! Рекреационный проект, возглавляемый Сталиной, стал быстро приносить завидные доходы. Участки были

быстро распроданы местным ушлым предпринимателям под дачи, начали строительство санатория на берегу Волги и новой гостиницы. Вырученный капитал крутился, распределялся между своими и оседал по законам шального русского капитализма. Сталина и ее горкомовские соратники, а ныне партнеры по бизнесу, стали стремительно богатеть.

Как только Сталина прослышала о новых законах на рынке недвижимости и о неожиданно появившейся возможности покупать и продавать квартиры в Москве без наличия прописки, она поначалу не могла поверить своему счастью. Теперь уже точно пару лет – и в Москву-у-у! Дело ведь теперь только в деньгах, Бог ты мой! Неужели нерушимая стена, делящая всех на москвичей и иногородних, неожиданно рухнула, как незадолго до того Берлинская?! Пожалуй, разрушение этой прописочной системы было для Сталины поважнее, чем развал всего Советского Союза.

В один прекрасный день Сталина, редко посвящавшая мужа в свои дела, решила поделиться с ним планом действий.

– Паш, мой бизнес приносит хороший доход. Еще годок-другой – и ты сможешь уйти на раннюю пенсию по семейным обстоятельствам, и мы с тобой переедем в Москву. Поближе к Гоше. Там сейчас так интересно! Жизнь бурлит. Понимаешь, Паша, жизнь!

Беда в том, что Пал Иваныч уходить на раннюю пенсию и переезжать в Москву, где жизнь бурлит, наотрез отказался и, как всегда случалось при разногласиях с супругой, подхватил свой аккордеон, закрылся в кухне, выпил рюмку-другую горькой рябиновой настойки и затянул протяжно, с чувством: «Из-да-ле-ка до-о-лга-а, те-чет ре-ка Во-о-лга-а!» –

Здесь мой причал, и здесь мои друзья.
Всё, без чего на свете жить нельзя...

В этих пропетых им словах была правда, поскольку корни его уходили глубоко в здешнюю землю. Здесь, на тихом деревенском кладбище были похоронены его родители, все его предки. Здесь у него, в отличие от супруги, были преданные друзья, всегда готовые прийти на помощь.

– Ну и черт с тобой! Сиди здесь до смерти, в этой дыре. Но на меня на старости лет не рассчитывай, – разозлилась Сталина. – Или ты переезжаешь со мной в Москву, или мы с тобой полюбовно разбегаемся в разные стороны. Выбирай!

Через пару месяцев после этого разговора Пал Иваныч совершенно неожиданно скончался от обширного инфаркта, и овдовевшая Сталина, искренне поплакав и попереживав, поняла, что в Н-ске ее никто и ничто больше не держит.

Георгий находился на зарубежных гастролях и не успел прише-

теть на похороны отца. Появившись отметить с матерью сорок дней, он неожиданно признался ей в том, что не видит для себя достойного оперного будущего в России и мечтает переехать за границу на постоянное место жительства. Куда точно, он пока не был уверен, но скорее всего в Лондон. Заманчивые приглашения от иностранных импресарио он стал получать всё чаще и чаще.

Для Сталины эта новость прозвучала как гром среди ясного неба:

– А я ведь, Гошенька, планирую к тебе перебраться поближе, в Москву. У меня ведь, кроме тебя, никого нет, никого... Гоша! – и вдруг впервые на глазах у сына разрыдалась. Тот бросился ее успокаивать и утешать.

– Мамочка, родная, только не плачь! У меня ведь в Москве и жилья своего нет, я всё еще снимаю крышу над головой, ты же знаешь.

– Так я, сынок, сама квартиру куплю... Я не буду сидеть у тебя на шее, – сквозь слезы проговорила мать. – А потом мы и тебе квартиру купим, где только твоей душе будет угодно. Хочешь в Москве, а хочешь в Лондоне.

Не придав серьезного значения услышанному, сын подумал, что это мать от горя. Заговаривается. Откуда такие деньги? Георгий мало интересовался ее финансовыми делами и не предполагал, какие суммы спрятаны в потайном сейфе, искусно вмонтированном за румынской стенкой в двух шагах от него. Посему он ответил утешительно:

– Хорошо, поступай, как считаешь нужным. Тебе виднее.

Итак, чтобы избежать налоговых инспекций и рэкетиров, от которых уже не было спасения и в Н-ске, Сталина решила хранить деньги на новую московскую жизнь не в местном банке «Волжанка», что занял помещение бывшей Сберегательной кассы на улице Ленина, ныне Самарской, не в офшорных компаниях на Кипре, а в потайном сейфе в собственной квартире. Еще при жизни мужа, воспользовавшись его недельной поездкой с друзьями на охоту и рыбалку, она собственноручно прорубила нишу в стене за верхней полкой книжного шкафа, (одного из звеньев пресловутой румынской стенки) и вмонтировала туда сейф с кодом от будущего московского счастья под прикрытием собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского в тридцати томах. Сейф этот она привезла из Куйбышева на собственной машине, внеся его в дом под покровом ночи. О существовании тайника с сокровищами не знала ни одна живая душа.

По ее предварительным подсчетам, квартира в Москве в те времена должна была обойтись ей около ста восьмидесяти – двухсот тысяч долларов, и эта сумма давно уже лежала в заветном сейфе. Сталина решила поселиться в Крылацком, чтобы мимо протекала река, и воздух чистый, и парковая зона, и недалеко от метро. Зачем ей

центр с его загазованностью, когда она привыкла к Волжским просторам? Следующей целью было накопить на евроремонт. Чтобы всё, как у москвичей. Евроремонтная сумма в заветном сейфе росла как на дрожжах. Хотелось также иметь солидную сумму денег для безбедной старости в Москве, а то и в Лондоне, чтобы не стать материальной обузой сыну. Сколько надо скопить для достойной пенсии в постоянно меняющемся экономическом климате, Сталина не точно представляла, но решила, что миллиона долларов должно хватить на некоторое время. Не до ста же лет коптить небо, в самом-то деле? К тому же, она совсем не торопилась оставлять свой строительно-рекреационный бизнес. Партнерство со старинными партийными друзьями не приносило ей до поры до времени никаких хлопот. Все покрывали друг друга, заметая следы, разрабатывая и осуществляя сложнейшие махинации и манипуляции с продажей дач и земельных приволжских участков.

И тут ее осенило. А что если начать собственноручно давать денежные ссуды под проценты, чтобы ускорить процесс накопления и переселения?! Все же вокруг хотели воспользоваться благоприятным моментом в истории отечества, чтобы вложить, перезаложить, украсть, перепродать. Поначалу Сталина совершала сделки только с хорошо проверенными лицами, но круг ее клиентов всё больше и больше расширялся, и по городу поползли слухи о ее подпольной финансовой деятельности «на стороне» от официальной рекреационной. Она брала у клиентов под залог драгоценности, которые могли бы поместиться в заветный сейф, и одалживала им различные суммы под десять процентов на короткое время – год-два, не более, и требовала при этом регулярной выплаты. Эдакий частный банк. Поначалу всё шло довольно гладко, и она планировала в какой-то момент остановиться, но вошла в азарт и точно так же, как в прошлом ее отец, Георгий Атарович Гонгадзе, испытывал некое болезненное наслаждение от опасности подпольной революционной деятельности, Сталина получала удовольствие от тайных сделок. Детали ее деятельности не были точно известны, но пару раз она получила странные телефонные звонки с угрозами. Однажды с ней встретился один из местных авторитетов, только что вышедший на волю Костя Кучеров, по кличке «Цыган», в прошлом ученик Пал Иваныча.

– Сталина Георгиевна, о вас тут, я слышал, многие судачат. Будьте поосторожнее. Я предлагаю вам надежную крышу.

– Крышу, а на каких условиях? – поинтересовалась Сталина. Пару дней назад у нее уже был нелицеприятный разговор с представителем местных органов внутренних дел, предложившим поговорить без свидетелей об общих коммерческих интересах.

– Мне ничего от вас взамен не нужно, – ответил Костя Кучеров. – Пал Иваныч был моим любимым учителем. Золотой человек. Эх... жаль, что помер. Не удалось ему меня направить на путь истинный,

хоть он старался. Я ему многим обязан. Он ведь моей матери помогал после того, как меня загребли.

– Я об этом ничего не знала, – удивилась Сталина, не первый раз после кончины супруга узнавшая о его тайной от нее благотворительной деятельности.

Увы... Сталина не успела позаботиться о надежной «крыше» над головой. В тот роковой день она сама открыла железную, за семью засовами, дверь убийце, и следствие понимало, что она была хорошо знакома с посетителем и ждала его. Кофейный столик в гостиной был накрыт на двоих, в одной хрустальной вазочке лежало печенье «курабье», в другой – фрукты с местного рынка. Румынская стенка с сейфом была полностью выпотрошена, сейф взломан с помощью электродрели, иностранная валюта и драгоценности были украдены, и все списки должников Сталины-процентщицы бесследно исчезли. Тридцать томов Достоевского были сложены на полу тремя стопками.

Поначалу тревогу подняли соседи по лестничной клетке: почувствовав сильный трупный запах, позвонили в милицию. Обезображенную Сталину нашли в кресле с простреленной головой возле столика с подгнившими фруктами и печеньем. Вокруг летали мухи, форточка была приоткрыта, стоял июнь. Медэкспертиза заключила, что огнестрельные ранения были совершены из пистолета «Макарова» с глушителем. Лина скончалась на месте от трех огнестрельных ранений. Контрольным четвертым выстрелом киллер прострелил ей голову, обезобразив лицо до неузнаваемости.

Поскольку все дела она обсуждала по телефону, у молодого смышленого следователя Дмитрия Петренко моментально возникло подозрение, что телефон ее прослушивался и что прослушивать личный телефон могли только представители внутренних органов… Более того, при осмотре квартиры дотошный следователь обнаружил то самое прослушивающее устройство, ловко вмонтированное в телефонный аппарат. О том, кто именно – вернее, какая организация могла позволить себе подобные методы слежки, у следователя не было никаких сомнений.

Но как ему поступить, когда дома два малыша – четырех и двух лет – и беременная жена? Жизнь и безопасность любимых, беззащитных людей – или профессиональная этика? Молодой следователь прекрасно осознавал, что его решение повлияет не только на его жизнь. «Имею ли я право занести меч над их головками», – думал он, нервно куря одну сигарету за другой и глядя с балкона через тюлевую занавеску на округленные формы жены, читающей русские народные сказки сонной младшей дочке и внимательно слушающему сыну.

В результате, по делу об убийстве гражданки Бодровой арестовали именно Цыгана, ученика Пал Иваныча, которого соседи видели возле дома за пару дней до убийства. Однако через несколько месяцев безуспешного и сильно запутанного следствия Цыган был выпу-

щен на свободу за отсутствием улик и состава преступления. Было доказано, что в момент убийства он находился в Тольятти, где покупал себе новую машину, что и было подтверждено свидетелем. Проблема заключалась в том, что каждый виток в расследовании преступления тянул за собой ниточку, которая начала разматывать клубок местной борьбы за власть и экономические сферы влияния между мафиозными структурами, городской верхушкой и внутренними органами.

Насильственная смерть матери произвела неизгладимое впечатление на Георгия. Отпев арию шута Риголетто «Cortigianni, vil razza dannata!» – «Куртизаны, исчадья порока!» из одноименной оперы Джузеппе Верди на концерте звезд мировой оперы под открытым небом в Экс-ан-Провансе, он ответил на междугородний телефонный звонок, увидев код родного Н-ска. Представитель Н-ского Управления внутренних дел сообщил ему о трагедии, выразил искренние соболезнования и попросил незамедлительно приехать в Н-ский морг для опознания тела пострадавшей. «Как убита?! Как в Н-ский морг? Она же собиралась на днях ехать в Москву?! Она же квартиру сейчас ищет... Кто это говорит?», – растерянно бормотал он.

Всё остальное происходило, как в ночном кошмаре. Георгий онемел и мало понимал, как добрался до Н-ска. Кто-то помогал, кто-то сочувствовал. Его агент и импресарио немедленно уладили всё с выступлениями, объявив о семейной трагедии, – чем вызвали повышенный интерес прессы к персоне Жоржа Бодрова. Коллеги-певцы не могли поверить в услышанное и допытывались деталей:

– Ох, эта постсоветская Россия! – сокрушались они.

Когда в морге Георгий увидел изрешеченный пулями трупп матери, ему стало плохо, от запаха в морге сильно закружилась голова, и мать стала куда-то уплывать. Его вырвало, и эта физиологическая реакция привела его в чувство, вернув четкость сознания. На похоронах он как мог крепился, прикрывая опухшие глаза темными очками, и как только гроб был опущен в землю, незамедлительно уехал из Н-ска. Уехал навсегда, поручив своему адвокату заняться продажей квартиры и передачей вырученных денег в местный интернат.

Несмотря на отчаяние и беспомощность Георгия и все его попытки на расстоянии докопаться хоть до какой-то правды, его адвокат посоветовал – в целях его же, Жоржа Бодрова, собственной безопасности – оставить всё как есть, чтобы не запятнать имя матери.

– Мой вам совет, закажите по ней молебен, как по невинно убиенной, – и поезжайте куда-нибудь отдохнуть при первой же возможности. Вас ждут ваши новые роли, ждет ваша публика. В конце концов, судя по тому, что мне удалось узнать, всё, чего хотела ваша мама, – это вашего успеха. Вот, кстати, ее папка, которую мне удалось получить у следствия, – здесь собраны рецензии на ваши выступления и много фотографий. Говорят, она этим жила.

Несмотря на столь драматическое развитие событий, жители Н-ска гордятся успехами своего земляка и только что назвали местный Дом культуры его именем. Известный во всем мире своей благотворительностью, Жорж Бодров пожертвовал солидную сумму денег на строительство Н-ской музыкальной школы, которой так же собираются присвоить его имя.

Интернетовский поиск и Википидия представляют подробную информацию о том, как складывается дальнейшая личная и творческая судьба Жоржа Бодрова. В настоящее время он проживает в Нью-Йорке и Лондоне, женат на красавице испанке по имени Кармела Мартинес-Бодрова, художнице по костюмам, и имеет троих детей от этого, судя по всему, счастливого брака. Стоит только нажать на слово *картинки*, чтобы увидеть, что Кармела воистину очаровательна и смотрит на Жоржа с обожанием. Жители Н-ска, хорошо помнящие Сталину Георгиевну, утверждают, что Кармела – копия Лины в молодости, – бывает же такое! В интервью Кармелы, которая уже неплохо говорит по-русски, она рассказывает о том, что на некоторое время решила пожертвовать собственной карьерой ради семьи и карьеры мужа.

Несмотря на то, что в некоторых статьях русских и зарубежных критиков проскальзывает информация о том, что Жорж Бодров пережил личную трагедию – насильственную смерть любимой матери, интернет не предоставляет никакой информации о жизни и деятельности Сталины Бодровой. При поиске, связанном с ее именем и названием города ее проживания, следует лишь один ответ: «Не найдено». Никакой информации об убийстве тоже не удается отыскать. По непонятным причинам, информация о работниках Н-ского горкома партии в советское и раннее постсоветское время также не доступна пользователям интернета.

Через два года после гибели матери, Жорж Бодров получил приглашение от художественного руководителя Нью-Йоркской Оперы Метрополитен исполнить главную роль в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Жорж с сердечным трепетом принял это предложение. После премьеры критики отмечали глубину и трагизм исполнения и необычайное вокальное мастерство знаменитого баритона.

Достиг я высшей власти.
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей измученной душе!

– пел царь Борис, напряженно глядя в темноту зрительного зала, как бы силясь увидеть в нем кого-то, только ему ведомого.

И не было пощады!
Страшная рана зияет,

Слышится крик его предсмертный...
О, Господи, Боже мой!

Роль Бориса Годунова принесла Георгию несколько новых завидных контрактов с Парижской Оперой Гарнье и Венской Государственной оперой и способствовала его триумфальному восхождению на вершину современного оперного Олимпа. В многочисленных интервью господин Бодров признается, что именно с «Бориса Годунова» началась его страсть к музыке, вспоминая о том, как мать привела его, десятилетнего, в Большой театр. Несмотря на вопросы дотошных журналистов, он наотрез отказывался обсуждать детали ее гибели, требуя уважения к его *personal privacy,* лишь добавляя при этом, что в конце двадцатого века его родной город Н-ск был охвачен золотой лихорадкой, создавшей криминальную атмосферу. Это объяснение более ли менее удовлетворяет назойливых журналистов.

Бостон

Надежда Ажгихина

Детский сад

Так и не сказала, умирая, кто он был. Отец настаивал: с медицинской точки зрения, это очень важно знать – некоторые болезни передаются только по мужской линии, через поколение, но наука идет вперед, можно принять превентивные меры…

Слушала, как всегда, спокойно и сосредоточенно. Разомкнула рот, четко произнесла: «Не помню». И закрыла глаза.

Не захотела. Ушла молча.

...Я смотрела на ее сжатые губы, на посмертный макияж, который ее сделал неожиданно почти молодой – она вообще не выглядела в гробу девяностолетней старухой, сохранила какую-то собранность, как будто сейчас очнется и снова будет всеми руководить, давать указания... Странно смотрелись православная лента на лбу и иконка, которую положили в ногах (я не помню, в какой момент иконка у нее появилась – маленькая, почерневшая от времени). Активистка, атеистка, неутомимая командирша, она как будто уносила с собой что-то очень важное – важнее, чем даже имя моего деда, чем то, о чем мы не успели с ней поговорить… Поняла, что никогда ее на самом деле не знала.

О том, что мой дедушка Анатолий Васильевич был не просто горным инженером, а сыном управляющего шахтами Михельсона, которому до революции принадлежали копи не только Анжеро-Судженска, но и весь Восточно-Сибирский угольный край, мне рассказал бабушкин брат, дядя Миша.

Я жила в подмосковном поселке с бабушкой, ходила в четвертый класс местной школы и постоянно болела. Дедушку недавно похоронили, и сибирские бабушкины родственники всю зиму приезжали проведать и помянуть, гостили подолгу.

Их моя мама почти ненавидела: ей приходилось без конца сервировать, убирать, мыть, а рано утром бежать на электричку, чтобы успеть до сирены на проходной в свой НИИ около Курского вокзала. Бабушка любила гостей, вдохновенно угощала, пекла пироги, лепила пельмени, заправляла квашеную капусту луком, выращенным на подоконнике, и вечером уходила спать, оставляя полную раковину грязной посуды. У нас тогда уже была газовая плита, но колонку еще не установили, и маме приходилось греть воду в огромной кастрюле.

Как-то утром, когда бабушка побежала на партсобрание поселка, дядя Миша и рассказал, что мой дед был – «фабрикант», что его аре-

стовали, когда в треке взорвался газ и погибли шахтеры, что ему грозила «вредительская», но дядя Миша убедил своего начальника, что Анатолий Васильевич не виноват, и деда через год отпустили. Дядя Миша работал следователем в НКВД. Что такое НКВД, а тем более вредительство, я не очень поняла, но уяснила: это какая-то тайна, о которой лучше помалкивать.

Я уже знала, что о некоторых вещах лучше не распространяться. Еще раньше, встав ночью в туалет, услышала, как дедушка и отец громко спорят: отец твердил о каких-то трубах в снегу, которые лежали штабелями. За завтраком я спросила, почему трубы лежали штабелями (у нас в поселке как раз прокладывали водопровод, и бабушка, как руководитель группы домовладельцев, постоянно ссорилась со слесарями). Повисла тишина. Дедушка поперхнулся. А отец впервые повысил на меня голос, почти заорал, чтобы я немедленно замолчала и не говорила глупостей.

А когда я уже заканчивала московскую школу и приехала на последние осенние каникулы, бабушкина племянница, с которой мы квасили капусту и она втайне от взрослых угощала меня пивом, сказала, что Анатолий Васильевич был отцом моего погибшего в авиакатастрофе дяди Сережи, а мою маму усыновил, когда сошелся с бабушкой. И что настоящий ее отец был не то инженер из «бывших», не то расстрелянный троцкист, не то начальник дяди Миши, энкавэдэшник, которого потом самого репрессировали. Я поперхнулась капустным листом и потом еще долго смотреть не могла на соленья и пиво.

Моя бабушка и семь ее сестер и братьев происходили из беднейшей рабочей семьи, росли в шахтерском поселке, в бараке с цементным полом. Маленькие ползали по полу и искали тараканов, чтобы съесть. Отец погиб в шахте, мать, неграмотная женщина, мыла полы у соседей. Сколько детей она родила, я так никогда и не узнала – бабушка пресекала все разговоры на эту тему. Как и многие другие.

В книжном шкафу бабушки рядом с ровными томами Собраний сочинений Ленина, Герцена, Писемского и Тургенева стояла книга «Ленин. Сибирь. Комсомол», в которой несколько страниц было посвящено сибирской пролетарской семье Лещёвых, участников революции и Гражданской войны, первых комсомольцев и пионеров, героев труда и ветеранов Великой Отечественной и трудового фронта. Скучная книга. Я смотрела, в основном, на фотографии; страницы о Лещёвых знала наизусть, но они тоже были ужасно скучные, к тому же, как я скоро поняла, там было полно ошибок. Например, неверно названы номера шахт и полк, в котором дядя Гриша, самый старший брат, служил в Гражданскую; имя Тухачевского вообще не упоминалось. Ничего не было сказано и об участии другого дедушки в битве за Берлин, за которую он получил Звезду Героя; и ни строчки про детский сад Марии Лянге, о которой я слышала с самого раннего детства.

Про детский сад рассказывала мне бабушка. Как ходили на речку

Яю, как разучивали французскую песенку про городок Анжер: где-то во Франции был такой – в его честь будто бы кто-то из геологов назвал Анжеро-Судженск… (Насчет последнего я потом проверяла – не было такого.) Детский сад для детей рабочих придумала молодая женщина Мария Лянге, дочь польского ссыльного: она увлекалась педологией и устроила в брошенном коровнике настоящий пансион, где малыши не только ели и спали, но и разучивали танцы, столярное дело, осваивали азбуку, учились мыть руки, застилать постели, пользоваться ножом и вилкой. Многие, как бабушка, жили в убогих клетушках, спали вповалку, а тут были накрахмаленные наволочки, чистые полотенца. Готовили вместе щи из трав, пекли картошку, сушили черемуху, потом мололи ее и пекли пироги…

Всё это было еще до революции. Мария Войцеховна Лянге мечтала иметь десять детей, так потом и получилось: у нее было десять детей, и она всю жизнь проработала директором детского сада в Кузбассе. Бабушка с ней переписывалась, я регулярно относила письма на почту, бросала в ящик. Приходили ответные письма. Двое сыновей Марии Лянге стали полярниками, один – академиком, дочери пошли по ее педагогическим стопам… Это я слышала уже позже, когда уехала в Москву, и иногда удивлялась, как стойко бабушка поддерживает эту связь. Оказалось, до революции инициативу Лянге финансировал лично магнат Михельсон. А потом детский сад перешел под крыло советской власти, однако Мария осталась заведующей.

Часто, когда я приезжала, бабушка с удовольствием вспоминала то время. Например, как рассказывали друг другу сказки разных народов, кто какие знал, и потом представляли в лицах, соорудив из тряпок и обрывков картона костюмы и бутафорию – принцесс, духов леса и воды, драконов, всадников… (В Сибири жили самые разные люди: немцы, поляки, евреи, китайцы, корейцы, татары – Лянге хотела, чтобы все они дружили.) Еще – как встречали рассвет и сажали капусту на детсадовском огороде; как няня-фельдшерица учила малышей чистить уши, опиливать ногти и искать полезные травы от желудочных колик. Няню звали Елена, но у нее было еще одно имя, Гейл, и она была красивая.

– Насколько красивая? – просила уточнить я.

– Как Нефертити.

Книгу о таинственной древнеегипетской царице подарила бабушкина племянница, дочь дяди Гриши, уезжавшая строить Асуанскую плотину. Бабушке она привезла длинное просторное платье с ярким орнаментом и платок, как у Ясира Арафата. Книгу я перечитала несколько раз. Эта Елена-Гейл-Нефертити несколько лет не давала мне покоя. Особенно после того, как бабушка обронила, что была она не просто фельдшерицей, но подпольщицей, революционеркой, передавала письма рабочих в газету «Искра» через друга, и что в нее был влюблен дядя Гриша…

А в кого была влюблена она сама? Ответа я не получила.

Сколько раз, засыпая в бабушкином доме (с регулярной простудой, с горчичниками в носках), я представляла, как тонкая и стремительная Елена-Гейл шагает с медицинским чемоданчиком по деревянным тротуарам Анжеро-Судженска в изготовленных ссыльным мастером-подпольщиком ловких сапожках: цок-цок, и в каблучках – тайник, где хранятся списки товарищей или свидетельства злодеяний царского режима, и за красоткой наблюдает знакомый полицейский, который тоже тайно ей симпатизирует... К кому она идет? И о ком думает?

Представляла, как она, молчаливая и прекрасная, обнаженная, почти как Венера перед зеркалом с репродукции в «Огоньке», сидит на подоконнике, пока ее друг, лидер сибирских эсеров (откуда я это взяла?), прорывая пером бумагу, пишет воззвание. Елена просит его не взрывать сына фабриканта, который спас ее в детстве, и тот скрепя сердце соглашается... Как после облавы она бежит от преследователей через тайгу и находит помощь у староверов... Я сочиняла о Елене-Гейл авантюрный фильм со множеством серий, иногда видела отрывки во сне и во сне надеялась с ней встретиться. Иногда мне казалось, что эта таинственная девушка и есть моя настоящая бабушка, мне так хотелось в это верить... На свою собственную бабушку, парторга подмосковного поселка, ветерана шахтерского труда, с неизменной алой помадой и таким же алым маникюром я не хотела походить.

Кто же он все-таки был, мой родной дед?

Моя мама родилась в 1938 году, в апреле. Бабушка уже работала в шахте, ее с третьего курса направили на производство, заканчивала вуз экстерном. Вообще-то она хотела поступать в политехнический, учиться на инженера, но комсомол решил, что нужны молодые геологи пролетарского происхождения. Старые кадры практически все «вычистили».

«Сделала маникюр, надела голубую шляпку и пошла», – свой первый визит на шахту 9-15 (в Анжеро-Судженске шахты назывались по номерам) бабушка помнила хорошо. Как и встречи с портнихами и обувщицами: готовой одежды и обуви не было, шили на заказ. Платья и туфли изысканных фасонов, совершенно не похожие на продукцию фабрики «Большевичка» или «Скороход», – из крепдешинов, креп-жоржетов, набивного шелка, тончайшей кожи с выделкой, – хранились в тяжелом дубовом шифоньере с инкрустацией, который также был привезен в Подмосковье из далекого Кузбасса. «Испортит кто-нибудь настроение – пойдешь закажешь платье, и на душе становится лучше...» Портнихи, обувщики, краснодеревщики были, в основном, из ссыльных, как и преподаватели музыки, библиотекарши и маникюрши. Только много лет спустя я поняла, что не только «лишенцы», но и инженеры и геологи вплоть до середины 1950-х были фактически тоже ссыльными, прикрепленными к своим рабочим местам, пусть даже руководящим, – по сути, как «государственные крестьяне» в

пору крепостничества, без права добровольно сменить работу или уехать в другой город. И уехали бабушка и дедушка из Анжеро-Судженска, только проработав на своих шахтах, он – инженером, а она – геологом, по 25 лет. Тогда и поселились в подмосковном поселке, рядом с дачей бабушкиного брата-фронтовика…

Маникюр был бабушкиной гордостью – делала его неизменно. И в шахту с ним спускалась (обычно дважды в неделю, несколько километров под землей): «Идешь – вдруг впереди порода обвалится; обернешься – за тобой осыпалось… Выходим с маркшейдером все черные, отмыться несколько часов не можем...»

Бабушка была первой в СССР и, думаю, первой в мире женщиной, – главным геологом угольной шахты. И ближайшая ее помощница-маркшейдер тоже была из первых женщин-специалистов в отрасли. У обеих были семьи, дети. Декретный отпуск тогда длился два месяца, ночами не спали, потому что Сталин не спал, сидели на совещаниях. На совещаниях бабушка запретила мужикам нецензурно выражаться: не знаю до сих пор, как ей это удалось, но перестали. По выходным готовили политинформации для рабочих, изучали статьи Ленина, Сталина, партийные документы. Хозяйство (дом, корова, куры, огород) вели ссыльная немка («масло подворовывала, сбивала и продавала на рынке») и жена репрессированного генерала – сподвижника Тухачевского, полька: она ухаживала за мамой и дядей и звала их на французский манер – Алин и Серж. Ссыльные и доходяги, выброшенные из лагерей, в военные и первые послевоенные годы слонялись по рынку в надежде, что кто-то из советского начальства возьмет их в услужение – это была единственная возможность выжить…

На мою просьбу рассказать, как они познакомились с Анатолием Васильевичем, бабушка всегда отвечала скупо: на производстве. Про родных его не говорила ничего – вроде как все умерли в Гражданскую. Михельсона называла кровопийцем. Классовых врагов определяла интуитивно и четко. Крестьян презирала как низший неразвитый класс. Возмутилась, когда мама повесила в нашей комнате портрет Есенина, требовала убрать. Но мама проявила твердость – я тогда впервые поняла, что за ее внешней покладистостью скрывается железный характер, не слабее, чем у бабушки. Что мамины подчеркнутая аполитичность, равнодушие к общественным хлопотам, фанатичная приверженность семье и мужу – это протест против бабушкиного тоталитарного управления временем и пространством... «Мы наш, мы новый мир построим...» – этого мама не выносила, как и прочего революционного пафоса.

С соседками дворянского происхождения бабушка, впрочем, держалась приветливо, но настороженно, как будто ожидая подвоха. Переживала, что любимый сын, мой дядя, пошел не в политехнический, куда отправили маму, а в медицинский – считала врачей и учителей обслуживающим классом. Отца моего не выносила вдвойне – из-за

неполноценного происхождения и потому что сидел. Закрывалась в комнате, когда дедушка с отцом садились слушать «Голос Америки» и обсуждать последние события. Когда папа стал известным медиком и отправлял ее на лечение, принимала помощь как должное, почти с высокомерием. Умерла у него на руках.

Я очень, очень не хотела на нее походить.

Бабушки нет двадцать пять лет. Я всё еще натыкаюсь иногда на фотографии, которых в детстве не запомнила: вот они с сестрами, молодые, играют в волейбол; вот она в своем кабинете главного геолога – вздернутый нос, строгая прическа, устремленный куда-то вперед и ввысь (в будущее?) взгляд. Как к ней относились мужчины? Те, которым она запретила материться, и те, которые и без нее не матерились? Были ли у нее романы? Никогда ни слова, ни намека. Резко обрывала.

Устраивая с университетскими друзьями «литературные бдения» со свечами, где представляли себя персонажами Серебряного века, мы с подругой заимствовали платья из бабушкиного шифоньера... Она разрешала, просила только вернуть всё чистым и отутюженным.

С изумлением, безнадежно – чем дальше, тем больше – понимаю, что похожа – похожа совсем не на маму, а на нее... Узнаю в своем голосе ее тембр, смотрю на ею посаженный куст сирени и, вспоминая маму, которой нет со мной дольше, чем бабушки, плачу о ней не как о маме, а как о своем ребенке... Может быть, чувства наших предков проступают в нас, как старые узоры на обоях? Откуда во мне их пугающая, взрывчатая и не всегда приятная взвесь? От кого внезапная ярость, резкость, неудержимое любопытство и страх, и тупость, и вялость? Почему я вдруг обнаруживаю в себе неожиданные и подчас пугающие черты? Впрочем, не я одна. Ковид и последующие события во многих, видимо, пробудили какие-то спавшие до времени проявления и свойства. Возможно ли, чтобы генетический код впитал квинтэссенцию опыта поколений, живших в страхе? Был поврежден, искорежен?.. И мы подобны подломленной ветке, приросшей к стволу как-то кривовато, нескладно…

Несколько раз я пыталась выпытать у мамы, кто ее настоящий отец, но она сама знала ровно столько же, сколько и я. И никто из родных больше ничего не мог сказать. С бабушкой у мамы были очень сложные отношения, напряженные – вечное, не прерываемое ни на миг противостояние, незаметное со стороны. Бабушка не просто командовала мамой больше и ожесточеннее, чем всеми прочими родными, – она неизменно подвергала все мамины действия критике, доводя до слез. После гибели сына, моего дяди, стала к дочери еще строже. На похоронах мамы, которая умерла от редкой болезни почти внезапно, бабушка не проронила на людях ни слезинки. Только ночью, когда я приезжала погостить, слышала, как она рыдает одна, в своей комнате, надрывно и долго.

В начале 1980-х появилась мода на родословные изыскания.

Стали складываться группы по интересам, сообщества родственников известных персонажей прошлого. Многие обнаружили в числе своих предков дворян, прославленных полководцев и мореплавателей, даже членов царской семьи. Предприимчивые архивисты предлагали за скромную плату выстроить историю фамилии и всех ее ответвлений. Искали своих родственников и внуки репрессированных и насильственно переселенных – это стремление вглубь истории частично замещало отсутствие живого современного разговора. Потом, когда началась перестройка, жажда знания о былом соединилась со стремлением немедленно обсудить настоящее – прошлое стало аргументом, и рождалась новая, диковинная мифология... Рядом с лубочными фигурами добродетельных правителей и счастливых подданных в воображении современников и на журнальных полосах возникали прежде скрытые в тумане колоссы – монументальные героические фигуры загубленных революционеров и командармов. В стремительно складывающемся новом пантеоне без разбору громоздили на постаменты мучеников Церкви и ее гонителей, жертв и палачей, монархистов и коммунистов. Их головы окружал общий скороспелый нимб, в свечении которого вдруг вспыхивали, возникали промельком неожиданные, зловещие отблески, которых, впрочем, никто тогда не замечал. В публикациях, в том числе в журнале, где я работала, появились новые слова: интертекстуальность, оксюморон, симулякр...

Люди стали придумывать себе биографии. Бывшая соседка, дочь тихого стукача-дворника, вдруг появилась в популярном шоу и поведала, что ее бабка – плод страсти Великого князя и английской аристократки, которая скончалась от туберкулеза на Соловках. Соседи прекрасно помнили тот самый «плод страсти» – румяную бабу Дусю, снабжавшую весь подъезд солеными огурцами с собственного огорода и тушенкой из стратегических запасов (работала кладовщицей в воинской части, обслуживающей «глушилки» под Балашихой, препятствовавшие советским гражданам слушать «вражеские голоса»), – и веселились от души. Лет через пятнадцать в далекой Австралии я включила местный русский телеканал и увидела снова ее, дочь дворника, вдохновенно повествующую о новой семейной драме: на сей раз она оказалась потомком раввина из Барановичей и православной монашки...

Бывший однокурсник, известный журналист, написал, что его дед, почетный пенсионер, в честь которого внука и назвали, был садистом и убийцей. Лично расстреливал. И что он, внук, несет в себе этот ген, несмотря на все свои демократические убеждения и заслуги перед свободой прессы. Еще один коллега сообщил, что когда один его дед сидел в ГУЛАГе, другой служил в охране того же самого лагеря. Наверное, каждый третий мой сверстник мог написать нечто похожее. Но написали единицы. А другие взялись преследовать тех, кто старался рассказать о прошлом, – будто опасались, что их собственный «ген насилия» станет заметен, как пятно проказы.

Есть ли вообще какое-нибудь средство от этого тяжелого наследственного недуга, рассуждали мы с коллегами в маленьком французском городке Анжере, где проходил всемирный журналистский конгресс. В эти дни в городке открывали доску памяти молодой журналистки, погибшей в Африке, весь город высыпал на улицы в стремлении принять участие. Мы с коллегами из Москвы позавидовали. «Тут все помнят, что мы – страна коллаборационистов, – сказал французский журналист. – Заметила, сколько улиц названо в честь героев Сопротивления, сколько памятников? Многих зверски казнили, потому что добропорядочные сограждане их выдали. И в школе детей с первого класса учат, что фашизм не должен повториться. Но не факт, что это нас всех спасет...»

Перестройку бабушка не приняла. Внимательно следила за новостями, не отходила от телевизора, – мой пятилетний сын после проведенного у нее лета знал по именам и в лицо всех руководителей страны. При этом бегло и неохотно бабушка просматривала журналы, включая тот, в котором я работала, печатавшие новые свидетельства очевидцев и тексты из архивов с пометкой «Хранить вечно».

Она считала, что Горбачев неправ. Ельцина не восприняла совсем. Впрочем, и Зюганова, считала штрейкбрехером. Перечитывала Герцена и Писемского. Однажды, уже почти перед самым ее уходом, я пыталась сделать с ней беседу-интервью, но материал не получился: отвечала скучно, неохотно, оживилась, только когда вспомнила про детский сад Марии Лянге. Упомянула, что у Марии был старший брат, участник эсеровского кружка, потом работавший с дядей Мишей в НКВД. Я никогда прежде об этом не слышала, стала расспрашивать, но она снова замкнулась, сказала, что человек этот пропал без вести. Ушла в себя.

Мария Лянге к тому времени уже умерла. Я написала ее сыну, профессору из Академгородка, попросила прислать материалы об их семье, о детсадовском движении и получила толстый пакет: фотографии, ксерокопии воспоминаний бывших воспитанников, грамоты, газетные вырезки. Ничего про брата Марии. Спросила о нем напрямую уже потом, после публикации материала. Профессор приезжал в Москву, мы встретились. Публикация ему очень понравилась, он долго рассказывал о матери, о том, что она была очень сосредоточенная и преданная детям, что о многом не успела рассказать и не написала в записках. Всё связанное с братом Кшиштофом она уничтожила, даже фотографии и метрики из архива: уговорила выдать материалы ей на руки и якобы потеряла. Так, объяснила, велели «люди, с которыми не спорят».

Кшиштоф был членом кружка эсеров, одно время даже скрывался от полиции в детском саду, где, кажется, влюбился в девушку-фельдшера, но она любила руководителя эсеровского подполья, потом с ним уехала в Палестину. Сам Кшиштоф пропал, потом оказалось, что работал в разведке в Европе. Приезжал уже после войны, но

под именем Кристоф и с совершенно другой фамилией. Визит его оказался кратким: что-то искал в Кемерово – не вспомнить, о чем или о ком шла речь. После этого Марии и велели вычеркнуть его из памяти. Жаль, конечно. Но тогда многие так делали: вымарывали родных, теряли адреса, сжигали все свидетельства...

Мне снова снилась Гейл-Нефертити-Елена: на подоконнике в каморке, где тускло горит керосиновая лампа, она слушает воззвание, только что написанное главой подпольщиков на клочке бумаги, который она завтра понесет в своих сапожках связному, чтобы в свежей «Искре» были опубликованы слова рабочих с приисков Михельсона. Снилось, как мой редактор в кожаном фартуке, согнувшись в три погибели, вручную набирает буквы в печатной раме в подвале подпольной типографии, а у него над головой, в лавке кавказских фруктов, расхаживает околоточный. Он, покрякивая, угощается дармовой чачей и закусывает чурчхелой, а хозяйка качает в люльке проснувшегося младенца...

Подпольная типография 1905–1907 годов, филиал Музея революции, в соседнем с моим доме на Лесной улице до сих пор открыта по будням. В детстве мой сын с друзьями любили забираться в подвал, где стоял антикварный печатный станок и где даже малышам было тесновато. Теперь от музея осталась небольшая часть исторического здания – собственно вход в лавку и подвал, остальное принадлежит гостинице «Кирпич» и табачному бутику. Жаль, что последняя тоненькая ниточка возможности всё же что-то узнать оборвалась. Столько лет не угасала надежда!

Сын Марии Лянге был прав, у многих в семейной истории существуют подобные зияния – стертые, словно ластиком, страницы, фигуры... Чаще их вымарывали женщины – впрочем, они же и писали сотканную из мелочей и мимолетных впечатлений летопись ГУЛАГа, войны, восстановления страны; по этим крупицам мы можем воссоздать пропущенную державными летописцами жизнь, ее течение. Течение чувств... Многих, однако, эти зияния не смущают: в конечном счете мы все без исключения – потомки убийц и людоедов, так действовал естественный отбор; вклад же в генофонд редких, неизвестно как затесавшихся в человечью семью героев и праведников ничтожен. Но кто сказал, что худшие из качеств передаются по наследству?

Я приехала на дачу, в дом, где жила бабушка и где сама росла, в день ее рождения, второго мая. Зацвела сирень – рано в этом году; ее запах мешался с запахом черемухи. Пирог с черемухой – бабушкин любимый. Так и не научилась его печь. Надо бы посмотреть рецепт...

Тренькнул телефон – сообщение с незнакомого номера: «Вы меня, вероятно, не помните, я была волонтеркой на конгрессе журналистов в Анжере. На днях нашла в записках бабушки (она недавно скончалась) вашу публикацию ‘Вся жизнь – детский сад’. Кажется, вы написали о сестре ее первого мужа, он был из России. Там целая коробка его записок, фотографий. Может быть, они вас заинтересуют?»

Кира Османова

Что у них за спектакль

* * *

На территорию
приморского санатория
работников искусства –
вопреки прогнозам –
сполз туман.

Не видно,
что там –
за неразличимым забором.

Однако
постепенно
проступает фигура,
вторая, третья.

Солдат
чужой войны.
Монах
несуществующего ордена.
Дирижер
без оркестра.

Костюмы отличные.
Бутафория что надо.
Ружье. Распятие. Палочка.

Что у них
за спектакль сегодня.

Такое нынче искусство:
сколько в детали ни всматривайся –
а целого не разглядишь.

* * *

Зеленый парк – побудешь где еще
в день выходной.
«Я так устала, – хнычет девочка. –
Хочу домой.»

А в парке снова что-то празднуют –
не запретить.
«Кому нужны огни дурацкие
и серпантин!»

Вот что, казалось бы, неймётся ей –
зовет отца.
В динамики пустили Моцарта:
«...in <…> Wohnsitz auf!»

Теперь почти уже отчаянье
и слез поток.
Отец спокойно отвечает ей:
«Домой – потом».

Потом и непереносимое
нести легко.
Большая туча рот разинула.
Вступает хор.

Не принимать участья разве что –
в том нет вреда?
Сегодня в мире столько радости –
не отрыдать.

Гладь озерца покрыли оспины –
где водомет.
Я так устала, правда, Господи.
Хочу домой.

* * *

Теперь я изъясняюсь лучше –
с апломбом.
Не повторяй за мной, а слушай:
«Всё плохо».

Демонстративная досада
и поза.

Ты помнишь эту створку «Сада»
у Босха?

Вот пруд – навечно льдом закован,
там прорубь,
и не влететь в нее с разгона –
попробуй.

Сейчас не плачу – буду плакать
попозже.
Я говорю: «Всё плохо, правда».
Поспорь же.

«САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ»

И когда начиналось такое,
то казалось – оно ненадолго,
как будто вот-вот – и вернут как было.

Я сказала, что это – неправда.
Все сказали, что это – неправда.
Никто не поверил, что это – правда.

Но «такое» всё длилось и длилось,
и сегодня по-прежнему длится,
и, кто бы ни умничал, – будет длиться.

«Музыкальная» правая створка:
здесь поют обреченные – хором,
и властвует рыбоголовый регент.

* * *

Во сне я купила себе, наконец, деревянную желтую лодку,
на ней уплыла далеко – что не видно с берега.
И всё достоверно как будто:
красиво скользишь, маневрируешь ловко.
Однако же смысл расстоянья еще не передан.

Начнешь пересказ – разливается речь,
золотистая плещется рыба,
дрожит отраженье куста молодого, тощего.
Теперь я спускаюсь к воде вечерами,
на запад смотрю неотрывно:
хочу разглядеть под чертой горизонта – точечку.

* * *

Радиопостановка:
действуют два героя,
истово выясняют,
что же и впрямь страшнее –
ад, о котором пишут
в религиозных книгах,
или пространство жизни,
происходящей нынче.

Кстати, второй с издевкой
переспросил – с чего бы
спор начинать подобный,
мол, – из любви к искусству?
Первый взахлеб читает
выдержки из трактатов:
«…venerat ad infernum».
Невыносимый голос.

Надо сказать, попытки
интерпретаций ада
в целом дают возможность
правильно остраниться:
это – объект, а значит,
следует скрупулезно
производить анализ;
некогда ужасаться.

Времени мало – это
и хорошо, и плохо.
Вот голоса стихают.
Дальше вступают скрипки.
Ада не существует
в случае, если верно
найдены инструменты,
чтобы его освоить.

Вдруг человек скорбящий
попросту так устроен,
что для него в итоге –
звук побеждает смыслы.
Лучшее в этой пьесе –
музыка для финала.
Это Джемминиани.
Третий Кончерто гроссо.

* * *

Любой, попавший в сводку новостей,
становится немного персонажем
и обретает опыт вместе с тем,
который бы иначе не был нажит.

Допустим, ты решишь в расцвете лет
из дома по делам однажды выйти
и – попросту исчезнуть, был – и нет.
Такой – неочевидный – ход событий.

Несчастный случай, горестный итог;
а может, жизнь почувствовалась тесной –
и ты посмел, буквальной смерти до,
изъять себя из данного контекста.

Исчезновенье, о котором мир
из сводок узнаёт, оно и вправду –
объемнее, оно – всеобщий миф,
не частная история утраты.

Гадают: почему сложилось так
(сдались неугомонному те дали),
и всякий вдруг припомненный пустяк
художественной видится деталью.

Как ты шутил: «Я не умру – уйду!»,
как ты прощался дома с каждой вещью –
всё предвещало скорую беду
и ожиданье, длящееся вечно.

Прибавит кто-то радио – каприз
в разгар ненастоящего веселья –
и диктор скажет: «Не вернулся из…»
А это натурально – «Одиссея».

* * *

Почту закрыли, сказали, зачем вам еще и почта?
Мост подтопило, сказали, с мостом разберутся позже.
Как же другие узнают о нас – и узнают правду?
Как добираться сюда, выбираться отсюда – вплавь ли?

Утром по радио радость оркестра: вступает tutti.
Вечером – местный канал, никаких голосов *оттуда*.

Час новостей в регионе счастливой земли пропикал.
Сводка: «Один человек утонул, предприняв попытку»…

Приспособляемость есть непреложный закон природы.
Так, измененные новой средой, мы теперь – двуроты:
Одновременно орать и вгрызаться в живое чтобы.
Выключим радио, на ночь плотнее задернем шторы.

«Верно!» – одним произносится ртом, а второй – закрытый.
Первый воскликнет: «Согласны!», второй – усмехнется криво.
Можно читать: мол, в прискорбии «будешь и ты помянут».
Можно открытки писать – но про почту уже понятно.

* * *

В углу,
где раньше висело
старое радио,
мне до сих пор
видится
темный прямоугольник.

Звуки оттуда:
радиоспектакль –
из тех, что передавали
по утрам, в будни, –
никогда не получалось
дослушать до конца.

Вещь с голосами внутри
стала действительной –
только будучи удаленной.
По-настоящему
существование –
это отсутствие.

Не прошло и полвека
с отключения
радиоточки.
Мне никуда не надо.
Темный прямоугольник.
Хочу, наконец, дослушать.

Ян Пробштейн

Скорбный мир

1.

Ослик кричит: «иа».
Люди кричат: «Война».
Ослик кричит: «Смотри».
Люди кричат: «ИИ».

Ослик кричит: «иа».
Люди кричат: «контекст».
У каждого правда своя.
У каждого свой крест.

Ослик кричит: «Распят».
Дайте Варавву нам!
Он ли прав иль Пилат?
Мне отмщенье, и аз воздам.

2.

Этот скорбный сгорбленный мир
смотрит в кривое зеркало мести.
Град ракет прочертил пунктир.
Все говорят о контексте.

Полуправда – пока еще ложь,
тронь ее – а там макияж.
Гнида – в будущем вошь:
пацаны уже входят в раж.

Сколько зим дружок сколько лет
мы с тобою сходим с ума…
просвет – это еще не свет,
но это уже не тьма.

Вынести месть и вымести
сор предстоит нам,
выместить и отмести –
мне отмщенье, и аз воздам.

3.

No hay espacio más ancho que el dolor,
no hay universo como aquel que sangra*
Pablo Neruda
Нет пространства шире, чем горе,
Ни с чем несравнима вселенная,
которая кровоточит.
Пабло Неруда

Разлетаются миры,
как бильярдные шары,
от двух бортов в лузу,

их разгоняют фазотроны,
они поделены на зоны,
мы им давно в обузу.

Разлетаются миры,
как воздушные шары,
наметали сотни бомб летчики,
а за ними пришли налетчики.

Нелюдимо наше море,
лишь маячат вдали
зловещие корабли.
Нет пространства шире, чем горе

Разлетаются миры
и ни один не избежит тления

И если есть хоть пядь нетленная
среди пожарищ и гниения –
кровоточащая вселенная
достанется в наследство нам.

Мне отмщенье, и аз воздам.

ПЕПЕЛ

Там, где смешался прах
и пепел людских жилищ
в глазах догорает страх
среди родных пепелищ…

он еще тёпел, пепел
сожженных книг,
спаленных городов,
спятил он что ли, петел?
никого его крик
не разбудит среди крестов

2024

* * *

Нам рассказали про банальность зла.
Недуг неизлечимый, как порок,
мифических избранников небес, –
то ли оставил милосердный Бог,
то ли попутал их ревнивый бес,
И над Россией распростерлась мгла.
Нам рассказали про банальность зла.

май-июнь 2024

* * *

Размазанное по холсту пространства
как будто бы застыло время,
но бьет по темени и с теми,
кто не в ладах с ним, сводит счеты
короной или карой окаянства.

* * *

Продолженное настоящее,
застывшее время стоячее,
но по капле из клепсидры
кровь струится, не вода,
и все мы повидали виды,
но содрогнемся мы, когда
апсинтос, горькая звезда
падет на землю как беда
преддверьем Страшного суда.

июль 2024

Мартин Мелодьев

* * *

У ветра непочаты
личтвяные тока...
Александр Маллаев

Откуда этот ветер,
шарманщик и арфист?
До следующего лета
убрал печатный лист.

В начале было Слово,
а ныне тишь да блажь.
Печален без улова
осенний такелаж.

Склянь веток, в небо вросших,
напоминает мне
о днях, былых и прошлых,
у времени на дне.

До следующего лета...
земля, белым-бела,
лежит, «рыжьем» согрета,
в чем магма родила.

* * *

Вот я выключу свет – и вернется Святошино:
необстрелянное, нераздербаненное.
С двадцать третьим трамваем,
вдоль Нивок топавшим,
и с тремя изумрудной воды прудами.
С тополями – бульваром Шевченко – графиком,
с облаками нетронутыми, не раненными.
Вот я выключу свет,
даже если ратникам наплевать.

* * *

Каскад игрушек черепичный,
в проемах звездочки гирлянд.
Предновогодний мир привычный,
минувших дней минувший ряд.

То там, то тут цитата в разговорах,
как дымный столп, светлеет в вышине.
Листвы платанов островерхий ворох –
Валгалла Первой конной при луне.
Пейзаж...
иль это только снится мне.

* * *

«Иных уж нет, а те далече...»
Италия.
Плывут корабликами свечи
у алтаря.

Ложится звездами фарватер
на черный плат,
Silentium... Спит Богоматерь
у Царских врат.

Блестит колечко золотое
с ее руки.
...Минута полного покоя
за все стихи.

А завтра снова будет Вена
плести свой вальс.
И что – Верона? что – Равенна
для этих глаз?

* * *

Здесь всё – напоминает: от
узора тропок до безлюдья,
и даже кажется, что длю я
трудолюбивых птиц полет.

Махнет ли тенью серый гусь
иль пестрой спичкой чиркнет утка –
всё так же сумрачен и пуст
парк, в камышах, всё так же гулко,

во фраке Чичикова – выпь,
и мне на лавочке щербатой
дано, живя утратой,
спасать – и хоронить.

* * *

Вещи осени: тыква и брюква.
Земляные плоды октября.
Так топорщится каждая буква,
так, признаться, намаялся я.
Бахыт Кенжеев

Всё длиннее усталые строки,
всё короче, за давностью, сроки,
всё суровее клонят лета,
всё скупее Иван Калита.
Всё нежнее церковное пенье,
всё стремительней грехопаденье...
Вместо двух полушарий в мозгу
вещи осени спят на снегу.

СТРАСТИ ПО БЕЛОВЕЖУ

«америка страна реминисценций...»
А. Цветков

Калифорнийский вечер. Небо в тучах,
истаивая, – никнет к берегам.
Гравюра на стене: охота в пуще,
ферзем – король, бульдозером – кабан.

Здесь по утрам о будущем волнуясь
и принимая на ночь чистый бром –
я пребываю в ступоре, любуясь
прабабушкиным фирменным гербом.

И наш отъезд, он не был зря, скажи мне.
Я до сих витаю в полусне,
где мы с тобой, ma chère, впервые в жизни
на Запад путешествуем в СВ.

Вокзал, друзья, таможня... все при деле;
локомотив копытами блестит.
Граница на замке? …преодолели,
Прощание славянки? Бог простит.

А за окном шумит всё тот же ветер,
что сорок лет назад в другой стране,
где всё осточертело, те и эти ...
шумит и будит беженца во мне.

Евгений Сухарев

Отцовская линия

Харьковская поэма

...Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…
А. Пушкин

1.1.
Я шел по отцовской линии
на Гиршмана, в дом 17,
где рамы двойные в инее
светятся и теснятся.
Поодаль мерцали окна
военного ателье.
Лужица льда намокла
скатеркою на столе.

1.2.
Была отцовская линия,
как улица эта, зрима.
Над ней полыхала синяя
и белая струйка дыма.
Я шел в пальтишке расстегнутом,
отрок или дитя,
гордясь мальчишеским опытом,
голоса не щадя.

1.3.
Вон, в полукруге, – видишь? –
подъезд, а выше – балкон.
Русский, а реже идиш
послевоенных времен,
тертый, битый и мятый,
мною продленный род,
мой пятьдесят девятый
и дальше, за годом год.

1.4.
Да, я вижу, как снизу
подымается свет,

присланный по ленд-лизу
донашиваю жилет.
Из овчины и кожи
штатовская броня
деда спасала, позже
отца, а теперь меня.

1.5.

В этих высоких комнатах
мне высоко, светло.
Всё, что понято, – понято,
не понятое – ушло.
Всё резче общее наше,
кровного образца,
в детстве, в старости, даже
в броских чертах лица.

1.6.

Кровно и даже истово –
знаю, кровь не вода, –
как же от материнского
я тянулся туда,
чуя всё откровеннее
семейный этот разлом...
О это мое двоение –
за чьим же взрослеть столом?

1.7.

Мотало меня по городу
к жилью, от жилья к жилью,
словно до старости смолоду
тянул я жизнь не свою,
словно Весы небесные
и вправду меня вели
в дорожные и железные,
и прочие колеи.

1.8.

Свой с характером пришлого,
не дома я был и дома.
«Семерка» везла до Гиршмана
и «Аннушка» – до Госпрома.
Но, словно рождаясь заново,
как вылитый пуп земли,

я в доме рос на Гуданова,
куда меня принесли.

2.1.
Ах, моя Ганя Яківна,
с первого самого дня
пуще кровного всякого
ты пестовала меня.
За руку или на руки
брала, покуда я рос,
крошила свои сухарики,
лакомые до слез.

2.2.
Манники и гречаники,
рис разварен и густ,
ложки, плошки да чайники,
картофельный хруст.
Сельская твоя мова
и городская речь,
вся, без дурного слова,
меня помогла сберечь.

2.3.
Я был тебе сын неназванный
не родившемуся взамен,
как будто тебе отказано
от родительских стен,
как будто навек забыты
давно твои Циркуны,
голод, годы, обиды
до и после войны.

2.4.
И сам я от кровной матери
трудно так уходил.
Годы меня растратили,
весь мой окоём и тыл.
Далекое где и близкое,
не ведал я наперед.
Вот оно, материнское,
и отцовское – вот…

2.5.
Ганя Яківна, Галя,
я вырос и постарел,
но без тебя едва ли
был бы любим и цел,
слушая неумелый
суржик твой слободской
с привкусом пригорелой
булочки городской.

2.6.
Ничего, кроме крестика,
буковок Г и П,
ты не знала, и не с кого
спрашивать о судьбе.
Я учил тебя грамоте,
прописям в две косых.
Выводила непрямо ты
кляксы эти, как стих.

2.7.
Когда же, совсем на склоне,
почти уже в тупике,
ты тянула ко мне ладони
дрожливые налегке,
теплясь и остывая,
медлила твоя кровь
умереть у порога рая,
в доме для стариков.

2.8.
Прости сто раз, и еще прости
за столько никчемных строк,
что сам от фамильной черствости
сберечь я тебя не смог.
Где-то вдали от города,
от улиц его и крыш,
капельницей исколота,
безвестная, ты лежишь.

3.1.
Наверно, я не умею
жить одним только днем,
(случилась, и бог бы с нею,
забудем, перевернем!),

и в эти годы разлома
пытаюсь понять: я где?
Земле ли сказать: я дома?
Воздуху ли? Воде?

3.2.
Город сказки и были
давно превратился в ад.
Люди, что раньше жили,
не живут уже, а гостят
от страха предельной пробы
у нашей Лопани, тут,
в темном конце Европы,
загнанные в закут.

3.3.
Любил ли я их? Конечно.
Боялся ли их? Авжеж*.
Я думал, страна – навечно,
а вышло, она – рубеж.
И сжатый ее остаток,
как все, норовя спастись,
скатился в такой упадок,
что впору кричать: «Держись!»

3.4.
И как же им было просто –
у «Гиганта», под рыхлый карк,
на отчих гробах погоста
разбить беспамятный парк.
От кладбища и до стрельбища
пройти, живое губя.
А после твое же детище
убьет себя и тебя.

3.5.
А может, и я такой же?
Мне тоже было легко
бить в положении лежа
в яблочко и молоко,
даже не узнавая
собственного лица.
Вывезла ведь кривая
почти уже до конца.

3.6.
Город иных названий
тёмен стал и жесток.
В жизни, уже не ранней,
я потерял исток.
Меж языком и мовой
нынче идет война.
Я переименован
на вечные времена.

3.7.
Значит, пора проститься.
Есть еще полчаса.
Старые смотрят лица
в старые небеса.
Я соберу их вместе,
мертвых и тех, кто не,
чтобы воздать без лести
городу и стране.

3.8.
Зимняя завирюха,
белый дворовый рай.
За поворотом глухо
белый стучит трамвай.
Странно всё это, няня,
маленькому жильцу…
Ганя Яківна, Ганя
провожает меня к отцу.

22.05 — 10.06, 2024

---

* Конечно, несомненно, разумеется

Марина Гершенович

БЛАЖЕННАЯ

Смилуйся, Боже, над дурой своей.
Каждый прохожий печётся о ней.
Каждый желает ей только добра.
Столько добра, что спасаться пора.
Этот вот мил-человек машет палкой,
тот говорит, что весь век будет жалкой
божия дура, жалей-не жалей,
плюнь ей в глаза, она скажет: елей.
Ей и не надо ни зла, ни добра,
всё, чему рада, того дохера:
птички, цветочки, река, облака...
Тронешь такую – отсохнет рука.
Жизнь ее странная вся не отсюда.
Так и случается малое чудо:
ткань, что с лица как рядно узловата,
вся-то с изнанки из шелка и злата.

09.05.24

* * *

Я не знаю как спасать от гибели.
И ключей к спасению не дам.
Мне уже однажды зубы выбили,
по моим отправившись следам.
Думая пойти путем проверенным,
мол, она прошла, и я пройду,
взял с собой дурак поклажу с мерином,
чтоб шагать по тоненькому льду.
И не вышло ничего хорошего.
Там бы и окончил жизнь свою.
Всё еще плююсь зубовным крошевом,
ледяную вспомнив полынью.
Грош цена случайному везению.
Сказки древних скифов и враньё.
Я путей не знаю ко спасению.
Я и есть спасение твое.

28.12.23

* * *

Война страшна со всех сторон, как ни гляди сквозь пальцы,
и с аверса, и с реверса, и даже по ребру.
И с той, и с этой стороны – скитальцы и страдальцы,
и вдовые, и сироты, и слезы на юру.

Всегда видны две стороны хоть у какой медали.
Убил – готовься век носить в себе смердящий труп.
А то, что это был твой враг, так и ему отдали
тебя в извечные враги, и череп твой и круп.

Мечтая с гордостью носить за ратные заслуги
медали, звезды, ордена у черта на пиру,
рискуешь также получить в надбровные две дуги –
и с аверса, и с реверса, и даже по ребру.

21.01.21

* * *

На лоджии моей тугая сетка,
зеницы насекомого фасетка.
За ней, где форма жизни высока,
плывут невозмутимо облака.

В моих глазах поражена сетчатка.
В них нет картины жизни отпечатка.
Но есть рубцов болезненная ткань
и отраженной сетки филигрань.

Я вижу мир за рамой и стеною
глазами кошки, что жила со мною,
которую избавил от преград
предписанный врачом наркоз и яд.

Мой взгляд из всех спасительных оказий
готов к любому виду эвтаназий,
но всё еще цепляется за свет,
что брезжит слабо меж стеной и рамой,
сквозит за сеткой-рабицей, той самой,
которой ни конца, ни края нет.

14.12.23

* * *

Где похоронить искали спешно,
чтобы в общий короб не сдавать.
Умерла, как и жила, безгрешно,
хвост сложив и лапы на кровать.

Маленькую голову погладить
страшно, потому что холодна.
Мы с тобой всегда умели ладить.
Я теперь одна. И ты одна.
Вещи раздавали: коврик, мячик,
корм полезный, миску для воды.
А потом из комнатных заначек
проступали в мир твои следы:
коготок, застрявший в старом кресле,
шерсти клок в углу, знакомый звук
среди ночи. Если бы, ах, если...
Что ж теперь гадать, мой милый друг.
Всё должно быть так, а не иначе.
У любви каркас есть и фасад,
но изнанка тоже есть. Я плачу
так же как и год тому назад.

12.05.22

ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРОМТ

Работала с детьми. И, возлюбив немало
сей благородный труд, вела детей в поход.
Я всех по головам их вслух пересчитала.
Их было шестьдесят, дневных моих забот.
Да, шестьдесят детей водили хороводы
и за руки взялись, построенные в ряд.
И вдруг примнилось мне, что дети – это годы.
Да, годы жизни, да, мой маленький отряд.
И вот стою столбом и думаю: о Боже,
вот эта горстка лет и есть мой жалкий век?
И вновь пересчитав, я ощутила кожей
и сердцем как же мал и беден человек.
Гоняясь за судьбой, достатком и химерой
возвышенной любви, за радости клочком,
один из тех детей, он заполняет меру
своих дырявых лет, вооружась сачком.
Он ловит мотыльков удачи, из личинок
несбывшейся мечты он добывает яд.
Но шестьдесят детей, но шестьдесят лучинок,
что так же, как моя, когда-то догорят...

14 марта 2016

* * *

Не знаю я как выглядит вандал.
Но я могу назвать его приметы.
Он тупо и размеренно кидал
с балкона вниз округлые предметы.
Я догадалась, сверху всё видней,
три этажа всего-то подо мною:
в траве есть цель, и лупит он по ней
картофельной шрапнелью разрывною.
Но что там? Чья-то лапка, чей-то хвост,
больное тельце скомкано, как худи.
Кто притащил сюда свой малый рост,
чтобы найти не помощь, так погост
под домом, где живут большие люди?
Там сломанная ветка, а под ней
пёс-недоросток, сын полка и неба.
И я его кормила десять дней
яйцом и молоком с кусочком хлеба.
Но оживали лапы и крестец,
антибиотик делал свое дело.
И я могла уехать, наконец,
да, с легкою душой, как и хотела.
Мне оставалось месяц жить в стране,
когда на трех, еще здоровых, лапах
из таксопарка выбежал ко мне
тот самый пациент, узнав мой запах.
Рычал, икал, хватая воздух ртом,
бежал, сопровождая, вкось и рядом,
отчаянно виляя и хвостом,
и сросшимся неровно тощим задом.
В его глаза взглянула – в горле ком.
В них счастье той, давно минувшей были:
«А помнишь пир с яйцом и молоком,
когда меня случайно не убили?!»

14.10.22

СОЛЯРИС

Помимо сводок мысли есть и сны.
Я знаю, вы о многом умолчали.
Но дайте мне минуту тишины –
не о себе сказать, но о печали,

о горе, что постигло и меня.
Я далеко от вас и всё же близко,

поскольку жизнь моя не у плетня
под знаком «зет», я тоже в группе риска.

Я думаю о вас и говорю
на ненавистной оккупантской речи,
но как и вы, в жилых домах горю,
и как и вы, я вбита в грунт по плечи.

Мне в Косово досталось на войне,
и под огнем в ближневосточном стане,
а прежде в незнакомой мне Чечне,
а до того в чужом Афганистане.

И ходит слух, что нет меня, живой,
есть только призрак с оголенным нервом,
что я погибла в Первой мировой,
потом была добита в сорок первом;

японскую и финскую прошла,
но сожжена напалмом во Вьетнаме;
и в Хиросиме от меня зола,
и в Нагасаки прах в отхожей яме.

Что речь моя вам? Нет ее вины
там, где язык мой корчится от боли,
где костяная флейта сатаны
людей лишает разума и воли.

Когда последний взрыв растопит льды,
когда последний выстрел даст осечку,
уйдет из окружающей среды
враждебный газ, остановив утечку,

я к вам вернусь – текучей, как вода.
Не безучастной, только непригодной
к словам войны, оглохнув навсегда,
как Океан от бомбы водородной.

14.04.22

РАБ ЛАМПЫ

То полон покоя и воли,
то снова ничтожен и слаб,
не может прожить он без боли –
раб лампы, судьбы своей раб.

И силы мои на исходе
с ударом, почти ножевым,
когда в равнодушной природе
живое убито живым.
Всё движется, ясное дело,
мотается нить на клубок,
и голубя нежное тело
голодный клюёт ястребок,
и лис управляется ловко
в сей, пуще неволи, игре:
успела лишь пискнуть полёвка,
чья тушка исчезла в норе.
По зову природы и правды,
горшочек, вари, не пустей,
пока плотоядные прайды
своих окормляют детей.

Но мне непонятно – по праву
души, что любовью сыта,
зачем, на какую забаву
ребенок терзает кота,
зачем из рогаток по белке
каменьями бьют пареньки,
и ради какой переделки
они заточили клинки,
зачем облачается в робу
солдатсткую хмурый сосед...
Затем, чтоб насытить утробу?
Такой и утробы-то нет.
Есть смерть, чьи пустые глазницы
с живыми знакомят её.
Мы видим любимые лица.
Она видит прах и жнивьё.
Но тот, кто откроет ей двери,
снабдив и ножом, и сумой, –
страшнее голодного зверя,
опаснее смерти самой.

17.09.20

Владимир Гандельсман

Третья сторона медали

Всем известно о двух сторонах медали: лицевой и оборотной.

В нашем случае ни одна из них не хочет быть оборотной. Обе убедительны и на второе место не согласны. А если ставить вопрос ребром, то появляется и третья сторона. По-научному – грань, но я назову ее ребром, поскольку она претендует на то, чтобы назваться ребром Адама (речь лишь о рождении, но ни в коем случае не о подчиненности женщины мужчине).

У Марины Гершенович вопрос стоит категорическим ребром. А когда вопрос стоит ребром, он становится ответом. В этом одна из главных особенностей поэтики М.Г. Противоречивая ясность.

(Кстати, не знаю, что такое поэтика. Или, скажем, литературовед. Зато знаю про структурализм. Это напрасная трата времени. Нет, про литературоведа тоже знаю. Исключительный ум такого человека заключен не в его трудах, а в том, что он догадался сделать чтение книг своей профессией… Но продолжим…)

> Так и случается малое чудо:
> ткань, что с лица как рядно узловата,
> вся-то с изнанки из шелка и злата.

Стихотворение называется «Блаженная». Из слова «блаженная», из того значения, которое ему придают человеческие люди, и возникла идея о трех сторонах медали. С блаженным ассоциируется не только святость и праведность, но и блажь, и дурость, и своенравность, а из этих противоречащих друг другу качеств непременно возникает третья сторона медали или то, что я назвал «противоречивой ясностью», – возникает поэзия.

По-разному воплощается двойственность, заложенная в противоречии, и особенно интересно, когда она смещается от внешнего к внутреннему и находит выход из безвыходной ситуации. Интересно и то, что автор, возможно, не ведал (и не ведает), куда привело его разогнавшееся слово. «Я не знаю, как спасать от гибели…» – таково начало, подразумевающее спасаемого. Этот некто решил разделить судьбу героя стихотворения и пошел тем же путем – мол, «она прошла, и я пройду». Но «дурак» (так его называет автор) не рассчитал силы – путь проходил по тонкому льду. В результате провалились

оба: «Всё еще плююсь зубовным крошевом, / ледяную вспомнив полынью». Типа того, что любовь кончилась провалом. Тем не менее героиня спаслась…

Но спаслась ли, если говорит: «Грош цена случайному везению»? Нет, не спаслась, потому что две последние строки гласят: «Я путей не знаю ко спасению. / Я и есть спасение твое».

Утверждаю, что речь в этих стихах идет не только о двоих, но и о двух «я» одного человека. Двойник хочет отделаться легким испугом и преодолеть стихотворный путь, не оплатив его рискованным духовным трудом, он хочет не преодолеть, не совершить (от слова «совершенство»), а проскочить, и тогда первый одергивает проходимца: нет тебе спасения, нет никого, кроме меня (но не подставного, а подлинного!), кто бы тебя всё-таки спас. «Я и есть спасение твое».

Ах, так? Стихотворение написано? Значит, всё-таки спаслась.

Таково смещение от внешнего сюжета, на который клюет поначалу читатель, – к внутреннему, который обнаруживается в итоге. (Хрестоматийное: «Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь».)

Люблю, когда стихотворение, набирая мощь по ходу письма, «пишет» автора, когда рождение его происходит не по воле условного «Адама», но самопроизвольно (если угодно, по воле не поддающихся рациональному толкованию высших сил).

Есть рождение и есть Рождество. И есть между ними великая разница. Есть повседневная драма, уготованная человеку, и она возникает и прекращается в мыслимой системе координат (декартовой, или трехмерной, или с добавлением временно́й координаты – не суть важно), и есть драма, разыгрывающаяся в недоступных обыденному сознанию пределах. (Опять же, хрестоматийное: «Но сейчас идет другая драма...» – и пастернаковский человек, Гамлет, хочет ее избежать: «и на этот раз меня уволь», – но сверхчеловеческое и безличное ему подсказывает, что не увильнуть.)

Противоречивая ясность являет себя и в этом столкновении.

Но подобно тому, как выдержанное вино утрачивает резкие запахи и обретает благородный аромат, в стихотворении, приведенном ниже, царит покой.

СОЧЕЛЬНИК

Если бы что-то просить я могла,
что-то, с чем дух мой един,
я бы просила вола и осла,
ясли и теплый овин,
ворох соломы, камин из камней,
где догорают дрова,

тихую ночь и дыхание в ней,
а не людские слова.
Я бы просила любить своих чад,
не опускать своих рук,
чтобы, когда в мою дверь постучат,
я бы услышала стук.
Чтобы, несомые на воздусях,
снова явились на свет
путник и дева его на сносях,
и мудрецы им вослед.

Возвращаясь к упомянутому пастернаковскому «Гамлету» и, в частности, к безличному началу последней строфы: «Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути», которое звучит как приговор из Небесной Канцелярии, мы видим, что стихотворение М.Г., умалчивая о продолжении истории Новорожденного, исключает ее безысходность. Мы слышим «тихую ночь и дыхание в ней, / а не людские слова».

Давно хотел объявить urbi et orbi, но всё не решался. Поэт – это тот, на кого жизнь произвела большое впечатление. Мало того, он однажды понял, что если это не запечатлеть, то, образно говоря, фотография останется не проявленной. Не для зрителей, а для него самого. Переиначу определение: поэт (художник, композитор и т.д.) – это тот, на кого жизнь производит большое впечатление в процессе ее создания. Еще точнее: тот, для кого только такой процесс может называться жизнью.

Эта рискованная в своей почти юмористической простоте мысль возродилась при чтении М.Г. И не только эта.

Есть и другие «юмористические» мысли. Так я называю их по причине элементарности моих открытий.

М.Г. не стремится оригинальничать. Никаких ухищрений, обсценной лексики, гендерных выкрутасов, даже знаки препинания, прописные и строчные, которые давно вышли из моды, – на месте. Тем эти стихи и оригинальны. Вернее: в том числе и этим.

Когда-то Мандельштам писал: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему». И там же, в статье «Слово и культура»: «Поэт не боится повторений».

Поэт не боится повторений в том смысле, что он пишет, скажем, александрийским стихом, как до него писали Пушкин или тот же Мандельштам, а еще потому, что его человеческая сущность уникальна и повторения быть не может.

Есть у М.Г. в подборке, о которой пишу (стихи с 2018-го по 2024 год), стихотворение, где упомянуто (помянуто) ушедшее в мир иной

домашнее животное. Кто не писал заупокойные мессы по своим любимым питомцам, кто не хоронил и не воскрешал в стихах собак, кошек, воробьев или ласточек? Кто не примерял на себя их судьбу и загробный мир, «где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин» («Памяти кота Мурра», В. Ходасевич)?

Поэт сидит в лоджии, вспоминает свою кошку и сравнивает с ее взглядом свой, который «всё еще цепляется за свет». Но, оставляя темы «противоречивой ясности» и «поэт не боится повторений», в полной мере присутствующие в этих стихах, я хочу процитировать строфу, имеющую отношение и к другой (важнейшей!) теме:

В моих глазах поражена сетчатка.
В них нет картины жизни отпечатка.
Но есть рубцов болезненная ткань
и отраженной сетки филигрань.

Обращаю внимание на третью строку. Это не только о пораженной сетчатке, это о восприятии мира, о человеческой душе, сочувствующей и сострадающей.

Есть еще совершенно пронзительные стихи о прекрасных созданиях или, как их по-дурацки называют, о «животных-компаньонах»: «Я теряю людей…» («И в разбитом корыте видна / исчезающей жизни основа, / но нет ни собаки, ни кошки, / с кем хотелось бы встретиться снова / и поговорить») и «Кошка по имени Мину»:

Маленькую голову погладить
страшно, потому что холодна.
Мы с тобой всегда умели ладить.
Я теперь одна. И ты одна.

Но вернемся к «важнейшей» теме. Она важнейшая без кавычек.

Автор смотрит на детей, которые доверены ей в походе (стихотворение «Ночной экспромт»; кстати, мало кто умеет писать сюжетные стихи, стихи-истории), и словно бы погружает их шестьдесят жизнечек – еще не совершившихся, еще не ожесточенно ловящих свою судьбу и удачу, но беспечно гоняющихся с сачками за всякой летающей мелкотой, – погружает их в себя:

И вдруг примнилось мне, что дети – это годы.
Да, годы жизни, да, мой маленький отряд.
И вот стою столбом и думаю: о Боже,
вот эта горстка лет и есть мой жалкий век?
И вновь пересчитав, я ощутила кожей
и сердцем, как же мал и беден человек.

В другом опусе мерзавец издевается над собакой, а герой стихотворения ее выхаживает, а затем случайно встречает этого искалеченного, но выжившего пса, и вот последние строки:

В его глаза взглянула – в горле ком.
В них счастье той, давно минувшей были:
«А помнишь пир с яйцом и молоком,
когда меня случайно не убили?!»

Мне немедленно (возможно, в утешение автору) вспомнились строки Гены Шпаликова: «Собачья жизнь поможет, / Излечит от всего». К сожалению, они двусмысленны, так что оговорюсь: речь идет о собаке, а не о скверной жизни. И еще полувспомнилось, что кто-то (отсюда – приставка «полу») сильно хвалил глупые строки Сережи Есенина «и зверьё, как братьев наших меньших, / никогда не бил по голове». Сомнительная заслуга – еще бы автор нежного диалога с собакой Качалова бил братьев – меньших! по голове! – но что поделать, вспомнилось. А Осип Эмильевич готов был простить Есенину всё что угодно за строку «не расстреливал несчастных по темницам». Но О.М. вне критики.

(Есть большая неприятность в сочинении эссе о прекрасных стихах: ты не можешь их взять да и процитировать целиком. Не только потому, что жанр не позволяет, но и потому, что на кой черт тогда эссе... Но, как я выше писал, продолжим…)

К строкам Шпаликова теперь добавятся строки из «Пионов» М.Г. На этом стихотворении я как раз и подумал о том, что только что изложил в скобках. Да, вот эти строки: «…меня однажды спасли пионы, / точнее, чей-то цветущий сад». Впрочем, я должен привести это чудесное стихотворение целиком.

ПИОНЫ

Когда жила я во время оно
вотще и всуе, с собой вразлад,
меня однажды спасли пионы,
точнее, чей-то цветущий сад.
Я шла окраиною городскою
вдоль ряда частных жилых домов,
где под усердной людской рукою
жизнь процветала в обход умов,
в обход нелепых и злых законов
при государственном общаке.
И стайка белых живых пионов
паслась на воле, щекой к щеке
прижавшись нежно, как на открытках,

тех, на которых пером стальным
мы, не узнав о расстрельных свитках,
писали письма своим родным;
и слали лепту посильной дани,
готовясь к долгой пустой зиме,
на адрес ящика в Магадане,
на адрес почты на Колыме.
Потом везли по стране вагоны
битком набитые, в никуда –
ромашки, розы, жасмин, пионы
в рисунках тусклых, в обломках льда.
А лед, конечно, растает вскоре.
Куда ж деваться земному льду...
А я всё помню. И страх, и горе.
И свет пионов в чужом саду.

04.07.22

Стихи М.Г. – окна, открытые настежь. И, простите за сентимент, – открытая рана. В них легко и больно дышится. (Опять – без спроса, нагло! – выскочила та самая «противоречивая ясность»: легко и больно.)

Стихи М.Г. – это открытое сострадание и милосердие. Они и есть та важнейшая без кавычек тема. Помню, что какой-то дальневосточный философ говорил, что сострадание выше любви, потому что любовь избирательна, а сострадание всеобъемлюще. Один – на сей раз *ближне*восточный – человек написал в псалме № 85: «Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный…» А в Евангелии от Иоанна рассказано, как еще один ближневосточный человек (из колена Давидова, кстати), увидев своих друзей, плачущих у могилы Лазаря, почувствовал сострадание и заплакал вместе с ними.

Раз уж возникло прилагательное «открытый», следует сказать два слова об открытом тексте, но не в том смысле, что он открыт для интерпретации, что в нем есть «молчаливое, но властное приглашение к диалогу» (М. Бахтин), – наоборот, речь о прямом высказывании, о чем-то безоговорочном, как безоговорочна боль. Человек, испытывая боль, не раздумывает и ни с кем не обсуждает, кричать ему или нет. В подборке М.Г. особенно выделяются два таких текста: «Солярис» и «Раб лампы».

Вот из первого: «Я думаю о вас и говорю / на ненавистной оккупантской речи, / но как и вы, в жилых домах горю, / и как и вы, я вбита в грунт по плечи».

А вот из второго: «То полон покоя и воли, / то снова ничтожен и слаб, / не может прожить он без боли – / раб лампы, судьбы своей

раб. / И силы мои на исходе / с ударом, почти ножевым, / когда в равнодушной природе / живое убито живым».

Я не пишу об образности, символичности поэтического языка М. Г., не анализирую акустическую или же семасиологическую сторону слова, не прослеживаю, как строится поэтический образ, не произношу терминов «фоника», «метрика», «ритмика», «строфика»… Я не литературовед, и наука «поэтика» меня усыпляет. Зато могу поделиться с вами забавным происшествием. Я начал свое эссе с «трех сторон медали», не ведая, что в конце подборки встречу стихотворение с таким вступлением: «Война страшна со всех сторон, как ни гляди сквозь пальцы, / и с аверса, и с реверса, и даже по ребру. / И с той, и с этой стороны – скитальцы и страдальцы, / и вдовые, и сироты, и слезы на юру». Разве не удивительно?

Подчеркивая одну из главных тем Марины Гершенович, хочу завершить свой труд вот этим ее стихотворением:

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НОКТЮРН

Всё движимо любовью — и она
слышна из приоткрытого окна,
то с клавиши, то со струны слетая.
И клавиша упруга, и струна,
но бестелесна музыка святая.
Всё движимо любовью: дух и плоть;
ей всё равно, кто телом худ, кто сдобен,
чей ненасытен дух, а чей съедобен...
Не спрашивай, как выглядит Господь.
Никак. Он тихой музыке подобен.
Приходит срок из памяти убрать
все лишние синкопы и длинноты.
И ты откроешь нотную тетрадь,
в которой ни одной фальшивой ноты.
Там на прямых линейках от руки
начертаны скрипичный и басовый –
ключи, что отпирают все замки
на сомкнутых дверях и все засовы.

11.12.19

P. S. Была бы моя воля, вручил бы ей золотую со всех трех сторон медаль. Но я не директор школы, а М.Г. давно ее окончила и пребывает в бессрочном стихотворческом отпуске, который предоставляется непосредственно тем, кто в нем пребывает. Пусть он длится как можно дольше и пусть святому ремеслу «блаженной» сопутствует блаженство.

Сергей Маныч

* * *

Вот пустое пространство –
Оболочка пуста.
Это – просто про странствия
В те немые места,
В бесконечные облачные
Охранилища снов,
В отраженья осколочные,
В обиталища сов.
В омут памяти мутный,
В цифровое ничто...
Стало блажью минутной
То, что было мечтой.
Озаряющих молний
Расцвети, фейерверк,
Оболочку наполни,
Душу вытолкни вверх!

* * *

Голубое – выцветшее – никакое
Ради бога оставьте меня в покое
Паруса – облака – белье на ветру
С утра по квартире она нагишом
А пишу я обычно карандашом
Напишу что не надо сотру

Меня умиляет собачий профиль
Меня раздражают всезнайки и профи
И кислый вкус во рту поутру
И то что правдивое стало крамолой
Но рад ее встретить на кухне голой
Ну ты понял уже что не надо сотру

* * *

Полжизни – на вещие сны.
Полминуты – на роздых.
Здесь, у старой сосны,
Горький краденый воздух
Глотаю, кривясь.

Эта боль… Эта связь
С шумом, плещущим в кроне,
С эхом в звездной короне.
Этот треск, этот гул –
Это внутренний жар, что раздул
Словно угли ветер ночной.
То – послание в никуда.
Тихо скатывается звезда
С лица, склонившегося надо мной.

* * *

Хрусткий сиреневый наст,
Грустный сиротский анапест,
Хранящий смиренно нас
Оградами, что крест-накрест
Зарешечевают красивой
Тенью кривой на снегу
Звездной ночи пролом,
Веющей синею гривой,
Или черным крылом.
Бегу,
Бегу... И вот всё куда-то бегу.
Осыпаются снегопадом бесшумным
Добрые мысли в холодном мозгу,
И летят, летят перед взором безумным
Песьи головы, приторочены к седлам.
И кровь на снегу, и списки подметные.
Да над дыбою вороны, да бесчетные
Кресты над людом взалкавшем и подлым...

Пусть не выдаст меня, не предаст
Этот хрупкий сиреневый наст!
Синею гривою, черным крылом –
Ночь над моим столом.

* * *

В бейсболке с заглавною буквою А,
Ну с той, над которою сверху кружочек,
Без боли, без цели – как было сперва –
От света шалея, ты всё-таки выйдешь
И устыдишься собственных строчек.
Речь играет тобой, ты играешь в слова,
И теряется смысл в переводе на идиш.

Испаряется мысль – ты в толпе одиночек –
Ты заметен едва, и идешь ты Е2 –
Е4. До края дойдя, ты внезапно увидишь
За своею спиною лишь россыпи точек…

ЛЕОНАРД ГОВОРИТ

Леонард говорит: поэзия –
Это пепел жизни спаленной.
Что остается? Посыпать им череп?
Скрести свои язвы на пепелище?
То ли лучик блеснет, то ли лезвие
В темноте. Ловит глаз воспаленный
Свечение тела лилитиной дщери.
Любви подаяния вымолит нищий.

Леонард говорит: аллилуйя
Тому, кто, лишенный волос,
Всё ж сохранил свой голос,
Для вопрошения и молитвы.
Тому, открытому для поцелуя
И для пощечин. Кому воздалось,
Чье, прежде единое, раскололось
На краю нескончаемой битвы.

Леонард говорит. За дыхание,
За танец чудесный спасибо.
И за эти башни воздушные
Могучих псалмов и свадебных песен.
Хрупкой жизни мгновенной порхание
Легче взмаха ресничного, ибо
Беспредельны пространства бездушные,
А верный ответ неизвестен.

* * *

Вслед за мудрыми, выйду,
Чтобы войти.
Боль радости, счастья обиду
Прости.
Вот так начинается часто,
То, о чем вовсе нельзя.
Когда распадается на сто
Единственная стезя.

Из ярости шторма пришедшим –
Всё будет иным.
Стану совсем сумасшедшим
В объятьях весны и вины.
Днем беспробудным, бессонной
Ночью – приступы совести –
Болезнью кессонной –
Всё глубже в себя, чтобы вести
Споры с самим собой.
Ну, хватит! Хватит уже! Отбой…

– Отбой?

Татьяна Ананич

ЭПИЗОДЫ

1

Всё за нас смогли и нечего больше мочь...

2

Ночь, можно, по крайней мере, грезить – так брат по перу
говорил. Но разве дело к утру?
Закат черной коркой запекся на каменных ртах пещер.
Империи докатившихся солнц. Вер,
любовей, надежд блудный вой –
только и света в оконце.

3

В сем христианнейшем – наиху... по Шопенгауэру – из миров
тьма египетская. Диогенова керосинка. Аптека.
«Подымите, подымите мне веки веков!
Я хочу видеть того человека!»

4

Профессор, стригите овечек велосипеды.
Лезьте вон из калидонской шкуры.
Песнь песнéй о лебединой верности Леды, –
так выклевывались все диоскуры.

5

«Я называюсь Никто, мне такое название дали.»
Эмили Дикинсон сро́дни моя одиссея святая.
Стен четырех ее бережная безбрежность...

6

Заткнитесь! Проклятая темнотища!

7

После нас – хоть потоп!

8

Сплюнь, по гоферу постучи, гинкго билоба.
Старческая хвороба. Дряхлый мир.

9

Народ требует хлеба и рыбы!

10

Что молчишь об лед? Мыслей дыбы
раздирают меня на куски.

11

Папа Камень! цитадель моих дум.
По ком бряцает связка ключей?
Снова бреду наобум
в никуда, бездомный, ничей.

12

«Божьи жернова дают превосходную мȕку» –
право, против эмпирика не попрешь!

13

Голь. Бах играет, но где же Вера?
И София, стерва, сдала.
Фиговое плодоносит древо.
Ни кола ни двора.

14

Отчего ты, скажи, головою поНицший?
Посмотри, оглянись, всё в природе цветет.

15

У кого длиннее – тому виднее. – Мудищев. –
И наоборот.

16

Где ты, меда земля, разлюли малина?
До тебя доплыть бы в какой главе.

17

Краснокожая паспортина.
Каша березовая в голове.

18

Со своим самоваром в чужой чифирь?!
Пряников, кстати, всегда не хватает
на Крайней Туле.

19

(Из-за улисс): Вы там бредите али часом уснули?

20

Танцуют все-с!
За вина предков платят потомки. – Курций.

21

История мира ужимиста, Джеймс, по-словоерс'ки, куца,
но ты прав – кошмар, из которого ни тебе ни мне:
ни живому ни мертвому (соответственно) не
проснуться.

* * *

пайка слов да огрызок памяти
пепел дней в дырявом кармане
погорелая вязь на пергаменте
пустота в граненом дурмане
узнаю тебя жизнь узнаю
коренится в вольере воля
я стою один на краю
губы кривит минорное *доля*

* * *

лишь скованность в непринужденном жесте
о эти гонки в экстремальном ралли
где я стою стою себе на месте
была свобода мысли – да украли

* * *

проложение моста к *другому* –
моста по которому бродит надежда
моста под пролетами которого
текут самозабвенные речи
шлифуя камешки эгоизма
и сквозит одиночество

* * *

мы знакомы седую вечность
в день Юпитера встретившись и
разойдясь в день Господень
осени моего средневековья
где-то меж Рош ха-Шана и
Новым годом

* * *

мир суров что глухонемой январь
ледниковый оттаивает словарь
разносклоняемые на -мя
и поди заблудшее «путь»
Отче Небесный помилуй мя
в эту безмолвную жуть

* * *

утруска мыслей неусыпных и сыпучих
усушка памяти утечка словаря
промеж двух жерновов хожу скрипучих
за эту легкость жизнь благодаря

* * *

материнского б только достало чутья
к речке той выйти чтоб без запинки
где грудное слово мое в камышах забытья
в просмолённой рыдает корзинке

Андрей Грицман

Отказ от стихов?

Это можно было бы назвать отказом от стихов. В голове шум от слов и метафор, от блестящих поворотов поэтического языка. Трудно стало что-то читать. Большая часть звучит как самодовольное нытье. А фейсбук каждый день предлагает новые шедевры (не сарказм) стихотворного творчества авторов, за которыми следил годами. Дело в том, что то, что произошло за последнее время, сдвинуло чувства (sensibility) в другое пространство. Другое пространство подразумевает и другой метод, другой язык. Или отказ от него. Временный или постоянный – это уж как карта ляжет. Создается ощущение, что стихи больше не выражают реальности, или нереальности, происходящего. Многие звучат как самодовольное мурлыканье. Даже такие, очень разные, блистательные мастера, как... (умышленно пропущено!), больше не увлекают. Блестяще, но для другого времени. Реальность стала страшнее, чем то, что можно выразить русской просодией, игрой словами и образами, хитроумной иронией и самоиронией (обязательно!) или отсылами к вершинам русской поэзии. Наплывает (и не очень медленно) *апофатический* период поэзии.

Остается только молчать.
Или говорить ни о чем.
На больничном бланке печать –
Окончательная – врачом.

Не глагол, не падеж, не род.
Зов сирен да разрыв навзрыд.
Перелет, недолет, перелет.
Дрон судьбы над тобой парит.

Потому теперь я молчу.
Есть предел. Душа как сосуд
Сообщается с тем, кому
Уготован неправедный суд.

Были, сплыли: глад и чума,
Децимации, печи и мор.
Но теперь доведут до ума
В темной яме. Такой разговор!

Потому бессловесно пора
уходить за глухую черту.
Там, где нас до поры не сыскать.
Не зовите – не услыхать.
Там – туман, как иприт поутру.

Иприт, понятно – воздушно-капельного типа, удушающий. Таковы наши времена, войн и катастроф, а не строф. Вне зависимости от того, как далеко находится данный автор от эпицентра событий. Живем мы в глобальном мире. Не в «русском мире», не в американском, бразильском или индонезийском, а в глобальном. Поэт находится в радиационном поле событий. Время не разбрасывать камни, а собирать камни.

Поэты, в зависимости от величины таланта и особенности эпохи, реагируют на беды по-разному.

Уолт Уитмен создал свой новый поэтический американский язык, отличный от регулярного британского стихосложения: разговорный, размашистый верлибр. С началом страшной Гражданской войны его стих естественно вошел в ткань времени, прямо рассказывал о трагедии. Ничего изобретать не пришлось. В начале войны Уитмен говорил, что войну невозможно выразить изящными рифмами сентиментальной лирической поэзии (которая преобладала в те времена). Так появилась военная серия *Drum Taps*, которая естественно влилась в сквозную книгу *Leaves of Grass*:

Так в молчании, в отражении мечтаний,
возвращаясь, вновь начиная, я бреду по госпиталям;
больных, раненных я успокаиваю моей щадящей рукой...*

Такой прямой, искренний рассказ был понятен и адекватен временам. Стоит вспомнить, что Уитмен был профессиональным журналистом, военным журналистом, и его творчество адекватно отразило эпоху, став шедевром поэзии и историческим документом одновременно.

Другой подход – пауза, недоговоренность, апофатическая поэзия, которая нашла выражение в поэзии Эмили Дикинсон, никогда не говорившей прямо о событиях. Апофатическая поэзия – поэзия отрицания, или выражение невыразимого. Примерно как то, что происходит в середине 21-го века после «уроков» 20-го. Упрощенно говоря, в теологии Бог – это то, что не может быть выражено, описано известными методами. Так, поэзия Э.Дикинсон подспудно, подземно отразила и предвосхитила темное облако ее времени, прямо не определяя предмет предчувствия ужаса.

* Здесь и далее – перевод мой. (*А.Г.*)

Слова счастливым сказанные –
ничтожная мелодия
Но, выраженные в молчании
Прекрасны

Величайший немецкий поэт Пауль Целан подошел к выражению ужасов Второй мировой войны и Холокоста по-иному. Он создал свой, другой немецкий язык, отличный от тоталитарного языка нацизма. Со временем он отошел от своего раннего шедевра «Фуга смерти» и реконструировал язык, сделав его более сжатым, словообразующим, «апофатическим». Таким образом, он преодолел знаменитый постулат Теодора Адорно: создавать поэзию после Освенцима – варварство.

СТОЯТЬ В ТЕНИ

Стоять в тени
воздушного шрама.

Ни для-кого-стоять – ни для-чего.
Неузнанным,
для тебя
одного.

И всё же, есть место для этого,
даже без языка.

СОЛНЦЕНИТИ

Солнценити
над серо-черной пустыней.
Высокодревная мысль
превращается в светотон: есть еще
песни неспетые по ту сторону
человечества.

Уникален опыт Мандельштама, творчество которого пришлось, в основном, на период между двумя мировыми войнами (а на самом деле, одной страшной войны с паузой, с перерывом). Пауза, наполненная страшным сталинским террором, убившим поэта. Только гений был способен с такой кристальной ясностью и чистотой передать катастрофы двадцатого века, а на самом деле – предвосхитить будущие.

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,

И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.

«Стихи о неизвестном солдате», «Старый Крым»... Непредставимая вершина – «Воронежские тетради», предсмертная гениальная ясность выражения.

Сегодняшний поток стихотворного творчества, много сильных, резких – наотмашь! – стихов, не отражает степени ужаса происходящего. В особенности, разразившуюся на нашем веку «основную геополитическую катастрофу» 21-го века – войну в Украине, в центре Европы. После всех бесполезных уроков истории 20-го века. Не закат, а распад европейской цивилизации. А мы всё об одном!

Я говорю о поэтическом языке, о просодии, о степени крика. Хотя криков достаточно. О «зет-поэзии» я не говорю. Эта абберрация – за пределом добра и зла. Хотя и там есть способные, но не об этом речь.

Каков выход, мне совсем непонятно; наверное, пока помолчать, или говорить, как Эмили Дикинсон, – от противного.

Что касается нашей, казалось бы безопасной, большой и широкой Америки, она тоже на пороге огромных перемен, которые уже и происходят, – тектонические сдвиги в культуре и в социальном сознании – от политической борьбы до культуры «вок». Как и в последние, скажем, лет сто пятьдесят, Америке не удастся изолироваться и отстраниться (путем поставок оружия, денег и пустых советов) от глобальных событий Украинской войны, Среднего Востока, Центральной и Южной Америки. Современная американская поэзия, замкнутая в свою культуру элитных журналов, политически корректных университетских изданий, с ее эгоцентричностью, психоанализом, языковой поэзией, саморефлексией, всё больше теряет перспективу реально происходящего у нее под носом. Я не говорю о так называемой политической поэзии, которая и ранее была поверхностной митинговой манифестацией политической лихорадки. Она далека от прямой, живой силы высказывания Уолта Уитмена или темных апофатических пророчеств Эмили Дикинсон.

Пару слов о «смерти языка». В эссе поэта Виктора Фета речь идет о быстром уходе в небытие современного русского языка, теряющего позиции лингва франка в мире, в «русском мире». Это так, но единичный феномен рождения талантливого поэта не зависит от языка. Тому множество примеров великих поэтов, создающих произведения на «малых» или редких языках: идиш, словенский, иврит (до развития израильской культуры) и т.п. Снова – Целан, создавший свой язык, отошедший от языка варваров; Кафка писавший в море другого языка. «Не сравнивай. Живущий не сравним.» Поэт, конечно, является частью культуры, но с ней не тождественен.

Страшые времена. Остается слушать глубинный гул подземных рек культуры и истории. Читать Библию.

Подземные реки текут неслышно
Не слышно слов по глухим долинам
Там нету вместе и нету между
Неразличимо витает имя.

В подземных рощах уснули птицы
Остатки пепла доносит ветер
Зарница жизни тревожит лица
И смысл в глазницах спокойно светел.

Но нету смысла в теченье речи
В земной коре головного мозга
В такое время и речь не лечит
Когда со смыслов сошла короста.

А там, снаружи шумит собранье
Как перекличка гортанных скважин
И всё яснее на расстояньи
Что шум собранья уже не важен

Возможно лишь замереть на время
Послушать гул огласовок в недрах
Неразличимо витает имя
И не увидеть знаменитой Федры.

Нью-Йорк

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Илья Серман

А.Н. Апухтин

«СТИХИ, ДО СТРАННОСТИ НАПОМИНАЮЩИЕ БЛОКОВСКИЕ» НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ И.З. СЕРМАНА

В архиве Ильи Захаровича Сермана* отложилась неопубликованная и недатированная статья «А.Н. Апухтин». Не исключено, что этот текст предназначался в качестве вступительной статьи для вышедшего в 1938 году издания стихотворений Алексея Апухтина в Малой серии «Библиотеки поэта» (эту книгу, ставшую первым советским изданием поэта, подготовил и написал вступительную статью Вс. Рождественский[1]).

Статья И.З. Сермана небезынтересна по нескольким причинам: это один из неизвестных текстов еще молодого ученого (фактически – студента[2]), ставшего впоследствии выдающимся историком литературы. Кроме того, это ценное высказывание о поэте, чье творчество никогда не было в центре внимания исследователя. Кроме этого, перед нами разворачивается как бы лаборатория становления научного метода Сермана-филолога. Мы видим правку уже готовой и набранной на машинке статьи, когда из текста вычеркиваются слова об Апухтине как о «консерваторе-дворянине», – это косвенный знак того, что ученый побеждает штампы клишированной фразеологии советской эпохи.

---

* И.З. Серман (1913–2010) – известный литературовед, педагог, мемуарист, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX веков. В 1949-м был осужден на 25 лет по обвинению в антисоветской пропаганде, пять лет провел в ГУЛАГе. Освободившись после смерти Сталина, работал в Институте русской литературы (Пушкинский дом), участвовал в издании собраний сочинений Лермонтова, Достоевского, Белинского, Чернышевского, Некрасова, Лескова. Автор фундаментальных исследований по русскому классицизму, имеющих непреходящее значение для русской и мировой культур. Преподавал в Ленинградском Государственном университете. В 1970-х иммигрировал в Израиль. Был профессором кафедры русской и славянской филологии Еврейского университета в Иерусалиме, преподавал в качестве приглашенного профессора в университетах США, Франции, Италии, Германии. В 1988 г. в Иерусалиме была издана на английском языке монография И.З. Сермана «Михаил Ломоносов. Жизнь и поэзия»; он был одним из редакторов многотомной «Истории русской литературы» (на французском языке).

Безусловно, статья о жизни и творчестве Апухтина несет на себе естественные для своего времени черты социологизма и классового подхода, однако эта необходимая и, в сущности, понятная риторика сведена в публикуемой работе к минимуму. В статье проявляется аналитический дар Сермана, и тогда появляются такие пунктирные аллюзии, уловленные автором, которые очерчивают возможные перспективы дальнейшего рассмотрения поэтики Апухтина. Здесь и брошенное вскользь замечание о потенциальной связи «Дилетанта» с пушкинской «Моей родословной», и суждение о том, что «поза дилетанта была лишь особой формой литературного поведения». Также тезисно Серман намечает вектор рассмотрения еще одной темы: «Апухтин и символизм», и здесь как-то по-новому, свежо и созвучно нашему времени начинает звучать сама его научная лексика, использующая выражения «предметно-логическое значение» и «увеличивающаяся семантическая глубина».

Конечно, статья молодого ученого, в целом, несколько схематична и не может претендовать на особую глубину: здесь много цитат, совсем не использован архивный материал и нет опоры на существовавшую тогда научную литературу. Но в работе Ильи Сермана есть главное: искренняя увлеченность предметом своих занятий, а также рассмотрение творчества Апухтина в блоковской поэтической перспективе.

Текст статьи (авторизированная машинопись, хранящаяся в Фонде И.З. Сермана и Р.А. Зерновой в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, СПб) печатается с сохранением авторской пунктуации; отдельные случаи авторской орфографии и цитации оговорены в примечаниях. Благодарю Марка Ильича Сермана за помощь в подготовке публикации.

Павел Глушаков

---

1. См. рецензию: *Ямпольский, И.* «Стихотворения» Апухтина. «Литературное обозрение». 1938. № 13/14. С. 81-85.

2. В воспоминаниях о годах учебы Илья Захарович писал: «Русскую литературу второй половины XIX века нам читал Лев Владимирович Пумпянский, до этого приглашения – популярный лектор Центрального лектория. Как он кому-то говорил: ‘У меня на счету 10000 публичных лекций!’ Нам он читал очень прилично, без каких-либо дополнительных ораторских увлечений. По-видимому, от своих теоретических убеждений он воздерживался, а любил говорить, разумеется в шутку, что может двигать науку от Кантемира до Тредиаковского, имея в виду две главы, которые об этих авторах он написал для фундаментальной книги Г.А. Гуковского ‘Русская литература XVIII века’». Для темы дипломной работы Серман избрал поэзию Батюшкова, объясняя это так: «…было у меня упорное желание понять этого поэта, до сих пор во многом загадочного, при всей как будто простоте его поэтического наследия. К тому времени, когда им занялся, уже был окончательно посрамлен т.н. вульгарный социологизм, которому я отдал дань…» (*Серман, И.З.* Свободные размышления. М.: НЛО, 2013. С. 44-45). Сказанное здесь о Батюшкове вполне может быть применимо и к творчеству Апухтина.

* * *

«Баловнем судьбы»[1] назвал Апухтина его первый биограф и близкий поэту человек М.И. Чайковский. И по происхождению и по светским связям, и по образованию Апухтин принадлежал к дворянским кругам, близким ко двору и высшей бюрократии. Отец поэта, Николай Федорович, принадлежал к старинному боярскому роду Апухтиных. Мать, Мария Андреевна Желябужская, из родовитой дворянской семьи. Генеалогия обоих родов начинается в XV столетии.

Алексей Николаевич родился 15 ноября 1840 г. в городе Болхове, Орловской губернии, а детство провел в родовом имении Павлодар, Ковельского уезда, Калужской губернии.

Болезненный ребенок, поражавший исключительными способностями, А.Н., сделался любимцем и баловнем матери, кумиром всего дома.

Марья Андреевна посвятила себя целиком воспитанию старшего сына и создала ему в семье особое, привилегированное положение. Очень рано обнаружилась у Апухтина любовь к поэзии, к Пушкину и Лермонтову; одновременно начинаются и первые опыты в писании стихов, так что, когда мать отдала Апухтина в подготовительный класс Училища правоведения, ему уже предшествовала слава «будущего Пушкина».

Преобразованное из Царскосельского лицея, Училище правоведения, в каждом выпуске искало своего «Пушкина», подобная слава, например, сопровождала Салтыкова.

В Училище Апухтин пробыл с 1852 по 1859 г., когда окончил курс с золотой медалью. Тяжелое горе сопутствовало радостной эпохе окончания учения: в 1859 умерла мать поэта.

В 1859-62 гг. Апухтин служит в Министерстве юстиции, в 1863 г. переводится в Орел чиновником по особым поручениям при губернаторе, а в 1864 окончательно возвращается в Петербург, где причисляется к Министерству внутренних дел без определенных обязанностей и без должности. На этом его служебная карьера кончается. С этих пор и до конца жизни Апухтин живет в Петербурге, из-за своей болезни – прогрессирующее ожирение – вынужденный всё реже и реже покидать диван своего кабинета. Только в 1886 году выходит сборник стихотворений Апухтина, повторенный в дополненном виде в 1891 году. В 90-х гг. Апухтин пишет и прозу: «Архив графини Д.**» (роман в письмах), «Дневник Павлика Дольского» и др. В 1893 г., после полугодовой тяжелой болезни, Апухтин 17/VIII умирает. Жизнь его бедна событиями, внешне она представляется обычной жизнью независимого и холостого светского человека, вхожего в лучшие дома столицы, признанного остряка и бонмотиста.

В молодости значительное место в его жизни занимали карты и театр, цыгане. С годами театр и цыгане, из-за болезни стали менее доступны, но страсть к крупной игре сохранилась. Молва в преувели-

ченном виде распространяла рассказы о тех веселых сборищах, местом которых становилась холостая квартира Апухтина.

Судьба как будто предназначала Апухтину обычную служебную карьеру, – житейский путь преуспевающего администратора.

Уже одно пребывание в Училище правоведения могло стать началом блестящего служебного пути. Недаром именно Училище правоведения было окрещено Щедриным школой «государственных младенцев»[2].

Апухтин пренебрег всеми этими возможностями ради основного дела своей жизни, ради поэзии.

Воскрешая вокруг себя тщательно забытую литературно-бытовую атмосферу 20-х гг., Апухтин демонстрирует свой дилетантизм и свое отличие от профессиональных литераторов, журнальных торгашей и литературных поденщиков. В том сниженном облике, который им тщательно создается и подчеркивается, поэзия должна была быть не «религией», не «профессией», а развлечением, прихотью, причудой.

Апухтин не печатает свои стихи, а читает их, хочет, чтобы они дошли в литературу исключительно с голоса. Ему не нужна широкая известность; оценка и поддержка избранных почитателей таланта, его удовлетворяет вполне. Апухтин реже выступает как поэт. В 1854 году в газете «Русский Инвалид» было напечатано стихотворение [«Эпаминонд»][3], посвященное памяти адмирала Корнилова, героя Севастопольской обороны. Ода на рождение великой княгини Веры Константиновны становится известной двору, через принца Ольденбургского, попечителя Училища правоведения.

Начинающего поэта поддерживают Тургенев[4] и Фет. В 1850 Некрасов в «Современнике» печатает 10 стихотворений Апухтина.

В ранних стихах Апухтина вместо элегической лирики 20-30-х гг. ощущается влияние Фета и, отчасти, Некрасова.

Уж поздно... Всё сильней цветов благоуханье,
Сейчас взойдет луна...
На небесах покой, и на земле молчанье,
И всюду тишина.

Если эти строки разительно напоминают «мелодии» Фета[5], то в стихотворении «Песни» отчетливо проявляется подражание Некрасову[6]:

Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды,
Пусть ты унынья страна...
Нет! я не верю, что песня свободы
Этим полям не дана![7]
(1858)

Обострение классовой борьбы в стране в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, резкое размежевание литературных направлений влияет на Апухтина в том направлении, что он вообще от литературы отходит и не появляется в печати около 20 лет. ~~Консерватор-дворянин~~[8] Апухтин враждебно относится к революционно-демократической литературе, но не принимает активного участия в борьбе с ней реакционных журналов.

Одно из немногих стихотворений его этой поры, демонстративно названо «Дилетант» и использует строфу пушкинской «Моей родословной»[9] для полемики с демократической журналистикой.

Родился я в семье дворянской[10],
Чем буду мучиться по гроб,
Моя фамилья не Вифанский,
Отец мой не был протопоп;
О хриях, жупеле и пекле
Не испишу я фолиант,
Меня под праздники не секли...
Я – дилетант, я – дилетант!
……
Я нахожу, и в том виновен,
Что Пушкин не был идиот,
Что выше сапогов – Бетховен
И что искусство не умрет,
Чту имена – не знаю, кстати ль? –
Как, например, Шекспир и Дант...
Ну, так какой же я писатель!
Я дилетант, я – дилетант.

Поза дилетанта была лишь особой формой литературного поведения. Друзья поэта в своих воспоминаниях рассказывают, как долго и тщательно отделывал Апухтин свои стихи, каких трудов стоило уговорить поэта отдать в печать какое-либо, давным-давно готовое и отделанное, стихотворение.

В историю русской поэзии Апухтин вошел как поэт 80-х гг. В этом есть своя закономерность. В 80-е [в эпоху] «сумерек» и «хмурых людей» начинается новый период развития русской поэзии, послуживший как бы преддверием к новому взлету русской лирики в первом тридцатилетии XX века.

Идейный кризис народнической идеологии породил поэзию Надсона, самого популярного поэта эпохи, поэзию, содержанием которой является противоречие между правом на личное счастье и необходимостью жертвы во имя идеала, опровергнутого уже всем ходом общественного развития.

Апухтин также приходится по типу 80-х гг., но по иным причинам.

Его учитель в поэзии, Фет, также переживает второе рождение в 80-х гг., выпуская одну за другой книжки «Вечерних огней», но ни популярности, ни всеобщего признания он не добился. Апухтин же сразу вошел в быт, в репертуар чтецов и декламаторов, был положен на музыку и затвержен наизусть.

Апухтин оказался необычайно близок людям 80-х годов тем, что он[,] подобно Чехову, сумел найти трагизм в повседневности, в пошлости и однообразии действительности. Отсюда один из основных жанров его поэзии: стихотворный «рассказ», монолог в стихах.

«Что, умерла, жива? Потише говорите,
Быть может, удалось на время ей заснуть...»
И кто-то предложил: «Ребенка принесите
И положите ей на грудь!»
И вот на месте том, где прежде сердце билось,
Ребенок с плачем скрыл лицо свое...
О, если и теперь она не пробудилась, –
Всё кончено, молитесь за нее!

К подобного рода рассказам в стихах относятся: «С курьерским поездом», «В убогом рубище, недвижна и мертва...» (70-е гг.), «Письмо» (1882), «Ответ на письмо» (1885), «Из бумаг прокурора» (1888), «Перед операцией» (1888), «Сумасшедший» (1890). Поэма «Год в монастыре», написанная в форме дневника, представляет собой, в сущности, развернутый монолог в стихах.

Апухтин нарочито берет для своих рассказов обычные факты. Стихотворению «В убогом рубище...» предпослан эпиграф: «Честь имею донести Вашему Высокоблагородию, что в огородах мещанки Ефимовой найдено мертвое тело. Из полицейского рапорта», а кончается оно следующим образом:

Был чудный вешний день. По кочкам зеленели
Побеги свежие рождавшейся травы,
И дети бегали, и жаворонки пели...
Прохладный ветерок, вкруг мертвой головы
Космами жидкими волос ее играя,
Казалось, лепетал о счастье и весне,
И небо синее в прозрачной вышине
Смеялось над землей, как эпиграмма злая!

Контраст «мертвого тела» и «равнодушной природы» нужен Апухтину для того, чтобы из газетного сообщения, из материала уголовной хроники сделать глубоко пессимистический вывод о бессмысленности жизни. Другой рассказ в стихах «С курьерским поездом» делится на три части: в первой герой спешит к поезду,

чтобы встретить женщину, которую он любит 20 лет – теперь она свободна и едет к нему. Во второй части она в поезде мечтает о предстоящем свидании. В третьей части дано само свидание:

И встретились они, и поняли без слова[11],
Пока слова текли обычной чередою,
Что бремя прожитых бессмысленно годов
Меж ними бездною лежало роковою.
О, никогда еще потраченные дни
Среди чужих людей, в тоске уединенья,
С такою ясностью не вспомнили они,
Как в это краткое и горькое мгновенье...

В «рассказах» Апухтин стремится передать разговорную интонацию, пишет их разностопным ямбом, вводит прозаизмы, нарочито просторечные обороты. «Классически я жизнь окончу тут», «слегка поужинал», «револьвер осмотрел я: всё в порядке», и т.д.

Другой жанр, в котором работает Апухтин, это роман, романсная лирика. Здесь Апухтин основную тему своей поэзии – тему трагизма жизни, бессмыслицы, нелепости и жестокости – разрабатывает поиному.

Традиция романсной лирики, так называемого цыганского романса идет в русской поэзии от поэтов круга Аполлона Григорьева, от Фета и Полонского. «Цыганский романс» был тем жанром, в котором индивидуальное чувство лирического героя могло быть представлено как выражение его растворения в народной стихии; органического с ней единения. «Цыганская венгерка» А. Григорьева, романсы Полонского и Фета оказали очень большое влияние на романсную линию в творчестве Апухтина.

Отличительное свойство его романсов это трагизм темы и интонации, надрыв и отчаяние самые существенные их качества.

Таковы «Ночи безумные», положенные на музыку другом Апухтина П.И. Чайковским, «Мухи», «Пара гнедых» и др.

Если измена тебя поразила,
Если тоскуешь ты, плача, любя,
Если в борьбе истощается сила,
Если обида терзает тебя, –
Сердце ли рвется,
Ноет ли грудь,
Пей, пока пьется,
Всё позабудь!

Здесь смена ритма оттеняет резкую смену настроения, так характерную для цыганского романса.

Апухтин в стихотворении «О Цыганах», указал в чем для него заключалась притягательная сила цыганской песни:

В них сила есть пустыни знойной
И ширь свободная степей,
И страсти пламень беспокойный
Порою брызжет из очей.

В них есть какой-то, хоть и детский,
Но обольщающий обман...
Вот почему на раут светский
Не променяем мы цыган.

Разговорность тона, разностопный стих сменяется установкой на мелодию, <…>[12], столь частые в рассказах, исчезают совсем. Стихотворение воздействует не столько логикой образов и идей, сколько всем своим ритмико-мелодическим строем.

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые...
Ночи, последним огнем озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые!

Пусть даже время рукой беспощадною
Мне указало, что было в вас ложного,
Всё же лечу я к вам памятью жадною,
В прошлом ответа ищу невозможного.

Вкрадчивым шопотом[13] вы заглушаете
Звуки дневные, несносные, шумные...
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,
Ночи бессонные, ночи безумные!

Слова начинают приобретать более широкий смысл, по мере того, как блекнет их предметно-логическое значение, поглощаясь мелодикой их стиха, увеличивается семантическая их глубина и стихотворение приобретает второй, символический план.

Если от рассказов в стихах Апухтин последовательно пришел к прозе, к роману, к повести, то романсная линия его поэзии своим намечающимся пределом имела то направление русской поэзии, которое появилось в самые последние годы жизни Апухтина – символизм.

Ни отзыва, ни слова, ни привета,
Пустынею меж нами мир лежит,

И мысль моя с вопросом без ответа
Испуганно над сердцем тяготит!

Ужель среди часов тоски и гнева
Прошедшее исчезнет без следа,
Как легкий звук забытого напева,
Как в мрак ночной упавшая звезда?

Апухтин не мог примирить две тенденции своего творчества, они жили в нем параллельно, это объясняется тем, что трагизм жизни, ужасы действительности и мир народной песни, народной стихии никак для Апухтина не соединялись. Мечта и действительность, поэзия и правда оказались разъединены. Поэтому он не мог понять, как понимал до него Некрасов, а после него Блок, что народная песня и есть выражение народной жизни, отражение стихии. Поэтому он мог писать стихи до странности напоминающие блоковские, как, например, стихотворение «Актеры»,

...И, сняв парик, умыв лицо,
Одежды сбросив шутовские,
Мы все, усталые, больные,
Лениво сходим на крыльцо.
Нам тяжело, нам больно, стыдно,
Пустые улицы темны,
На черном небе звезд не видно –
Огни давно погашены...
Мы зябнем, стынем, изнывая,
А зимний воздух недвижим,
И обнимает ночь глухая
Нас мертвым холодом своим.

но сам остался человеком 80-х гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Баловнем людей он начал жить, баловнем сошел и в могилу.» (*Мусоргский, М.* Алексей Николаевич Апухтин. Биографический очерк / Сочинения А.Н. Апухтина: с портретом, факсимиле и биографическим очерком. Шестое, посмертное, издание. СПб: Типография А.С. Суворина, 1907. С. VI, первая пагинация).
2. См. в «Господах ташкентцах»: «‘Заведение’, в которое поступил Миша Нагорнов, имело специальностью воспитывать государственных младенцев. Поступит в ‘заведение’ партикулярный ребенок, сейчас начнут его со всех сторон обшлифовывать и обгосударствливать, – глядишь, через шесть-семь лет уж выходит настоящий, заправский государственный младенец» (*Салтыков-Щедрин, М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1970. С. 172).

3. В тексте пропуск, название реконструировано.
4. Ср.: «Несомненно, Тургенев смотрел на Апухтина как на восходящую звезду. И когда молодым поэтом был написан цикл ‘Деревенские очерки’ (1859), по рекомендации Тургенева их напечатали в ‘Современнике’» (*Отрадин, М.* А.Н. Апухтин / *Апухтин, А.Н.* Сочинения: Стихотворения; Проза. М.: Художественная литература, 1985. С. 6).
5. О «музыкальной теме» у поэта см.: *Благой, Д.Д.* «Поэт-музыкант» / Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1970. Т. 29. Вып. 5. С. 11-42; также: *Пильд, Л.* Поэтические смыслы в цикле А.А. Фета «Romanzero»: перевод музыки в слово / Wiener Slawistischer Almanach. 2017. Bd. 93. С. 117-133.
6. О некрасовских мотивах у Апухтина см.: *Павловская, О.А.* Некрасовские реминисценции в поэтическом мире А.Н. Апухтина / Вестник Ивановского гос. университета. 2013. № 3. С. 12-18. Стихотворение «Песни» в статье не упоминается.
7. В наиболее авторитетном с текстологической точки зрения издании (*Апухтин, А.Н.* Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1961. С. 60. Библиотека Поэта. Большая серия) иная расстановка знаков препинания.
8. Зачеркнуто в рукописи.
9. Эта тема не освещена даже в фундаментальной статье: *Иезуитова, Р.В.* А.Н. Апухтин и Пушкин / Пушкин: исследования и материалы. СПб. : Наука, 2003. Т. 16/17. С. 323-342.
10. В издании «Библиотеки поэта»: «Я родился в семье дворянской» и иная расстановка знаков препинания. С. 271.
11. В издании «Библиотеки поэта»: «...без слов». С. 168.
12. Пропущен фрагмент текста, который, вероятно, должен был содержать иноязычный текст, не вписанный от руки. Возможно, имеется в виду понятие «enjambement» – анжамбеман; в стихосложении – несовпадение синтаксической паузы с ритмической – концом стиха, строфы.
13. Так в тексте.

Публикация, текстология, комментарий – П. Глушаков

Василий Яновский

Гомункулус

Драма в 4-х действиях и 5-ти картинах

МЕТАФИЗИКА ГОМУНКУЛУСА

Имя Василия Семеновича Яновского (1906–1989) современному читателю не известно; сегодняшних исследователей русской литературы эмиграции его творчество практически не интересует. Окунувшись в писательство еще в двадцатых годах прошлого века, в нынешнем литературном контексте он существует одной книгой – «Поля Елисейские. Книга памяти». Этот «парадокс небытия», при постоянном присутствии в контексте культурной и литературной жизни русской эмиграции, был для большинства ее талантов скорее правилом, нежели исключением. (Вот ведь и весьма популярная Нина Берберова, профессор американских университетов, дама всем известная, да и вообще «железная женщина», связывается в сознании читателя с единственной книгой – «Курсив мой», а сколько было ею написано и сказано!) А ведь жизнь Яновского-эмигранта с самого ее начала и до последних лет была неразрывно связана с историей русской литературы (крылом коснулась и американской).

Василий Яновский принадлежал первой волне русской эмиграции; он вращался в самой ее гуще – входил в круг Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, на протяжении всей жизни дружил с Георгием Адамовичем, пользовался покровительством Михаила Осоргина, приятельствовал с Ильей Фондаминским и был частью «Нового Града»; он принадлежал тому яркому «незамеченному поколению», горестно описанному Варшавским, – свой среди своих; он знался с Бродским и Довлатовым, его связывала десятилетиями настоящая человеческая дружба с великим Оденом, который всячески поддерживал и старался помочь с публикациями на английском. «...уважительное предисловие к роману Яновского ‘По ту сторону времени’ было написано крупнейшим англоязычным поэтом Уистеном Оденом, отдававшим должное не только захватывающей проблематике этой книги, но и ее формально-эстетическим качествам. Заканчивает Оден свое предисловие такими словами: ‘В романе “По ту сторону” есть сцены, которые я буду помнить всю свою жизнь’» (С. Довлатов. «Против течения леты»).

Василий Семенович родился в Полтаве в семье служащего, был четвертым ребенком, единственным сыном. Мать умерла в 1917 году,

в 1922-м семья нелегально перешла польскую границу и поселилась в Ровно; некоторое время Василий учился в Варшавском университете. Там же, в Варшаве, он начал публиковаться под псевдонимом Цеяновский. Старшая сестра Василия, заменившая ему мать, с семьей эмигрировала не в Польшу, а во Францию, а с началом войны они уехали в США, – что помогло, возможно, и Василию перебраться сначала в Париж, а с войной – и в Нью-Йорк.

У него был зоркий писательский глаз, острое четкое перо; он был умен в своей прозе и профессионален в любом жанре. Его печатали в межвоенном Париже; в 1930 году опубликованный в журнале «Числа» рассказ «Тринадцатые» вызвал ожесточенную широкую полемику – «стариков» раздражили стиль, тема, герои, Борис Поплавский пришел в восторг! Язвительный Адамович с удовольствием высказался в своем стиле: мол, господа, «что же скажут дамы!..»; протежировавший Яновскому Осоргин сетовал, что медик победил художника (Яновский как раз в те годы стал дипломированным врачом)... Всеобщий знакомец, свой человек на рандеву... Как и все его друзья из «незамеченного поколения», он отдал должное документу в прозе.

В те годы Яновский начал работу над «Портативным бессмертием» – романом, который сам писатель в конце жизни назовет своим лучшим произведением. Отрывки широко позднее разошлись по эмигрантским журналам (в том числе, в 1943 в № 6, появились и в «Новом Журнале»), книгой роман вышел в 1953 году в Нью-Йорке. По мнению французского исследователя М. Рубинс, роман «совмещает черты привычного для довоенной прозы Яновского человеческого документа с утопией. Один из героев изобретает чудо-лучи омега, пытаясь с их помощью усовершенствовать человеческую природу. В этом можно увидеть пародию и на прием *deus ex machina* (который сам Яновский использовал в повести ‘Любовь вторая’), и на завладевшие умами миллионов доктрины ‘механического’ создания Царства Божьего на земле (от коммунизма до фашизма)». Да, пародийность – а скорее, фарсовость – без сомнения присутствовала в этом произведении, как и то, что в дистопии, созданной писателем, ощущалось социальное напряжение «человеческого документа» (яркого направления в межвоенной молодой литературе эмиграции). Но было и еще кое-что – вне чего не существовало самого Яновского: метафизическая тема, в дальнейшем, уже в американские годы, завладевшая писателем. Известный (а ныне – столь же «удачно» забытый) критик эмиграции Юрий Мандельштам писал о метафизическом наполнении русской эмигрантской литературы: «Явление это можно назвать – ‘метафизическим заказом’... если смотреть на литературу как на духовное творчество, на одну из сторон медали, обратная сторона которой – религия (пользуясь определением Гумилева), то быт в ней вообще никогда не может быть самоцелью. Он всегда выступает на второй план перед бытием, перед метафизикой, и описание его

важно для писателя лишь постольку, поскольку он отражает бытие, поскольку сквозь него просвечивает более глубокая жизненная сущность... Вот откуда то предельно пристальное всматривание в основную метафизическую тему, та ‘обнаженная совесть’, о которых столько писалось <...> тема эмигрантской литературы остается метафизической, темой вечной мировой трагедии, разлитого в мире неблагополучия и стремления это неблагополучие преодолеть. <...> Подлинная метафизичность может не ставить точек над i, постоянно пронзенный метафизикой художник может на словах не говорить о своей метафизичности; но о чем бы он ни писал, помня о своей конечной цели, тема его сама прорвется наружу, преобразовав и быт, и психологию, и ‘слишком личные’ лирические высказывания <...> Путь метафизики страшен. Если он иногда и приводит к радости и блаженству – если он и ведет к ним в окончательном счете, – то проходит он через бездны сомнений, мучений и отчаяния» (Статья «Метафизический заказ в эмигрантской литературе», 1937). Одним словом, «эмиграция фактически оказалась явлением метафизическим». Вторил Мандельштаму и Борис Поплавский: ««…Существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота, всё время растущая, – торжественная, светлая и безнадёжная» («О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции»). По необъяснимым причинам, современные исследователи так и не уделили должного внимания этой составляющей в русской литературе эмиграции XX века; нашему секулярному миру оставаться в плоскости «быта» оказалось комфортнее.

Что же касается прозы Яновского, ее невозможно понять вне метафизики, коей он наполнял свои произведения. Да, ирония – и даже не без цинизма; да, предельная «медицинская» четкость фразы и мысли... Но поверх всего – и очень, крайне серьезно, – о метафизике человеческого существования. И появляющиеся то там, то здесь *deus ex machina* – не способ ли это выразить невыразимое, найти форму для надформенного?.. Отсюда – важность самого сообщества и темы «Нового Града» для молодого Яновского, отсюда дорогая связь – жажда agapi – с матерью Марией, Фондаминским, Федотовым. Нет, никуда не деть новоградцев – чистое явление в русской культуре. Никуда не деть и «Третий Час» – он возник из парижских лет, он стал своеобразной материализацией тех метафизических идей и чаяний молодого Василия Яновского, воплощением его личности. И стоит признать, что проза Яновского не существует вне метафизической наполненности. В разных формах, с разной степенью успеха, но он пытается поймать эту птицу-сирин... Которая для читателя простого не привлекательна и утомительна, но которая важна для потерянного поколения Яновских и Варшавских. Юрий Мандельштам это хорошо прочувствовал в его время. «Яновский оперирует глобальными метафизическими идеями и понятиями, коллизии в его романах разрешаются на уровне высших нравственных ценностей, что и требует от

писателя многоплановой композиции и сложной, разнородной художественной ткани», – позднее написал С. Довлатов, верный поклонник Яновского («Против течения Леты»).

Да и сам Яновский любопытно высказался о молодой межвоенной литературе эмиграции в контексте философии и теологии: «Латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческой удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, Европейской России, чем наша молодая литература». Вот ее, такую «новую русскую литературу», писатель попробовал возродить и в США. Кажется, что безуспешно. Но это другая история.

В 1942 году Яновскому с семьей удается иммигрировать в Нью-Йорк. В 1946 году совместно с переводчицей, известной активисткой экуменического движения Еленой Извольской и композитором, представителем русского музыкального авангарда Артуром Лурье Яновский организует экуменическую группу «Третий Час», а вскоре и одноименный журнал. В редакционной статье журнала (№ 1, 1946), читаем: «Люди могут противиться благодати. В этом испытание дара свободной воли. Люди могут и призывать благодать. Им не будет отказано в ней. Обещание Христа столь же действительно в наши дни, как и в эпоху первых христиан. Оно останется в силе до скончания веков. В трагические периоды истории надвременная благодать Духа повелительно необходима людям. Для мира всего мира. Для выхода из житейских тупиков. Для нахождения общего языка между переставшими понимать друг друга братьями. К благодати должны быть устремлены теперь все помыслы, все притязания и все надежды верующих. Христос не оставлял своих. Он их не оставляет. И не оставит. Вечен Третий Час».

Задумывалось издавать журнал на трех языках – объединяя английский, русский и французский; первый номер так и был выпущен, последующие выходили только на английском.

Предлагаемая в этом номере пьеса В. Яновского «Гомункулус» появилась в журнале «The Third Hour» в пятом номере в 1951 году под названием «The Short Life of a Synthetic Man». В Бахметевском архиве (Колумбийский университет) в коллекции В.С. Яновского лежит машинопись этой пьесы на русском языке (с незначительной правкой рукой автора). Судя по всему, этот оригинальный текст специалисты не исследовали, обошли вниманием. (Впрочем, и самого Яновского как интеллектуала-мыслителя и поклонника метафизики их внимание едва коснулось).

Сегодня уже невозможно сказать, планировал ли Яновский опубликовать этот текст по-русски. Можно допустить, что русский вариант существовал лишь как заготовка для английского текста. В американские годы жизни писатель постепенно перешел на английский язык, но первоначально его произведения переводила вторая жена

Василия Семеновича, Изабелла Левитина, она же делала литературную редактуру его собственных переводов (Освоив язык спустя годы, Яновский органично вошел в среду американской творческой интеллигенции). Можно добавить лишь, что у Яновского были очевидные проблемы с публикациями на обоих языках, о чем свидетельствуют его письма к американским друзьям и издателям, к русским коллегам по перу.

Как бы то ни было, эта пьеса представляет определенный интерес прежде всего для исследователей русской литературы и историков эмиграции. Она, безусловно, кажется слишком «бродвейской», но... Стоит к ней присмотреться – чтобы понять писателя, уже зрелого, пожившего и, с его четким умом, сделавшего об увиденном и пережитом определенные выводы; научившегося не с болью, но с иронией относиться к жизни и людям, мужественно отвергая неприемлемое; писателя, который в творчестве – так или иначе, удачно или нет, – отражал определенные тенденции развития европейско-американской культуры, участником и фиксатором которой сам он был, в том числе – с русской стороны.

Пьеса-фарс. Здесь Яновский вновь возвращается к теме «Портативного бессмертия», «совершенного» человека – как и к проблеме создания искусственного интеллекта и его взаимодействия с людьми и обществом. Казалось бы, тема 21 века – ан нет, мир интеллектуалов она всегда будоражила, приобретая всё более четкие формы. Вспоминается рассказ известного американского художника С.Л. Голлербаха, эмигранта второй волны, о подобных же и вполне реальных спорах в среде русской интеллигенции в Нью-Йорке примерно в те же годы: можно ли за ненадобностью убить куклу-робота, которой пользовались для ваших утех; нужно ли продлевать жизнь ребенку-уроду или умирающему отцу; «беспризорное добро» и «зло во спасение»... Яновскому, глубоко погруженному в метафизическую проблематику (а тема жизни и смерти всегда стояла перед ним – и биографией, и профессией связывая) было естественно оказаться среди таких спорщиков.

Итак, безумный профессор Кинг, эдакое воплощение аморальной науки, работает над пробемой создания ИИ и, конкретно, искусственного человека – человека совершенного, лишенного всех слабостей и пороков homo sapiens. Собственно, он уже создал такого «нового Адама», гомункулуса, симпатичного Франкенштейна, – но, непонятый коллегами, Кинг вынужден уединиться, чтобы продолжать опыты. Как вдруг к нему внезапно наведывается проф. Лентц и умоляет создать еще одного гомункулуса – взамен покончившего жизнь самоубийством жениха дочери: у Эльзы больное сердце, и она не переживет потери. Такова завязка. И вот гомункулус Александр создан. Лентц с ужасом смотрит на воплощение своего замысла; Эльза жертвенно пытается «вылечить» лже-Александра, развить его до

«нормального» человека, но быстро устает от сего обреченного дела – интрига развивается... Не станем пересказывать эту весьма незамысловатую фабулу – фарс и должен веселить и увлекать зрителя, не отягчая его совесть и мысль; всё должно закончиться хорошо – все человеки получают то, что хотели, мешающие спокойно спать проблемы решаются. И можно было бы посмеяться над этим текстом-шуткой пожилого маститого писателя, пустившегося в тяжкие, забредшего не в свою вотчину... Однако... нам хотелось ввести эту пьесу в контекст эмигрантской русской литературы – ибо в «Гомункулусе» затронута одна из ее важных тем, – метафизическая тема, без которой не понять той далекой уже и всё еще не изученной эпохи.

Хотелось бы обратить внимание читателя и вот на что. Разрабатывая очередную историю очередного гомункулуса, Яновский пишет ее в проекции на... князя Мышкина, и не меньше: наивный, донельзя доверчивый гомункулус-Александр – вполне симпатичный тип, он просто не вписывается в мир людей, – и не потому, что не умеет пользоваться вилкой, нет, – он не умеет пользоваться ложью. Корыстью, обманом. Он не понимает, почему вокруг него все лицемерны и злы, падки до денег и разврата... Его собственный мир яснее и чище, проще – но и добрее. Александра подводит его безграничное доверие к людям, толкающим его, не ведающего что творит, на преступление.

Вглядитесь, как эгоистичны и агрессивны «положительные» герои пьесы: Эльза – во что бы то ни стало желающая переделать Александра «для себя»; Лентц, пытающийся убить гомункулуса – живое существо, созданное по его же прихоти... Они ничем не отличаются от всей толпы ворующих гарсонов, попрошает, проституток, шулеров и бандитов, что окружили Александра в реальном мире, полном фарса. И уже совсем нетрудно представить и кн. Мышкина, стоящего «на шухере» у ювелирного магазина, – ведь тем самым он помогает друзьям... Гомункулус обречен в мире людей; надежды, идеалы, высокие истины не годятся для человеческого сообщества... Оно слишком порочно для идеального ИИ. Какое-то детское наивное сплетение бродвейского водевиля и Достоевского видится в этой трогательной пьесе. Которая никогда не была поставлена, была опубликована лишь раз – и, совершенно очевидно, не обрела своих почитателей. Как оставлен за занавесом понимания и ее автор – признанный циник и большой мечтатель Василий Яновский.

Да, так об эмиграции, литературе, метафизике... о Третьем часе. В христианском предании – это час молитвы, соединения с Христом. С Высшим. Вот и Иисус пошел на Крест при третьем часе. Этот метафизический момент был очевидно главным в понимания мира и людей для нарратива Яновского. Да, Яновский-человек хотел в это верить, Яновский-метафизик говорил об этом, Яновский-писатель сильно сомневался... «...третий час апостолам Твоим ниспославый,

того, Благий, не отыми от нас, но обнови в нас, молящихся Тебе». Кажется, не обновил. Не заслужили.

Выражаю благодарность Бахметевскому архиву за предоставленный текст для публикации. Пьеса «Гомункулус», машинописная копия, хранится в Bakhmeteff Archive, New York. Vasilii Semenovich Yanovskii Paper, 1933–1989. Box 18. Manuscripts “The Short Life of a Synthetic Man”. Благодарю проф. Alexis Levitin, наследника В.С. Яновского, за разрешение опубликовать данный текст. Также благодарю исследователя культуры эмиграции Е. Дубровину за указание на американскую публикацию пьесы и ее консультации по наследию Ю. Мандельштама.

В данной публикации мы сохранили все особенности стиля автора, при этом приведя текст в соответствие с нормами современной грамматики. Авторская правка внесена в квадратных скобках.

Марина Адамович

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Александр – Гомункулус
Эльза – его невеста
Лентц – помещик, отец Эльзы
Кинг – профессор
Адам – его слуга
Судебный следователь
Слуги Лентца, гарсоны кафе, завсегдатаи, свидетели, ученые эксперты, бродяги

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1

Столовая, мрачная, просто убранная. На столе горит керосиновая лампа. У стола в глубоком кожаном кресле сидит профессор Кинг. Углы комнаты тонут в тени.

Явление 1

ПР. КИНГ: Адам, подай табак в трубку.
Адам выступает из темноты угла, подходит в шкафу, достает просимое и подает профессору.
ПР. КИНГ (*набивая трубку*): Ты не догадлив, Адам, что.
АДАМ: Да, профессор Кинг.
ПР. КИНГ: Ты не оспариваешь этого, аха-ха (*невесело смеется*). Чего не достает, чтобы закурить.
АДАМ: Огня.
ПР. КИНГ: Подай огня.

Адам подает огонь и молча, вытянувшись в своей обычной полупозе: руки скрещены на огромной груди, – застывает перед профессором. Кинг задумчиво раскуривает трубку.

ПР.КИНГ: Адам, тебе скучно.

АДАМ: Не знаю.

ПР.КИНГ: Ну, испытываешь ли ты желание быть в другом месте с другими людьми.

АДАМ: Нет.

ПР.КИНГ: Бываешь ли ты неудовлетворен. Чувствуешь ли иногда раскаяние. Или угрызения совести.

АДАМ: Нет.

ПР. КИНГ: Нет. Знаешь ли ты, что такое сомнение. Или грусть о невозвратном, ушедшем. Возмущает ли тебя смерть, пугает ли вечность, или это тебе безразлично.

АДАМ**:** Не знаю.

ПР. КИНГ: Знакома ли тебе жалость. Ненавидишъ ли ты пороки, страдаешь ли от косности [всего] живого. Нет. Тогда может быть ты испы~~тал~~[тываешь] [чувство] любо~~вь~~[ви]. Видел ли ты когда-нибудъ ноги женщины. Загоралась ли кровь в тебе. Твои зрачки расширялись, тебе хотелось рыдать и смеяться, пасть на колени, в ушах пели трубы и тебе казалось, что ты не умрешь, что ты не переживешь. Ты смеешься, Адам.

АДАМ: Нет.

ПР.КИНГ: А если тебя ущипнуть. (*приподымается, щиплет, мнет щеку Адама*) Если ударить тебя (*звенящим шепотом*) – да боль какую-нибудь, зубную боль испытываешь ли ты.

АДАМ: Нет.

ПР.КИНГ: Ха-ха-ха (*истерически смеется, задумывается*). Я об этом мечтал, Адам, когда тебя создавал. Ты помнишь, как ты родился.

АДАМ: Да. Из глины.

ПР.КИНГ: Ты дурак, Адам. (*пауза*) Мне не нравится твое молчание, ты слышишь.

АДАМ: Да.

ПР. КИНГ: Ты дурак, Адам.

АДАМ: Да.

ПР. КИНГ: Ты не понял. Из глины творит только Бог. Создал синтетического человека. Я собрал в реторту всю пестроту земных молекул.

АДАМ: Да.

ПР.КИНГ: В тот день, в день твоего рождения, меня посетил профессор Белинге, ты не забыл еще профессора Белинге.

АДАМ: Да.

ПР. КИНГ: Это дурак, которого чтут во всех университетах. Это декан нашего факультета. Я бросился к нему с протянутыми для объятья руками. Я улыбался и плакал. Мне надо было сделать неимоверное усилие, чтобы не проболтаться. Я только сказал: господин декан, я сейчас работаю над гомункулусом по образу и подобию нашему, что вы

думаете об этом, госполин декан. – «Опять, ответил он, опять. Профессор Кинг, я вам даю продолжительный отпуск. Поезжайте развлечься, поохотьтесь на зайцев, отдохните немного.» О, какое искушение, сразить бы этого пошляка с его зайцами, ввести в лабораторию, там, на расстоянии всего ста шагов от нас, в сиянии, в тепле, в ритмическом шуме терпеливо рождался ты, Адам, моя гордость, мое утешение, мой каприз, мечта всей моей жизни. Сразить этого пошляка. Но зачем дураков сражать. И что бы изменилось. Что вменит эту самую жизнь, Адам.
АДАМ: Не знаю.
ПР.КИНГ: Я тоже не знаю. Я мог бы стать всеславным, факультет бы рукоплескал, совет лизал бы мои штиблеты, меня бы избрали доктором «гонорис кауза» нескольких провинциальных университетов. Но не этого я жаждал. Я мог бы создать армию гомункулусов, армию не боящихся смерти, улыбающихся глыб, повинующихся мановению моей руки. Я бы вас повел на города. Я бы уничтожил государства и тюрьмы. Я бы четвертовал всех, работающих меньше 8 часов в сутки. Я бы с мясом вырезал карманы у хозяев. Но что бы изменилось, Адам.
АДАМ: Не знаю.
ПР.КИНГ: Из тебя бы сделали такое же орудие глупости, косности, подлости, корысти и хищничества, как сделали из всего значительного, что было до сих пор. Слишком рано они перестали ходить на четвереньках. Адам, ты умеешь ползать на четвереньках.
АДАМ: Да.
ПР.КИНГ: Покажи. (*Адам опускается на четвереньки и ползет по комнате*). Довольно. Встань. Тебе остается только поверить в бессмертие души, чтобы стать человеком.
АДАМ: Да. (*снова застывает в своей обычной позе*)
ПР.КИНГ: Аха-ха-ха. (*смеется*) Подойди, Адам. Дай мне пожать твою честную руку. (*Адам подходит, жмет руку профессору*) Поцелуй меня, Адам. (*Адам прикладывается к щеке профессора*) Ты меня хоть немного любишь, Адам.
АДАМ: Нет.
ПР.КИНГ: Меня никто не любит, Адам. Ты бы пожалел меня и однажды хоть солгал. (*смеется*) Ради тебя я ушел от людей. Они меня хотели запереть в тюрьму или в сумасшедший дом: они так и не пришли к согласию. Я бежал сюда, в эту глушь, в пустыню, подальше от всех. Слишком велика была пытка молчать о тебе, своем идеальном детище: я твердо решил скрыть свою тайну, сохранить тебя от расхищения. На это у меня хватило силы – мы уехали. Мой старый сверстник – дурак Лентц – тебя не удивляет, Адам, что все мои сверстники – дураки, – предоставил для нас этот глухой хутор. От благодарности ли, от тщеславия ли, я одному Лентцу поведал о твоем рождении. Были и клятвы, и слезы, и обмороки, восторги и вино: всё, что полагается. Он поклялся хранить тайну до гроба. И он верен своему слову. Так отчего же по всей округе о нас идут глухие толки, отчего, когда ты едешь в город за

провизией, собаки шарахаются от тебя в ужасе, а люди опускают глаза и сжимают кулаки. Ты лучше, сильнее и даже красивее их. (*прерывает себя*) Кто-то идет, Адам, очевидно, к нам. (*подходит к окну*) Узнаю экипаж старого дурака Лентца! Ступай встречать гостя. (*Адам выходит*)

Явление 2

Профессор Кинг молча сидит у стола.
Из-за дверей доносится шарканье ног, голоса, и в комнату вбегает Лентц. Адам вносит его чемодан.

Явление 3

Профессор Кинг, Лентц и Адам

ПР.КИНГ: Здорово, старая каналья.
(*Лентц подбегает в профессору, жмет ему руку, умоляюще заглядывает ему в глаза, всхлипывает*)
ЛЕНТЦ: Несчастье, несчастье большое.
ПР.КИНГ (*равнодушно*): Опять.
ЛЕНТЦ: Нет, настоящая беда. Катастрофа.
ПР.КИНГ: Землятресение, пожар, потоп.
ЛЕНТЦ (*не слушая профессора*): Ты, мой друг, моя последняя надежда.(*умоляюще*) Ты меня спасешь. «Я еду к профессору Кингу» были мои первые слова. Дорога ужасна. Кои (sic) разлилась: из ключа она превратилась в грозную реку. Лошади шли по брюхо в воде, мы едва не утонули, но я знал: если мы доедем, ты нас спасешь, я не вернусь один домой. Негодяй Александр, какой подлец. Вот это благодарность. Я всегда говорил: нет в мире идеалов. Все эгоисты. Только ты один, Кинг, другой. И ты нас спасешь. (*опускается на колени, умоляюще*) Эльза не переживет внезапной утраты.
ПР.КИНГ: Не переживет.
ЛЕНТЦ: Ты не знаешь ее сердца. Казалось, что она охладела к нему. Мне было больно. Ты знаешь, Александр вырос в моем доме, я его почитал за сына. Думал, обвенчаю с Эльзой – чем не сын.
ПР.КИНГ: Конечно.
ЛЕНТЦ: Ты согласен. Великий друг мой.
ПР.КИНГ: Да я, старик, не поминаю (sic!) о чем речь. Я о твоих умственных качествах никогда не был высокого мнения, но такое поведение... согласись... вечером ты врываешься в мой дом, без слов приветствия падаешь на колени и начинаешь возвещать о любви Эльзы к Александру и о его подлости. Мне спать пора, мне тебя слушать тошно, что такое, забеременела она, что ли.
ЛЕНТЦ: Ну, прости, прости. Как ты, однако, резок, не сердись только, исполни просьбу.
ПР.КИНГ: Да в чем она.
ЛЕНТЦ: Александр покончил самоубийством, бросился, надо пола-

гать, в речку. Вот всё, что от него осталось. (*протягивает профессору записку*)
ПР.КИНГ: Дальше что.
ЛЕНТЦ: Эльза не перенесет утраты.
ПР.КИНГ: А кто такая Эльза.
ЛЕНТЦ: Эльза – моя дочь. Моя дочь. Ведь я ее тебе представлял. Моя дочь, одна отрада, неужели даже не запомнил.
ПР.КИНГ: Дальше.
ЛЕНТЦ: Она на днях возвращается домой. Она лечилась на севере, у нее больное сердце: порок. Я часами рассказывал о ней. Мешал твоим занятиям. Прости, ради Бога. Спаси.
ПР.КИНГ: Чем же, ты считаешь, в моих силах помочь.
ЛЕНТЦ: Я не могу сообщить ей правду. Она умрет. Она себя сочтет виноватой, ответственной. Она ему написала какое-то неприятное письмо, а тут еще фотография вдобавок. Ах, молодость, гадкая молодость. Это на него, беднягу, так подействовало... и разрешил вопрос: (*читает вслух записку*) «Прости, Эльза, без твоей любви я не мог жить». Какой эгоист. Показать Эльзе эту записку, и она слезами изойдет, в монастырь запрется, такая душа. Добродетельная душа при пороке сердца. Прохвост.
ПР.КИНГ: Скажи, что он уехал.
ЛЕНТЦ: Куда уехал, зачем. И писем не пишет.
ПР.КИНГ: Ну, бежал с актрисой.
ЛЕНТЦ: С актрисой. Да он за Эльзой увивался. И откуда у нас актрисы. Нет. Нужно раздобыть хоть чучело, пусть зверь, пусть маниак, пускай что угодно, было бы только сходство с Александром. Я скажу, что он упал с лошади, разбил голову, помешался, превратился в кретина. Я знаю, ты дал зарок, но в этом случае поступись, у тебя могучий ум, но сердце еще (опускается на колени).
ПР.КИНГ: Ты хочешь... (*поднимается во весь рост, почти кричит*) Ты хочешь.
ЛЕНТЦ: (*тихо*): Создай.
ПР.КИНГ: Ты просишь (*пронзительно вглядывается в стоящего на коленях Лентца*)
ЛЕНТЦ: ...гомункулуса...
ПР.КИНГ: Ах... (*закрывает свое лицо руками*)
ЛЕНТЦ (*шепотом*): ...похожего на Александра. (*тихо плачет*) Не так ли, ты сделаешь, мой друг.
ПР.КИНГ (*твердо*): Хорошо, по вере твоей ты получишь.
ЛЕНТЦ (*поднимается с колен, жмет руку профессора*): Спаси тебя Бог, учитель. Я знаю, чего это тебе стоит. Но я не ошибся в тебе. Адам, ступай сюда. (*Адам приближается, Лентц его ощупывает*) Адам, что ты чувствуешь, желаешь ли ты чего-нибудь. (*Адам отрицательно кивает годовой*) А теперь тебе смешно. (*щекочит Адама, Адам смеется*)
АДАМ (*улыбаясь*): Нет.

ЛЕНТЦ: Чего же ты смеешься. (*Адам молчит*) Вот такого нам хватит, а потом мы его уничтожим. Вот его портрет (д*остает из чемодана портрет Александра, передает его профессору*)
ПР.КИНГ (*разглядывая портрет*): Хорошо, я сделаю, но, старик...
ЛЕНТЦ: Я буду нем, как был, как могила. Никому, никогда, ни при каких обстоятельствах, честью, Эльзой клянусь.
ПР.КИНГ: И на меня не рассчитывай ни в чем. Я уеду, Лентц. Я умываю руки. Слышишь. Больше от меня ничего не жди.
ЛЕНТЦ: Принимаю. Клянусь.
ПР.КИНГ (*другим тоном*): Тогда, за работу. Ты, старик, устраивайся здесь как знаешь, а нам не мешай: три дня мы будем ковать новую душу, ха-ха-ха. Адам, ступай за мной в лабораторию. (*выходит через внутренние двери, за ним Адам*)

Явление 4
Лентц один

(Он порывается что-то сказать вдогонку ушедшим, но сдерживается на стуле и понуро застывает.) На сцене темнеет. Откуда-то из-за стены доносится негромкий, высокий гул сирены, вперемешку с потрескиванием электрических искр. Незаметно свист сирены переходит в звуки флейты или свирели, играющей песню несложную и короткую, как жизнь рождающегося гомункулуса.

Занавес
Конец первой картины

Картина 2
Комната та же, что в первой картине. Кругом беспорядок: в продолжении трех дней здесь ел, пил, спал Лентц. Освещение – дневное.

Явление 1
Лентц один

На диване, осунувшийся, нечесанный, без пиджака сидит Лентц. Взволнован. Из-за двери доносится шум, шаркание ног, голоса. Лентц то вскакивает и подбегает ближе к дверям, заглядывает в щелку, то снова усаживается, нетерпеливо ерзает. Распахиваются двери. Пятясь, входит профессор Кинг: он бьет маленьким молоточком по коленкам неумело шагающего за ним Гомункулуса-Алекссандра (которого в дальнейшем мы будем называть просто – Александр). За ним входит Адам.

Явление 2
Лентц, проф. Кинг, Александр, Адам.

ЛЕНТЦ (*вкрикивает*): Ах. (*с простертыми руками бросается к Александру*)

ПР.КИНГ: Похож. (*тихо смеется*)
ЛЕНТЦ: Александр.
ПР.КИНГ (*кричит у самого уха*): Александр. Вздрогнул. Услышал. (*к Адаму*) Подай фонарь. (*Адам подает электрический фонарик. Профессор освещает попеременно оба глаза Александра.*) Зрачки расширяются, аккомодируют. Какая чистая работа, полюбуйся, Лентц.
ЛЕНТЦ: Мне страшно, профессор.
ЛР.КИНГ: Ха-ха-ха, страшно. (*смыкает и размыкает челюсть Александра*) Страшно, ха-ха-ха.
АЛЕКСАНДР (*повторяет*): Ха-ха-ха-ха, страшно.
ПР.КИНГ: Каков. (*долбит*) Александр, Александр ты.
АЛЕКСАНДР: Александр ты.
ПР.КИНГ: Александр, Александр я.
АЛЕКСАНДР: Александр я.
ПР.КИНГ: Лентц. Скажи: Лентц и Эльза.
АЛЕКСАНДР: Лентц и Эльза.
ПР.КИНГ: Раз, два, три. (*учит его ходить, сгибает члены в суставах, подталкивает*) Раз, два, три... Назад. Раз, два, три. Сначала. Раз, раз. Направо. (*Александр подчиняется, мучительно, автоматически передвигается, повторяет указываемые ему движения и звуки*) Налево, вот так. Бегом, бегом, бедняга.
ЛЕНТЦ (*постепенно осмелевший*): Бегом, бегом, бедняга.
Александр бежит по комнате, подгоняемый профессором. За ними вприпрыжку Лентц.
ПР.КИНГ: Стой. Стоп. Сядь, сядь. Отдохни. Вот это стул. (*усаживает Александра*) Спа-си-бо.
АЛЕКСАНДР (*и раньше повторявший некоторые слова, произносит*): Спасибо.
ПР.КИНГ (*к Лентцу*): Когда ты едешь.
ЛЕНТЦ: Сейчас. Пора, пора. Только страшно мне чего-то. Ведь как похоже. Чудовищно. Непостижимо. А чучело ведь, совсем чучело. Догонит он Адама когда-нибудь.
ПР.КИНГ: О, это чрезвычайно интересный случай. Он быстро оставит за собой Адама. В самую ответственную минуту я порезал палец, и капля моей крови попала в реторту. Я смутился, думал, что реакция не удастся. Всё же старый экспериментатор, профессор Кинг, решил попробовать, и счастье ему не изменило: реакция прошла, прошла быстрее, глаже и элегантнее, чем в предыдущем. Александр превзойдет Адама. Ибо профессор Кинг идет вперед. Тут мы вплотную подходим к одной философской проблеме. Впрочем, это тебе не понятно...
ЛЕНТЦ: А душа, есть ли у него душа.
ПР.КИНГ: Не знаю, Лентц.
ЛЕНТЦ: Ну, это глупости. Какая же у него может быть душа. Глина.
ПР.КИНГ: Пар.
ЛЕНТЦ: Как его уничтожить, когда понадобится.

ПР.КИНГ: У тебя хватит решимости его убить.
ЛЕНТЦ: Какое же это убийство.
ПР.КИНГ: Скотина. Током. Током высокого напряжения ты его превратишь в груду праха, скотина. Вот пилюли. (*протягивает Лентцу большую коробку*) Будешь давать ему по одной пилюле в день. Регулярно. Адам, подай экипаж Лентца. (*Адам выходит*)

Явление 3
Те же, без Адама

ЛЕНТЦ (*вертя в руках коробку*): Зачем ему пилюли.
ПР.КИНГ: Без них он может выйти из повиновения, а это нежелательно. Я Адаму тоже даю. Будь осторожен.
ЛЕНТЦ: Конечно, конечно. Так одну в день. Спасибо, дорогой, спасибо. Не сердись. В случае чего, я наведаюсь. Спаси тебя Бог. Только боюсь я. Боюсь. Ах, Эльза.
АЛЕКСАНДР (*неожиданно*): Эльза.
Все оборачиваются к нему. Профессор смеется. Входит Адам.

Явление 4
Те же и Адам

ПР.КИНГ: Экипаж подан.
АДАМ: Да, профессор.
(*Лентц и профессор Кинг подходят к Александру*)
ЛЕНТЦ: Пойдем, Александр. Ты запомнил, как ходят. (*Александр медленно передвигается к двери*) До свидания, профессор.
ПР.КИНГ: Прощай, старина. Прощай. Адам, проводи гостей.
(Лентц, Александр и Адам выходят.)

Явление 5
Проф. Кинг один
Профессор подходит к окну, жадно следит за отъезжающими. Входит Адам.

Явление 6
Проф. Кинг и Адам

ПР.КИНГ: Адам, мы уезжаем отсюда. (*кричит*) Завтра мы уезжаем отсюда. К собакам, к обезьянам, на полюс, свяжи чемоданы.
АДАМ: Да, профессор. (*выходит*)

Занавес
Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Гостиная на ферме Лентца. Скромная, но не лишенная уюта обстановка: диван, стулья, пианино. На стене висит черная школьная доска. Александр стоит у доски и пишет мелом. Эльза диктует.

Явление 1

Александр и Эльза

ЭЛЬЗА (*диктует*): «Тюлени водятся в полярных морях.» В полярных морях. (*Александр медленно пишет*) Готово, милый.
АЛЕКСАНДР: Готово.
ЭЛЬЗА: «Христос сказал: ударившему тебя в правую щеку, подставь левую.»
АЛЕКСАНДР (*перестав писать*): А кто Христос.
ЭЛЬЗА: Христос... это Сын Божий, это наш Спаситель.
АЛЕКСАНДР (*со странным чувством*): Наш Спаситель (*бросает мелок; недоумевая, садится на диван*)
ЭЛЬЗА: Родной мой, я не говорила тебе об этом, ты еще был очень слаб. Вот Священное Писание, там написано. Будет (sic!) читать его, постепенно я тебе всё растолкую. (*протягивает ему книгу. Александр раскрывает книгу и углубляется. Эльза прибирает у доски*)

Входит Лентц.

Явление 2

Те же и Лентц

ЛЕНТЦ (*кричит*): Опять. Я говорил, не к чему его учить. Он безнадежен. Не к чему и хлопотать.
ЭЛЬЗА: Ради Бога, не кричи, папочка, не волнуйся, давай спокойно обсудим, – не терзай нас. Я не понимаю.Ты словно имеешь что-то против Александра. Все последние дни...
ЛЕНТЦ: Я против него ничего не имею, вот он против нас... поверь.
ЭЛЬЗА: Но в чем дело. Он начинает понимать, разбираться. После этого несчастья, когда я приехала, он... он двух слов связать не мог. Ему лучше, ему лучше, папа.
ЛЕНТЦ: Ему не лучше. Это мнимое улучшение, за которым последует смерть. Поверь отцу, я знаю: он погибнет скоро. И чем скорее, тем лучше для всех. Я тебе, мое дитя, желаю счастья. Я голову свою готов отдать и не пожалею, только бы тебе было хорошо. Но тут ничего не поделаешь.
ЭЛЬЗА: Отец, молю тебя. Я повезу Александра в город, в столицу, к светилам науки. Я читала: психиатр Фрат, он творит чудеса. Я получила от него благоприятный ответ. Я знаю, я верю, я чую: мы спасем Александра. Только помоги мне, ведь ты добрый, я знаю, папа, тут недоразумение какое-то. Ты его всегда любил, ты меня упрекал в холодности. Позволь мне теперь уехать с ним.

ЛЕНТЦ: Забудь. Даже думать запрещаю. Пока я жив, этот монстр никуда не поедет. Я с ним был уже у доктора, до твоего приезда. Прописали пилюли, где они.
ЭЛЬЗА: Я даю.
ЛЕНТЦ: Удвой порцию. Вот и всё. Лекарств больше нег. Профессор Кинг то же самое сказал.
ЭЛЬЗА: Я ненавижу профессора Кинга.
ЛЕНТЦ: Напрасно. Ах, если б он был тут. Можешь его ненавидеть. Можешь и меня ненавидеть, старого дурака. Только на Александре поставь крест. Оставь всякую мысль: мужем тебе это чудовище не будет. Кощунство даже об этом говорить.
ЭЛЬЗА: Опять.
ЛЕНТЦ: Опять и опять, пока ты не поймешь отца.
ЭЛЬЗА: Я вам запрещаю об этом. Уже забыли. Только вчера...
ЛЕНТЦ: Я не забыл. О, я не забыл. Хотел бы, да не могу. Вот кому бы следовало бы кое-что вспомнить. Александр.
АЛЕКСАНДР (*всё время читавший*): Что.
ЛЕНТЦ: Ты мог бы встать, разговаривая со мной, скотина. Адам всегда вставал.
ЭЛЬЗА: Да что с тобой, папа. Ты с больным Александром. Да что это такое, Господи.
ЛЕНТЦ: А то, что это может быть совсем не Александр. (*Эльза прижимает руки к своему сердцу, Лентц запускает в свои редкие, но длинные волосы, руки и убегает*).

Явление 3
Те же без Лентца

ЭЛЬЗА: Ты согласен ехать со мной, Александр. Сегодня. Сейчас. Он посердится и успокоится. А иначе гибель. Гибель для всех, Александр.
АЛЕКСАНДР: Да, Эльза.
ЭЛЬЗА: Мы поедем в большой город. Доктора тебя вылечат. Ты будешь в столице. Там вечно светло, как днем. По тротуарам ходят элегантные женщины. Все спешат и веселятся.
АЛЕКСАНДР: Они веруют в Христа.
ЭЛЬЗА: Конечно. Почти всюду живут христиане.
АЛЕКСАНДР: Как и здесь.
ЭЛЬЗА: И здесь. Все мы христиане.
АЛЕКСАНДР: Как все. И твой папа.
ЭЛЬЗА: Да.
АЛЕКСАНДР: И старая Мария. И Симон, что чистит конюшню.
ЭЛЬЗА: И они, и ты.
АЛЕКСАНДР: Не может быть. Я, я. Я тоже. Это непонятно. Я представлял себе... Но ведь тут сказано.
ЭЛЬЗА: Ах, это сложнее. Мы потом поговорим. Теперь надо решить-

ся. Мы должны ехать, родной мой, как я к тебе привязалась за время твоей болезни. Полюбила. Оказывается, я тебя совсем не знала. Какая у тебя ясная душа. А я была уверена, что ты мнителен, честолюбив и пошл. И за это Бог меня наказал. Но за что тебя. Ты помнишь вечер один, давно, до болезни. Ты у меня что-то потребовал, и я уступила. О, как я тебя потом ненавидела и проклинала. А теперь мы наказаны. Но всё равно мы будем счастливы, вот увидишь, Александр, родной мой. На чужбине будешь ли ты мне послушен, то есть, как ты думаешь, по силам это нам.

АЛЕКСАНДР: Я не знаю, Эльэа.

ЭЛЬЗА: Но нам надо решиться на это. Здесь гибель.

АЛЕКСАНДР: Да.

ЭЛЬЗА: Александр (*придвигается к нему*). Сделай над собой опять усилие, подумай, скажи: ты меня любишь, Александр, я тебе дорога, ты не можешь без меня. Я тебе нравлюсь, как когда-то, ты хочешь меня ласкать.

АЛЕКСАНДР (*обнимая ее*): Не знаю.

ЭЛЬЗА: Крепче еще. Дай мне почувствовать твою волю. Я так устала от сомнения и ссор этих всех. Твои губы (*застывают в поцелуе*).

Входит Лентц.

Явление 3 (sic!)

Те же и Лентц

ЭЛЬЗА (*вскрикивает*): Отец... (*закрывает лицо руками, выбегает*)

Явление 4

Те же без Эльзы

(*Лентц на цыпочках приближается к недоумевающему Александру*.)

ЛЕНТЦ: Целует (*изо всех старческих сил бьет Александра по лицу*)

АЛЕКСАНДР (*после паузы*): Христос сказал... (*поднимается и подставляет Лентцу свою левую щеку*)

ЛЕНТЦ: Да, да, каналья, вот именно, Христос сказал... (*мечется по комнате в поисках какого-либо оружия, поднимает с полу гимнастическую гирю*) Сейчас, голубчик, подожди минутку. (*подбегает к Александру, размахивается, чтобы ударить*) Погоди, миленький...

В комнату входит Эльза.

Явление 5

Те же и Эльза

ЭЛЬЗА: Остановись. Отец, отец. (*вырывает у старика гирю. Лентц с выражением крайнего отчаяния садится в кресло. Эльза тащит Александра за собой к дверям*) Что же это – сумасшествие, преступление, упрямый старик... (*выходят*)

Явление 6

Лентц один

Лентц сидит в кресле, оцепенело, неподвижно. Наконец вскакивает и начинает звать.

ЛЕНТЦ: Симон. Черт бы тебя побрал. Симон, поди сюда. (*вбегает Симон*)

Явление 7

Лентц и Симон

СИМОН: Хозяин...
ЛЕНТЦ: Что тебе сказали. Куда, ну хоть приблизительно, куда он уехал. Где его искать.
СИМОН: Ничего не сказали. Сказали – к железной дороге, вот куда. Профессор Кинг и слуга Адам, вот и всё. А больше ничего не известно.
ЛЕНТЦ: Целуются, понимаешь, целуются. Что делать.
СИМОН: Давеча я тоже заметил: ручку у ней погладил. Обвенчать бы да дело с концом.
ЛЕНТЦ: Дурак. Как ты смеешь. Дурак. Ты понимаешь, Адам ведь не умел целоваться, ему даже и не хотелось целоваться. Это было бревно. А во время опыта капля крови, капля живой крови заразила, очевидно, всё. Ах, Кинг, Кинг, зачем ты меня оставил.
СИМОН: Так точно. Еще говорят, что денег много у вас забрали.
ЛЕНТЦ: Какие деньги.
СИМОН: Профессор-то. Потому, дескать, и скрылись.
ЛЕНТЦ: Дурак. Не до этих денег теперь. Его нужно найти, чего бы это ни стоило. Он поможет уничтожить гомункулуса. Я его резнул, помнишь. Так кровь брызнула. Я боюсь.
СИМОН: Кровь. То есть почему. Кровь. Во имя Отца и Сына...
ЛЕНТЦ: Да, да, да (*шепотом*) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это кощунство. Как я страдаю. Ты не знаешь. Как я боюсь. Ах-ах-ах-ох. Вот что – бери сейчас машину и поезжай на станцию. На одну, на другую, вверх, вниз. Без отдыха езжай, расспрашивай, пока не узнаешь, в каком направлении он поехал. Ведь это единственный свидетель.
СИМОН: Доложу, что при настоящем состоянии дорог малая машина неуместна. На[до] взять...
ЛЕНТЦ: Бери новую. Конечно, бери.Только раз-два у меня.
СИМОН: Слушаюсь...

Явление 8

Лентц один. Понуро сидит в неудобной позе.

ЛЕНТЦ (*размышляет вслух*): Только бы распутать этот узел. А потом помереть и то счастье. Какой ужас. Дочь, родная дочь и чурбан из глины. (*в дверь стучат*) Да, войди. (*входит Симон*)

Явление 9
Лентц и Симон

ЛЕНТЦ: Чего тебе.
СИМОН: Машины нет. Эльза в Александр изволили ее взять.
ЛЕНТЦ: Взяли. Да что, олух, порешь. Зачем.
СИМОН: Не знаю. Старуха говорит. А машины нет.
ЛЕНТЦ: Мария. Да где же она. Скорее, черт возьми.
СИМОН: Спряталась.
ЛЕНТЦ: Спряталась.
СИМОН: Да, боится вас. Старая ведьма.
ЛЕНТЦ: Да что она, о двух головах. (*вопит*) Подать ее. Сию минуту. Мария, слышишь. (вбегает Мария)

Явление 10
Те же и Мария

МАРИЯ: Слышу уж, слышу. Еще бы не слышу. (*отступает от наседающего на нее Лентца*)
ЛЕНТЦ: Куда, куда поехали. Да говори же.
МАРИЯ: Не знаю я. И спрашивать боялась, так сердились. Эльза-то в тебя уродилась, не в мать, только поумнее...
ЛЕНТЦ: Молчать. Ничего не велела передать.
МАРИЯ: Как не велела. Велела.
ЛЕНТЦ: Что. Скорее говори.
МАРИЯ: Письмишко оставила.
ЛЕНТЦ: Письмо.
СИМОН: Давай скорее, старая крыса.
МАРИЯ: Знаю, что делаю, селезень. (*долго роется в переднике, наконец протягивает Лентцу письмо*) Вот оно, твое письмо.
ЛЕНТЦ: Письмо. Не надо мне письма, не надо, ничего не надо. (*опускается в кресло, пауза*) Ну, читай письмо, читай погромче, ничего не слышно.
СИМОН (*читает*): «Папа, я не пишу: дорогой папа... впрочем, я надеюсь ты образумишься. Собственно, что ты имеешь против Александра...»
МАРИЯ: Вот именно...
СИМОН: Крыса. «Я верю: болезнь излечима. Мы вернемся, и ты будешь нянчить внуков.»
МАРИЯ: Боже ж мой.
ЛЕНТЦ: Уходите. Уходите прочь, идиоты. Вы. (*плачет. Мария и Симон уходят*)

Явление 11
Лентц один

(*Поднимает голову, пробует подняться с кресла, не может, обессиленно откидывается. Находит взглядом образок на стене. Крестится.*)

Занавес
Конец второго действия
[В.Я.: от руки, карандашом: Действие III IV]

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Терасса кафе при столичном отеле. Край тротуара. Прохожие. Справа, через огромные, открытые – опущенные или поднятые – стекла окон видна часть бюро отеля: человек за конторкой, мальчик у телефона, край лестницы, решетка лифта. Снаружи, у вращающейся двери, дежурят «шассеры».*

Время от времени, дверь пропускает различных господ: «шассеры» их встречают и провожают различными возгласами и гримасами. На террассе за столиками сидят завсегдатаи: одни расплачиваются и уходят, другие выходят из отеля, занимают столик, заказывают для себя напитки. Они делятся впечатлениями, сплетничают, их возгласы вплетаются в диалог действующих лиц.

Явление 1
Гарсон, завсегдатаи

ГАРСОН (*у занятого столика*): Слушаюсь.
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Для дамы я заказал № 3, а вы принесли № 2. Это черт знает что такое...
(*На террассу выходят Эльза и Александр. Он одет во всё новое*)

Явление 2
Те же, Эльза и Александр

ГАРСОН: Сию минуту. (*спешит к вошедшим, помогает им разместиться, принимает заказ, подмигивает за их спиной и упорхает*)
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Это они. Это они.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Да, да. Это он.
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Кретин.
ИХ ДАМА: Я нахожу его интересным.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Еще бы – архимиллионер.
ИХ ДАМА: А может быть, это ее миллионы.

---

* Посыльный (при гостиницах и ресторанах).

1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Она премиленькая.
2-ОЙ ——————— : Аппетитная. Не пойму, что она в нем нашла.
ИХ ДАМА: Всё же, из них двух я бы предпочла его.
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: А я ее.
2-ОЙ ——————— : А я миллионы (*смеются*).
ИХ ДАМА: Они бежали от родителей.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Похоже на то.
1-ЫЙ ——————— : Он ее увез.
2-ОЙ ——————— : Нет, уж скорее она его.
1-ЫЙ ——————— : Не пойму.
2-ОЙ ——————— : Каприз провинциальной королевы.
1-ЫЙ ——————— : Регулярно каждое утро они уходят. А последние дни появился инженер.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Инженер надеется в мутной воде поймать белокурую рыбку.
ИХ ДАМА : К доктору она уходят по утрам, к доктору.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Лечат жениха.
1-ЫЙ ——————— : Собственно от какой болезни.
2-ЫЙ ——————— : Перед венцом его решили потренировать (*смеются, за другими столиками тоже смеются и почти так же жестикулируют. «Шассеры» разыгрывают какую-то пантомиму с чаевыми*).
АЛЕКСАНДР:Чем занимаются все эти люди.
ЭЛЬЗА: Не знаю и не желаю знать.
АЛЕКСАНДР: Они всегда шепчутся, смеются и смотрят так, словно к чему-то меня подталкивают. К чему-то нехорошему.
ЭЛЬЗА : Не надо быть смешным, тогда они не будут шептаться и смеяться над тобой да и надо мной заодно. Надо быть сильным, самоуверенным, гордым собой...
АЛЕКСАНДР: Чем же мне гордиться.
ЭЛЬЗА: Ну, не гордись. Только не будь таким... бледным. Лучше быть грубым, даже жестоким, чем комичным. Ты опять что-то натворил с чаевыми – все «шассеры» давятся от смеха.
АЛЕКСАНДР: Я дал мальчику в лифте, как ты учила.
ЭЛЬЗА: И что.
АЛЕКСАНДР: Он попросил еще.
ЭЛЬЗА: И.
АЛЕКСАНДР: Я дал еще. Он попросил еще.
ЭЛЬЗА: Да.
АЛЕКСАНДР: Больше у меня монет не было, я дал ассигнацию. Внизу стоял управляющий. Мальчик сказал, что я уронил деньги и вернул мне всё.
ЭЛЬЗА: Александр, мне страшно, что с нами еще будет.
АЛЕКСАНДР: Вот твой знакомый. (На террассу выходит инженер, кое-кому кланяется, кое с кем заговаривает).

Явление 3
Те же и инженер

ЭЛЬЗА: Он и твой знакомый.
АЛЕКСАНДР: Он смотрит на тебя всегда, точно ненавидит тебя. Почему.
ЭЛЬЗА: Этим он хочет доказать, что любит меня.
АЛЕКСАНДР: Неужели.
ЭЛЬЗА: Ты меня ревнуешь к нему.
АЛЕКСАНДР: Что такое ревность.
ЭЛЬЗА: Это когда любишь, тогда подозреваешь и ненавидишь.
АЛЕКСАНДР: Когда любишь, подозреваешь и ненавидишь. Как странно. Как всё мне непонятно и недоступно.
ЭЛЬЗА: Я знаю, это трудно, но поступай, как другие. Учись у Инженера, для этого я с ним поддерживаю знакомство. Бери с него пример, над ним не будут смеяться; он знает, как надо.
АЛЕКСАНДР: Ты б хотела, чтоб я был как он.
ЭЛЬЗА: Я не знаю, что со мною, Александр. Я устала от этого беспрерывного напряжения, измучена. Я бы заснула и спала долго, месяц или год.

(*к их столику подходит Инженер, кланяется Эльзе*)

ИНЖЕНЕР (*здороваясь с Эльзой*): Как всегда, строга и элегантна. (*Александр поднимается со своего стула. Инженер, кивнув головой, усаживается на его стуле*)
ЭЛЬЗА: Дорогой, бесполезно брать стул, если мы хотим увидеть что-нибудь, мы должны уже ехать.
ИНЖЕНЕР: Вы едете на выставку. Если позволите, я вам там покажу два поучительных масла. Они, право, стоят того. (*все поднимаются вслед за Эльзой*) Сюрреалисты...
АЛЕКСАНДР: Раз у тебя есть спутник, позволь мне остаться, я тебя буду ждать здесь. (*расплачивается с гарсоном*)
ЭЛЬЗА: Ты хочешь остаться.
АЛЕКСАНДР: Да. Меня ничто не радует в картинах.
ЭЛЬЗА: Как хочешь. Значит, до вечера. (*Александр хочет еще что-то сказать, она, не оглядываясь, уходит, инженер неожиданно показывает Александру язык, пятясь идет за Эльзой. Александр мучительно и недоумевающе хмурится. Кругом смеются*).

Явление 4
Те же без Эльзы и Инженера
(*Александр усаживается за другим столиком. Подбегает гарсон*)

ГАРСОН: Прикажете.
АЛЕКСАНДР: Что.
ГАРСОН: Прикажете чего-нибудь подать.

АЛЕКСАНДР: Да.
ГАРСОН: Чего угодно.
АЛЕКСАНДР: Что-нибудь.
ГАРСОН: Как.
АЛЕКСАНДР: Что бы вы сами пили, то и подайте.
ГАРСОН: Хорошо. (*упорхает*)
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Увели девочку.
2-ОЙ ————: Да.
1-ЫЙ ————: Это и не трудно.
2-ОЙ ———— (*к даме*): Ты о чем задумалась.
ИХ ДАМА: Так. Соображения.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Клянусь, что ты мысленно уже соблазнила этого кретина.
ИХ ДАМА: Может быть...
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Интересно.
2-ОЙ ———: Вздор. Зря разденешься.
(*На краю тротуара бредет старик-безработный. Он безрезультатно делает просительные жесты перед каждым занятым столиком. Та же сцена повторяется у столика Александра.*)
АЛЕКСАНДР: Я вас не понимаю. Вы что просите.
БЕЗРАБОТНЫЙ: Несколько медяков, сударь, только всего.
АЛЕКСАНДР: Медяков.
БЕЗРАБОТНЫЙ: Ну да, денег, если предпочитаете...
АЛЕКСАНДР: Зачем вам всем деньги, деньги...
БЕЗРАБОТНЫЙ: Чтобы купить хлеба.
АЛЕКСАНДР (*протягивает ему бумажник*): Пожалуйста. Прошу вас. Берите побольше. Я бы хотел, чтобы вы больше никогда не просили денег. Прошу вас. (*Безработный колеблется*)
ДАМА ЗАВСЕГДАТАЕВ: Полицию. Сюда надо полицию. (*тормошит директора и сбежавшихся гарсонов*) Его ограбят. Караул. Спешите. (*хватает Александра за руку, тащит его в сторону*). Ради Бога, опомнитесь. Зачем ему деньги. На всех денег не хватит. Не бросайте их зря. За них вы всё приобретаете. Они обеспечивают комфорт и удовольствия. Я вас люблю и жалею. Видите, какая у меня грудь. Вы можете ее потрогать руками.
АЛЕКСАНДР: Руками.
ДАМА ЗАВСЕГДАТАЕВ: Ну да, глупенький. Пойдем в этот отель напротив. Я тебе покажу. У тебя, наверное, хороший вкус, я знаю. У меня прекрасный таз и живот. Сам Малини писал с меня сильфиду. Пойдем, крошка.
АЛЕКСАНДР: Я не знаю...
ДАМА ЗАВСЕГДАТАЕВ: Я тебя научу, я тебя научу... (*уводит его*)

Явление 5

Те же без Александра и Дамы завсегдатаев.

Слышны голоса двух спорящих завсегдатаев.

1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Человечество никогда не откажется от этого мифа. Есть что-то волнующее в этом прекрасном стремлении.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Разумеется, но согласитесь...
Входит новая пара. Директор бежит навстречу, помогает разместиться, любезно склоняется: Что закажете. Алло. *(подзывает гарсона, который приводит в порядок столик, за которым сидел Александр).* – Алло. *(директор знаком передает усевшуюся пару гарсону и уходит)*
ГАРСОН: Прикажете.
МУЖЧИНА (*с иностранным акцентом*): Дайте подумать мне.
ДАМА: Ступайте, вас кликнут.
ГАРСОН: Отлично. (*отходит*)
Входит Александр. Вид у него ужасный, растерзанный, он без воротничка, жилет растегнут. Всё смято.

Явление 6
Те же и Александр

(*Александр усаживается было рядом с парой в центре, подняв глаза, встречается с взглядом дамы: в ужасе вскакивает и пересаживается на другое место. По тротуару проходит бедная иззябшая женщина: она держит подобие ребенка на руках. Протягивает умоляюще руку к Александру*)
АЛЕКСАНДР: Вам денег.
ЖЕНЩИНА: Сколько можете. Помогите.
АЛЕКСАНДР: У меня больше нет. (*достает бумажник, заглядывает в него*)
ЖЕНЩИНА: Идет зима. Одежды нет. Муж...
АЛЕКСАНДР*:* Одежда. Да вот вам пиджак, хотите. (*раздевает пиджак, подает женщине*).
ЖЕНЩИНА: Что вы, что вы, как же вы без пиджака.
АЛЕКСАНДР: Я не вижу необходимости в пиджаке. К тому же у меня есть другой. Вот кашне еще. (*кутает ребенка в кашне*). И жилет.
ЖЕНЩИНА: Нет, жилета не нужно.
Появляются два хулигана.

Явление 7
Те же и два хулигана

1-ЫЙ ХУЛИГАН: Пошла, пошла, дура. Прочь. (*женщина скрывается*)
АЛЕКСАНДР: Вы ее прогнали.
1-ЫЙ ХУЛИГАН: Лорд, у нас к вам дело.
АЛЕКСАНДР: Вот мой бумажник. (протягивает пустой бумажник).

1-ЫЙ ХУЛИГАН (*возвращая бумажник*): Мы это обстоятельство учли...
2-ОЙ ————: Принимая во внимание некоторые мотивы, нам желательно прибегнуть к Вашей помощи. (*что-то шепчут на ухо Александру, убеждают*)
АЛЕКСАНДР: Я рад, если вы просите. Только я занят, я жду Эльзу. К тому же я не знаю...
1-ЫЙ ХУЛИГАН: Подождет Эльза. Ты нам поможешь открыть одну дверь...
АЛЕКСАНДР: Я понимаю. Только Эльза.
1-ЫЙ ХУЛИГАН: Будьте покойны. Мы это уладим. Да, да. (уводят его)

Явление 8
Те же, без Александра

1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Куда они его увели.
2-ОЙ ———: Им виднее. Гарсон, пачку папирос моей марки.
ГАРСОН: Есть. (*приносит папиросы*)
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ : Куда увели вашего дегенерата.
ГАРСОН: Думаю, чтобы смотреть «живые картины».
1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Неужели. Без пиджака. Но это абсурд.
ГАРСОН: Туда все ходят, а пиджак не при чем. Были бы деньги...
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: А он по-настоящему богат.
ГАРСОН: Судя по поведению.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Сумасшедший.
ДАМА (*у центрального столика*): Гарсон...
ГАРСОН: Здесь. (*подбегает*)
ДАМА: Принесите для меня виши.
ЕЕ ГОСПОДИН: Вы заказали что.
ДАМА: Виши. Минеральная веда. Для вас тоже.
ЕЕ ГОСПОДИН: О, нет. Белое вино.
ГАРСОН: Превосходно. (*ускользает*)
ДАМА: Вы часто здесь бываете.
ЕЕ ГОСПОДИН: Как.
ДАМА: Я говорю, вы часто бываете в этих краях.
ЕЕ ГОСПОДИН: Да. О, нет.
ДАМА: Не часто.
ЕЕ ГОСПОДИН: Нет.
ДАМА: Здесь и не стоит бывать часто.
ЕЕ ГОСПОДИН: Как.
ДАМА: Я говорю, здесь совсем не интересно. Серьезные люди.
ЕЕ ГОСПОДИН: Нет. О, да... (*гарсон приносит заказанное*)
ДАМА: Мы пойдем ко мне или к вам.
ЕЕ ГОСПОДИН: О, да, ко мне.
Входит Эльза, оглядывает террассу.

Явление 9
Те же и Эльза

1-ЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Она, она, вот будет жарко сейчас.
2-ОЙ ЗАВСЕГДАТАЙ: Не думаю.
(*Эльза обходит всю террассу, заглядывает в «холл» отеля, ищет Александра*)
ЭЛЬЗА: Вы не видели господина.
ГАРСОН: Разумеется, видели. Тут было весело. Могло кончиться хуже. Он угощал друзей, а потом ушел с двумя типами.
ЭЛЬЗА: Друзей. Ушел с двумя типами.
ГАРСОН: Клянусь, я бы не хотел быть знакомым с этими людьми.
ЭЛЬЗА: Но куда он ушел.
ГАРСОН: Ничего не сказали определенного. Денег при них больше не было.
(*Эльза, не дослушав, убегает вовнутрь, через минуту возвращается с директором*)

Явление 10
Те же и директор

ДИРЕКТОР: Вас что-то просили передать.
ГАРСОН: Нет. Я же сказал ничего.
ДИРЕКТОР: Это ясно. Он сейчас вернется. Если б ушел надолго, он бы предупредил.
ЭЛЬЗА: Вы не знаете.
ДИРЕКТОР: Уверяю вас, я хорошо знаю. Тем не менее, самое разумное, что нам остается делать пока, это ждать.
ЭЛЬЗА: Может, дать знать в полицию.
ДИРЕКТОР: Можно позвонить, но это преждевременно. Ведь он не пропал. Если б прошли день или два, тогда другое дело. Мы сделаем всё, что надо. Уверяю вас, вы можете рассчитывать на это. Присядьте и спокойно почитайте газету. Как только поступят сведения, мы вас известим, будьте покойны.
ЭЛЬЗА: Хорошо. Я посижу здесь. Как только вы узнаете что-нибудь, немедленно...
ДИРЕКТОР: Будьте спокойны, будьте спокойны. *(уходит*)

Явление 11
Те же , без директора

ЭЛЬЗА (*усаживая[сь] за столик*): Гарсон.
ГАРСОН: Да.
ЭЛЬЗА: Бумага, конверты и черное кофе. (*гарсон убегает. Доносится телефонный звонок. Эльза бежит к дверям, сталкивается с гарсоном*)

ГАРСОН: Нет, нет, это не к вам. (*Эльза усаживается, принимается за письмо*)
ДАМА У ЦЕНТРАЛЬНОГО СТОЛИКА: Может, вы любите специальные фигуры...
ЕЕ ГОСПОДИН: Нет, я не люблю. К тому же, это стоит дороже. (*смеется*) Итак, мы отправляемся, гарсон.
ЭЛЬЗА: Гарсон.
ГАРСОН (*в обе стороны*): Что прикажете.
ЭЛЬЗА: Осведомитесь, нет ли чего-нибудь для меня.
ЕЕ ГОСПОДИН (*одновременно с Эльзой*): Сколько с меня.
ГАРСОН: Сию минуту. (*убегает, возвращается*) Директор просит передать, что он вам сам даст знать, как только поступят сведения (*подбегает к центральному столику*): Виши и вино.
ДАМА: Каждый платит за себя. (*протягивает деньги*)
ЕЕ ГОСПОДИН: О. Ну хорошо.
ГАРСОН: Итак, одно вино, одно виши. (*улыбается даме, звенят монеты*)

(*вбегает 2-ой гарсон)*

2-ОЙ ГАРСОН (*к Эльзе*): Вас просят в полицейский участок. Только что телефонировали...
ЭЛЬЗА: Полицейский участок. Что с ним. (*бежит к дверям*)
2-ОЙ ГАРСОН: Их задержали в ювелирном магазине.
ЭЛЬЗА: Что такое.
2-ОЙ ГАРСОН (*испуганно отступая*): Не могу сказать точно. (*Эльза убегает*) Кража со взломом.

Явление 12
Те же без Эльзы

ГАРСОН: Неужели правда.
2-ОЙ ГАРСОН: Только что звонил наш комиссар. (*радостно смеется*)

Занавес
Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Кабинет судебного следователя; обставлен не без своеобразного уюта: письменный стол, кожанные кресла, диван.

Явление 1

Судебный следователь один (перебирает бумаги. Звонит. В дверь заглядывает служитель)

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Введите хозяев ювелирного магазина, чету Астов. (*Служитель вводит чету, скрывается, затворяет дверь*)

Явление 2

Следователь, чета Астов

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Садитесь, пожалуйста. (*указывает места, чета размещается, кланяясь*) Я нашел нужным вас вызвать вторично.

Г-ЖА АСТОВ (*взволнованно*): Ах, г. следователь, мы всё еще не пришли в себя. Наши убытки...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Пожалуйста, сядьте. (*перебирает бумаги на своем столе*) Кстати, об убытках. Тут что-то непонятно. Полицейский Орлу и шоффер Игра, первые, с которыми вы поделились о происшедшим, под непосредственным, так сказать, впечатлением, утверждают, что вы не жаловались ни на какую пропажу. Да и самая обстановка, в которой вы застали обвиняемого, Александра Лентца, путь им избранный, через ваши жилые комнаты подтверждают, казалось бы...

Г-Н АСТОВ (*с достоинством*): Казалось бы...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, казалось бы.

Г-ЖА АСТОВ (*мужу*): Да замолчи ты, пожалуйста. (*Следователю*) Ведь мы не говорим, что это Александр Лентц был одновременно и в квартире, и в магазине. Пока мы его ловили в квартире, метались, кричали, его друзья, надо полагать, орудовали в магазине. Мы не сразу это сообразили. Очевидно, с этой целью он пробрался в детскую. Иначе, это было бы несуразно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, уж несуразного здесь хоть отбавляй...

Г-Н АСТОВ: А по-моему, всё очень просто...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Иначе говоря, вы утверждаете...

Г-Н АСТОВ: Я никогда ничего не утверждаю...

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы предполагаете, что злоумышленник Лентц сделал ложную диверсию в детскую с тем, чтобы отвлечь ваше внимание от магазина.

Г-Н АСТОВ: Наконец-то.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Тогда почему в детскую. Вы сами признались, что в этот час заглянули туда случайно. Естественнее ему было пробраться в столовую.

Г-Н АСТОВ: Я уж не знаю, что естественно и что неестественно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Наконец, в первых своих показаниях вы засвидетельствовали, что вышеназванный Лентц играл с вашим сыном, и сын ваш плескал ручонками и смеялся.

Г-Н АСТОВ: Бабьи сказки.

Г-ЖА АСТОВ: В этом я могла ошибиться. Г-н следователь, я вошла в детскую и тотчас же выбежала, как ошпаренная кипятком, увидев там чужого, полуголого мужчину. Обморок, потом улица, крики, полиция. Вот как было дело. А мои впечатления...

Г-Н АСТОВ: Ерунда.

Г-ЖА АСТОВ: Ведь я могла ошибиться. Действительно, они выглядели... как бы... вот...

Г-Н АСТОВ: Вот.

Г-ЖА АСТОВ: Да, как бы. А на самом деле, откуда я знаю, может, он его собирался унести, похитить, как маленького Линдберга.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы не так богаты и не столь популярны.
Г-Н АСТОВ: Мои деньги никто не считал. Согласитесь, г. следователь, ко мне в детскую через окно влезает человек, а в это время кто-то грабит магазин, уносит самое ценное...
СДОВАТЕЛЬ: Насчет это[го] существует еще одно мнение.
Г-Н АСТОВ: Какое.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Можно вам рассказать одну сказку.
Г Н АСТОВ: От умного человека сказка впрок.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот именно. В некотором царстве, в некотором государстве был один золотых дел мастер...
Г-Н АСТОВ: Так.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Некто принес к нему драгоценные серьги и попросил под залог денег, предложил большие проценты. Золотых дел мастер согласился, хотя это противозаконно.
Г-Н АСТОВ: В крайнем случае, он уплатит штраф.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дальше. Дела пошли плохо. Золотых дел мастер перезаложил серьги у короля эфиопского. Однажды, некий, по слухам, больной человек залез...
Г-Н АСТОВ: Если он болен, он должен сидеть в лечебнице...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Он из хорошей семьи.
Г-Н АСТОВ: Фантазия миллионера. Пускай по-царски заплатит. О чем спор.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Но тут золотых дел мастер совершает ошибку. Он заявляет, что серьги у него украли. Между тем, известно, у кого они были заложены задолго до инцидента.
Г-Н АСТОВ: Где свидетели.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Свидетели есть. Предлагаю вам, пока не поздно, покончить с этим делом.
Г-Н АСТОВ: Я представлю контрсвидетелей.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это не поможет. Мы решили взяться за бриллиантщиков. Почистить этот уголок.
Г-Н АСТОВ: Почему за бриллиантщиков.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (разводит руками): Так получилось.
Г-Н АСТОВ: Я протестую. Это инсинуация. Свидетели могут всё показать.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Успокойтесь. Вы взволнованы. Идите домой. Обдумайте ваше положение. Оно серьезнее, чем вы полагаете. Я вас вызову в последний раз, вы будете еще раз иметь возможность взять обратно свои показания. В ваших интересах.
Г-Н АСТОВ: Это я уже слышал не раз.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: В ваших интересах, говорю. (*звонит. Заглядывает служитель*) Проводите господ Астовых, введите эксперта, профессора Функе (*Астовы выходят, входит профессор Функе*)

Явление 3
Следователь, профессор Функе

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Здравствуйте, садитесь вот здесь. (*садятся*) Я прочел ваш обстоятельный и, скажу прямо, блестящий доклад. Но мне хотелось бы еще кое-что выяснить.
ПРОФ. ФУНКЕ: Пожалуйста, г-н следователь, я к вашим услугам.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как вы знаете, старик Лунтц утверждает, что профессор Кинг по его просьбе и почти в его присутствии создал искусственного Александра Лентца взамен его покончившего самоубийством племянника. Что можно сказать по существу данного вопроса.
ПРОФ. ФУНКЕ: Это абсурд.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Иначе говоря, по-вашему, здесь нет ни одного слова истины.
ПРОФ. ФУНКЕ: Совершенно верно. Именно так.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: С вашего разрешения, я попрошу сюда войти первого эксперта (*звонит*).
ПРОФ. ФУНКЕ: Пожалуйста, пожалуйста.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*заглянувшему служителю*): Введите доцента Карлса.
(*служитель вводит доцента Карлса*)

Явление 4
Следователь, проф. Функе, доцент Карлс

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*кланяясь*): Вы, надеюсь, знакомы господа. (*доктора холодно кланяются друг другу*) Садитесь, прошу вас. Мы как раз беседуем по поводу этой странной истории. Профессор Карлс...
ДОЦЕНТ КАРЛС: Доктор Карлс.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Виноват, доктор Карлс. Ваш коллега, профессор Функе, утверждает, что рассказ Лентца в самом корне своем, так сказать, ложен. Так как, ваше мнение, насколько мне ясно из доклада, иное, мне бы хотелось, так сказать, непосредственно составить себе, наконец, мнение.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Как я уже имел честь заявить, мнение ученого мира далеко не так единодушно в своем утверждении.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, но меня интересует не вся, так сказать, проблема в целом, а только сей частный случай. Вы исследовали подследственного Александра Лентца. Благодаря исключительности положения мы добились самых [Вставлено: «выгодных»] условий для составления доклада. Скажите же мне, можно ли допустить, что Александр Лентц – гоммункулус.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Надо быть осторожным в выводах.
ПРОФ. ФУНКЕ: Это невозможно.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Всё возможно.
ПРОФ. ФУНКЕ: Это – абсурд.

ДОЦЕНТ КАРЛС: Не больше, чем получить кафедру благодаря родственным связям.
ПРОФ. ФУНКЕ: Сударь, что такое.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Святая простота.
ПРОФ. ФУНКЕ: Я отказываюсь.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Господа, господа, прошу вас, не сводите здесь личных счетов. Итак, это так, к сожалению.
ПРОФ. ФУНКЕ и ДОЦЕНТ КАРЛС (*одновременно*): Да, это так.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так-с. Хорошо. А профессор Кинг. Что характерного, конкретного вы можете мне о нем сообщить.
ПРОФ. ФУНКЕ: опасный интриган. Спирит.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Смелый экспериментатор.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*отмечая что-то в своих бумагах*): Оба эти отзыва друг друга не исключают, конечно.
ДОЦЕНТ КАРЛС: В бытность на нашем факультете он увлекся проблемой коренного изменения природы человека. В 1930 году он изобрел препарат, внутривенозные инъекции которого которого (sic!) улучшали природу, характер людей. Преображали.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: То есть как.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Люди становились будто бы добрее и нравственнее. К сожалению, ему пришлось бежать: одна из его первых пациенток забеременела, и против него было возбуждено судебное следствие.
ПРОФ. ФУНКЕ: Позор.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Передавали, что в южных университетах он будто бы демонстрировал созданную им обезьяну.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ах, так, скажите пожалуйста, это интересно... Так что получается, что профессор Кинг мог бы кое-что изобрести в этой области.
ПРОФ. ФУНКЕ: Я отказываюсь отвечать на такой вопрос. Осведомитесь у профессора Карлса.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Доктор Карлс, вашими молитвами, доктор Карлс.
ПРОФ. ФУНКЕ: Доцент Карлс, черт возьми.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Господа профессора, ради Бога, у всех свои неприятности. Еще один вопрос, объясните мне толком, что показал анализ пилюль, которые принимал Александр Лентц.
ПРОФ. ФУНКЕ: Там какой-то органический яд и один малоисследованный алкалоид – подобные ему находили в некоторых чилийских травах.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Предварительный анализ показал малоизвестный глюкозид* (sic!). Что касается найденного органического яда, то мы склонны думать, что это продукт разложения вяжущего вещества пилюли, первоначально же яда не было.

---

* гликозиды – органические соединения группы препаратов, применяемых для лечения острой и хронической недостаточности сердца, воздействует на нервную систему.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Стало быть, яд под сомнением, а насчет не то алкалодида, не то глюкозида, господа согласны.
ПРОФ. ФУНКЕ: Алкалоид.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Глюкозид.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Прекрасно. Объясните мне, каков эффект этого алколо-глюкозида.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Какое удачное наименование.
ПРОФ. ФУНКЕ: Незаменимое для переходных звеньев.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я буду очень рад, если моя обмолвка пригодится науке.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Науке всё пригождается.
ПРОФ. ФУНКЕ: Помните яблоко Ньютона (*смеются*).
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Позвольте продолжать. Итак, какой эффект будет, если принимать эти пилюли.
ПРОФ. ФУНКЕ: Его мозг парализуется. Он превращается в автомат.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Наоборот. Я нашел, что интеллект развивается, стимулируется.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как же так.
ПРОФ. ФУНКЕ: Я оперировал рыбками.
ДОЦЕНТ КАРЛС: И я рыбками.
ПРОФ. ФУНКЕ: Г-н следователь, представьте себе маленьких рыбок в аквариуме.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Представляю себе.
ПРОФ. ФУНКЕ : Которые выдрессированы, приучены к тому, что всё бросаемое к ним, годное для их потребления, белого цвета. Всё же бесполезное – желтого цвета. Вы бросаете крошки белого хлеба – они клюют, бросаете желтый табак – не клюют.
ДОЦЕНТ КАРЛС: То же самое и у меня.
ПРОФ. ФУНКЕ: Но вот я развел в аквариуме, на каждый литр воды – одну десятую нашей пилюли...
ДОЦЕНТ КАРЛС: А я – одну пятнадцатую.
ПРОФ. ФУНКЕ: Рыбки одурманены. Их память, их опыт ослабевают, и они клюют желтый табак.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Всё правильно. Профессор Функе ошибается только в интерпретации. Наоборот, интеллект рыбок развился, и они, подобно людям, в состоянии уже оценить достоинство табака по-настоящему.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так, господа, понимаю. Однако как должно быть приятно разбираться во всех проблемах биологии.
ПРОФ. ФУНКЕ (уныло): Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Потому что биология – это жизнь.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Это вы правильно отметили.
ПРОФ. ФУНКЕ: Но жизнь – не биология (*достает часы*).
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Увы, это так. Ну, господа, не смею вас больше задерживать (*звонит*). Благодарю вас. До свидания, профессор Функе, до свидания, профессор Карлс.
ДОЦЕНТ КАРЛС: Доктор Карлс.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Доктор Карлс, доктор Карлс (*профессора откланиваются, выходят, в дверь заглядывает служитель*). Введите г-жу Эльзу Лентц.

(*Эльза входит*)

Явление 4
Следователь и Эльза

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как вы себя чувствуете. Садитесь вот здесь. (*садятся*)
ЭЛЬЗА: Ужасно. Ужасное положение.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понимаю и преклоняюсь. Кстати, вы занялись вопросом о вознаграждении пострадавшим.
ЭЛЬЗА : Они запросили огромную сумму.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я так и предполагал. Но ваш отец ведь богат...
ЭЛЬЗА: Он с радостью дал бы вдвое большую сумму, только бы Александра не освобождали. Он всё кается и постится, ходит в церковь, жертвует много денег.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понимаю. Скажите, пожалуйста, в каких собственно отношениях вы были с вашим женихом.
ЭЛЬЗА: Я не понимаю.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: В очень близких. Вы можете не отвечать на этот вопрос.
ЭЛЬЗА: Когда-то в близких. Потом ничего не было.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Чем вы это объясняли. Вы можете не отвечать на этот вопрос.
ЭЛЬЗА: Нет, зачем же. Мне начало казаться, что он пошлый и вздорный человек. Я решила, что нам надо проверить наши отношения.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: А потом.
ЭЛЬЗА: Потом я приехала и застала его в таком состоянии. Он был совершенно беспомощен. Я привязалась к нему всем существом. Я вдруг увидела его в совершенно ином свете. И по-настоящему полюбила его...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понимаю и, поверьте, преклоняюсь. Кстати, вы просили о свидании с женихом. У меня мелькнула мысль при вас, сообща, так сказать, побеседовать с Александром Лентцем. Может быть, в такой обстановке нам удастся добиться каких-нибудь толковых показаний. Вы ничего не имеете против (*звонит*).
ЭЛЬЗА: Александр здесь.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Здесь, и вы сейчас его увидите. Чем могу, чем могу... (*заглянувшему служителю*) Введите подследственного. (*вводят Александра*)

Явление 5
Следователь, Эльза и Александр

ЭЛЬЗА: Александр. (*Александр уверенно бросается к ней, обнимает*)
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я не смотрю, я не смотрю. (*отходит в сторону*)
АЛЕКСАНДР: Эльза, моя невеста, моя женка. (*целует*)
ЭЛЬЗА: Александр, ты изменился. Ты другой, ах. (*поцелуй*)
АЛЕКСАНДР: Другой или не другой, но любовь моя прежняя. (*поцелуй*)
ЭЛЬЗА: Ты был болен.
Александр: Может быть. А теперь здоров.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*быстро приближаясь*): Простите, я воспользуюсь действительно благодатной переменой в вашем здоровье, чтобы задать вам несколько вопросов.
ЭЛЬЗА: Успокойся, Александр. Эго важно, постарайоя ответить.
АЛЕКСАНДР : В чем дело. Для вас я рад, как говорится, в ад...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Быть может, вы вспомните теперь историю этой записки. (*подает ему записку*)
АЛЕКСАНДР (*читает*): «Прости, Эльэа, без твоей любви я не мог жить». Но ведь это моя записка.
СЛЕДОВАТЕЛЬ и ЭЛЬЗА (*одновременно*): Наконец-то. Ну да, ну да.
АЛЕКСАНДР: Это я самоубийством кончал.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Браво, браво.
АЛЕКСАНДР: Я симулировал самоубийство, чтобы наказать Эльзу. Она там всё проверяла себя, развлекалась...
ЭЛЬЗА: Александр.
АЛЕКСАНДР: Да, да, все знаем.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дальше, дальше что.
АЛЕКСАНДР: Я решил ее наказать, проверить ее чувство, прикрепить ее к себе, наконец. Я написал эту записку. И за несколько дней до твоего приезда, оставив предварительно на берегу реки свою старую пижаму, отправился к профессору Кингу.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ах, к Кингу. К Кингу. Вот оно.
АЛЕКСАНДР: Да, я думал у него пожить эти несколько дней.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понимаю, понимаю.
АЛЕКСАНДР: Он принял меня очень хорошо, угощал. Больше, кажется, ничего.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понимаю, понимаю.
АЛЕКСАНДР: А тут тюрьма. Третьего дня я вдруг вижу: тюрьма. Позвольте, с какой стати. Я немедленно потребовал освобождения.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Понятно. Скажите пожалуйста, тут есть еще одна неприятность. Старик Лентц...
АЛЕКСАНДР: Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Утверждает, будто бы вы, вы только не волнуйтесь...
АЛЕКСАНДР: Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что вы не Александр Лентц.

АЛЕКСАНДР: Что я не Александр. Не понимаю.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Он утверждает, что профессор Кинг в его присутствии и по его просьбе создал искусственного человека, похожего на вас.
АЛЕКСАНДР: Но кто же я.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы и есть тот гомункулус.
АЛЕКСАНДР: Гомункулус. Что за чушь. Нет, простите, я не гомункулус.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Докажите (*улыбается*).
АЛЕКСАНДР: Доказать. Я... я... Нет, позвольте, докажите мне, что я гомункулус. Какая чушь.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*улыбаясь*): Да мы-то в вас, так сказать, не сомневаемся, вся штука в старике Лентце.
АЛЕКСАНДР: Но это абсурд. Позвольте мне с ним объясниться.
ЭЛЬЗА: Это всё не так просто. Он вбил себе в голову, что профессор Кинг создал тебя в реторте. Он тебя ненавидит и хочет тебя уничтожить, казнить на электрическом стуле, смести с лица земли.
АЛЕКСАНДР: Как. Меня.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Должен поддержать госпожу Лентц. Старик действительно верит в это, и разубедить его будет нелегко. На его глазах мистификатор Кинг создал вас. Он приехал к нему с вашей предсмертной запиской, а вернулся с вами. Ему нелегко отделаться от своего чувства. Вы глотали пилюли, предписанные Кингом, и скандалили ужасно.
АЛЕКСАНДР: Хорошо. Но ведь я – я. Это факт. Давайте уничтожим гомункулуса. Я, Александр Лентц, вернулся и уничтожил своего двойника. Застрелил его.
ЭЛЬЗА: Застрелить не годится. Кинг уверил его, что тебя нужно включить в линию электрическую.
АЛЕКСАНДР: Ну что ж, я его включил в штепсель, и он превратился в кучу глины. Какой мерзавец. Эльза, Эльза.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*звонит*) (*заглянувшему служителю*): Введите господина Лентца старшего. (*вводят старика Лентца*)

Явление 6
Те же и Лентц

ЛЕНТЦ: Дочь. Эльза. Моя дочь. (*бросается к ней*) Я вчера был у тебя. Хочу еще раз попробовать тебя убедить.
ЭЛЬЗА: Отец, всё, наконец, уладилось. Вы были правы. Вот Александр, он жив и здоров.
ЛЕНТЦ: Не говори об этом существе, я не могу слушать, это – кощунство.
АЛЕКСАНДР: Папаша, папаша, всё уладилось, ей-Богу. Ура, ура, ура.
ЛЕНТЦ (*пораженный, удивленный*): Я узнаю этот голос. Что такое. (*радостно*) Что случилось.
АЛЕКСАНДР: Я Алексаша. Жених Эльзы и ваш племяша. Вот и всё по-старому. А гомункулуса я чик-чирик. В штепсель – и прах.

ЛЕНТЦ: Александр. Твой голос, твой тон, твои шутки. Что это значит, Боже мой.
АЛЕКСАНДР: Дело и сложнее и проще, чем вы думали. Самоубийства не было. Я пошутил. Мистификация. Чтобы завоевать, наконец, сердечко вашей ветренной дочурки.
ЛЕНТЦ: Дочурки.
АЛЕКСАНДР: Да, я написал записку и спрятался. А в это время вы с дьяволом Кингом создали мой двойник, кормили его пилюлями...
СЛЕДОВАТЕЛЬ (*обращаясь к Эльзе*): Больше, однако, не давайте этих пилюль.
ЭЛЬЗА: Неужели вы думаете...
СЛЕДОВАТЕЛЬ : Профессор Кинг их изобрел.
АЛЕКСАНДР: Я щелкаю зубами от страха при одной мысли о том, что вы наделали. Ужас.
ЛЕНТЦ: Еще бы не ужас.
АЛЕКСАНДР: Но я издали следил, всё ждал своей минуты. Видел, как вы все страдали, не понимая друг друга, как мое отвратительное подобие всех мучило, изводило, целовало Эльзу, пока не докатилось до тюрьмы. Сегодня на рассвете я проник в дом предварительного заключения. (*рукой показывает, что дает взятку*) Поговорил с ним, потом включил в штепсель, как учил Кинг.
ЛЕНТЦ: Ну и что, что дальше.
АЛЕКСАНДР: Я ему рассказал всё откровенно. Я ему объяснил, что он занимает мое место, что оно мое, что он на него не имеет права, что он должен уйти. Он согласился. Он сказал, что не скучает об этой жизни, не дорожит этой землей. Скорбит только о потере Эльзы, но и это обман.
ЛЕНТЦ (*и все присутствующие*): А, так, еще, еще что.
АЛЕКСАНДР: Я включил его поскорее в штепсель. «Почему вы все такие жадные. Куда вы все так спешите. Зачем вы все так любите деньги», – не уставал он меня спрашивать. Я же продолжал свое дело, «Я вижу огонь, несущийся на вас, – вскрикнул он вдруг. – О как бы я хотел, чтобы он уже низвергнулся на ваши головы.» И лицо его неожиданно вспыхнуло, словно отражая то зарево, о котором он говорил.
ЛЕНТЦ: Ну что, что дальше.
АЛЕКСАНДР: Что ж дальше. Момент... и груда праха. Он распался, осыпался, растаял, как снегурочка от огня. Я взял на память горсть пепла. (*роется в карманах, подает что-то Лентцу*)
ЛЕНТЦ: Ну, слава Богу, слава Богу. Уф...
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну вот, очень рад, очень рад...
ЛЕНТЦ: Теперь ничего не страшно. И умереть не страшно. Ведь дочь мою чуть не загубил.
АЛЕКСАНДР: Да, уж эта дочурка. (*страстно обнимает Эльзу*) Моя жена.
ЭЛЬЗА (вырываясь): Довольно. Ты сильно, зачем ты так сильно изменился. Ах. (*застывают в страстном поцелуе*)

ЛЕНТЦ (*нервно расхаживая по комнате*): Нет, я всё еще не сполна верю. Постойте. Я придумал. (*подбегает к обнимающейся паре, угрожающе поднимает руку*) Молодой человек, а что вы скажете, ежели я вас по щеке, по щеке. (*легонько ударяет Александра. Александр смотрит секунду с недоумением, потом приподнимается и шутливо, но вполне недвусмысленно хочет ткнуть Лентца кулаком в челюсть. Лентц, испуганно отпрянув, валится в кресло и радостно кричит*): Он. Он. Хо-хо-хо-хо.

Следователь, Эльза, Александр, в свою очередь, как манекены, открывают рты и остаются в таком положении с добрую минуту, трясясь от беззвучного мрачного смеха.

Занавес

КОНЕЦ

Нью-Йорк, 1951

Публикация, текстология – М. Адамович

Александр Глотов

Поэтический билингвизм – конфликт или контраст?

Украинско-русский контекст

1.

Любая полиэтническая среда порождает социальную иерархию языков, влияние одного языка на другой, взаимное поглощение и взаимодействие разных языков. Эти процессы неминуемы, вследствие их существования зарождаются и функционируют национальные языки.

Совершенно естественным является феномен *перстрата* (Семчинський, 1988), влияния одного языка на иные: например, древнегреческого и латинского – через христианские тексты – на все европейские языки. Не менее естественным, существующим везде и всегда, было явление *адстрата* (Звонська, 2017, 17) – продолжительного влияния одного языка на другой с сопутствующим возникновением определенной прослойки между двумя самостоятельными языками – скажем, возникшие вследствие контакта польского и украинского, русского и украинского языков. Интересным и недостаточно исследованным можно назвать явление *субстрата*: «В языкознании термин применяется для обозначения элементов языка ассимилированного народа в языке народа-завоевателя, например, дакского языка в румынском или иберийского – в испанском» (Ковалів, 2007, 443). Ситуация, при которой неизбежно возникает социальная необходимость билингвизма, – это синдром *суперстрата* (Звонська, 2017, 497), когда в результате чаще всего политического вторжения язык-инъектор входит на уровне лексики и синтаксиса в автохтонный язык, оставляя там очевидные последствия.

Все эти процессы переживают несколько этапов, которые неминуемо порождают противостояние, конфликт, социальное напряжение, формируя одновременно национальный менталитет, содержащий как общекультурные, так и сугубо лингвистические компоненты. И тогда в результате разнообразных, далеко не всегда исторически верных действий и процессов возникает то, что потом называют «национальным литературным языком». Таким образом на субстратный кельтский говор англов накладывается германский диалект саксов, создавая адстрат англосаксов, которых завоевывают офранцуженные викинги-норманны, вводя свой суперстратный северо-французский

суржик как язык господствующего класса Британских островов, и на фоне перстрата латинского языка католической Церкви формируется то, что становится литературным английским языком.

Некоторые языки приобретают статус доминирующих в регионе – и появляется лингва франка своего времени: античное греческое койне, латинский язык, французский язык, китайский в Восточной Азии, арабский в мусульманских странах, русский на территории Российской империи и СССР, сейчас – английский.

Однако после распада империй носители ставших доминантными национальных культурных менталитетов, как правило, стремятся приобрести статус титульной нации и, соответственно, язык их также становится титульным.

2.

Украинский язык формально получил статус государственного сразу после распада Советского Союза и возникновения Украины как независимого государства. Практически тут же прекратилось обязательное изучение русского языка в школах с украинским языком обучения. Радио и телевидение в значительной степени стали украиноязычными. Весомая часть печатных СМИ, особенно в западных областях, также перешла с русского на государственный язык. На протяжении последних тридцати лет заметно увеличилось издание книг – как художественных, так и научных, учебных, публицистических – именно на украинском языке (значительную часть в это внесли переводы с иностранных языков). Дублирование иностранных фильмов и телевизионных программ практически без исключения делается на украинском языке. Преподавание в высших учебных заведениях осуществляется исключительно на украинском языке. Официальное делопроизводство ведется только на украинском. Однако весь этот период значительную часть населения Украины составляли люди, родным языком которых (независимо от этнической принадлежности) был русский. Именно для них функционировали и функционируют средние учебные заведения с русским языком обучения. Именно для них продолжали выходить, особенно на востоке и юге страны, газеты и журналы на русском языке.

Языковой вопрос периодически возникал как повод для социальных и политических дискуссий, даже для формирования политических партий и группировок. Поскольку эти баталии идут давно и публично, то они неминуемо породили как социальные спекуляции на языковой почве, так и нездоровое внимание к этому аспекту внутриполитической жизни Украины со стороны соседней Российской Федерации.

Стремления крайних политических сил – националистических, с одной стороны, и сепаратистских, с другой, не изменили отношения инертного большинства к проблеме. Однако в результате это привело, во-первых, к политическому противостоянию «Запада» и

«Востока» на всех последних парламентских и президентских выборах, во-вторых – к обострению социального антагонизма, что породило две революции, два Майдана, и закончилось агрессией со стороны соседнего государства – аннексией Крыма, военным столкновением на Донбассе и, наконец, войной 2022 года.

В Украине после 24 февраля 2022 года языковая ситуация начала стремительно и радикально меняться. Русский язык всё более приобретает статус «языка врага». Даже на бытовом уровне граждане Украины хотят быть украинцами. Носитель русского языка ассоциируется после событий последних лет с агрессором, мародёром, насильником и убийцей. Украинцы осознают, что значительная часть солдат российской армии в действительности является не этническими русскими, а бурятами, тувинцами, дагестанцами и другими так называемыми национальными меньшинствами, каковых в Российской Федерации – бóльшая часть населения. Но все они говорят, пусть с акцентом, по-русски.

Активное освоение украинского для носителей языка русского, которые в школе украинский всё равно изучали и пассивно все его знают, психологически облегчено тем, что в ситуациях официальных теперь его нужно употреблять системно. Телевидение и радио создают пассивный фон украинского языка, что также помогает его массовому внедрению. Введение экзамена по украинскому языку для государственных служащих и преподавателей высшей школы повышает социальный статус украинского языка. Бытовое же общение никогда не было препятствием для полноценного функционирования и формирования титульного языка как родного.

И вот здесь я должен остановиться и сказать, что ответа на вопрос, станет ли украинский язык родным для всех граждан Украины, у меня нет. Тем не менее... Я знаю, что несмотря на то, что первое название самого большого американского города было Новый Амстердам, он всё же стал Нью-Йорком, а английский де-факто – официальным языком государства США. Я знаю, что несмотря на полное отсутствие на протяжении восемнадцати столетий активной речевой практики на языке Ветхого Завета иврит всё же стал государственным языком Государства Израиль, на котором теперь говорят, пишут и читают свыше девяти миллионов человек. Я знаю, что сто двадцать три года на карте Европы не существовало государства Польша, а классики и пророки польской литературы рождались и жили на территориях, которые ни до, ни после Польшей не были, – и всё же государственным языком этой страны является не доминантный немецкий или русский, а именно польский.

Более того, это вообще вопрос не лингвистический. Это вопрос культурологический и цивилизационный. Никто из языковедов не обнаружил первый в мире язык и законы, по которым язык вообще появляется, живет и изменяется. Не возьмусь определить, например,

на каком языке говорят жители государства Черногория: на том, который раньше назывался сербо-хорватским, или всё же на том, который отщепился от него и называется теперь черногорским. Такая же проблема у боснийцев, которая осложняется еще и тем, что государство – Босния и Герцеговина, но герцеговинцами никто из ее граждан называть себя не торопится.

3.

Литература является прямым и непосредственным отражением лингвистической ситуации в конкретном обществе. Носители творческого менталитета, собственно, и создают явление «литературный язык». Использование неродного канала коммуникации как средства создания определенной художественной действительности приводит к формированию иного творческого сознания. Даже осознавая себя лицом некоей негосподствующей нации, литератор довольно часто вынужден отказываться от родного языка ради достижения творческого успеха. Так в Британской империи появились ирландские англоязычные писатели Джонатан Свифт, Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Джеймс Джойс, Сэмюэл Беккет (английский и французский), Уильям Йетс, Шеймас Хини. Шотландские англоязычные писатели Вальтер Скотт, Роберт Луис Стивенсон, Роберт Бёрнс (скотс и английский шотландский). В советской империи – русскоязычные писатели-евреи Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Михаил Светлов, Семен Кирсанов, Василий Гроссман, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Александр Галич, Илья Ильф, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий. И даже, используя определенную квоту по украинизации, – украиноязычные евреи: Абрам Кацнельсон, Леонид Первомайский, Моисей Фишбейн.

Хотя, следует признать, что были и такие титаны духа, которые хранили родной язык: Энтони Рафтери, писавший на ирландском; Фредерик Мистраль, который получил Нобелевскую премию за книги на провансальском; Юргис Балтрушайтис (почетный доктор Университета Витовта Великого на исторической родине поэта в городе Каунас) начинал в Российской империи как русский символист, а завершил писательскую карьеру в Париже как литовский поэт и патриот в изгнании. Шолом-Алейхем, Шмуэль Агнон, Лев Квитко, Перец Маркиш, Овсей Дриз, Григорий Полянкер, Михаил Лев, Моисей Альтман, Ицхак Башевис-Зингер, Александр Бейдерман, Исаак Кипнис удовлетворяли потребность читателей в литературе на языке идиш.

4.

Если речь идет о литературном процессе в Украине двадцатого века, то взаимоотношения автохтонной украинской и доминантной русской культур рассматривались в Советском Союзе под лозунгом

воссоединения, взаимодействия, культурного развития и обмена. Ведущие ученые, которые, собственно, и формировали мировоззрение педагогов, писателей, литературных критиков, а за ними – и читателей, занимались преимущественно вопросами так называемых культурных связей (Крутикова, 1954). Более того, практически во всех советских республиках существовала, параллельно с национальной литературой на языке коренного народа, литература на русском языке. Писатель, родившийся где-нибудь на Тамбовщине, оканчивал какой-нибудь Ташкентский пединститут и переезжал в пригород Баку, где продолжал чувствовать себя «советским русским» литератором, печатаясь при этом, в зависимости от уровня амбиций, и в столичных, и в местных издательствах. И чем больше таких предприимчивых и успешных было в Биробиджане, тем громче звучало русское слово на заседаниях областного отделения Союза писателей. В то время как язык национальных меньшинств учить было совсем не обязательно.

Если говорить конкретно об Украине, то можем выделить, прежде всего, ряд русских литераторов, которые родились тут и на протяжении своего творческого пути тем или иным образом сохраняли в себе определенный сантимент к малой родине. Начиная с Николая Васильевича Гоголя, можно представить огромный список авторов: Маргарита Алигер, Анна Ахматова, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Илья Ильф, Вера Инбер, Валентин Катаев, Семен Кирсанов, Марк Лисянский, Евгений Петров, Саша Чёрный, Демьян Бедный, Владимир Билль-Белоцерковский, Юрий Олеша, Арсений Тарковский, Михаил Булгаков, Максимилиан Волошин, Фридрих Горенштейн, Илья Эренбург, Михаил Кольцов, Наум Коржавин, Анатолий Кузнецов, Юрий Левитанский, Юнна Мориц, Николай Носов, Галина Серебрякова, Александр Галич, Михаил Светлов, Борис Горбатов, Михаил Матусовский, Василий Гроссман, Владимир Дудинцев, Михаил Зощенко, Эммануил Казакевич, Римма Казакова, Дмитрий Кедрин, Владимир Короленко, Алексей Кручёных, Борис Лавренёв, Николай Некрасов, Анатолий Рыбаков, Илья Сельвинский, Борис Слуцкий, Ярослав Смеляков, Константин Тренёв – Киев, Одесса, Елизаветград, Екатеринослав, Луганск, Бердичев, Кременчуг, Севастополь, Житомир, Чернигов, Симферополь, Луцк, Харьковщина, Полтава, Донбасс, Херсонщина, Винничина... Во-вторых, писатели, которые постоянно проживали в Украине и которые писали о ней (или в том числе и об Украине), приобретали иногда популярность в пределах всего Советского Союза – будучи и прогосударственными, и откровенно диссидентскими, – но так или иначе – русскими. Широко известными стали имена Николая Ушакова, Бориса Чичибабина, Леонида Вышеславского, Виктора Некрасова. В те же советские времена были менее известны, но довольно плодовиты Григорий Глазов, Эрнст Портнягин, Василий Глотов.

5.

Прозаики-билингвы Владимир Набоков, Милан Кундера, Андрей Макин, Чингиз Айтматов, Василий Быков, владея иностранным языком с рождения, применяли его без трудностей адаптации. Тарас Шевченко написал немало русских повестей, но в истории литературы остался украинским поэтом. Марко Вовчок, будучи этнически русской, прославилась украинской прозой, в прозе русской не преуспев. Украинский прозаик Андрей Курков сорок лет успешно писал по-русски, его произведения переведены на 36 языков, однако в 2020 году в соавторстве с Юрием Винничуком по вполне очевидным социально-политическим соображениям он издал украиноязычный роман «Ключи Марии», имеющий все шансы стать бестселлером. Творчество прозаиков-билингвов давно стало объектом научных исследований (Костенко, 2011).

В то же время двуязычие поэтическое является в истории мировой литературы скорее исключением. Легенда о литераторе XV века Алишере Навои, который на чагатайском (тюркском) языке писал такие же совершенные лирические стихи, как и на языке фарси (индоевропейском), не подлежит верификации из-за значительного темпорального расстояния. В литературе новейшего времени Набоков провел своеобразный эксперимент, издав несколько стихов по-английски, однако потерпел неудачу (Набоков, 1970); Иосиф Бродский писал по-английски эссе, но перейти на язык новой родины в поэзии не рискнул.

Есть и украинские примеры писателей-билингвов. Евгений Павлович Гребинка написал пять томов русской прозы, но не достиг сколько-нибудь заметного успеха в русской литературе. Вместе с тем как автор «малороссийских приказок» (Гребінка, 1836), то есть басен и романтических од, он известен в литературе украинской, его лирика изучается в современной украинской школе. Правда, как баснописец, он всё же не дошел до уровня Леонида Глибова, еще одного выпускника Нежинского лицея высших наук. А стихотворение «Човен» («Чёлн»), которое и читают нынешние школьники, типологически подобно лермонтовскому «Парусу». О плагиате тут речи быть не может, потому что восемнадцатилетний Михаил Лермонтов написал свое стихотворение в частном письме, и вряд ли оно стало известным даже в литературных кругах, к которым Лермонтов еще не принадлежал. Действительно мировую славу Евгений Гребинка приобрел одним стихотворением, посвященным провинциальной девице. Барышня происходила из семьи штабс-капитана в отставке, помещика Растенберга, где на местные говоры не очень обращали внимание, так что поэт был вынужден писать свое страстное послание на языке русском. Стихотворение было воспринято положительно, девица согласилась выйти замуж за перспективного чиновника – и они прожили вместе счастливых четыре года. Составители львовского издания 1908

года (Гребінка, 1908) не могли не знать о бешеном успехе «цыганского романса» «Очи черные». Композитор Флориан Герман, немец, и аранжировщик Софус Гердаль, датчанин, создали из незамысловатого лирического страдания творение, которое ураганом прошло по миру.

Известным романсом – и тоже на русском языке – стало еще одно стихотворение Гребинки: очевидная стилизация в жанре фольклорной баллады «Помню, я еще молодушкой была». Так или иначе, но петербургский преподаватель Евгений Гребинка, плодотворно ретранслируя в прозаических произведениях окружающий его русский быт, стремился распространить собственный автохтонный украинский культурный «багаж» в произведениях поэтических, в жанре басни и романтической элегии. Успех, выпавший на долю двух его русских стихотворений, все-таки совершенно случаен и принадлежит прежде всего творцам музыки. То есть, в русском языковом контексте писателю не удалось найти свое авторское «я».

Евгений Гребинка после окончания Нежинского лицея поступил на военную службу, в резервный эскадрон 8-го Малороссийского казацкого полка, который в 1831 году был сформирован для подавления так называемого Ноябрьского восстания польского народа против Российской империи. И обер-офицер Гребинка вполне реально мог бы на поле брани встретиться с другим поэтом, выпускником Кременецкого лицея Томашем (Тимком) Падурой. Не встретился, потому что полк так и не вышел из Пирятина; восстание подавили без участия Гребинки, который вскоре вышел в отставку. А Томаш Падура, этнический поляк, с детства живший на «кресах», восточном пограничье Польши, с младых лет говорил еще и по-украински. В Кременце, куда он приехал учиться, Падура увлекся трагической историей запорожского казачества – и принял решение бороться за свободу Польши вместе со свободой для Украины. И начал делать это как мог: писать польскими буквами украинские исторические «думы» и баллады о героях-казаках, аккомпанируя себе на старинном музыкальном инструменте – торбане. Существует несколько изданий произведений Падуры, написанных как на польском, так и на украинском языках; в наше время изданы практически все произведения поэта (Падура, 2012). Изучена чуть не по дням и его головоломная биография (Радовський, 2012). Но в истории польской литературы такого автора не знают, потому что он писал хоть и польскими буквами, но не по-польски. И не о Польше. В истории украинской литературы тоже нет такого поэта. В свою очередь, есть довольно унизительная оценка его творчества Тарасом Григорьевичем Шевченко. В отличие от стихов Шевченко, собственного лирического опыта переживания контрастов истории и современности в «думах» Падуры нет. Он неплохо версифицировал рассказы о событиях казацкой древности, становясь своеобразным «странствующим лирником-кобзарем», иногда прямо призывая своих слушателей к бою.

Современная российская исследовательница в диссертации о писателях-билингвах утверждает, что «писатели бывших республик СССР, бывших колоний великих империй становились известными благодаря, как правило, метрополии. Чукотский писатель Ю. Рытхэу, киргиз Ч. Айтматов писали, как известно, на русском языке; назвать же русского писателя, который создает свои тексты на чукотском или же киргизском языке, было бы весьма проблематично; в принципе, это относится к любому другому языку малого народа» (Балеевских, 2002). (Киргизы, образовавшие в составе СССР целую республику, под шаловливым пером исследовательницы названы малым народом...) Действительно, писатель коренной «региональной» национальности только через русский перевод мог стать «полноценным» автором (членом Союза, лауреатом, потенциальным получателем писательских благ в виде тиражей и т.п.), не говоря уже об общесоюзной известности. И тем не менее Леонид Владимирович Киселев (1946–1968), совсем молодой, но уже достаточно известный русскоязычный киевский поэт, незадолго до смерти написал:

Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что всё на свете – только песня
На украинском языке –

– и перешел на украинский, создав тем самым прецедент, который уже требовал анализа (Мазепа, 2006). Также посмертно стал известен русско-украинский поэт Сергей Черняев (Мазепа, 2010). Александр Смык, известный украинский бард, начав со стилизации русского блатняка и шансона, наследуя тем самым в историко-культурном аспекте Владимиру Высоцкому и Александру Розенбауму, разочаровался в эстетической целесообразности этого жанра в конце 1990-х – начале 2000-х и обратился к украинской лирике. Сергей Лазо, автор многих книг лирики на русском языке, прославился в Украине как автор музыки и слов украинских песен. Соответственно, и литературная критика этих двух этапов творчества писателя была направлена сначала на русский, потом на украинский векторы (Глотов, 1997, 2021).

Украинский поэт, но этнический поляк и польский филолог по образованию, Юрий Завадский уже более двадцати лет существует в украинской литературе, известен как эксцентричный автор и успешный культуртрегер на польско-украинском пограничье. Много переводил с польского, является членом международного жюри польского конкурса имени Вислявы Шимборской; Польша наградила его медалью Gloria Artis «За заслуги в культуре». Литератор настолько увлекся стихией польского стихосложения, что издал в Польше сборник написанных на польском языке произведений «Już nie boli» («Уже не

болит»). Станет ли Юрий Завадский польским поэтом – скажут, вероятно, польские критика и читатель. Но факт двуязычия очевиден.

Революция Достоинства 2014 года в Украине породила новую страну, в которой зазвучали голоса новых поэтов. Среди них была совсем молодая выпускница Киевского политехнического Анастасия Дмитрук. На всю страну на фоне пылающих баррикад прозвучало ее стихотворение «Никогда мы не будем братьями»:

Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
нам не стать с вами даже сводными.

Литовские рок-музыканты вместе с хором музыкального театра Клайпеды спели стихотворение, оно вышло за пределы Украины, став на тот момент символом борьбы украинского народа против агрессии. Дмитрук, написав еще несколько произведений по-русски, в том числе – достаточно контроверсное стихотворение «Маски сорваны, верить некому», в котором с болью обвиняет власть в измене романтичным максималистским идеалам Майдана. Издав первую, русскоязычную, книгу «Верните нам наше небо», поэтесса перешла на язык украинский. Ее сборник 2017 года назывался «Це моя і твоя війна» («Это моя и твоя война»), хотя до большой войны оставалось еще пять лет.

Если вернуться к поэту Сергею Лазо, то стоит признать, что известность ему принесли именно песни; он – автор не только слов, но и музыки. Какой из этих компонентов играет решающую роль в популяризации его творчества – сказать не решусь.

Сергей Лазо нашел себя прежде всего в поэзии песенной. Этот особый формат стихосложения далеко не каждому дается. Раньше это явление называлось «авторской песней»: Высоцкий, Галич, Окуджава, Визбор, Ким, Дольский... И в этом контексте Сергей Лазо для украинской культуры действительно уникальный случай. Ибо рядом поставить некого. Лазо, попробовав перевести на украинский несколько своих русских стихотворений, очевидно, решил жить в поэзии украинской.

6.

Писатель, отважившийся на переход в другой язык или на параллельное существование в его творчестве двух систем языка, рискует качеством одного из них. Неродная языковая структура может получить статус подчиненности. Однако Нобелевский лауреат Иосиф Бродский высказал парадоксальное, на первый взгляд, но верное суждение: «Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего суще-

ствования» (Бродский, 2003, С. 13). Творческий опыт современных поэтов свидетельствует о эстетической правоте этого высказывания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балеевских, К.В. (2002) *Язык как экспликация культурного опыта писателя-билингва А.Макина:* дис. ... канд. филол. наук. Ярославль.
2. Бродский, И. (2003) *Лица необщим выраженьем. Нобелевская лекция*. Аугсбург: Im Werden.
3. Глотов, О. (1997) «Я хочу рассказать вам…» *Зеркало недели*, 30.05.1997 https://zn.ua/ART/ya_hochu_rasskazat_vam.html
4. Глотов, О. (2021) «Професія – поет». *Українська літературна газета*, 4 (296), 26.02.2021 https://litgazeta.com.ua/reviews/oleksandr-hlotov-profesiia-poet/
5. Гребінка, Є.П. (1836) *Малороссійскія приказки Е.Гребенки*. Санкт-Петербург: В типографии Н.Греча. 1836.
6. Гребінка, Є.П. (1908) *Твори Евгенія Гребінки*. В: *Руска письменність. Твори Івана Котляревского, Петра Артемовского-Гулака, Євгенія Гребінки.* Львів: Виданє Товариство «Просвіта». 1908. С.445-526.
7. Гром'як, Р.Т. (2007) Проза. В: Гром'як, Р.Т., Ковалів, Ю.І., Теремко, В.І. Літературознавчий словник-довідник. Київ: ВЦ «Академія», с. 561-562.
8. Дмитрук, А.М. (2017) *Це моя і твоя війна*. Київ: Коло. 2017.
9. Завадський, Ю.Р. (2023) *Już nie boli.* Kraków: Wydawnictwo Ha!art. 2023.
10. Звонська, Л.Л., Корольова, Н.В., Лазер-Паньків, О.В. (2017) *Суперстрат*.
11. В: Звонська, Л.Л. (ред.) Енциклопедичний словник класичних мов. *(с.497).* Київ: ВПЦ «Київський університет».
12. Там же.
13. Кисельов, Л.В. *Над київськими зошитами / Над киевскими тетрадями*. Київ: Ярославів Вал, 2013; *. ...все на свете- только песня на украинском языке.* Київ: Факт, 2006; *Тільки двічі живемо.* Київ: Дніпро, 1991*; Последняя песня: стихи / Остання пісня: вірші.* Київ: Молодь, 1979; *Стихи. Вірші*. Київ: Молодь. 1970.
14. Ковалів, Ю.*І*. (2007) *Субстрат*. В: Ковалів, Ю.І. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Т.2. С. 443. Київ: ВЦ «Академія».
15. Костенко, Г.М. (2011) *Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс : монографія*. Запоріжжя: ЗНТУ.
16. Крутикова, Н.Е. (1954) *Литературные связи русского и украинского народов: Материалы в помощь учителю*. М.:Учпедгиз.
17. Курков, А.Ю. (2007) [Kurkov, Andrei]. [Ukraine: Borderland. Ukraine's ethnic kitchen]. *// Index on Censorship.* Volume 30, 2001, Issue 4: The Silence Of Madness. 23 Oct 2007. 223 p.: P. 150-158.
18. Лазо, С.В. – русск. *Динамит.* Тернопіль: МП «Діалог», 1992; *Провинция.* Тернопіль: «Лілея», 1993; *Прямо в сердце.* Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1997; *Дождь под деревьями.* Житомир: «Арт-Принт» 1998; *Разлуки, встречи, расстоянья*. Кривий Ріг: СКВ «Сова», 2000; *До и после.* Київ: «АртЕк», 2002; *Ты Та.* Київ: «Просвіта», 2007; *Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром*. Київ: «Альтерпрес», 2010; *Баловство небес*. Избранное. Санкт-Петербург: Алетейя, 2013.
19. Лазо, С.В. – укр. *Ти подобаєшся мені*. Тернопіль: «Лілея», 2003; *Ми так любили…* Житомир: «Полісся», 2003; *Магія кружіння*. К.: «АртЕк», 2004; *Майстри часу та ще чогось…* Тернопіль: Підручники і посібники, 2011; *Коли батьків немає вдома. Пісенник для дітей*. Тернопіль-Харків: «Ранок», 2011;

Чарівна гілка, або Дід Мороз та інопланетяни: новорічна п'єса. Тернопіль-Харків: «Ранок», 2011; *Майстри часу та ще чогось*… Тернопіль: Підручники і посібники, видання друге, доповнене, 2012*; Царства*. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012; *Ми так любили The Beatles.* Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2012; *Інший простір*. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015*; І я люблю…* Тернопіль: Підручники і посібники, 2020.
20. Мазепа, Н. (2010) «Білінгвізм. епізод чи тенденція?» (сучасна українська російськомовна поезія). *Слово і Час*. 2, 2010.
21. Мазепа, Н.Р. (2006) «Леонид Киселев – поэт, опередивший свое время». *Радуга*. 2006. № 8.
22. Набоков, В. (1970) *Poems and Problems = Стихи и задачи*. New York: McGraw-Hill.
23. Окара, А. (2008) «Запах мертвого слова. Русскоязычная литература на Украине». Українська правда. 25 лютого 2008. https://blogs.pravda.com.ua/authors/okara/47c2adf2d8235/
24. Падура, Т. (2012) *Вибрані твори*. Київ, 2012.
25. Радовський, В.С. (2012) *Тимко Падура: спроба роздеградування і реабілітації*. Львів: Центр Європи. 2012.
26. Семчинський, С.В. (1988) *Загальне мовознавство*. – Київ:«Вища школа».
Смик, О. *До тієї, гідної любові: інтимна лірика, український шансон*. – Рівне: Волинські обереги, 2003; *Коли розступається небо: поезія*. Тернопіль: Меркьюрі, 2007; *Параноєвий ковчіг: пісенні тексти.* Тернопіль: Меркьюрі-Тернопіль, 2007; *В любові переможених немає: поезія.* Тернопіль: Джура, 2010; *Україна в мені*. Тернопіль: Джура, 2010; *До неба і вище: поезія*. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012; *Якою мовою говорять у раю. Тернопіль* : Терно-граф, 2014; *Карамельки світу: дорожній путівник поза часом*. Тернопіль: Терно-граф, 2015; *Для Бога все вчасно : вистояне*. Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2017; *Неоголошена війна: гротеск, пісенна історія Новітньої України*. Тернопіль: Підручники і посібники, 2019.
27. Черняев, С. *Терези тиші*. Харків: Майдан, 1996; *Янгол з безодні*. - Харків: Майдан, 2004; *Вибране*. К.: Факт, 2005; *Зелёное солнце: стихи*. Харьков: Эксклюзив, 2009; *Корни радуги: стихи*. Харьков: Эксклюзив, 2017.

КНИГА И СУДЬБА

Людмила Оболенская-Флам

Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении*

ГЛАВА V

К тому времени, когда Николай и Вики Оболенские вернулись в Париж, город был уже полностью под немецким контролем. Повсюду развевались гигантские флаги с нацистской свастикой, по парижским бульварам разъезжали мотоциклисты в касках, похожих на перевернутые горшки, магазины – те, что не были заперты и не находились за предохранительной решеткой, – постепенно пустели.

Условия перемирия, на которое пошло правительство Петена, были как нельзя более выгодными для Германии и унизительными для Франции. Гитлер не только получил обратно земли, отошедшие к Франции в результате победы союзников над Германией в Первую мировую войну, но еще обложил Францию непомерными репарациями – финансовыми, индустриальными и продовольственными. А главное, страна теперь оказалась поделенной на две зоны: промышленно-развитая и бóльшая по площади северная часть Франции отошла под германскую оккупацию; южная, уступавшая северной по размеру и промышленной развитости, так называемая «Свободная зона», оставалась формально под контролем французского правительства Петена, со столицей в Виши.

На первых порах большинство населения готово было смириться с свершившимся – но далеко не все; на них, несомненно, повлияло обращение генерала де Голля, прозвучавшее 17 июня 1940 года в прямом эфире по Би-Би-Си, в котором он призвал каждого француза, где бы тот ни находился, присоединиться к его действиям: «Наша страна в смертельной опасности. Будем же все бороться, чтобы спасти ее». Значит, появилась надежда на продолжение борьбы.

Французские военные, оказавшиеся на юге и сложившие там по приказу свое оружие, были демобилизованы и отпущены. Вернулся в Париж шеф Вики Жак Артюис, побывавший перед тем в Виши, где бесхребетная готовность маршала Петена идти на все уступки Гитлеру вызывала у него глубокое возмущение. «Если Маршал не во-

---

* Продолжение. Начало см.: № 316, 2024.

зобновит военных действий, – писал он оттуда другу, – у французов не будет иного выхода, как вооруженное восстание»[1].

В Париж Артюис вернулся убежденным в необходимости что-то предпринять. Но что и как? Никакой централизованной организации, к которой можно было бы примкнуть, тогда не существовало; приходилось действовать в одиночку или небольшими группами. Одна из первых таких групп возникла при этнографическом Музее Человека. Инициаторами ее были двое русских научных работников музея – Анатолий Левицкий и Борис Вильде, начинающий поэт, который подписывал свои стихи в русских публикациях псевдонимом Дикой. Это они стали выпускать подпольную газету, которая дала название всему движению Сопротивления, – Resistance.

Группа Артюиса, в которую вошла Вики, была одной из самых ранних. Тут уместно отметить, что в русскоязычной прессе нередко встречается толкование, будто Вики и другие русские, которые изначально стали на путь сопротивления нацизму, совершили это из патриотических побуждений, ради спасения своей родины. Но до вторжения Гитлера в СССР оставался почти год; значит, движимы они были лояльностью по отношению к приютившей их Франции, и лишь впоследствии их борьба за освобождение Франции совпала с борьбой и за свое отечество.

Попутно можно отметить и другое укоренившееся представление, а именно, что инспирировано Сопротивление было коммунистами. Однако и это не соответствует действительности: французская компартия была в то время связана Пактом Молотова-Риббентропа, согласно которому СССР и гитлеровская Германия обязались не нападать друг на друга. Лишь отдельные члены ФКП, пренебрегая партийной дисциплиной, решались на подрывную деятельность против оккупантов.

Посмотрим же, каких убеждений придерживался Жак Артюис, создатель одной из самых ранних организаций Сопротивления. Этот успешный предприниматель с начала 30-х годов прошлого века состоял активным участником крайне правой политической группировки во Франции, Croix de Feu («Пламенный Крест»). Артюис считал, что наиболее активные и инициативные французы представлены в промышленных кругах страны и что именно им надлежит играть руководящую роль в управлении государством. Политическая платформа его организации не была чужда некоторых элементов фашисткой модели государственного устройства. Артюис также помышлял о создании своеобразных Соединенных Штатов Европы, не исключая участия в них и Германии, хотя воевал против нее в Первую мировую войну. С приходом к власти Гитлера в 1933 году, его отношение к Германии резко изменилось. Историк Артур Кальметт констатирует: «Артюис одним из первых заявил о неприятии нацизма; возмущенный бесчеловечной доктриной расовой теории, он с самого начала

предвидел ужасы, к которым может привести гитлеровский режим»[2]. Следовательно, решимость Артюиса продолжать борьбу была вызвана не только желанием освободить свою страну от оккупации, но и соображениями идеологического характера.

Приступив к делу, Артюис посвятил в свои планы Вики. К тому времени она уже десять лет работала у него; он полностью ей доверял, и у них сложились не просто деловые, но и дружеские отношения. Поэтому, когда Артюис спросил, готова ли Вики ему помогать, ее незамедлительное согласие было делом предрешенным. Со своей стороны, знавший Вики ветеран вооруженных сил Свободной Франции Н.В. Вырубов так написал мне о данном Вики согласии: «Пылкий характер ее, гордость и чувство личного достоинства не позволили ей отказаться от опасного предложения Артюиса». Демобилизованный приятель Оболенских, Кирилл Макинский, как и Артюис, тоже нелегально пробрался из «Свободной зоны» в Париж. Там он сразу же направился к друзьям, где Вики рассказала ему о своем участии в подпольной группе Артюиса. «Ее решение, – писал он впоследствии, – было принято без колебаний, без сомнений. Предостерегать ее об опасности было бы бесполезно»[3]. Впрочем, и сам Макинский тут же согласился примкнуть к группе Артюиса, как это ранее сделал Николай Оболенский. Теперь дружба Вики, Николая и Кирилла была спаяна еще и общим делом.

Было бы неверно говорить, что Артюис начинал свою подпольную работу на абсолютно ровном месте. Заглянем на улицу Logelbach, № 5. Там, еще до начала войны, находился центр организации «Движение средних классов». Ее возглавлял ветеран Первой мировой войны Пьер Лефоришон. Будучи инвалидом, он не подлежал призыву и мог заниматься своей прежней работой – оказанием социальных услуг просителям, обращавшимся туда в поисках работы, за всевозможными справками, за продовольствием... А под прикрытием официальной деятельности здесь можно было, не привлекая внимания оккупантов, проводить совещания, укрывать беглых пленных, печатать нелегальную литературу, изготовлять фальшивые документы. Руководить этой подпольной деятельностью был приглашен Жак Артюис.

Объединившись с Лефоришоном и его группой, Артюис создает костяк будущей организации. Штабом он сделал свою квартиру на улице Виктора Гюго, № 72, куда доступ имели немногие. Там, как свидетельствует историк А. Кальметт, «ему во всем помогает Вера Оболенская, для друзей – *Вики*, умная и дельная женщина, про которую коллега в Сопротивлении сказал, что она – русская княгиня, но совсем простая в обращении»[4].

Вики не только сама целиком погрузилась в работу, она привлекла и других; в первую очередь, своего мужа. Николай, будучи одиннадцатью годами старше Вики, хорошо помнил Первую мировую

войну, когда Россия воевала на стороне западных союзников, покуда Ленин не предал их, подписав сепаратный мир с Германией. Теперь вхождение в группу Артюиса было для Николая выражением солидарности с Францией. Помимо мужа и Макинского, Вики также привлекла к работе ближайшую русскую подругу Софью Владимировну Носович. Близкие звали ее Софкой; под этим именем она и вошла в Сопротивление. С Вики они подружились в доме мод «Миеб», когда обе работали манекенщицами. Софка была старше Вики лет на шесть. Дочь сенатора, она в Гражданскую войну пошла сестрой милосердия в армию генерала Врангеля. Она отличалась бесстрашием, подбирая раненых с передовых позиций в самый разгар боя. На фронте Софка заразилась тифом, от чего сильно пострадал слух. Попав эмигранткой во Францию, она заболела туберкулезом. Лечиться отправилась в Швейцарию, где тогда лечили по принципу «встречного огня» – введением в организм туберкулина. Метод этот не имел ни малейшего терапевтического действия. Тем не менее, Софка поправилась, но по возвращении в Париж, заболела раком, ей отняли грудь. Несмотря на все болезни и неудачный кратковременный брак, Софка обладала жизнерадостным характером и привлекательной внешностью. Ее племянница, Софья Дурново, которая очень любила свою тетю, рассказывала что у Софки было множество поклонников и брачных предложений, которые та отвергала. Много лет спустя я и сама познакомилась с Софьей Владимировной Носович. Ей были присущи четкие политические взгляды, крепкий нравственный стержень и бескомпромиссность. Не удивительно, что Вики ей доверилась, и так же не удивительно, что Софка, недолго размышляя, вошла в Сопротивление, став ближайшей Викиной помощницей.

Ячейку Артюиса нельзя назвать типичной, в том смысле, какими рисуются в популярном представлении антифашистские подпольные группы. Ее участники ставили своей целью не только изгнание со своей земли врага, но и разработку будущего гражданского устройства Франции после ее освобождения. Эта двоякая миссия и определила название молодой организации, с которой она вошла в историю, – «Организация Гражданская и Военная», сокращенно по-французски – OCM (Organisation Civile et Militaire). Теоретическими вопросами в OCM занималась группа, сплотившаяся вокруг французского мыслителя Максима Блок-Маскара, в прошлом вице-председателя «Конфедерации интеллектуальных работников». С этой группой Артюис объединился зимой 1940 года. Материалы, выходившие из-под их пера, печатались в подпольном журнале *Cailles* («Тетради»), выпускать которые помогала Вики. Всего за время оккупации вышло четыре номера, содержавшие каждый от двухсот до трехсот страниц. Многое из того, что было разработано, стало позже частью послевоенного законодательства Франции, включая основные положения новой Конституции. Впоследствии Блок-Маскар оценит роль Вики в

этом деле следующими словами: «Пожалуй, более, нежели кто-либо другой, я обязан ей за всю ту помощь, которую она мне оказала. Франция приняла Вики в девятилетнем возрасте, после того, как она проделала долгий и опасный путь сюда; в девять лет она уже испытала на себе режим террора, жертвой которого стала ее страна. Франция помогла ей окрепнуть духовно и физически, приобщиться к ее культуре и стать тем твердым энергичным человеком, каким мы ее знали. За это она заплатила своей кровью».[5]

Помимо участия в работе М. Блок-Маскара, к Вики сходились все нити, касавшиеся военных дел ОСМ. Целью этого направления было создание подпольной армии, которой предстояло принять участие во всеобщем восстании, а также приобретение оружия. Руководил этим непосредственно Жак Артюис. Другим аспектом военной деятельности была разведка, вербовка надежной агентуры по сбору информации, касающейся германских стратегических планов и объектов. Вики и к этому имела непосредственное отношение, отслеживая все контакты и удерживая в голове их конспиративные клички. Знавшие Вики поражались ее феноменальной памяти, замечая, что она никогда ничего не записывала.

Наибольшую трудность для ОСМ в начальный период ее существования представляло установление надежной связи с Лондоном для передачи добытых сведений. Ответственность за это взял на себя входивший в ядро группы Артюиса полковник Альфред Туни. Он, как и Артюис, также побывал в Виши и даже предложил там свои услуги, но и он разочаровался в Петене, которого ранее боготворил. В прошлом опытный военный разведчик, Туни не поверил тем, кто говорил в Виши о двойной игре с немцами: «Они понятия не имеют, что такое двойная игра: в ней легко запутаться и проиграть», – вывод, к которому пришел Туни.[6]

Некоторые сведения удавалось передавать через американского посла в Виши, покуда тот не был отозван после вступления США в войну. Другой путь пролегал через нейтральную Швейцарию, кишевшую всевозможной иностранной агентурой. Был еще один путь передачи информации – через Испанию, с людьми легально или нелегально туда направлявшимися. Вошедший в группу Артюиса Андрэ Постель-Виней одним из первых наладил поэтапную передачу «из рук в руки» союзных летчиков, сбитых над Францией. Впрочем, этим же занимался и Вильде в группе Музея Человека. Нить ОСМ вела к Марселю, откуда канадский агент со странной кличкой «Дорогая» переправлял их в Англию, а с ними и секретные донесения ОСМ; уходило на это не менее двух недель. Наконец, можно было прибегать к услугам обычных рыбаков. Однако передача информации через них зависела от погоды и от их возможности повстречаться в открытом море с британским судном. Пройдет еще какое-то время, прежде чем связь с Лондоном станет налаженной и эффективной. Но

прежде чем это произойдет, Кирилл Макинский окажется обладателем действительно горящей информации.

Вот что этому предшествовало: до войны князь Кирилл Макинский работал в Париже преподавателем английского языка в католическом учебном заведении, которое во время оккупации было закрыто. В сентябре 1940 года, вскоре после того, как Макинский примкнул к группе Артюиса, он случайно встретил своего бывшего ученика, которому принадлежало в Париже кабаре «Монте-Кристо». Сейчас оно бездействовало, однако уже было получено разрешение от властей на его открытие – с тем, чтобы оно обслуживало высшие немецкие чины и их коллаборационистов. Предполагалось, что несмотря на введенный полицейский час, Монте-Кристо будет работать всю ночь.

Узнав, что Макинский лишился заработка, владелец кабаре тут же предложил ему место управляющего. Макинский стал отшучиваться, что ему, дескать, не раз случалось выпивать бутылку шампанского, но откупоривать ее ему пока не приходилось... Будущего работодателя это не смутило (важнее оказалось, что у Макинского был смокинг!). Узнав об этом предложении, полковник Туни немедленно велел Макинскому его принять; внедрить своего человека в такое злачное заведение представлялось для ОСМ большой удачей.

Не прошло и года, как все ранее подслушанные там сведения померкли по сравнению с поистине сенсационным известием. Вот как Макинский сам рассказал об этом писателю Жиль Перро, автору книги «Большая погоня»: «Было шесть часов утра. Перед пьяным офицером из штаба генерала Штульпнагеля, главнокомандующего вермахта во Франции, стояла батарея пустых бутылок. На коленях у него сидела девица. – ‘И всему этому через восемь дней – конец; мы отправляемся в Россию!’ – жаловался он».[7] Так Макинский узнал о предстоящем наступлении германских сил за неделю до их вторжения в СССР. Он поспешил уведомить об этом Туни в надежде, что информация успеет дойти до Лондона и Москвы. Произошло это или нет, мне неизвестно. Но даже если такая депеша и дошла, Сталин всё равно не поверил бы ей – как не поверил он предупреждению, полученному из Японии от резидента, разведчика Рихарда Зорге. Оборонительная война не входила в расчеты Сталина, он собирался сам развязать ее, когда Германия ослабеет в войне на Западном фронте.

Первый этап вторжения в СССР стал продолжением ранее начатой Гитлером кампании «Блицкриг», «молниеносной войны»; его армия быстро продвигалась вперед, почти не встречая сопротивления. В течение нескольких дней она завладела недавно присоединенными Сталиным странами Балтии – Литвой, Латвией, Эстонией – и восточной частью Польши... Красная армия отступала. В некоторых местах немцев встречали с цветами как избавителей от сталинского режима. Плохо вооруженные советские военнослужащие массово

сдавались в плен. Согласно немецким данным, только в 1941 году в плен было взято 3,7 миллиона человек[8]. Вскоре, однако, нацистский режим показал свое настоящее лицо: систематическое истребление евреев, публичные повешения, сжигание белорусских деревень как метод борьбы с партизанами, изъятие продовольствия и многое другое. Всё это подействовало на людей отрезвляюще; началась другая фаза войны – героическое сражение за Отечество.

Для Вики, как и для других русских, вошедших в ряды Сопротивления, 22 июня 1941 года ознаменовало начало их борьбы и за свою родину, пусть даже находившуюся во власти большевиков.

ГЛАВА VI

Весна и лето 1941 года было временем роста ОСМ. Артюис понял, что ему за всем не угнаться, ему необходим был помощник для набора военных кадров – надежный, молодой, энергичный. У Викиной прятельницы Жаклин Рише-Сушер имелся как раз подходящий кандидат – Роланд Фаржон, женатый на ее кузине. Историю Фаржона и его роль в жизни Вики можно проследить по уже упомянутой книге историка Жиля Перро «Долгая погоня»; я получила от ныне покойного автора разрешение свободно пользоваться ею в моих публикациях.

Что известно из книги о Роданде Фаржон на момент его вступления в ОСМ? Было ему тридцать лет. Он только что освободился из германского плена; несмотря на испытания, находился в прекрасной физической форме. Высокий брюнет, с симпатичным лицом и хорошими манерами, Роланд производил приятное впечатление. Отец его, состоятельный фабрикант, в прошлом сенатор, был человеком старорежимным – и страстным французским патриотом. Сын его мечтал о военной карьере, но по настоянию отца бросил армию и стал директором одной из отцовских фабрик, занимавшейся производством косметики. Как только началась война, Роланд надел сшитую на заказ лейтенантскую форму драгуна и отправился в свою часть «проучить этих бошев», как презрительно стали во Франции называть немцев еще в Первую мировую войну. Вначале на его участке фронта ничего не происходило, но, когда в мае 1940 года Гитлер начал наступление, Фаржон вместе со своим подразделением попал в плен, они были доставлены в Германию, в лагерь для военнопленных.

Лагеря для пленных из европейских армий были не чета тем, куда год спустя стали попадать советские военные, так как находились под надзором Международного Красного Креста. Условия содержания французских офицеров, куда попал Фаржон, оказались и подавно приличными; заключенные там не голодали, избиениям не подвергались и пользовались внутри лагеря значительной долей свободы. Пленные могли общаться друг с другом, организовывать свои занятия и клубы, поддерживать связь с близкими извне, – зато они

подвергались массированной идеологической обработке, получая большие дозы нацистской пропаганды и одностороннюю информацию. Политика маршала Петена подавалась им как выигрышная для Франции, а условия перемирия для Франции – не слишком обременительными. Благодаря влиятельным связям семьи Фаржон, Роланд одним из первых получил возможность вернуться домой. Отец открыл ему глаза на истинное положение дел в стране и помог разобраться в сложившейся ситуации. Поэтому, когда Роланд узнал от родственницы жены о существовании подпольной организации, он сразу загорелся желанием примкнуть к борьбе против оккупантов. Жаклин устроила ему встречу с Жаком Артюисом, на которого Роланд произвел хорошее впечатление. Вечером того же дня на семейном ужине Роланд объявил о своем решении вступить в ряды Сопротивления, что было встречено всеобщим одобрением.

Войдя в ОСМ, Фаржон сразу стал доверенным членом ее руководства и вхож в дом Артюиса. Руководители организации собирались там раз в неделю, якобы продолжая традицию четверговых партий игры в бридж; их мадам Аротюис устраивала у себя еще до войны, при непременном участии Вики. Теперь, не вызывая подозрений любопытной консьержки, Вики и строго ограниченная группа членов ОСМ приходили сюда с иной целью.

Главной задачей Фаржона стала вербовка кадров подпольной армии. Он приступил к этому с присущим ему энтузиазмом. Но не все в узком кругу верхушки ОСМ были им очарованы; у некоторых энтузиазм Роланда вызывал опасения, уж очень он бравировал своими антинемецкими настроениями; даже шофер Роланда умолял своего хозяина не критиковать бошей публично, чтобы не наделать себе и другим неприятностей. Зато Роланд был предан делу, энергичен, а к тому же, как директор фабрики, имел разрешение пользоваться своим автомобилем, получал доступ к бензину и мог беспрепятственно передвигаться по стране, даже пересекать границу между Северной оккупированной зоной и «Свободной» зоной юга. С появлением Роланда Фаржона численность ОСМ стала быстро расти; к ней примыкали люди в индивидуальном порядке и целыми группами, армейские силы пополнялись за счет уже испытанных войной кадров, а также готовых воевать штатских лиц.

Казалось, к лету 1941 года всё в ОСМ шло как нельзя лучше. Видимо, гестапо не сразу обратило внимание на возникновение этой организации, но обнаружив ее, стало наносить один удар за другим, чуть было ее не погубившим.

Первым ударом явилась конфискация добытого ОСМ оружия и арест зубного врача, на участке которого оно хранилось. Затем последовал арест члена ОСМ Жана Майера, связного с промышленными кругами. Он был депортирован в Германию и скончался в пути. Был также схвачен один из близких сотрудников Блок-Маскара. В августе

последовал арест ближайшего соратника Артюиса и одного из основателей ОСМ архитектора Рише-Сушер, мужа Жаклин. Почувствовав надвигающуюся опасность, Артюис велел Вики скрыться и, передав дела Фаржону, сам уехал из Парижа.

Под предлогом необходимости дать матери и тетке возможность отдохнуть на свежем воздухе, Вики сняла комнаты в деревушке Рюель-ля-Гадельер вблизи города Вернёй в Нормандии. Пригласила она туда и свою подругу Машу Муравьеву. Впоследствии Маша поняла, что Вики и там продолжала подпольную работу, занимаясь военной разведкой. Сегодня в центре этой деревушки можно увидеть мемориальную доску с именем Вики – Веры Оболенской.

К осени, видимо, всё успокоилось; Вика вернулась в Париж. Но в ноябре был вторично арестован ранее выпущенный на свободу один из руководящих членов ОСМ. Тем не менее, 18 декабря Артюис тоже возвращается в Париж; руководить работой издалека ему не представлялось более возможным, слишком много важных событий произошло в мире – теперь против Германии воюет СССР и, после нападения японцев на Пёрл-Харбор, в войну вступили Соединенные Штаты Америки.

19 декабря Артюис принимает участие в совещании с полковником Туни, Блок-Маскаром и еще одним лицом по кличке Ма-Пом, вероятно, посланцем из Лондона. Примечательно, что встреча происходила у всех на виду – в кафе на Елисейских Полях! К концу совещания было решено, что ни Артюис, ни Блок-Маскар к себе домой не пойдут; их квартиры наверняка находятся под наблюдением гестапо – Блок-Маскар однажды чуть было не попал в засаду, его спасла расторопность консьержки: когда пришли арестовывать Блок-Маскара, она повела полицейских в пустовавшую квартиру, сказав, что эта квартира – его, а потом сумела предупредить своего жильца, чтобы тот к себе не возвращался.

Жак Артюис остановился у своего друга Пьера Лефоришон. На утро 21-го декабря 1941 г. туда явилась французская полиция с ордером на обыск. Мадам Лефоришон стала греметь кастрюлями, стараясь наделать как можно больше шума, но Артюис не проснулся; его забрали прямо из постели. Пьер Лефоришон был тоже задержан, но ему удалось убедить допрашивавшего следователя, что ему о деятельности Артюиса решительно ничего не известно; Пьера отпустили. Иная доля была уготована основателю ОСМ – тюрьма и депортация в Германию. В 1943 году Жак Артюис скончался в концентрационном лагере «Гинцерт». Вики и Ивонн Артюис, жена Жака, занялись его бумагами, стараясь восстановить как можно больше из налаженных им контактов.

К моменту ареста главы ОСМ вся группа членов Сопротивления из этнографического Музея Человека уже находилась в заключении. Еще в марте 1941 года, вскоре после выхода четвертого номера газе-

ты «Резистанс», за ее распространение был арестован адвокат Леон Нордман. По настоянию друзей глава группы Борис Вильде покинул Париж и пробрался в Марсель. Узнав, что арестован другой основатель газеты, его друг Анатолий Левицкий, а с ним и несколько коллег, Вильде вернулся в Париж с тем, чтобы принять на себя всю вину и добиться освобождения товарищей. Старания Вильде оказались безуспешными, а 5 марта Вильде был и сам арестован. Следствие длилось 10 месяцев, которые Вильде и Левицкий провели в тюрьма Фрэн под Парижем. Из 18 человек, судимых по делу Музея Человека, Вильде, Левицкий и еще пятеро были приговорены военным трибуналом к смертной казни; остальные заключены в концлагеря. 23 февраля 1942 года смертные приговоры были приведены в исполнение у стены парижского форта Монт-Валериан. В день расстрела Анатолий Левицкий написал родным: «Я не ожидал столь быстрой развязки, но, быть может, лучше, что это так. Я готов уже давно и совершенно спокоен»[9].

После того, как был расторгнут Пакт Молотова-Риббентропа, в активную борьбу включилась и французская компартия, объединив свои силы в Национальный фронт борьбы за независимость Франции. Первоначально в ОСМ были предприняты попытки установить сотрудничество с ним, но после нескольких встреч руководство ОСМ отказалось от этой идеи; помимо идеологических расхождений с коммунистами, были и существенные тактические: деятельность Национального Фронта была нацелена на террористические и подрывные акты, тогда как ОСМ готовилась ко всеобщему восстанию по команде де Голля и не видела смысла в том, чтобы провоцировать оккупационные власти на массовые акты расправы (к примеру, за убийство одного немецкого солдата полагалось расстрелять от 20 до 80 французов). Тем не менее, как мы увидим далее, бывали отдельные случаи, когда Фронт и ОСМ действовали совместно, о чем свидетельствовал один из русских добровольцев ОСМ, находившийся в подчинении Вики.

ГЛАВА VII

Несмотря на ужесточившиеся преследования и репрессии, ОСМ продолжала расширять свою подпольную деятельность. После ареста Жака Артюис, организацию возглавил полковник Туни. От него Николай Оболенский получил задание поступить переводчиком в немецкую военно-строительную организацию TODT, ответственную за сооружение так называемого Атлантического вала – гигантской оборонительной системы укреплений вдоль всего Атлантического побережья Франции, а также на оккупированных немцами островах в проливе Ла-Манш. Готовясь к предстоящей высадке на французском побережье, командование западными вооруженными силами старалось получить как можно больше детальных сведений об этих укреплениях.

Физическая работа на строительстве Атлантического вала выполнялась подневольным трудом, преимущественно советскими пленными, с которыми немцам приходилось общаться через переводчиков. Благодаря хорошему знанию немецкого, Оболенский выдержал экзамен и был нанят; его направили на остров Джерси, самый крупный из островов в проливе Ла-Манш. Там Николай застал сцены зверского обращения с пленными, доставленными из не менее ужасающих лагерей. Сегодня далеко не все отдают себе отчет, в каких нечеловеческих условиях нацисты содержали попавших в их руки советских военнопленных. Ввиду того, что Сталин отказался подписать Женевскую Конвенцию о гуманном обращении с военнопленными, считая их изменниками родины, представители Международного Красного Креста не имели к ним доступа. Вдали от глаз посторонних наблюдателей пленные массово умирали от голода, болезней, от побоев; к ним широко применялись карательные меры, вплоть до повешения. Многие, чтобы выжить, соглашались вступать в немецкие вспомогательные батальоны, а некоторые, по идейным соображениям или просто ради спасения жизни, записывались добровольцами в Русскую освободительную армию генерала А.А. Власова (РОА).

На острове Джерси шанс выжить был невелик. Трудоемкие земляные работы выжимали из подневольных последние силы. Оболенский рассказывал, там находились также подростки, вывезенные из Украины, – мальчики и девочки пятнадцати-семнадцати лет. Держали их впроголодь, работали они тяжело, «мерли как мухи». Если кто отваживался откопать для себя на поле картофелину и был замечен – расстрел на месте. Еще Оболенский был свидетелем того, как взрывая динамитом скалистые утесы, подневольных рабочих часто об этом даже не предупреждали, «бедняги погибали изувеченными». Стараниями другого переводчика, Григория Черткова, пленные стали получать вещевые и продовольственные посылки после того, как в соборе на рю Дарю было зачитано его обращение. Чертков призывал: «Пусть каждая семья возьмет себе крестника и примет заботу о нем». Но и эта помощь не всем помогла спастись. Прикомандированный к нарядам рабочих Оболенский мало чем мог им помочь, но они ему доверяли, и от них он получал важную информацию о ходе работ на разных объектах строительства. Сведения эти поступали в Париж, оттуда – в штаб «Свободной Франции» де Голля и Союзному командованию.

Большая удача выпала на долю ОСМ, когда один из ее членов выкрал подробный план Атлантического вала, всей системы строящихся сооружений с обозначенными на нем огневыми точками, включая сектор обстрела, коммуникационные пункты, арсеналы и продовольственные склады. О том, как это произошло, я услышала от одного из руководителей ОСМ, Мишеля Пасто, с которым познакомилась в Париже. (Он хорошо знал Вики, и мы к нему еще вернемся.) Вот, что он рассказал: «По поручению полковника Туни, была уста-

новлена связь с маляром по фамилии Дюшез, который делал ремонт в помещении организации TODT. В какой-то момент он остался в помещении один. Там на столе был разложен трехметровый чертеж строительных работ. Быстро свернув его, Дюшез сунул чертеж в трубу камина. Хватившись пропажи, немцы всё перерыли, обыскали самого Дюшеза, но в трубу не заглянули. Казалось бы, немцам следовало доложить о пропаже начальству, но этого не произошло, вероятно, из страха перед гестапо. Когда же Дюшез закончил ремонт, он спокойно вынес чертеж с пустыми вёдрами и обрезками обоев». Чертеж был доставлен полковнику Туни; тот, в свою очередь, передал его агенту де Голля, полковнику Реми, посланному в оккупированную зону, чтобы установить связь с группами Сопротивления. Завершив свою миссию, Реми должен был возвращаться нелегальным путем в Англию. Он даже не представлял себе, какую ценность имел переданный ему в последний момент сверток. Так Генеральный штаб союзных войск получил детальный план Атлантического вала за два года до высадки в Нормандии.

Появившаяся теперь возможность общения подпольных организаций с де Голлем и английскими органами разведки, радикально изменила игру в пользу Резистанса. Упомянутый полковник Реми (настоящая фамилия Жильбер Рено) был эмиссаром генерала де Голля, посланным способствовать созданию Национального Совета Сопротивления, в который бы входили представители всех подпольных организаций, партий и профсоюзов, в том числе и тех, что находились в так называемой Свободной зоне. Возглавить Совет, по замыслу де Голля, должен был ставший легендарным герой Резистанса Жан Мулен. В своих воспоминаниях де Голль писал: «Я также советовал им объединить свои боевые группы в создаваемую секретную армию. Эти группы должны в каждом регионе подчиняться единому начальству, который будет мною назначен. Я поручил Реми проделать это в оккупированной зоне.»[10] Перечисляя известные ему подпольные организации, де Голль на первом месте указал «Организацию Гражданскую и Военную», OCM.

Выполняя указания де Голля, Реми проник во Францию в апреле 1942 года. Через надежных посредников была устроена его встреча с руководством OCM. Туни произвел на него прекрасное впечатление, внушив к себе полное доверие. Они договорились по ряду пунктов, в том числе о создании внутри OCM специализированной группы военной разведки под названием Сентюри (Centurie). В нее вошла и Вики. Сведения, добытые этой группой, должны были передаваться в Лондон через уже созданную Реми организацию Конфрери-де Нотре-Дам. (Confrerie de Notre Dame). Таким образом, у OCM наконец появилась прямая и надежная связь с Лондоном, а факт признания OCM де Голлем способствовал увеличению престижа этой организации. Еще одним, и не последним по значимости, результатом

этой встречи стало начало поступлений денежных средств на поддержку борьбы, а также аммуниции и аппаратуры для двухсторонней радиосвязи с Лондоном. Де Голлю контакт с такой, уже отлаженной, организацией, как ОСМ, давал известные преимущества в глазах западных союзников, отношения с которыми у него были не простые; один только план Атлантического вала, доставленный агентом де Голля, был важнейшим приобретением для союзного командования, готовившего беспрецедентную операцию высадки. При встрече с Туни Реми не только заверил его в том, что такая высадка разрабатывается, но даже предсказывал, что это произойдет через год. На самом деле понадобилось в два раза больше времени, но уже ощутимое предвидение союзного десанта вселяло оптимизм и придавало французскому подполью новый импульс, чтобы идти к намеченной цели освобождения страны от неприятеля.

Преодолев поражения, связанные с арестом Жака Артюис и других, деятельность ОСМ вступила в новую фазу. Она шла по разным направлениям. В отличие от ряда других организаций Сопротивления, подразделения ОСМ находились в разных точках. Она также не была ограничена определенными сословиями, как, например, профсоюзы; члены ее были и среди высших слоев общества, и в ключевых промышленных кругах.

Особенность оккупационного режима во Франции состояла в том, что ее инфраструктура продолжала находиться руках самих французов. Прежние французские владельцы, если они не евреи, продолжали руководить работой своих фабрик и заводов, сдавая большую часть продукции Германии; французы заведовали гражданским расписанием поездов; французские почтальоны разносили почту, полиция состояла преимущественно из французов. Над всем этим, разумеется, довлела рука германских победителей, но при таком раскладе у ОСМ оставалось немало возможностей инфильтрации в разные государственные и индустриальные структуры, добывая, таким образом, стратегически важную информацию.

Де Голль недаром выделил ОСМ в своих воспоминаниях. Согласно историку ОСМ А. Кальметту, в пору своего расцвета ОСМ насчитывала примерно 60 тысяч добровольцев.[11] Такой масштаб требовал изменений в структуре организации, и Туни реорганизовал свой секретариат. Кальметт писал: «Он поставил во главе его княгиню Веру Оболенскую, которую все звали Вики, женщину умную, обладавшую феноменальной памятью, очень преданную делу; она была дважды патриотом, так как теперь боролась и за свою старую родину, Россию, и за ставшую ей своей Францию. У нее была замечательная способность ориентироваться в любой ситуации и умение разрядить атмосферу своей очаровательной улыбкой».[12]

Для секретарской работы и связи с агентами полковник Туни назначил в помощники к Вики Жаклин Рамей (кличка Брюне),

Софью Носович, библиотекаршу из Музея Социальных Наук Мод Лемари, а также приятеля Фаржона по имени Деконик, которому давали всевозможные поручения. При этом он присвоил Вики Оболенской ранг младшего лейтенанта.

(*Продолжение в следующем номере*)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Calmette, Arthur. *L'OCM'. Organisation Civile et Militaire*. Presse Universitaire de France. Paris. 1961, 10.
2. Там же, 10.
3. *Vicky. 1911–1944; Souvenirs et Témoinages (Memories and Testimonies, «Воспоминания и свидетельства*). Частная публикация, Paris 1950s, 11-12. Далее –Vicky...
4. Calmette, 10.
5. Blocq-Mascart. См.: *Vicky*…, 8-9.
6. Perrault, Gilles. *La longue traque*. Editions Jean-Claude Lattes, Paris, 1975, 49.
7. Там же, 63.
8. Пушкарев, Борис. *Две России XX век*а. Москва: Посев, 2008, 254.
9. Костиков, В.В. *Не будем проклинать изгнанье (Пути и судьбы русской эмиграции)*. М.: Международные отношения, 1990, 79.
10. *The War Memoirs of Charles de Gaulle. Unity. 1942–1944*. NY: Simon and Schuster, 1959, 41.
11. Calmette. *L'OCM'*... 1.
12. Там же. 48.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной: *Книги нью-йоркского издательства Liberty Publishing House.*

Татьяна Успенская. Украли солнце. 2024, 620 с.

Бывают люди, от которых исходит свет, – свет веры, любви и надежды. Веры – в лучшее начало в человеке, любви – к ближнему и земле, тебя взрастившей, надежды – на победу добра и справедливости. Татьяна Успенская (Ошанина) из породы таких людей. Дочь писательницы Елены Успенской и поэта Льва Ошанина, она продолжает литературно-творческую традицию, уходящую корнями в век девятнадцатый, к прадеду Глебу Успенскому. Педагог, редактор, переводчик, литературный критик, писатель, автор учебных пособий, Татьяна Успенская в настоящее время живет в Америке.

Первый вариант романа «Украли солнце» был написан в 1984 году. Действие происходит в безвременье: между начальными событиями, в которых легко угадывается революция, и финальной сценой, декорации которой указывают на день сегодняшний, проходит не более сорока лет. Экспозиция намечена контрастным описанием почти идиллического уклада жизни в имении графа Гурского и чудовищно жестокого быта в семье крестьянина Будимирова. Граф Гурской как бы являет собой образ несостоявшейся России, пройди она все вехи своего развития естественным путем. Он печется о своих подданных: провел водопровод, построил фабрику, электростанцию, школу, всех детей – своих и сельских – воспитывает сам. Будимиров – невежественный домостроевец, садистски-безумный в приступах ярости, «мог, раскрутив кошку за хвост, размозжить ей голову о дерево». Сын Будимирова, по прозвищу Бур, с детских лет находится в конфликте двух воспитательных подходов: развития интеллектуального потенциала в имении графа и атмосферы грубого насилия в семье. Достигнув достаточной силы и зрелости, чтобы противостоять произволу отца, он убивает его и на время исчезает из поля зрения читателя.

Повзрослев, графские дети выбирают свои дороги. Адриан отправляется в университет учиться истории. Саша, его сестра, выходит замуж. Вместе с мужем они создают театр, который становится центром притяжения для жителей всех окрестных сел. Среди воспитанников графа автор выделяет Магдалину, мечтающую стать учителем, и ее брата Григория, уже работающего в школе.

В следующий раз Бур врывается в их жизнь огнем революции. Его Воины Возмездия убивают графское семейство, молодым наследникам графа удается скрыться в родном селе Будимирова, не подле-

жащем разгрому. Наступают годы террора. Будимиров строит государство, основанное на повиновении, его надсмотрщики на местах следят за исполнением приказов из центра. Гигантский купол закрывает столицу от проникновения солнечных лучей, закатанная в бетон земля не дает прорасти ни единому живому побегу. В приметах времени несложно распознать не только историю России двадцатого века, но и признаки любого тоталитарного режима. Приспосабливаясь к новой реальности, герои пытаются выжить и не потерять себя.

Встреча Магдалины и Будимирова, вызванного в родное село к умирающей матери, приводит сюжет в движение. Потрясенный внутренним достоинством хрупкой девушки, не испугавшейся появления Грозного Правителя, Будимиров предлагает сделку: он позволит ей внести поправки в методы управления государством, она приоткроет ему дверь в иную, не случившуюся с ним жизнь.

Попытка найти общий язык проваливается и, волею обстоятельств, Магдалина оказывается в Подземелье – мире, где скрываются все несогласные с режимом Будимирова. Там она реализует свою жизненную задачу – становится Матерью коммуны и присоединяется к движению Сопротивления, организованному ее возлюбленным Адриано (в этой части повествования именуемым Апостолом – очевидно, для усиления аллюзии). Подземелье позиционируется как модель государства, основанная на психологии положительной обратной связи, где любовь, участие, сострадание порождают ответные действия и созидательные характеры. В гневе Будимиров усиливает террор, продолжая при этом мысленный идеологический спор с Магдалиной о различных моделях управления людьми. Решающая битва между ними – за душу Джулиана, графского внука, родившегося в момент крушения режима и выросшего во мраке безверия, лжи, недомолвок, двоемыслия, несправедливости и горя. Роман имеет два финала – пессимистичный и жизнеутверждающий; читателю предлагается оценить убедительность того или иного.

Произведение Успенской точнее было бы назвать гибридным жанром. В описании государства, построенного Будимировым, читатель без труда обнаружит характеристики классических антиутопий начала XX века: роботизацию человека, искусственное удержание его на уровне удовлетворения базовых потребностей, пропагандистские речовки, управление сознанием. Романтически-идиллическая картина жизни в Подземелье, декларирующая идею умножения добра добром, наоборот, напоминает утопию. Жители Подземелья полны энтузиазма и творческих идей; сталкиваясь с трудностями, они легко их преодолевают, объединенные общей светлой целью победы над Злым Властителем.

Основной стержень повествования выстраивается вокруг треугольника Будимиров – Джулиан – Магдалина (на самом деле треугольников напряжения в произведении много, но все остальные

относятся к категории, скорее, любовных, чем сюжетных). Будимиров и Джулиан – подвижные характеры, объекты приложения воспитательных усилий Магдалины. Магдалина (вместе с Адрианом), напротив, представляют собой несгибаемые характеры, твердо и последовательно придерживающиеся своих принципов. Формированию таких качеств способствуют масштабность жизненных целей и духовное мировоззрение, которые Татьяна Успенская считает важнейшими элементами самоидентификации человека. Действительно, наличие больших целей закаляет характер, придает силы в трудные минуты, а нравственное ядро делает человека непобедимым. Так, Адриан мечтает воссоздать мир своего отца во всей стране, Магдалина – быть матерью всему человечеству. Будимиров же, хоть и ставит перед собой большие задачи – построить функционирующее, двигающееся в направлении прогресса государство, – действует вразрез с христианскими ценностями, а потому, по замыслу автора, неминуемо приходит к кризису идентичности, выбивающему его из седла.

Конструкцию укрепляют персонажи второго плана, с помощью которых автор создает многомерный и разнообразный спектр психотипов – обитателей разных миров, светлого и темного. Так, например, блок негодяев представлен помощниками Будимирова: энтузиасткой-доносчицей Эвелиной, главным полицаем Ярикиным и ответственным за снабжение Варламовым. Часть из них – подонки по убеждениям, другие – карьеристы и конъюнктурщики, готовые на всё ради доступа к кормушке. Обитатели светлого мира Подземелья – в большинстве своем – изображены людьми сильными, с серьезной внутренней мотивацией, готовыми к подвигам и самопожертвованию. А вот оставшийся в деревне Григорий, брат Магдалины, представляет собой образец компромиссной личности, он состоит на службе у Будимирова ради спасения семьи и близких. Измученный необходимостью вести двойную жизнь и не будучи особенно искушенным в политических интригах, он живет в постоянном страхе. Вместе с ним и Саша, сестра Адриана, сломленная потерей родных, оказывается не в состоянии возродиться к новой жизни. Ее теория малых дел, где каждый творит добро на местах и, тем самым, делает мир лучше, не обладает достаточной мотивационной силой, чтобы вытащить героиню из депрессии.

В центре внимания автора – Джулиан, обобщенный образ молодого человека, вступающего во взрослую самостоятельную жизнь; основные события происходят в год его совершеннолетия. Татьяна Успенская показывает хрупкость, ранимость и незащищенность человека, растущего в системе противоречивых установок, где семейные ценности не совпадают с государственными. Душа Джулиана открыта Богу, он наделен поэтическим даром, его стихотворения зажигают свет в сердцах людей и дарят надежду. Одновременно с этим он слаб морально, подвержен соблазнам и нуждается в опоре.

Такой опорой для него всегда были родные – сначала старший брат Любим, потом Магда, мать не по крови, по сути, – но со временем он оказался один на один со своими внутренними демонами. Дьявол, в образе Будимирова бросающий вызов Богу и человеку, находит болевые точки Джулиана и умело им манипулирует. Что может быть желанней признания – для поэта, для голодного – прильнуть к кормушке, для изнуренного трудом – предаться развлечениям? Успенская мастерски описывает внутреннюю борьбу, происходящую в неокрепшей душе юноши, сохраняя интригу до последней страницы.

Множественность сюжетных развилок позволяет автору выстроить целую серию сопоставлений: наследственность и воспитание; системы воспитания, системы управления людьми; моральные ориентиры, этические стандарты, идеологические устои. Складывая эти элементы в различные комбинации, обыгрывая их в разнообразных декорациях, она получает объемную галерею образов, в полной мере представляющую все аспекты философии писателя.

Наиболее интересной представляется динамика развития главных антиподов в романе: Будимирова и Магдалины. Магдалина прошла период волнений и раздумий в ранней юности и с тех пор движима ясно определенной и не меняющейся во времени целью: она должна пронести свет любви и добра сквозь темные времена и передать его следующим поколениям. Именно поэтому в философии Магдалины рождение детей является сакральной функцией женщины, а их воспитание – реализацией ее жизненного предназначения; она последовательно движется к своей цели и в итоге обретает искомое. Не случайно одна из магистральных идей книги воплощена в притче о сеятеле, рефреном повторяющейся на протяжении всего повествования: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать». Герой притчи в равной мере ассоциируется и с Магдалиной (транслирующей идеи графа), и с автором текста – педагогом не только по профессии, но и по призванию.

Будимиров, в противоположность Магдалине, движимый целым набором негативных посылов – местью, честолюбием, злобой, довольно рано оказывается на вершине пирамиды власти, оставаясь при этом на дне нравственного развития. На примере конфликта Будимирова и Магдалины автор сталкивает биологическое и цивилизационное начала в человеке. С биологической точки зрения, право сильного лежит в основе мироздания (что, впрочем, не отрицает наличие сочувствия, сострадания, взаимопомощи в мире животных) и, как следствие, равенство невозможно по определению. Реализуя

логику социальной иерархии, основанной на подчинении и насилии, Будимиров строит технологически развитый мир, где каждому – сообразно его, Будимирова, замыслу – отводится своя роль. В этом мире он воспроизводит модель воспитания, в которой вырос сам, и потому основной массе населения уготована жизнь на уровне удовлетворения первичных инстинктов; в случае сбоев виновник наказывается дополнительной обработкой психотропными препаратами. Интеллектуально одаренные и лояльные имеют возможность заниматься науками и искусством во имя и славу Будимирова и его команды. Диктатор убежден, что построил мир, где каждый счастлив тем, что имеет. Люди изначально не равны, так отчего они должны иметь одинаковые условия жизни?

Внезапно нахлынувшее чувство любви взламывает устоявшуюся систему взглядов Будимирова; лакуны, остававшиеся свободными в момент личностного созревания, начинают наполняться новым содержимым. Образ Будимирова – фактурный, противоречивый, а потому притягательный в плане анализа, причем не только в силу очевидных аллюзий к контексту современной России и не в силу магнетизма зловещих фигур вообще. Его противостояние с Магдалиной бессрочно и актуально одновременно.

Демократические принципы управления, на которых настаивает Магдалина, предполагают согласование и сотрудничество, учет интересов всех и каждого, опору на добродетели и безусловную ценность человеческой жизни. Подобный подход есть следствие выработанных в ходе социальной эволюции и закрепленных в сознании нравственных норм (не являющихся универсальными!), соблюдение которых требует от человека любви к ближнему, милосердия, альтруизма, аскезы. Однако тонкая культурная надстройка на практике оказывается хрупкой и неустойчивой конструкцией по сравнению с солидным фундаментом биологической природы. Философия гуманизма кажется логичной, правильной, разумной только внутри самой себя; ее прочность, стабильность и долговечность подвергаются испытаниям на протяжении всего развития человечества. В то время как природа человека заставляет следовать инстинктам, его социальная сущность требует согласовывать индивидуальные интересы и потребности с интересами и потребностями общества. Цивилизационный раскол касается лишь вопроса мотивации: будет ли он это делать добровольно (Магдалина и ее «дети») или под давлением (трудолюбцы Будимирова).

Автор закольцовывает повествование на фигуре Будимирова, делая его главным объектом своего исследования: роман начинается с того, что Будимиров проваливается в черную дыру ненависти, разрушения и безумия, и заканчивается открывающейся ему дорогой к Храму. При всей своей антигуманной направленности Будимиров вырисовывается персонажем объемным и сбалансированным: в нем,

как и в любом живом человеке, присутствует и злое, и доброе начала. Рядом с ним Магдалина и Адриан-Апостол кажутся неживыми – святыми, слишком предсказуемыми и «слишком идеальными» в своей стойкости, последовательности и жертвенности. Символизм их имен делает эти образы еще более отдаленными от реальности, уводящими в мир библейских легенд.

Тем не менее, было бы несправедливо недооценивать образ Магдалины, иначе как можно объяснить невероятный эффект, произведенный ею на Будимирова, относящегося к женщинам исключительно утилитарно. Автор сталкивает антиподов в драме неразделенной любви и тем самым усиливает эффект противостояния персонажей, добавляя к идеологическому – личностный и эмоциональный аспекты.

Следует отметить, что тема любви занимает одно из центральных мест в развитии повествования. Для Татьяны Успенской любовь – это свет, одухотворяющая сила; если не смысл, то способ жизни. Формы ее проявления разнообразны: помимо супружеской, материнской, дочерней, любовь может выражаться в заботе о близких, в профессиональных достижениях, новых инициативах, личностном совершенствовании. Любовь понимается как вечный, всеобъемлющий, универсальный принцип, источник всего блага, исцелитель всех бед. Под влиянием любви ростки добра пробиваются даже в очерствевшем сердце Будимирова. «Вот что значит женщина: ты сбит ветром с ног, тебя ударили под дых, и не ты над людьми, над городами и селами, а она – над городами и селами, над всеми людьми и над тобой!» – характеризует автор смятение героя при встрече с Магдалиной. Что же есть в женщине, под ноги которой циничный злодей готов бросить целый мир?

Когда-то Марина Цветаева написала, что любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. Сила Магдалины – в ее абсолютной вере в справедливость и целесообразность Божьего замысла. Эта вера делает ее бесстрашной и независимой, а любовь к ближнему – пусть даже пошедшему дурной дорогой – способной на подвиги и милосердие. Сильного влечет к сильному, и Будимиров отчаянно пытается завоевать сердце Магдалины, в надежде услышать обращенное к нему, не к другому мужчине: «Я здесь! Я с тобой!». Ибо непобедим тот мужчина, за спиной которого стоит верящая в него женщина.

Татьяна Успенская написала роман воспитания с включенной в него опцией перевоспитания. В нем идея служения людям противостоит использованию людей в услужении, а созидающая сила любви, прежде всего в христианском ее толковании, противостоит разрушающим личность гордыне, тщеславию, эгоизму. Оба ее «трудных подростка» – Будимиров и Джулиан – имеют много общего: они выросли в неполных, несчастливых семьях, оба пережили драматический и турбулентный период в переходном возрасте, оба получили

письмо от матери в переломный момент жизни (апелляция к истокам и идентичности), оба не чужды гедонизму. И, пройдя тернистым путем ошибок и заблуждений, благодаря автору оба они обретают шанс на исправление. Мне видится в этом святая и трогательная вера педагога в силу своего слова – знак ушедшей эпохи, когда слово Учитель писалось с большой буквы и вмещало в себе множество сущностей: воспитателя, наставника, помощника, проводника в большую жизнь.

Вне зависимости от того, какой финал выберет читатель, ему придется ответить самому себе на вопрос: возможно ли успешный эксперимент построения коммуны, основанной на примате личности, расширять до размеров государства? Ответ на этот вопрос является особенно актуальным в эпоху исторического разлома, которую переживает в настоящий момент всё человечество.

* * *

Виктор Зильберман. Между Шекспиром и Путиным. 2023, 114 с.

В издательстве Liberty вышла книга с интригующим названием «Между Шекспиром и Путиным». Автор ее, уроженец Одессы, энергетик по профессии, доктор технических наук, изобретатель Виктор Зильберман, в настоящее время проживает в Германии. Представляемая книга – не первый его опыт в области художественной прозы, но первая нетехническая книга, написанная на русском языке.

Книга состоит из двух частей, написанных в разном стиле и, кажется, отстоящих далеко друг от друга тематически. В первой ее части рассказчик повествует о знакомстве с таинственным соседом, взявшимся пролить свет на так называемый «Шекспировский вопрос». Свои рассуждения анонимный жилец основывает на анализе исторических событий, имеющих референции в шекспировских текстах. Его собеседник (рассказчик) настроен скептически, и для придания большей убедительности словам незнакомца автору приходится прибегнуть к небольшой мистификации. Повествование второй части строится вокруг некоторых аспектов «восточного» и «западного» менталитета, их роли в принятии стратегических решений на уровне личности и государства, а также в оценочном восприятии этих решений. Стимулом к написанию этой главы в немалой степени послужила военная агрессия России против Украины, спровоцировавшая чувство вины и ответственности за происходящее у рефлексирующей части россиян.

В предисловии к своей книге автор пишет: «…большинство людей почему-то так устроены, что всегда пытаются объяснить себе...» На этом можно оборвать цитату без потери ее смысла, так как ключевым здесь является словосочетание «объяснить себе».

Действительно, осмысление увиденного, прочитанного, происходящего представляет собой один из способов познания мира если не для большинства людей, то для многих. «Объяснение себе» стало объединяющим мотивом обеих частей книги, столь непохожих между собой настроением, характером, содержанием. Заглавие же, на первый взгляд кажущееся экстравагантным или даже эпатажным, апеллирует не к временному или географическому расстоянию между двумя обозначенными фигурами, но к следу, оставляемому человеком на Земле, его цивилизационному и гуманитарному значению.

Множественные пробелы в биографии Шекспира уже не одно столетие служат пищей для домыслов и предположений относительно истинного авторства его произведений. К настоящему моменту объем литературы, посвященной «Шекспировскому вопросу», существенно превышает объем текстов, написанных самим Шекспиром (кто бы ни имелся в виду под этим именем). Титулованные эксперты и начинающие исследователи, основываясь на современных методах анализа текстов, с определенной периодичностью публикуют аргументы в пользу той или иной версии. Легкость, с которой сторонники одного лагеря отвергают соображения другого, порой наводит на мысль о религиозном характере противостояния – в том его смысле, что для участников баталий поиск истины заместился вопросами верований. Антистратфордианцы обвиняют ученых в умышленном поддержании мифа, на котором выстроена фундаментальная база шекспироведения. Представители академического сообщества, в свою очередь, считают антистратфордианцев любителями, употребляя в их отношении несколько уничижительное выражение *fringe theory / fringe science*.

Виктор Зильберман представляет свою точку зрения весьма остроумным и элегантным способом – в виде художественного произведения. Роль академического сообщества в нем отведена рассказчику, от имени антистратфордианцев выступает загадочный незнакомец. Следует отметить, что автор весьма милосерден к сторонникам академической точки зрения: рассказчик, несмотря на изначальный скептицизм, вежливо и терпеливо следует логике рассуждений незнакомца. Что касается последнего, то он торжественно-почтителен к объекту исследования, увлечен своими выкладками и, кажется, имеет ответы на все провокационные вопросы своего собеседника. Безусловно, такой стиль изложения мыслей является результатом воспитания в интеллигентной семье, что не раз с определенной долей самоиронии подчеркивает сам автор.

В задачу данной рецензии не входит вынесение суждений относительно доказательной базы предлагаемой Виктором Зильберманом гипотезы. Тем не менее, необходимо сказать несколько слов об отборе материала, послужившего опорными точками для ее построения. Таких точек автор выделяет три: образ еврейского ростовщика

Шейлока из «Венецианского купца»; идея нелегитимности короля Джеймса I, циркулировавшая среди шотландских католиков (косвенным образом она отражена в «Макбете») и семьдесят четвертый сонет Шекспира. В каждом отдельном случае Виктор Зильберман последовательно излагает доводы, объясняющие, с его точки зрения, почему данный текст не мог быть написан Вильямом Шекспиром из Стратфорда-на-Эйвоне. Важно также подчеркнуть, что упомянутые выше опорные точки необходимы не только для формирования сюжетной линии биографического расследования. С их помощью Виктор Зильберман еще раз подсвечивает проблематику шекспировских пьес, во многом остающихся актуальными и сегодня: гонения на евреев в Средневековой Европе, отсутствие у них гражданских прав и насильственная христианизация; искажение сознания человека, обуреваемого жаждой власти, преследование политических оппонентов.

Так, например, Виктор Зильберман напоминает, что к моменту написания пьесы еврейская диаспора в Англии была ничтожно мала, изолирована в гетто, презираема и допустима к упоминанию разве что в карикатурном контексте. Знание еврейских обычаев и языка, демонстрируемые автором «Венецианского купца», толкование им библейских историй в соответствии с Торой, тонкая семантическая эквилибристика не соотносима с образом Шекспира, известного нам по сохранившимся документам, как считает Виктор Зильберман. К сказанному следует добавить, что, согласно представлениям о нравах и порядках того времени, произнесение со сцены речей в защиту гуманитарных ценностей из уст героя-еврея (монологи Шейлока «Да разве у жида нет глаз?», «Рабам вы дайте волю!» и др.) было немыслимым, не имей пьеса могущественного покровителя – истинного автора.

То же касается и одной из наиболее известных трагедий Шекспира – «Макбет». В академических кругах существует представление, что сюжет ее частично заимствован из истории шотландского короля Макбета, правившего в XI веке областью Морей. Виктор Зильберман связывает появление пьесы с более поздними событиями, а именно, с предотвращением попытки государственного переворота 1605 года, известного как Пороховой заговор, и с арестом одного из исполнителей, Гая Фокса. Именно эта ниточка ведет его к имени настоящего автора трагедии, который, вероятно, имел доступ к протоколам допросов и/или был посвящен в подоплеку тайного плана. Наконец, сонет 74 («Когда меня отправят под арест») – невероятный по силе духа гимн любви, начинающийся не с лирических строк, а с ожидания героем расправы – подкрепляет предположение Виктора Зильбермана о том, что настоящий автор состоял в идеологической оппозиции режиму, к которой Вильям Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне, судя по известным фактам его биографии, не мог иметь отношения.

Вне зависимости от обоснованности и правомерности предположений автора, одно остается несомненным: положительная энергия созидательного творчества Великого Барда оказывается в определенном смысле контагиозной и сквозь века передается следующим поколениям читателей. Произведения, написанные несколько столетий назад, продолжают занимать умы – своим ли содержанием или энигматическим аспектом авторства – и служат предпосылкой для создания нового творческого продукта. Интриги гениальных пьес трансформируются у Виктора Зильбермана в интригу поиска настоящего автора, страсти героев превращаются в страсть к изучению литературного наследия, вынесение в публичное пространство острых тем для обсуждения – в просветительский посыл таинственного незнакомца поделиться своими знаниями.

События, разворачивающиеся в начале второй части, перебрасывают виртуальный мостик в современность. Исследование творчества Шекспира приводит Виктора Зильбермана на конференцию в Англию. Вместо заявленной экскурсии в Стратфорд-на-Эйвоне, родину Шекспира, участникам конференции предлагается посетить лабораторию в Гринвиче. Там, размышляя о функционале такой условной точки координат, как нулевой меридиан, автор вспоминает эпизод с посещением исторического обелиска «Европа–Азия» недалеко от Екатеринбурга. Профессионализму и деликатности английского гида Виктор Зильберман противопоставляет невнятные объяснения и отсутствие критического мышления у его российского коллеги. Рисуя образ некомпетентного, патетически настроенного экскурсовода, он выводит на первый план определенную черту, связываемую им с «восточным» менталитетом: готовность принять на веру идею, высказанную авторитетным лицом (в данном случае В.Н. Татищевым, подсказавшим идею проведения границы между Европой и Азией). В качестве примера альтернативного – договорного, основанного на разнообразии мнений – механизма принятия решений, характеризующего «западный» образ мышления, Виктор Зильберман ссылается на историю появления нулевого меридиана. К этому моменту на бэкграунде авторского сознания уже присутствуют недоумение и досада от того, что часть популяции не только в России, но и в мире, находит оправдание жестоким и противоправным действиям Владимира Путина, развязавшего войну в Украине. Ассоциативный ряд, построенный на сравнительных характеристиках «западного» и «восточного» менталитета, приводит автора к выводам, далеко отстоящим от вопросов шекспироведения.

Итак, антитеза Восток – Запад становится исходной в рассуждениях Виктора Зильбермана о природе пропутинских настроений. В парадигме западноевропейского менталитета он объясняет их наличием свободомыслия – то есть тем фактом, что в обществе может и должен быть представлен весь спектр разнообразных мнений. Автор

объясняет поддержку Владимира Путина многими россиянами тем, что эти апологеты являются носителями восточной ментальности, выдвигающими идею величия страны.

Виктор Зильберман, тем не менее, задается вопросом о предпосылках формирования столь отличных друг от друга ценностных ориентиров. Почему для одних свобода выбора имеет первостепенное значение, а другие готовы ею поступиться? В ходе рассуждений он приходит к выводу, что в основе таких отличий лежат взаимоотношения Церкви и государства. В западноевропейских странах разделение ветвей власти – религиозной и светской – способствовало становлению идей плюрализма и формированию персональной ответственности за собственную судьбу. Клерикализация государства, начавшаяся в России несколько столетий назад, исключила не только разномыслие, но собственно возможность и необходимость мыслить. Предлагаемый взамен набор готовых решений снимал с конкретного индивидуума ответственность за последствия. В качестве бонуса преподносилась идея величия государства, постепенно ставшая объединяющей для большинства населения.

Далее автор довольно подробно останавливается на распространении сначала в религиозных, а затем и в светских кругах доктрины «Москва – Третий Рим». Напомню, что, согласно этой доктрине, миссия России состоит в сохранении православия как единственно верной христианской религии; для достижения этой цели территориальная экспансия государства считается допустимым средством. По мнению автора, внедряемая столетиями в сознание граждан, в настоящий момент доктрина стала государственной идеологией, что, в свою очередь, нивелирует значение конкретного руководителя страны в определении направления развития государства. Иными словами, выведение Путина за пределы уравнения не повлияет на ход событий и судьбу России. Владимир Зильберман завершает свои рассуждения тезисом о том, что клерикализм, в особенности, русский клерикализм в любой его ипостаси – православия или идеологий Ленина, Сталина или Путина, – должен быть объявлен врагом нормального развития, а на смену действующему патриарху необходимо подобрать фигуру честолюбивого человека, продвигающего идеи экуменизма.

По форме текст представляет собой характерное для современной литературы жанровое смешение: в нем легко распознаются признаки эссе с элементами внутреннего диалога, а в роли сцепляющих структурных компонентов выступают эпизоды-триггеры из реальной жизни. Свои выкладки автор представляет в виде дружеской беседы с коллегами, которым отведена роль заинтересованных слушателей, но не оппонентов. Хотелось бы отметить, что отдельные аспекты авторских рассуждений являются спорными или противоречивыми. Например, идеологическое обоснование войны не является исключительным свойством восточного менталитета, Российского государства

или русского клерикализма. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить гитлеровские лозунги о возрождении Великой Германии, бомбардировки Югославии силами НАТО или оправдание необходимости войны в Ираке. По мнению некоторых исследователей, изучающих традицию осмысления войны, легитимация военного насилия под идеологическими лозунгами является общемировым трендом. Говоря о традиции пассивного принятия предложенных парадигм народами «восточной» ментальности, автор исключает из своих обобщений Индию, где уровень политической активности населения сопоставим с развитыми демократическими странами и все ключевые посты в государстве равным образом распределены между представителями разных религий – несмотря на то, что превалирующей является индуизм. Размышляя о природе пропутинских настроений, Виктор Зильберман не упоминает об общемировой практике использования цифровых технологий в качестве инструмента пропаганды для формирования заинтересованными сторонами искаженной картины реальности. Генерирование фальшивых данных, копирование и рассылка материалов в социальных сетях неизбежно ведет к искажению общественных настроений, что было доказано в ряде исследований.

Наконец, назначая русский клерикализм, а не Путина, инициатором и виновником войны за Украину, Владимир Зильберман, в определенном смысле, отрицает ключевую роль Владимира Путина в принятии решений, изменивших судьбы миллионов людей, делает его орудием Церкви. Между тем, обсуждая значение «третьеромановизма» в формировании идеологической платформы Российского государства, американский историк Маршалл По[1] пишет следующее: «Попытки отыскать корни современных событий в ‘осевом’ моменте отдаленного прошлого опасны, неизменно ведут к открытию аналогий и приводят к анахронизмам и другим ошибкам… Со второй половины XIX века многие ученые, философы и публицисты открывали для себя в письменном наследии Филофея (в тексте которого впервые упоминается идея Третьего Рима) ‘корни’ того, что они считали основными характеристиками ‘русской идеи’. Владимир Ламанский обнаружил там истоки панславизма, Владимир Соловьев нашел корни христианского универсализма, Николай Бердяев открыл происхождение большевизма, а идеологи холодной войны – основания советского ‘экспансионизма’. Но анализ ранней истории доктрины позволяет заключить, что Филофей не мог помыслить ни одной из этих поздних инкарнаций созданного им образа ‘Третьего Рима’: ‘третьеромановизм’ – это результат проецирования современной идеи ‘русской миссии’ на внешне схожую концепцию раннего времени».

В заключение хотелось бы отметить, что Виктор Зильберман затрагивает очень непростую и болезненную тему. Раны, нанесенные миллионам людей, продолжают кровоточить. Одни потеряли дом и близких, другие переживают кризис идентичности, разрушены

планы и судьбы. Формальное «обоснование» и моральное «оправдание» войны не имеют для них никакого значения. Но говорить об этом необходимо, поскольку без анализа явлений и событий невозможна настройка параметров построения будущего.

1. Poe, M. «Moscow, the Third Rome: the Origins and Transformations of a 'Pivotal Moment'». Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49:3 (2001), 412-29.

Юлия Баландина

Павел Полян. Бабий Яр. Реалии. Кишинев: The Historical Expertise, 2024. 628 с.

Попросите современного читателя вне постсоветского пространства сказать, что он(а) знает о Киеве, – и, к сожалению, со значительной вероятностью в числе первых ассоциаций прозвучит Бабий Яр. Таковы реалии. Как бы то ни было, помнить об этом ужасном событии необходимо – как минимум для того, чтобы оно не повторилось. В этом и польза, и своевременность новой книги Павла Поляна.

Это не первое обращение автора к теме. Двухтомная антология «Овраг смерти – овраг памяти» (первый том – стихи о Бабьем Яре, второй – эссе самого Поляна, комментирующие эти стихи) вышла в 2021 году. Годом позднее, в 2022-м, увидела свет книга «Бабий Яр. Рефлексия», выстроенная по тому же принципу: первая часть – «Антология. Стихи о Бабьем Яре», вторая – «Эссе. Бабий Яр и жанры». По признанию автора (С. 18), «оба названия тянутся к названию фильма Сергея Лозницы – 'Бабий Яр. Контекст'». Если угодно, можно представить эту триаду – две книги и фильм – в виде своеобразной пирамиды: в основании – контекст, из него произрастают реалии, на которые, в свою очередь, накладывается рефлексия. Впрочем, в рецензируемой книге в изобилии присутствуют и контекст, и рефлексия. Назову основную, с моей точки зрения, сильную сторону книги: широту охвата материала. В цифрах (а цифры – вещь объективная): из всего объема текста примерно четверть посвящена собственно событиям в Бабьем Яре 1941–1943 годов; менее одной десятой – тому, что было *до*; и две трети – тому, что было *после*. Это хорошо и правильно. По той простой причине, что все мы сейчас живем в этом *после*, а для подавляющего большинства читателей в рамках их собственной жизни никакого другого периода никогда и не существовало. (Значимое исключение – Яков Исаакович Бердичев-ский, человек, чей портрет следует сразу за титульным листом, ему и посвящена книга. Но даже и он, начиная со своих одиннадцати лет, живет в *после*.)

Рассуждая, уже в середине основного текста, о названиях, автор замечает: «...немало выдающихся произведений самых разных жанров <…> ровно так тождественно и называются – 'Бабий Яр'!»

(С.255). Нельзя не согласиться с мнением Алексея Макарова, которое цитирует автор: «…географическое название стало символом, стало говорящим само за себя». Всё так.

Возвращаясь к предисловию: автор «добирался сюда уже на метро и всё удивлялся тому, что станция называется почему-то ‘Дорогожичи’, а не ‘Бабий Яр’» (С. 14). Идея назвать так станцию метро (открытую в 2000 году и расположенную прямо в *эпицентре*) обсуждалась; несколько лет назад ее переименование активно лоббировал Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Переименование не состоялось – скорее всего, сочли, что название транспортного объекта должно быть нейтральным, а не вызывать мгновенную и однозначную ассоциацию.

Итак, три части: *до*, *во время*, *после*. Последняя, в свою очередь, подверглась дихотомии, вызванной событием, не имеющим отношения к Бабьему Яру per se, но более чем значимым в рассматриваемом контексте: распадом СССР. Названия каждой части вполне нейтральны (скажем, озаглавлены «После Бабьего Яра» и «После империи»). А вот подзаголовки... надо полагать, не понравятся многим: «‘Союз русского народа’, или Интернационал погромщиков», «‘Союз немецкого народа’, или Овраг смерти», «‘Союз советского народа’, или Овраг беспамятства», «‘Союз украинского народа’, или Гражданская война символов». Из означенных четырех «Союзов» в реальности существовал только первый; но именно он – тот самый камертон, который придает остальным трем заголовкам заметную провокационность. Насколько это справедливо? Не предвзято ли? Смягчим это утверждение: из того, что антисемитская организация называлась «Союз русского народа», никоим образом не следует, что русский народ состоит из одних антисемитов. Именно в таком ключе, конечно, и следует понимать обсуждаемые подзаголовки. Сам же автор разъясняет:

> Таким образом, книга охватывает предысторию, историю и постисторию расстрелов в Бабьем Яру. В фокусе постоянно оказывалась одна и та же традиционная константа – антисемитизм. Точнее, сменяющие друг друга, как в эстафете, антисемитизмы разных окрасок – российский (имперский), немецкий (национал-социалистический), советский (интернационалистский, но с местным душком) и украинский (младонационалистический) (С. 20).

Вместе с тем, к первому разделу возникает замечание общего плана. История еврейского народа в бывшей Российской империи, с акцентом на антисемитизм и экстремальную форму такового – погромы – описана здесь вполне адекватно. Но всё же считать историю погромов на Украине (и вокруг нее) предысторией расстрелов в Бабьем Яре, как это делает автор, не следует. *География* этих ранних погромов – да, охватывает, в том числе, Киев , но *исторические* корни Бабьего Яра всё же не в «деятельности» имперских погромщиков (С.31-33), Деникина (С. 40) или Петлюры (С. 41-48) – как ни говори,

идей, обсуждавшихся на конференции в Ванзее, у них не было, Холокост осуществляли не их потомки – ни в буквальном, ни в фигуральном смысле слова.

Подход автора понятен и, в общем-то, естественен: он рассуждает о судьбах предков тех, кто ушли в Бабий Яр, и показывает, что и их, предков, не миновала «чаша сия», хотя и далеко не с такой ужасающей неизбежностью и тотальностью, как это случилось 29-30 сентября 1941 года. Но погромы в империи – это предыстория не расстрелов, а украинских евреев. Те расстрелы, о которых речь в следующем разделе, пришли *извне*.

Второй раздел – «'Союз немецкого народа', или Овраг смерти» – не самый большой по объему (С. 69-212), но центральный в любом смысле слова. При этом автор, разумеется, не ставил себе целью дать полное, академически выверенное описание того, что произошло в те два страшных дня (и до, и после). Это и незачем: к огромному массиву накопленной информации о формальных аспектах «акции» трудно что-либо добавить. В заслугу Поляну здесь следует поставить то, что он отлично передал *атмосферу*, эмоциональный фон тех дней. Для этого автору понадобились длинные фрагменты воспоминаний очевидцев, взятые из самых разнообразных источников – от прекрасно известных, вроде «Бабьего Яра» Кузнецова, до архивных документов из Украины, России, Германии, США. Нет смысла здесь их воспроизводить, однако есть смысл констатировать, что впечатление они производят сильное.

Впрочем, и формальному – информационному – аспекту трагедии здесь уделено должное внимание. Один из основных «проклятых» вопросов, связанных с Бабьим Яром, – количество жертв. Автор добросовестно перечисляет различные источники, содержащие статистику. Одна из главок так и называется – «Немного источниковедения» (С. 175-177), а сразу за ней следует «Цифры, цифры, цифры: Гроссакция» (С. 178-180). Необходимо, однако, иметь в виду, что абсолютно достоверных источников здесь быть практически не может.

«17 ноября 1941 года Московское радио, со ссылкой на ТАСС и *News Chronicle* с их надежными источниками, сообщило об убийстве в Киеве 62 тысяч евреев», – читаем в самом начале главы «Киев без евреев», в которой и говорится о цифрах (С. 171). Прочтем, однако, это утверждение критически. Какие могут быть «надежные источники»?! Откуда корреспонденты телеграфного агентства и газеты из стран антигитлеровской коалиции могли получить сколько-нибудь достоверную информацию из города, оккупированного на тот момент гитлеровскими войсками? Сразу вслед за этим: «как сообщает корреспондент агентства 'Оверсиз Ньюс' из одного пункта в Европе, из достоверных источников получены сведения, что немцы в Киеве казнили 52 тысячи евреев» (Там же). Перевернем, однако, страницу... и ознакомимся с письмом некоего М.Л. Биневича жене, в котором черным по белому написано: «расстреляны 150 тысяч евреев в Киеве»

(С. 172). Комментарии излишни. Это, разумеется, никоим образом не «камень в огород» автора. Историография, в данном случае плавно перетекающая в мифологию, – вполне резонная наука. Изучать, кто и что писал по тому или иному поводу, интересно и полезно, в том числе и тогда, когда есть основания глубоко сомневаться в достоверности этого писания. И раз уж мы заговорили о цифрах, нельзя не остановиться на прекрасно известном факте: за два дня, 29-30 сентября, расстрелян 33771 еврей (С. 179). Именно эта цифра приведена в сообщении зондеркоманды 4а, которая непосредственно осуществила страшную акцию. Воспроизведя эту цифру, автор, однако, тут же ставит и ее под сомнение (и абсолютно правильно делает!). Кто, *где* и как считал обреченных на смерть? Точного ответа мы уже никогда не получим.

Вблизи начала третьего раздела – «‘Союз советского народа’, или Овраг беспамятства» (С. 213-390) – расположилась главка «1944. Первый йорцайт» (С. 216-221), почти сплошь состоящая из длинных цитат. Цитируемые пассажи из воспоминаний очевидцев содержат ужасающие подробности о том, *что* обнаружили пришедшие в Яр в годовщину. Это снова об эмоциональном фоне. Это нужно и важно.

И, как мы хорошо знаем, советская история Бабьего Яра – это в значительной мере история если не прямого забвения, то утверждений в стиле «есть мнение, что эту тему поднимать не нужно». Автор аккуратно прорисовывает эту линию. Интересен рассказ о роли Никиты Хрущева, чья «кадровая политика, – утверждает Полян, – была откровенно антисемитской» (С. 229). Вызывает замечание, правда, утверждение о том, что Хрущев «сосредоточил тогда в своих руках всю полноту власти в Украине» (Там же). Формально-то это так, но ясно, что решения «стратегического» плана он не мог принимать без ведома «Москвы». Да и государственный антисемитизм (не на словах, но на деле) Советского Союза родом не из Киева. Как бы то ни было, картина возвращения в Киев евреев, которых там, оказывается, не ждут, и еврейский погром (!) 1945 года, и то, как Виктору Некрасову, Рафаилу Нахмановичу и многим другим «не советовали» митинговать в Бабьем Яре, – всё это описано подробно, всесторонне.

В этой же связи упомянем о том, что автор, опять-таки несколько провокационно, называет «завершением ‘Операции 1005’». Провокационно, потому что «Операцию 1005» осуществили немцы (выкапывание и сжигание трупов в 1943 году), а «завершением» занималась советская власть: речь о первой попытке забыть Бабий Яр, которая привела к Куреневской катастрофе 13 марта 1961 года. Говоря о последней, автор воспроизводит цифры, которые и до него уже звучали многократно, и после него, видимо, будут: «Человеческих жертв этой <...> катастрофы <...> государство насчитало 145, а независимые эксперты – не менее полутора тысяч» (С. 281). Не всем это понравится, но в данном случае «независимые эксперты» дальше от истины,

чем «государство». Дело в том, что засекреченные ранее документы – ежедневные отчеты о ходе ликвидации последствий аварии – сейчас доступны, и в них-то (в отчетах, которые писались *для своих*!) все найденные трупы перечислены скрупулезно. Безусловно, нашли не все трупы, но никак не одну десятую часть.

Еще один советский сюжет, с Бабьим Яром связанный непосредственно, – одноименное стихотворение Евтушенко. Это интересная и, можно сказать, самодостаточная история, которую Полян описывает, по всей видимости, подробнее, чем кто-либо до него (С. 295-314); за этим следует история 13-й симфонии Шостаковича (С. 314-322). Литературному аспекту темы Бабьего Яра автор, как сказано выше, уделил значительное внимание. Предпринятое им здесь глубинное исследование истории создания, публикации и рецепции знакового стихотворения Евтушенко, безусловно, украшает рецензируемую работу.

Последняя часть третьего раздела – о том, что «над Бабьим Яром памятники есть» (теперь уже). И эту историю автор изложил с должным тщанием, не обойдясь, впрочем, без оценочных суждений; но, коль скоро последние четко отделяются от фактов, каждый имеет на них право. О коммеморации Бабьего Яра (С. 356-375, 379-390), скорее всего, любой читатель, которому тема интересна в принципе, найдет здесь для себя что-то новое.

Та же тема коммеморации открывает заключительный раздел «‘Союз украинского народа’, или Гражданская война символов» (С.391-598). Украинская «политика памяти» (активно не люблю это выражение в принципе, но оно означает нечто, существующее в объективной реальности) по данному вопросу ставит четкие вопросы: лучше советской, является продолжением советской или хуже советской? Ответ: всё это одновременно. Почему лучше советской? Потому что наконец ушли в прошлое времена, когда «не рекомендовалось» говорить простую и ужасную правду: в Бабьем Яре лежат не только евреи, но именно евреев там расстреливали за то, что они были евреями. Почему является «родной сестрой»? Потому что хор голосов: «Да что вы всё о евреях и о евреях!» никуда не исчез. И, наконец... До чего в Советском Союзе (при всём лицемерии, которого там было хоть отбавляй) не додумались – так это до чествования в Бабьем Яре союзников тех, кто, собственно, Бабий Яр устроил. Союзников ситуативных? – Да, в значительной мере, нацизм на тот момент не воспринимался в качестве абсолютного зла, каковым мы его знаем сейчас. Но ведь к прославлению Телиги, Рогача и К° в Бабьем Яре приступили не в 1942 году, а в наше время. Кратко и по сути: речь идет о коммеморации коллаборационистов. Как абсолютно справедливо замечает автор, цифра 621 – число погибших «в оккупированном Киеве в борьбе за независимое украинское государство» (С. 399) – взята неизвестно откуда; сторонники этой цифры «уклоняются не только от критической верификации, но хотя бы от цитиро-

вания или описания своих первичных источников» (С. 400). Именно так. И, не постесняемся повториться, проблема не только в *количестве*, но и в *качестве*. Современная украинская «политика памяти» выдает этим коллаборационистам индульгенцию на том основании, что они-де боролись за независимую Украину. Но, простите, нацисты тоже боролись за Германию (за такую, какой они ее желали видеть). Следует ли их на этом основании считать положительными героями?..

Причисление оуновцев к жертвам Бабьего Яра – не историческая неточность или бестактность и даже не осознанная провокация, а **наглый рейдерский захват** чужой исторической памяти по липовым или отсутствующим векселям (С. 401).

Глорификация ОУН в контексте Бабьего Яра (как и вне его, конечно) продолжается. В 2016 году, на одном из заседаний, посвященных 75-й годовщине Бабьего Яра, к тогдашнему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, этническому еврею, подошел Анатолий Найман и показал ему статью из газеты «Украинское слово» за 1941 год (мы не знаем, какую именно, но архив «Украинского слова» нынче доступен онлайн, так что любой желающий может увидеть, *что* там писали о Бабьем Яре) и «произнес пламенную речь о несовместимости ОУН и Бабьего Яра, о недопустимости мемориализации ОУН в Бабьем Яру». Присутствовавший в зале Богдан Червак, председатель сегодняшней ОУН, назвал это «выходкой и провокацией» (С. 488). И опять комментарии излишни.

Автор достаточно подробно освещает (С. 498-508, 541-567) деятельность Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр» – организации, чью роль в сегодняшних событиях, так или иначе связанных с коммеморацией Бабьего Яра, трудно переоценить. Учитывая, во-первых, что речь о событиях совсем недавних, и, во-вторых, что и Павел Полян, и автор этих строк по отношению к МЦХ не являются посторонними наблюдателями, воздержусь от дальнейших рассуждений на эту тему, ограничусь констатацией того бесспорного факта, что анонсированная в начале рецензии самая сильная (по мнению рецензента) сторона этой книги – широта охвата – проявилась, среди прочего, и в этом фрагменте.

Последняя главка носит тоже провокационное название – но эта провокация принадлежит не автору. «А нужен ли Бабий Яр после Бучи?» (С. 598). Как напоминает автор, открытая дискуссия под таким лозунгом была запланирована в Киеве, в Бабьем Яре (!), а не состоялась лишь потому, что «грубое вмешательство ХАМАСа 7 октября, привнесшего в арийскую историю Холокоста старинные погромные практики от петлюровцев и младотурок, сорвало эти высокие и смелые планы» (Там же). «А как бы понравился вам такой диспут: ‘Нужна ли Буча после Негева и Кфар-Азы?’» – риторически вопрошает автор,

заканчивая этой фразой основной текст книги, и рецензент в очередной раз с ним солидаризируется.

Теперь о том, что в этой книге, на наш взгляд, могло бы быть лучше. Выбор стиля изложения – исключительное право автора. Однако, с моей, возможно субъективной, точки зрения, стиль рецензируемой книги местами недопустимо эмоционален. Слишком много раз, в разнообразных грамматических и даже морфологических конструкциях, употребляется дерогатив «жиды».

> Тем самым возникала и возникла новая вседозволенность. Конструкция ее была примерно такой: «Жиды, заткнитесь, оставайтесь там, где вы есть, к нам не едьте назад и не лезьте со своими требованиями! Скажите спасибо, что живы остались; это, б**, мы вас спасли на х**, так что теперь, жиды, – всё, шá: не рыпаться и молчать в тряпочку!» (С. 225-226)

Я перечитал этот пассаж несколько раз, недоумевая: это же должно быть цитатой, а не авторским текстом! (Звездочки в вышеприведенной цитате мои; в оригинале всё написано в открытую.) Но нет, это авторский текст. Зачем он понадобился автору (помимо цитат), в принципе, понятно: ведь красной нитью через повествование проходит тема антисемитизма. Но зачем, говоря о доме Анны Франк, называть его «памятником <...> всем тем, кто попытался укрыться от жидомора» (С. 75), или излагать известный сюжет фразой «[к]рошечный еврейчик Давид одолел-таки немца-жидоеда Голиафа!» (С. 90, 134); еще раз говорить о «жидоморе» (С. 113) и почти тут же о том, как дворники «выволакивали жидов-соседей из их комнат» (С.116); говорить о жертве оккупантов Якове Гальперине «когда ему, жиду, кровь из носа, нужно было переложиться в хохла» (С. 136), – мне абсолютно непонятно, мне в этом не хватает чувства такта.

Отмечу и ряд фактических ошибок. Константин Штеппа никогда не был директором Музея-архива переходного периода, как это подразумевается во фрагменте на С. 109 (директором был Оглоблин). Редактором «Украинского слова» была не Елена Телига (С. 111), а Иван Рогач. «Сама же УНР не продержалась и двух лет: с января 1918 по ноябрь 1920 года» (С. 393) – тривиальная «математическая» оплошность. Евстафьеву (специалиста по Бабьему Яру) зовут не Наталья, а Татьяна (С. 513). Безусловно, все эти мелочи легко можно исправить при переиздании книги.

Автор проделал огромную работу с источниками, которая не может не вызывать уважения. К сожалению, однако, местами необходимые ссылки отсутствуют. Скажем, на странице 103 предложение «Так, ‘трофеи’ Бабьего Яра свозились в здание 38-й школы, где на первом этаже складировали продукты, на втором – белье, на третьем – верхнюю одежду, а на четвертом – шубы, часы и ювелирные изделия» – взято, с минимальной перефразировкой, из книги

«Бабий Яр. Человек, власть, история» (Кн. 1, Киев, 2004, С. 118). На странице 110 нет ссылки на утверждение В.Нахмановича; на странице 114 автор ссылается на архивный источник, не указывая уже опубликованное (фрагмент допроса Ф.З. Сироша опубликован в книге А.Круглова, А.Уманского, И.Щупака «Холокост в Украине: Рейхскомиссариат ‘Украина’, Губернаторство ‘Транснистрия’». Днепр, 2016, С. 242. При этом содержащиеся в версии Поляна украинизмы свидетельствуют о не совсем качественном переводе).

Несмотря на сделанные замечания, книга «Бабий Яр. Реалии» – качественная (не удержусь от тривиального каламбура: и количественная!) работа. Эта книга будет интересна и полезна всем, кто понимает, *что такое* Бабий Яр, для кого эта тема болезненна (а для нормальных людей она *должна* быть таковой) и кто при этом хотел бы ознакомиться с темой и шире, и глубже.

Стефан Машкевич, Нью-Йорк

Евгений Сливкин. Сестра отчаяния. Wydawnictwo Naukowe IKRiBL, Siedlce, Poland, 2024.

Новый сборник Евгения Сливкина, как представляется, самый сложный из трех известных мне[1]. Эта сложность проявляется и в переплетении многих, подчас взаимоисключающих, тем и сюжетов, и в прихотливости построения пространственно-временной модели, и в трагическом мировосприятии лирического героя сборника. «Я» предыдущих сборников – личность умная, ироничная, видящая несовершенство мира, способная оценить немногое доброе и достойное в нем, переживающая смерти близких – и всё же верящая в свет, любовь, друзей. Лирический герой последнего сборника поэта – тот же, но переживающий глубочайшие трагедии современности; тексты насыщены и даже перенасыщены намеками, цитатами, отсылками (эксплицитными и имплицитными) к разным явлениям мировой культуры.

Даже приблизительный подсчет позволяет констатировать, что стержневые образы анализируемого сборника – родина и смерть. Уху хочется услышать уже звучавшее в истории «Patria o muerte!» («Родина или смерть!») – лозунг кубинской революции, но у Сливкина именно так: родина и смерть, а точнее, родина – она же смерть. Танаталогические мотивы четко обозначаются даже на уровне заглавий стихов: «На кладбище варшавских повстанцев», «В обществе мертвых поэтов», «Поминальный диптих» и т.п. Родина и смерть трактуются как синонимы: «– Доктор, не только при каждом свидании – / даже на очень большом расстоянии / я задыхаюсь от дыма отечества. / – Это не лечится, это не лечится. <…> – Доктор, не дайте больному отчаяться! / Чем человек всё же определяется – /

существованием или сознанием? / – Кровопусканием, кровопусканием». Классические и даже затертые прецедентные тексты обретают новое, противоположное значение: дым отечества больше не сладок и приятен, он удушающ, а кровопускание – это не оздоравливающая процедура, а знак войны и гибели.

Родина и смерть – эта пара настойчиво повторяется и в следующих стихотворениях сборника. Происходящее вокруг видится чем-то аномальным и даже противоестественным: «Здесь вам, как сказал помкомвзвода, не тут, / и родиной что-то другое зовут. / И мерзнет всю ночь, на ветру оголен, / в саду возле площади вечный огонь. / Здесь между живыми разброд и разлад – / и в братских могилах не братья лежат».

Этот «разброд и разлад» слышится даже в звуках национального военного марша: «Орудий самоходная орда. / Под гул моторов двигаются танки. / Рыдает марш: как будто две славянки / прощаются друг с другом навсегда» («Прохождение военной техники»). Российско-украинская война, прямо нигде не названная, присутствует едва ли не в каждом стихотворении сборника.

Образ Украины ассоциируется с милым сердцу природным началом: «...лежат, травою шевеля, сплошь в васильках и одуванчиках, жовто-блакитные поля» («Сельский пейзаж»). Образ родины для художественного мира поэзии Сливкина очень важен, это актуально как для предыдущих его сборников, так и для «Сестры отчаянья». Здесь родина часто осмысляется через традиционную славянскую русскую мифологическую и фольклорную парадигму; поэт обращается к поговоркам, пословицам, в которых, как принято считать, сконцентрированы народная мудрость и вековой опыт. Художественный анализ этого материала поэтом заставляет читателя задуматься о том, нет ли в этой мудрости роковой ошибки. Так, из фольклорной трактовки проблемы «народ и власть», сформулированной в известной пословице: «Не Москва государю указ, а государь Москве», сделан горестный вывод:

Не Москва государю указ... –
в этой присказке весь наш секрет:
ворон ворону выклевал глаз,
и чертей в тихом омуте нет.
Развели журавлей в облаках,
а синиц удержать не смогли,
и остались в худых пиджаках
те, кто смолоду честь берегли.

Этот текст может быть прочитан как констатация состояния, в котором оказалась нация, социум и, может быть, шире – то, что сегодня называют «особой цивилизацией». Принципиально важно, что в стихотворении очень наглядно явлен один из основополагающих структурных приемов сборника – выявление сути происходящего

через опрокидывание, выворачивание наизнанку знакомого и привычного. Структурно это похоже на опрокидывание карнавальное, но семантика другая – обнажение трагического ядра.

Еще один, вроде бы узнаваемый сказочный, но такой горестный и страшный вариант родины:

Сохнут слезы женские и девичьи,
листья осыпаются с венков;
прячутся Иванушки-царевичи
за спиной Иванов-дураков.
Широко раскинулось треклятое,
до небес вздымая сладкий дым,
золотое царство тридевятое –
зеркальце, скажи, что станет с ним!

В этих строчках, скорее, не сказочная, а социально маркированная картина происходящего в воющей стране: мажоры Иванушки-царевичи и Иваны-дураки, гибнущие на фронтах, вдовы и несостоявшиеся невесты, похоронные венки и пожары; проклятие, которое повисло над землей. И как своеобразное продолжение сюжета – следующие стихи:

Курганы, степь-полупустыня,
богатырей триумвират.
Куда так пристально глядят
Илья, Алеша и Добрыня?
Они стоят, как обелиски.
В степи им не на что смотреть.
Но на заставе богатырской
тому, кто отвернется, – смерть.
(*«Васнецов»*)

Это не столько васнецовские богатыри, сколько те, кто стоит перед лицом смерти сегодня. В сборнике ведется разговор о конкретных событиях конкретной войны, косвенными свидетелями которой сегодня мы являемся. Однако это не репортажная поэзия, современность вводится Сливкиным в широкий исторический контекст, когда история зачастую – дурная повторяемость: «Отныне не будет небес/ ни ночью, ни утром без / Венеры и Марса – они / будут и днем видны. / И дней не будет иных, / кроме дней Турбиных». Сегодня происходит универсальное опрокидывание архетипов, которыми ранее было принято гордиться:

Наш гордый «Варяг» не сдается,
хоть дело, пожалуй что, швах:

спокойно на всех броненосцах
и тихо на всех крейсерах.
Исчерпаны напрочь резервы.
Что было, то было вотще!
И прежние жирные черви
клубятся в матросском борще.
(*«Старому нахимовцу»*)

Некогда совершенные подвиги (как пример – история крейсера «Варяг») были напрасными, а вот ситуация из эйзенштейновского фильма «Броненосец ‘Потемкин’» абсолютно символична для современного момента. Думаю, обилие таких натуралистичных образов отражает невероятную боль и страдание лирического героя:

О Господи, что мы за раса!
Бросаешь рассеянный взгляд
на вывеску «Свежее мясо»,
и думаешь: – Военкомат.
(*«В дороге»*)

Образная система сборника ориентирована на узнаваемые маркеры: например, стихотворение о Летучем голландце – само по себе есть констатация смертельного начала – но, как и в предыдущем стихотворении, мера ужасного возведена в некую высшую степень:

Был в отсеке матросском
рот у каждого заперт...
Но бежали по доскам
крысы, прыгая за борт.
С ног сшибив рулевого,
удирало со шканцев
всё, что было живого
на Летучем голландце.
(*«Бегство»*)

Другой узнаваемый образ, традиционно совсем не связанный с гибелью, а даже наоборот – жизнеутверждающий, в современной ситуации ставится под знак смерти:

Не смотри так ошарашенно –
убежали пес и кот.
Опустело Простоквашино:
всех отправили на фронт.
По-английски свинки ойнкали,
а теперь под крик ворон

по деревне с похоронками
ходит Печкин-почтальон.

Можно сказать, что в самых разных формах сама История присутствует в сборнике. Возьмем, к примеру, стихотворение, посвященное российскому гимну:

Вышла старая новинка –
и на весь честной простор
затрезвонил было Глинка,
но разбился, как фарфор.
А потом краса и сила
мутью поднялись со дна,
и держава не забыла,
что священная она.
(*«На башне»*)

При всей похожести и повторяемости событий, доминирующая тенденция сегодняшнего мира – деградация, которая бросает свой зловещий отблеск и на прошлое: «Мы ‘не годными’ все, как один, / оказались еще до зачатья /. Шли отцы наши в бой на Берлин, / а в Кабул – наши младшие братья. / Нам никто не поставит в вину / то, что были с рожденья везучи. / Наши дети смиряли Чечню, / наши внуки запомнились в Буче». Кстати, события Великой Отечественной войны и ветераны этой войны в стихах Сливкина всегда описаны с нежностью и великим уважением:

Я с детства помню тесно сжатых
в застолье в праздник Всех живых
веселых гвардии-сержантов
и офицеров боевых <...>
Попёртый вон из генералов
за то, что всех их уберег,
полковник там под звон бокалов
спокойно доедал пирог.
(*«Однополчане»*)

Сегодняшние войны – результат страшных ошибок, ожесточения и расчеловечивания. Заметим и то, что другая страшная разгорающаяся война тоже осмысляется поэтом как результат деградации цивилизации:

Ни шекель, ни юань, ни крипто-
валюту здесь не пустишь в ход –
кумиры Древнего Египта
звериных не скрывают морд.

Здесь могут запросто явиться,
протяжный издавая вой,
богиня с головою львицы
и бог с шакальей головой.
И лишь одних бойцов спецназа
при свете факелов отсель
ведет обратно в сектор Газа
прорытый крысами тоннель.

Мне не хочется, чтобы у читателей сложилось впечатление, что художественный мир стихов Евгения Сливкина – при том, что там часто говорится про смерть и поруганную родину, – абсолютно безысходен. Если вернуться к фольклорной составляющей сборника, то выясняется, что судьба сказочного героя и судьба его сегодняшнего отечества отличаются, и в этом, может быть, теплится некая надежда:

С ним поступили не по-братски,
и вообще не по-людски:
он был разрезан на куски –
в той сказке не играли в цацки!
И он бы сгинул навсегда,
как под колесами трамвая,
когда б не мертвая вода
и вслед за нею не живая...
Водой всего из одного,
до дна прогнившего, колодца
полили родину его –
теперь-то намертво срастется.
(*«Сказочный герой»*)

Сказочный герой, как водится, политый поочередно мертвой и живой водой, воскресает, а вот родина его, политая гнилой водой, – обречена. Слово *намертво*, уже традиционно для художественной системы Сливкина, «опрокидывается» в *смерть*.

Что будет с человеком? С народом? Возможно, ответ таков: «Зеркальце таит слова ответные, / утешать не хочет нас враньём... // Ничего, Кощеюшки Бессмертные, / мы вас всех еще переживем!» Лирический герой сборника при всем его отчаянии любит свою родину:

Прекрасная и жутковатая,
еще не ставшая пустой,
земной тщеты одна девятая,
та, что была одной шестой,
какой-то силой в мысли вжатая,
невероятная страна…

Так над водой одна девятая
громады айсберга видна:
плывет, овеянная инеем,
мерцающая, как топаз.
Но то, что ниже ватерлинии, –
загадочнее в восемь раз.
(*«Одна девятая»*)

Думаю, программным в этом сборнике можно считать стихотворение «Разговор», отсылающее читателя к Достоевскому:

Тот эпизод и мне мерещится.
Душа болит за девку эту –
сестру нескладную процентщицы,
беременную Лизавету.
Но всё же за убивца Родю нам
больней и горше без сомнений.
Вот так и мне за нашу Родину.
Хочу, чтоб встала на колени.

Предполагаю, что тема покаяния непременно через какое-то время станет очень важной для художественного мира поэта Евгения Сливкина.

1. «Над Америкой Чкалов летит» (2018), «Обреченный снег» (2020).

Анна Станкевич
Даугавпилс, Латвия

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Ирина Муравьева

«Сядь, Державин, развалися...»

Памяти Александра Левицкого

24 сентября 2024 года скончался Александр Адрианович ЛЕВИЦКИЙ (22 июля 1947, Прага – 24 сентября 2024, Стокгольм), профессор Брауновского университета (США); специалист по русской поэзии XVIII века, автор работ о Г.Р. Державине. Его дед, Василий Адрианович Левицкий, известный в Российской империи драматический тенор Мариинского театра, иммигрировал с семьей в 1920 году в Чехословакию. В 1964 году Александр Адрианович Левицкий решил бежать из страны, где, по его выражению, «правили фальшь и ложь». Он добрался до Парижа и попросил политическое убежище. Со временем Левицкий уехал в США, где жила его мать. Он окончил Миннесотский университет, защитил диссертацию в Мичиганском университете по теме «Духовная ода в русской литературе 18 века». Профессор Левицкий был признанным специалистом по русской литературе, автором множества публикаций.

Умер Александр Левицкий.

Память раскрывается, как раковина, которую я прикладываю к уху, и гул поднимается из глубины, гул прошлого.

На улице было жарко, шла середина мая, а в здании Браунского университета – в том здании, где изучают славистику, – стояла прохлада и сумрак. За массивной дверью сочный мужской голос с кем-то говорил по телефону и вскоре оглушительно засмеялся. Я постучала, и, сделав короткую паузу в смехе, голос сказал по-русски:

– Входите.

Я вошла. Он был массивным, с большими руками, большими плечами. Глаза, чуть прищуренные, хитрили, лицо было тоже большим, умным, хитрым, – оно просияло навстречу. Его кабинет, несмотря на окно, открытое настежь, пропах табаком, как это бывало в московских квартирах, и книги, разложенные на столе, засыпаны пеплом.

– Левицкий, – сказал он и встал. – Садитесь сюда.

На стуле лежала гора толстых книг. Он поднял их разом и ловко пристроил у ног на полу, как собаку.

Я помню весь наш разговор. Про пражское детство, кормилицу, бабушку, слегка про отца. Его родословная мне показалась отчасти

похожей на миф, но миф – не обман, миф – иная реальность, узор восприятия, слишком горячего, стремящегося к укрупнению. Левицкий, как мне представляется, не был частицей «славистики». Душевное «я» его было распахнутым, огромным, таким же, как тело. Поэтому и в разговоре, слегка удивившем меня откровенностью, особенно важная мысль то и дело выталкивалась, подкрепленная напористой силой души, не заботясь, что принято, а что не принято. Я помню, как он вдруг заплакал, рассказав мне, что первенец, сын его, умер. И звали его Адрианом, в честь деда. Прошло сколько лет с этих слез? Тридцать семь. А я еще вижу, как он, не стесняясь меня, незнакомой, их вытер ладонью.

Он был уникален, фантасмогоричен. Сейчас, когда я вспоминаю, пытаясь нащупать последнюю правду, любая деталь тяжелеет от факта недавней кончины, и эта особость его, уникальность особенно дороги мне. Когда, например, на одном из занятий он провозгласил, что Державин намного весомее Пушкина, то встал во весь рост и прочел так торжественно, с таким упоением, что опровергнуть, оспорить его утверждение никто не решился.

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!

Магнитом притягивало к себе то*, как* он учил и *чему* он учил. Поскольку «наука о литературе» – одна из ущербных, беспомощных выдумок, он и не подделывался под «науку», но был абсолютно свободен, делясь своим кровным глубинным сращением с любимой им литературой, счастливый своею способностью входить в нее, словно в свой собственный дом. Вернее*: обитель.* Он был снисходителен к ученикам. Не мучил, не мстил, не отпугивал, давал доучиться, подбадривал, веря, что жизнь разберется сама. Поэтому все мы ушли «докторами», зажав в кулаке долгожданную степень. При нем наша кафедра преобразилась и стала похожа на сцену театра. Были и вражда, и доносы, и зависть, но он умудрялся уладить, замять и, даже узнав, что одна из преподавателей, приглашенная из Питера, обидевшись, что надо ехать обратно, пытается – в лучших советских традициях – испортить его репутацию, он искренне был удивлен, но, по-моему, ничуть не обижен. Природу людей, «человечину», чувствовал, как звери в лесу остро чувствуют запахи.

И в доме его шла особая жизнь. На фоне обычного и ежедневного росло обособленное существо: коллекция. Он чувствовал живопись так же, как чувствовал любое искусство, и впитывал краски и формы, как строфы. Но в нем была – как бы сказать поточнее? – из детства идущая слабость, которой он и подчинил свои поиски. На каждом

холсте были зимы, снега. Каток, на котором катаются дети, сугробы, кусты в белых шапках, поля, недавно замерзшие, и подо льдом еще различимы увядшие стебли. Он страстно любил это время, и всякому, кто приходил к нему в дом, всегда говорил, как прекрасна зима, показывая на картины. Когда он отстаивал то, что казалось ему самому очевидным и ясным, лицо его молодело, ярко краснело. Но помню, как он изменил и зиме, и этой любви к ней. Малявин с веселыми крепкими «девками», курносыми, в красных платках и паневах, затмил всё на свете. Вот в них, в этих «девок», Левицкий влюбился. Я заново слышу густой его бас, срывающийся от волнения:

– На скулы, на скулы взгляните! Татарки! Ведь в русском лице, в русском женском лице особая прелесть откуда берется? А я вам отвечу: она в этих скулах! И что было делать? Рискнул и купил! Ничуть не жалею. Взял ссуду под дом. Закладывают ведь дома? Еще как! Я вам говорю, это подлинник! Да! Пускай не подписан. Я не сомневаюсь. Малявин! В Париже нашел кто-то целый чердак – и много работ, очень много, – они не подписаны, но это он! Вы видите скулы? Ах, были бы деньги! Помчался бы сразу и всё бы скупил! Да, деньги мне страшно нужны! Я даже пожертвую парочкой зим! За каждую эту скуластую девку отдам что хотите!

И мы едем к гости к одной очень странной и взбалмошной, и очень доброй при этом, помешанной на «всем русском» бездельнице. Она неприлично богата, поэтому не знает, что делать, куда себя деть. Когда-то я преподавала ей русский, мы вместе катались в Москву, и с тех пор ее дом заполнен лаптями и прялками. Теперь ей нужна чисто русская живопись. Крестьянин какой-нибудь, дровни, Савраска. Садимся на жесткий диван, и Левицкий показывает свои «русские зимы». Одну она сразу купила. Другую оставила, чтобы «привыкнуть». А что было дальше, не знаю. Я их познакомила и устранилась. Но не сомневаюсь, что девка в панёве, с широким лицом и высокими скулами, покинув парижский чердак, переехала сюда, в город Провиденс, и запылала по-царски внутри этой скромной коллекции. Ах, были бы деньги, он всех бы купил!

Левицкий был как-то по-детски хитер. И жизнь, им устроенная, была наивна, и очень умна, и хитрила, и обезоруживала прямотою, и всё это происходило не порознь, а одновременно – лавиной, обвалом, сорвавшимся с дальней вершины горы, которой являлся он сам.

Сядь, Державин, развалися, –
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис...

Да, умер Левицкий. Мне кажется, что его ранняя смерть – две

четких семерки: 77 – была не случайностью, а проявлением высокого замысла. Он жил как дышал. Он любил эту жизнь – с безденежьем, русской зимой и поэзией, соблазнами, мифами, многоголосьем – и он понимал ее лучше, чем те, которым формально «везет» в этой жизни. Такая душа не задержится здесь. Ей тесно, ей мало, ее уже ждут.

А я его благодарю. За ум, широту, кучу мелких чудачеств, и тонкость души, и внимание к людям, попавшим в его огневую орбиту, за праздничность, за глубину ощущений, за то, что не будет второго Левицкого.

Ирина Муравьева,
Бостон, октябрь 2024

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patrons: Russian Nobility Association in America;
Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;
Sponsors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; American-Russian Aid Association "Otrada"; Mr. Vitaliy Pavlyuk;
Fellows: The Tcherepnine Foundation Inc.; Mr. G.Mesniaeff; Mr. A.Nemirovsky; Mr. A.Neratov; Mr. V.Torchilin;
Friends: Ms. R. Nuzhdenko; Ms. Z. Sergeeva; Mr. G. Cheron.
The complete list of Fellows&Friends see at: http://newreviewinc.com/fundraising-2022

It requires the support of loyal friends for year 2025:

Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;
+972 55 968 24 16
На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)
Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.
Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)
Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.
https://newreviewinc.com
e-mail: newreview@msn.com newreviewinc@gmail.com

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 2024

1.Publication title – The New Review Inc. /The New Review
2. Publication No. – 596680
3. Filing date – [as published]
4. Issue frequency – Quarterly
5. Number of issues published annually – 4
6. Annual subscription price – $ 85.00
7. Complete mailing address of known office of publication – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001-4482
8. Complete mailing address of headquarters or general business office of the publishers –1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001 – 4482
9. Names and complete address of publisher, editor, managing editor:
Publisher – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY10001-4482
Editor/Managing Editor: Marina Adamovich, 1216 Broadway Fl.2, New York, NY 10001- 4482
10. Owner – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
11. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 % or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities – None
12. Tax status (For completion by nonprofit organization authorized to mail at nonprofit rates). The pur-pose, function, nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income tax purposes: Has not changed during preceding 12 months
13-14. Issue date for circulation data: The New Review; September issue (09/26/2024)
15. Extent and nature of circulation

	Average # copies each issue during preceding 12 months	#Copies of Single Issue Published Nearest of Filing Date
a/ Total number of copies	**400**	**400**
b/ Paid circulation (by mail and outside)		
(1) Mailed Outside County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541 (incl. paid distribution above nominal rate, advertiser's proof copies, and exchange copies)	**99**	**104**
(2) Mailed In-County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541	**13**	**13**
(3) Paid Distribution Outside the Mails (Incl. Sales Through Dealers and Carriers, Street Vendors, Counter Sales, and Other Paid Distribution Outside USPS	**125**	**124**
(4) Paid Distribution by Other Classes of Mail Through the USPS (e.g. First-Class Mail)	**60**	**54**
c/ Total Paid Distribution (Sum of 15b (1, 2, 3,4)	**297**	**295**
d/ Free or Nominal Rate Distribution (by mail and outside)		
(1) Free or Nominal Rate Outside County Copies included on PS Form 3541	**0**	**0**
(2) Free or Nominal Rate In-County Copies included on PS Form 3541	**0**	**0**
(3) Free or Nominal Rate Copies Mailed at Other Classes (USPS /e.g. First-Class Mail)	**30**	**33**
(4) Free or Nominal Rate Distribution Outside the Mail (Carriers or other means)	**14**	**15**
e/ Total Free or Nominal Rate Distribution (Sum of 15d (1, 2, 3, 4)	**44**	**48**
f/ Total Distribution (Sum of 15c and 15e)	**341**	**343**
g/ Copies not Distributed	**59**	**57**
h/ Total (Sum of 15f and 15g)	**400**	**400**
i/ Percent Paid ((15c / 15f) times 100)	**87.10%**	**86.01%**
16.Total circulation of electronic copies		
a/ Paid Electronic Copies	**50**	**51**
b/Total Paid Print Copies (15C+Paid Electronic)	**347**	**346**
c/ Total Print Distribution (15F+Paid Electronic)	**391**	**394**
d/ Percent Paid (Print+Electronic Copies)	**88%**	**87%**

I Certify that 50% of all distributed copies (Electronic and Print) are paid above a nominal price: **Yes.**
17. Publication of Statement of Ownership
If the publication is a general publication, publication of this statement is required. Will be printed in the 12/31/2023 issue of this publication: **Yes**.
Signature/Title of Editor, Publisher, Business Manager, Owner – Marina Adamovich, Editor / Business manager 09/26/2024 15:48:09 PM

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2024

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 160.00, за границу – $ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 85.00, за границу – $ 130.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 7.00, за границу – $ 37.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 320.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com